



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1979

ШАРАФ
РАШИДОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ
ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

ШАРАФ РАШИДОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ
ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

МОГУЧАЯ ВОЛНА

РОМАН

КАШМИРСКАЯ ПЕСНЯ

ПОВЕСТЬ

КНИГА ДВУХ СЕРДЕЦ

КИНОСЦЕНАРИЙ

Перевод с узбекского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

С (Узб)2
Р28

Оформление
М. ШЕВЦОВА

Художник
П. ПИНКИСЕВИЧ

Р $\frac{70303-104}{028(01)-80}$ подписное

© Повесть «Кашмирская песня»,
иллюстрации. Издательство
«Художественная литература»,
1980 г.

ШАРАФ
РАШИДОВ

МОГУЧАЯ ВОЛНА

РОМАН

Перевод Ю. Карасева



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Тысяча девятьсот сорок третий год. Весна...

Она шла по земле уверенной поступью, в развевающихся под ветром нежно-зеленых одеждах, и все, к чему ни прикасалась, — все оживало, цвело...

На краю окопа зазеленела первая травка, возвещая солдату, уставшему от боев, о наступлении весны. Весна разбила ледяные, в крови, оковы на реках, и понеслись освобожденные волны бурлящим потоком. Она бережно раскрыла клейкие почки на ветках деревьев, иссеченных снарядами, заглянула в окно госпиталя — и лица раненых просветлели от ее лучистой исцеляющей улыбки.

Весна торжествует в самую горькую, самую тяжкую годину войны, ее не победить никаким черным силам!

В том году и в Бахмале весна выдалась на редкость дружная, нарядная, ясная.

Только что сошли подснежники, бойчичак, и степь, протянувшаяся от подножия горного хребта до самого горизонта, сделалась атласно-багряной от буйно расцветших тюльпанов. Чудилось, будто и небо усыпано тюльпанами — полыхало алым заревом. Тюльпаны горели на колхозных полях, языками яркого пламени взбегали по склонам гор. Горы одевались свежей травой, только на вершинах и на дне ущелий искристо белел снег. Он сверкал под солнцем, как серебро, нещадно слепя глаза.

В степи и в горах уже паслись отары овец, резвились неугомонные ягнята. Громкое овечье блеяние, гортанные крики чабанов доносились до кишлака Бахмал, расположенного у подножия гор, там, где холмистое предгорье переходило в ровную, бескрайнюю степь.

Среди поводов цветов, изумрудных ковров пшеницы, начавшей тянуться к солнцу, нежной зеленой травы кишлак походил на невесту в свадебном одеянии. Трава была, как бархат. Потому кишлак и называли «Бахмал» — «Бархатный».

Самым же красивым местом в окрестностях кишлака по праву считался берег речки, Бахмалсая, и луг, раскинувшийся между рекой и кишлаком.

Речка была рождена родником, который бил прямо из каменного подножия ближней горы. В свою очередь речка давала жизнь кишлаку, садам, полям пшеницы, виноградникам и широким пастбищам Бахмала.

Берега ее густо заросли лопухами, орешником, горной алычой, раскидистыми вязами. Весной в ветвях деревьев самозабвенно заливались соловьи. А на лугу полным-полно было ранних фиалок и огненно-красных тюльпанов.

Каждый день после уроков сюда, на берег быстрой речушки, приходили Пулат и Бахор — сын сельской учительницы и дочь колхозного кузнеца.

Не за горами были выпускные экзамены... Юноша и девушка пристраивались в тени старого вяза, доставали из потрепанных портфелей учебники и принимались за чтение. Они по очереди читали вслух и про себя, госяли друг друга по всему пройденному за год материалу. Когда им

удавалось решить особенно сложную задачу, одолеть особенно трудный раздел, они звонко, облегченно смеялись, и старый вяз шелестел листвою, радуясь вместе с ними.

Казалось, они ничего не замечали вокруг.

Но однажды, устав от чтения, Бахор отложила книжку, оглянулась и замерла в восхищении, словно впервые увидев луг в кострах тюльпанов.

Пулат, уткнувшись в учебник, бубнил что-то себе под нос, а Бахор все смотрела — не могла насмотреться на луг. Ей вспомнились довоенные годы, когда на этом вот берегу каждую весну собирались бахмальцы, стар и млад, чтобы шумным, веселым гуляньем отметить Лола-байрам — Праздник тюльпанов. Приходили семьями, празднично разряженные. Добирались кто пешком, кто верхом, кто на арбе. В казанах паровал свежий плов, уютный дымок стлался по воздуху. Чайханщики не успевали подавать чай. Особенно радовались дети, они шумными стайками окружали продавцов, торговавших сладостями, расхватывали конфеты, халву, парварду, нават, жареный горох, очищенные орехи с кишмишом...

Бахор даже проглотила слюну, вспомнив об этом.

Молодежь пела, танцевала. Девушки приглядывались к парням, парни — к девушкам. Бахор тогда никто не приглашал танцевать — не доросла еще. Как давно это было!.. Уж не звучат больше у реки смех и веселые голоса. Ушли на фронт женихи, мужья, отцы, братья... Не до праздников теперь бахмальцам, лишь об одном празднике они мечтают — Празднике Победы.

Вон он виднеется за лугом, родной кишлак! Отсюда он выглядит нарядным: стройными рядами тянутся карагачи и вязы, которыми обсажены улицы, недвижными облаками стынют кроны фруктовых деревьев в садах, и на фоне этой зелени серебристо-сизым дымком — листва джиды. Наряден кишлак. Но сейчас это наряд горькой вдовы.

Бахор окинула кишлак погрустневшим взглядом, вздохнула, однако стоило ей снова перевести взор на усеянный тюльпанами луг, как на душе стало светлей. Она обернулась к Пулату, тронула его за рукав:

— Да брось ты свою книжку! Посмотри, как красиво! Сколько тюльпанов! Правда, похоже на знамя?

Пулат, оторвавшись от учебника, тоже взглянул на луг, невесело усмехнулся:

— Сказала! Знамя!.. Это — как кровь...

— И неправда! — Бахор неожиданно вскочила на ноги. — Пулат, бежим, наберем тюльпанов!

— Еще чего не хватало! — хмурясь, отозвался Пулат. — Война идет, а мы будем цветочки собирать.

— Вот чудак, ведь весна же! Погляди, как хорошо вокруг!

— У тебя-то на фронте никого нет.

— У меня мамы нет. А отец старый... — тихо, с грустью и обидой в голосе сказала Бахор. — Зачем ты так, Пулат? Что же нам теперь закрыть глаза на всю эту красоту? Честное комсомольское, ты скучен, как мулла! — Она еще решительнее потянула Пулата за руку. — Бежим! Наберем цветов, украсим комнаты, класс!

Пулат нехотя зашагал следом за девушкой по лугу. Бахор перебегала от цветка к цветку: сорвет приглянувшийся ей тюльпан, а другой покажется еще краше, и она опрометью кинется к нему. Вскоре она набрала столько цветов, что они не умещались у нее в руках. А букет Пулата был совсем бедный, тюльпанам он уделял куда меньше внимания, чем девушке. Нагнется над цветком — да и замрет, исподтишка любуясь Бахор. В своем красном платье, она и сама как тюльпан!.. Вот она выпрямилась — гибкая, статная, и волосы ее блеснули под солнцем. Лицо у Бахор круглое, со светлой кожей, не поддающейся загару, а брови — черные-черные, словно подведенные усьмой¹, и волосы такой глянцевицей черноты, что отливали белым блеском.

— Не устала, Бахор? — крикнул Пулат.

— Пить хочется!

— Пошли к реке!

Девушка раскраснелась, на лбу светились бисеринки пота. Подбежав к речке, она положила тюльпаны на мокрую гальку и, наклонившись, стала из пригоршней пить холодную, как лед, воду. Плеснув в лицо, она уложила растрепавшиеся волосы.

А потом они молча сидели на толстом корявом стволе, перекинутом через речку, свесив босые ноги к самой воде. Бахор смотрела, как бежит вода, перламутрово переливаясь, живая, прозрачная, словно жидкое стекло. А Пулат смотрел на Бахор. Колечко черных волос упало ей на ви-

¹ Усьма — растительная краска для бровей.

сок и чуть певелилось под легким ветром, длинные темные глаза подернулись мечтательной дымкой, маленькие пухлые губы были полуоткрыты... Вдруг она вскинула голову:

— Что ты так на меня смотришь?

— Я?.. Ничего... — Пулат смешался, отвел взгляд, сквозь смуглоту его кожи пробился неровный румянец.

2

«Что ты так на меня смотришь?»

Сколько раз задавала ему Бахор этот вопрос, и всегда он краснел, не зная, что ответить, прятал глаза.

Хотя Пулат был на год старше Бахор, учились они в одном классе. И дома их стояли рядом. Пулат с детства дружил с соседкой, они делили пополам каждую изюминку. Дружба их походила на дружбу двух сорванцов-мальчишек. Но у Бахор при всей ее бойкости и репительности плечики все-таки были слабые, и, когда ее обижали, ей трудно было дать обидчикам достойный отпор.

Однажды на сборе звена — это было в пятом классе — от нее крепко досталось двум верзилам-второгодникам. Дети в таком возрасте еще не понимают живительной пользы критики... Один верзила погрозил Бахор кулаком: ну, пооди! На другой день они подстерегли девочку после уроков, толкнули ее в сугроб снега, и, неизвестно, чем бы все кончилось, не подоспел Пулат. Он и сам-то не отличался особенной силой, был хотя и высоким, но худеньким, однако без раздумий бросился на драчунов. Его большие глаза горели, он размахивал кулаками и кричал, задыхаясь от ярости:

— Слабых бить!.. Двое на одного!.. Я вам покажу!.. Труссы! Труссы!

Когда мальчишки увидели его не по-детски потемневшее лицо, глаза, мечущие гневные искры, они попятились, а Пулат, воспользовавшись их минутной растерянностью, с разбегу боднул одного из них головой в живот, другого схватил за ворот, свалил ловкой подножкой и, пока они барахтались в снегу, чуть не со слезами выкрикивая угрозы, помог Бахор подняться:

— Не бойся, больше они тебя не тронут.

Она за его спиной отряхивалась от снега, он ждал, не сводя глаз с побежденных, а потом, не оглядываясь, повел

девочку домой. Мальчишки не погнались за ними, только проводили их хмурыми взглядами. Но у Пулата долго еще дрожали губы и руки.

С тех пор он взял Бахор под свое покровительство. Они вместе шли в школу, вместе возвращались домой, и никто не осмеливался дразнить их. Самые отъявленные задиры побаивались Пулата — в минуту опасности глаза у него вспыхивали такой отчаянной решимостью, что у тех, кто пробовал задеть его, пропадала охота драться.

Опекая Бахор, он сам не заметил, как начал прислушиваться к каждому ее слову. Для него стало вдруг очень важным — что она о нем думает.

Как-то раз он вышел к доске отвечать. Урок он знал, но в одном месте запнулся и тут же услышал громкую подсказку. Лицо его сразу потемнело, он, набившись, смотрел на класс и молчал.

— Что же ты, Пулат? — подбодрила его учительница. — Продолжай. Ты же выучил урок, верно?

— Нет! — мрачно сказал Пулат. — Нет, не выучил.

Учительница пожала плечами:

— Ты начал так уверенно...

А Пулат поймал задорный, одобрительный взгляд Бахор — она, видно, все поняла — и еще тверже повторил:

— Я не готовился.

Он схватил двойку, но это его не очень огорчило — на самом-то деле он мог ответить и на «отлично»!

А в другой раз, на уроке физкультуры, он четко выполнил все упражнения, но преподаватель, которому Пулат перед этим надерзил, снизил ему отметку. Это было несправедливо. Пулат вспыхнул, сжал зубы, выхватил из кучи сваленных на волейбольной площадке школьных сумок свой портфель и, даже не взглянув на преподавателя, не обратив внимания на его сердитый властный окрик, ушел домой.

Весь этот и следующий день Бахор с ним не разговаривала. Он первым подошел к ней:

— Что надулась? Разве я был не прав?

Бахор посмотрела на него с обидной жалостью:

— А разве так доказывают свою правоту? Эх, ты!..

А я думала... ты сильный!

У Пулата кошки заскребли на душе.

Но он все еще не понимал, почему так дорожит мне-

нием соседки. Она же девчонка, хоть и боевая, но слабая, нуждающаяся в защите! Правда, в классе ее уважали. Но это уважение не похоже было на то чувство, которое испытывал к ней Пулат. Ни у кого, кроме Пулата, после ее похвал лицо не озарялось такой откровенной радостью, и только один Пулат после ее проборок ходил как в воду опущенный...

И сам не мог разобраться, что же с ним происходит. Понял он это позднее, уже в десятом классе.

Бахор занималась в школьном кружке самодеятельности. Однажды, поджидая ее, чтобы вместе идти домой, Пулат заглянул в спортивный зал, где шла репетиция. Примостился в дальнем углу на одной из скамеек, стал угрюмо наблюдать за танцующими. Угрюмость напала на него, как только он увидел Бахор танцующей в паре с красивым — нет, до приторности смазливый — парнем.

Когда репетиция окончилась, все, кто были в зале, кинулись поздравлять Бахор, а Пулат помрачнел еще больше.

Домой они шли молча. Бахор, заметив, как зло хмурится Пулат, тоже было оцетинилась, но не выдержала, тронула его за локоть:

— Что с тобой?

Пулат круто повернулся к ней:

— Ты же говорила, что одна танцуешь?

— Меня уговорили выступить с двумя танцами. Второй ты видел сегодня. Ничего получилось?

— Почему ты согласилась?

— Что — согласилась?

— Ну, танцевать... с этим типом.

Бахор недоумевающе взглянула на Пулата и на всякий случай строптиво вскинула подбородок:

— А что?

— А то.

— Почему ты злишься, Пулат? — уже тише, покорнее спросила девушка.

— Потому!

И Пулат поймал себя на том, что не знает, как объяснить Бахор свою злость и угрюмость. В самом деле, с чего это он взъелся? Ну, танцевала с этим красавчиком. Ему-то какое дело?!

Он был в смятении. Бахор почувствовала это и, не промолвив больше ни слова, у своего дома поспешно прости-

лась с Пулатом. А он долго еще стоял возле калитки, пасмурный, растерянный.

Словно по уговору, они больше не вспоминали об этом разговоре. Однако их отношения как-то неуловимо изменились. В них появилось что-то новое, тревожащее обоих, но оба, видимо, в душе согласны были с этой переменой. Они стали встречаться еще чаще, вместе готовили уроки, бродили по степи и горам. Бахор чуть ли не каждый день бывала у Пулата дома — этому, впрочем, не приходилось удивляться, так как и отец Бахор, потомственный кузнец Халил-ата, не упускал случая навестить соседку, учительницу Хайри, проводившую на фронт мужа, которого Халил-ата любил, как брата. Смотри на детей, Хайри и Халил-ата понимающе переглядывались, ласково покачивали головами.

О чем только не говорили друг с другом Пулат и Бахор!.. О войне, о школе, о жизни и смерти, о дальних звездах и о ближайших своих планах. Лишь одну тему они как бы признали запретной — собственные свои отношения. Но этому запретному и не нужны были слова, оно прорывалось и в смене настроения Пулата, то покорного, то неожиданно резкого, ни с того ни с сего вскидывавшегося на дыбы, и в бережной чуткости Бахор. И все чаще Пулат, забывшись, начинал откровенно любоваться девушкой. Она, конфузясь, спрашивала, что он так смотрит на нее, а он не знал, что ответить, и густой румянец проступал сквозь смуглоту его кожи.

3

Бахор отвернулась от Пулата, чуть приспустившись, коснулась воды ногой и тут же отдернула ее.

— Ух, жжется! — Она задумалась. — Чудная у нас речка. Летом холодная, зимой теплая. Отчего это?

— Чему тебя в школе учили, отличница? — шутливо упрекнул ее Пулат. — Это же родник. Летом вода не успевает нагреться, зимой — остыть.

— Как просто! — разочарованно протянула Бахор.

— А тебе как хотелось бы?

— Мне? — Бахор смотрела на воду. — Мне бы хотелось, чтобы речка была особенная, не похожая на другие. И чтобы с ней была связана какая-нибудь таинственная легенда.

— Ладно, легенду я придумаю, только не сейчас, а после экзаменов. Ты долго еще собираешься тут рассиживаться? Пошли заниматься.

— Ой, не хочется! — откровенно призналась Бахор. — И кто только придумал, чтобы к экзаменам весной готовиться? Я бы перенесла их на зиму. Когда сыро, холодно, на улицу и не тянет. Сиди себе, занимайся на здоровье с утра до ночи!

Пряный, постоянный на цветах ветер прилетел с луга, овеял их лица. Бахор подняла руку, подставила его дуновению маленькую влажную ладонь.

— Ты у нас известная выдумщица! — скорее поощрительно, чем с осуждением, сказал Пулат. — Вот провалишься на экзаменах...

— Ой, что ты? — испугалась Бахор. — Еще накличешь беду! — И снова задумалась: — Пулат!.. А куда ты после школы?

— Я же говорил — сразу на фронт.

— Нет, потом, после фронта, когда война кончится?

— Там видно будет. Рано гадать. — Смуглое худое лицо Пулата посуровело. — Сперва фашистов надо разбить.

— Пулат! А вдруг ты на фронте встретишься с отцом? Вот было бы славно!

— Может, и встречусь, — солидно произнес Пулат. — На войне и не такое бывает.

— И вы вместе будете бить фашистов и вместе совершите подвиг! Вы — сильные, смелые! — Бахор с нескрываемым восхищением посмотрела на Пулата и неожиданно спросила: — Пулат-ака, а ты будешь мне писать?

Она назвала его «Пулат-ака» — старший брат. И от этих ее слов у Пулата сладко заныло сердце. Но чтобы не выдать всколыхнувшейся в его груди радости и нежности, он напустил на себя суровость и произнес твердо и серьезно, как клятву:

— Буду, Бахор! Я всегда, везде буду о тебе думать!

Что-то у них в этот день не клеилось с занятиями. Обычно если кто-нибудь отвлекался, то другой его одергивал. Но сегодня Пулат никак не мог заставить Бахор сосредоточиться. Они не спеша направились домой. Девушка крепко прижимала к груди огромный, чуть растрепавшийся букет алых тюльпанов. Шли молча. Они часто

молчали, шагая вот так, локоть к локтю, и молчанье не тяготило их.

Подходя к кишлаку, они увидели всадника, скакавшего навстречу. Из-под коуских копыт взметывалась ржаво-желтая пыль. Поравнявшись с молодыми людьми, всадник остановил коня, спешился, сердечно поздоровался с Бахор, небрежно, но дружелюбно кивнул Пулату.

Это был сосед Бахор, третий секретарь райкома Акрамхан Тураханов. На правах соседа он частенько наведывался к Халилу-ата, страсть как любившему потолковать о «высокой политике» и нашедшему в лице Тураханова поднаторевшего в этих вопросах, красноречивого собеседника. Уважаемый Акрамхан-ака охотно рассказывал обо всем, что творилось на свете.

Тураханов был приземист, но скроен крепко; от всей его фигуры веяло энергией, лицо было крупное, мясистое, черты его — резкие, властные, а волосы, черные, лаковые, казались склеенными и какими-то ненастоящими, словно он носил парик. Как всегда, на нем был полувоенный китель. Он так ладно сидел на Тураханове, будто тот и родился в этом кителе. И все, кто не знали близко секретаря райкома, уверенно полагали, что он успел побывать на фронте.

— Бахорхон! — обратился Тураханов к девушке. — Ты мне пужна на пару слов.

Пулат волчком посмотрел на него и отошел в сторону. Тураханов, ведя на поводу коня, не торопясь, зашагал рядом с Бахор по дороге.

— Вот что, Бахорхон... — Он замялся. — Ты извини, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь. Но, как старший товарищ, как друг вашей семьи, я хотел бы дать тебе один совет...

Бахор удивленно подняла брови:

— Какой совет?

— Видишь ли... Как бы это поделекатней выразиться... Тебя слишком часто видят вместе с этим... сыном Садыкова.

— Мы вместе занимаемся, Акрамхан-ака!

Тураханов покосился на букет тюльпанов:

— Хм... Ну, цветы-то ты могла бы собирать и с подругами! Или у тебя нет подруг? Этот парень всех сумел тебе заменить? Говорят, ты за ним ходишь как тень. Это не в обычаях нашего народа, Бахорхон!

— О каких обычаях вы говорите? — недоумевающе спросила Бахор.

— Пойми меня правильно, Бахорхон. Лично я против устаревших вредных обычаев, порожденных шариадом. Но вот у нас, например, принято почитать старших — это прогрессивная народная традиция! Ты согласишься со мной? А в наших девушках веками воспитывалась скромность, стыдливость. И я лично за скромность! А главное, народ чтит в девушках это качество. погоди, не перебивай! Я понимаю, верю, ничего дурного вы себе не позволяете. Но люди бог знает что могут подумать. Твое поведение, Бахорхон, твои же земляки могут истолковать превратно. Внешне — ты прости меня, Бахорхон, — оно выглядит... Ну, скажем, неприличным, если, конечно, считаться с нашими традициями. Отмахиваться же от них было бы по меньшей мере неразумно.

— Мы дружим с Пулатом с детства! — со слезами в голосе воскликнула Бахор. — И никто слова худого не сказал!

— Вот именно, с детства. А теперь вы уже не дети. И вспомни-ка пословицу: чужие уста не прикроешь ситом, людям не заткнешь рот тубетейкой. Я тебе добра желаю, Бахорхон. Подумай над моими словами. И учти, с тобой сейчас разговаривает не партийный руководитель, а просто друг, искренне заботящийся о твоей репутации, желающий уберечь твое доброе имя от слухов и нареканий. Поверь моему опыту, Бахорхон!

Речь Тураханова обволакивала Бахор, как туман, она не нашлась даже, что возразить собеседнику, только пролепетала еле слышно:

— Хорошо, Акрамхан-ака, я подумаю.

Тураханов смерил ее тяжелым, испытующим взглядом:

— А может, вы тотчас после школы собираетесь пожениться?

— Что вы, Акрамхан-ака! — совсем потерялась Бахор.

— По-моему, это естественное предположение. Но тогда тем более... Подумай. Он ведь совсем еще мальчишка. Неустоявшийся характер. Впрочем, поступай как знаешь. Я лично считал своим долгом — долгом друга, долгом старшего — предупредить тебя. Тебе ведь известно, как я отношусь к вашей семье. Жаль, тороплюсь. Мы еще поговорим об этом.

Попрощавшись с Бахор, Тураханов молодцевато вскочил в седло, хлестнул коня плетью и умчался, оставив за собой облако густой желтой пыли.

Пулат нетерпеливо поджидал девушку. А ее после разговора с Турахановым охватило смятение. Тот впервые назвал вещи своими именами: значит, у нее с Пулатом больше, чем дружба? И как знать, может, это заметил не только Тураханов, но и все в киплаке осуждают их за то, что они всегда вместе? До сих пор, правда, Бахор не замечала косых взглядов, односельчане привыкли к их дружбе и на их встречи, совместные занятия и прогулки смотрели как на что-то естественное. Но она уважала Тураханова, верила ему — возможно, он в чем-то и прав? Одно дело, когда дружат несмышленные мальчишка и девчоночка, и другое — дружба девушки и юноши. Да и только ли дружба это? Но все равно — ей нечего стыдиться, незачем прятаться! Ох, как взвился бы Пулат, узнай он, о чем говорил с ней Тураханов! А зачем ему знать? Тураханов предостерегал ее от чистого сердца, в его словах слышалась отеческая забота. А Пулат и так недолюбливает Тураханова. Зачем же подливать масла в огонь? Пулат упрям, ему ничего не докажешь! Нет, она и словом не обмолвится о разговоре с Турахановым. Да и с Турахановым постарается больше не говорить об этом. Он сам поймет, что ошибался, что она не может без Пулата и ничего в этом нет дурного. Что им скрывать — воры они, что ли? Тураханов умный, чуткий, он все, все поймет! С чего только он завел с ней такой разговор, почему так близко к сердцу принимает ее судьбу? Кто она ему? Дочка соседа! Так в том-то и дело — он добрый сосед, он ей вроде старшего брата...

К Пулату Бахор подошла уже успокоившаяся, а он исподлобья, настороженно взглянул на нее, спросил сердито:

— Что он там тебе втолковывал?

— Так. Ничего особенного.

— Долго же он морочил тебе голову.

— Пулат! Почему ты так не любишь его?

— Я ему не верю. У него усы, как у Гитлера.

— Какой ты злой, Пулат! Надо быть добрей к людям. Ведь война, мы все должны быть как одна семья!

— А ты слишком мягка и доверчива! Мягкое дерево, говорят, черви точат.

Бахор вдруг торжествующе улыбнулась, словно догадавшись о чем-то важном:

— А я знаю, почему ты его не любишь! Сказать? Он ведь пришел на место твоего отца. Так? А для тебя лучше отца никого на свете нет! Правда?.. Вот ты... и ревнуешь.

— При чем тут отец?

— Ты вообще... страшно ревнующий!

— При чем тут ревность, Бахор? Не верю я этому типу. И все.

— Ты же его совсем не знаешь. А отец прямо души в нем не чает. Он скромный, душевный. Заходит к нам запросто, сидят с отцом, чаи распивают и о чем только не говорят!

Пулат усмехнулся:

— Думаешь, он к твоему отцу ходит?

— А к кому же?

— Он на тебя виды имеет! Вот что! Потому и подкачивается.

— Пулат!.. Как ты смеешь! — Бахор в испуге прикрыла рот ладонью. — Он же старый, ему около сорока! Он женат!

— Будто не было случаев, когда школьниц за стариков отдавали!

— Пулат! Перестань!

Но Пулата уже понесло:

— Подумаешь, женат! Таким ничего не стоит развестись и снова жениться.

— Ну что ты шлетешь! — Бахор была больше изумлена, чем рассержена. — Он же коммунист! Секретарь райкома!

— Видел я, как он на тебя глаза пялил. Не как коммунист, а как...

— Неправда! Ты хочешь, чтобы я ушла?

— Пожалуйста. Уходи. Не держу.

Бахор посмотрела на бледное, как полотно лицо Пулата, запавшие щеки, мрачным огнем подхваченные глаза и неожиданно рассмеялась, топнула ногой:

— А вот не уйду! — И добавила быстрым, смущенным шепотом: — Никогда, Пулат, слышишь, никогда и никуда не уйду! Ты сам это знаешь...

Круто повернувшись, не оглядываясь, она побежала к книплаку, выбивая пятками фонтанчики пыли. Пулат медленно двинулся следом.

Но не над словами Бахор пришло ему задуматься в этот вечер. Дома, на столике, за которым он готовил уроки, ждало его письмо с фронта, от отца.

«Сынок, спасибо тебе за письмо, — так начинал отец. — Правда, получил я его с большим запозданием. Ты пишешь, что в Бахмале наступила весна. До чего же я разволновался — вдруг повеяло родным запахом зацветающего миндаля и урюка, и так потянуло домой — сил нет! Война оторвала нас от родимых домов, но сердца наши там, с вами, и путь наш вперед — это путь к дому.

Вот как пышно я заговорил! Что поделаешь, трудно передать словами все, что переполняет наши души. В них ведь не только ненависть к врагу. Мне по долгу моей комиссарской работы часто приходится беседовать с солдатами. Какие богатства таятся в их душах! Не смогла война разорить эти клады, наоборот, они видны теперь всему миру.

Ты, верно, читал, сынок, какие города нами взяты. Уже близка Белоруссия. Мы наступаем по всему фронту: от Черного моря до Ледовитого океана.

Наша часть стоит сейчас в лесу. Поляны усыпаны цветами — такая красотища вокруг! Жаль, не знаю, как эти цветы называются. Они не такие, как в Бахмале. Пожалуй, поскромней. Один цветок особенно мне приглянулся — ландыш. Он пахнет так тихо-тихо и сладко-сладко! А как хороши белые березки среди сосен! Бывает, идешь по лесу, вдруг остановишься, глядишь — не можешь взглядеться!

Солдаты с какой-то ненасытной жадностью любят весной, лесом, чутко прислушиваются к каждому лесному звуку: вот треснул сук, зашелестели молоденькие листья березы, какая-то пичужка перелетела с ветки на ветку, жук прожужжал... Это все мирные, дорогие сердцу звуки. Один солдат клялся мне, что когда он лежит и смотрит в небо, то слышит, как растет трава, как плывут облака. Солдатские души, словно иссохшая земля влагу, вбирают все, что напоминает о мире. Наверно, потому они и бьются с фашистами с такой беззаветной отвагой. Ведь те принесли нам войну... Фашизм — это сама война, и, выходит, мы сражаемся насмерть с войной! Это солдаты хорошо понимают.

Ночами у нас беспокойней, чем днем. То вспыхнет неподалеку перестрелка, то над самыми головами прощурит мина, грянет осколками по нежным стволам берез.

По ночам не спят наши разведчики и подрывники: у них самая работа! Недавно мы потеряли одного разведчика — славный был парень! Совсем молодой — лет восемнадцать, на фронт попал прямо со школьной скамьи. Сережей его звали. Лицо все в веснушках, волосы рыжие, как огонь, а глаза голубые-голубые. Простое лицо, вроде даже беспечное, а разведчики дали ему прозвище: «Профессор». И не зря. Как выпадет минута затишья, Сергей — за книжку. Недавно в селе, которое мы освободили, забрели солдаты в разоренную фашистами библиотеку. Сергей как увидел беспорядочно раскиданные, с разорванными страницами книги, так в глазах у него боль вспыхнула. Больше всего на свете любил он книги. Когда пришел за ним командир разведроты, он как раз читал Горького, тот томик, где легенда о пылающем сердце Данко. Помнишь, сынок? Это ведь и твой любимый рассказ.

Послали мы его с разведчиками на опасное дело. Он должен был взорвать мост через реку, по которому немцам доставляли оружие и подкрепления. Мы с командиром разведроты, старшим лейтенантом, объяснили Сереже, на какой риск он идет, какое это важное и сложное задание. Сережа нас внимательно выслушал, попросил разрешения приступить к выполнению задания. И скрылся в темноте с группой разведчиков. Добравшись до моста, он должен был вскарабкаться по опорам к железнодорожным рельсам и незаметно привязать к стыкам гранаты.

Стоим мы со старшим лейтенантом на высоком берегу, до рези в глазах вглядываемся в темноту. По мосту вышагивал часовой, нам его не было видно, только двигался взад-вперед в бледной мгле огонек сигареты.

Вокруг тихо-тихо, слышно, как река катит волны. Стоим, ждем. Видим: огонек замер, заплескал в воздухе и погас. Сережа, по нашим расчетам, должен был уже достичь моста. Вот уж прошло время, отпущенное ему на выполнение задания. Сергея нет. Ждем. К мосту поезд подходит, а Сергея все нет и нет! Эшелон уже на мосту... Вдруг полыхнуло пламя, трескучий взрыв сотряс почную тишину, вагоны, напозая друг на друга, с грохотом посыпались в реку.

Лишь к рассвету наши разведчики принесли истекающего кровью Сережу и немца, тоже окровавленного, с разбитым лбом. Сережа был без сознания.

Разведчики рассказали, как было дело. Оказывается,

только Сергей начал пристраивать гранаты, как его заметил немецкий часовой. Завязалась короткая схватка. Фашист, извернувшись, кинжалом ударил Сергея в плечо, а тот стукнул его гранатой по голове. Залитый кровью, придерживая одной рукой отяжелевшее тело гитлеровца, Сергей установил гранаты, потом, обхватив часового, под самым посом у врага пополз к своим: очень уж хотелось ему и «языка» доставить. Когда его заметили наши разведчики, он был чуть живой, сил у него хватало лишь на то, чтобы доложить товарищам о происшедшем, после этого он впал в забытие.

Он умер в полевом госпитале. Его уже нельзя было спасти. Перед смертью пришел в себя, тихо сказал: «Жалко... книгу не дочитал. Теперь уже не прочту... Хорошая книга... Сколько еще книг... хороших...» Это были его последние слова.

Взрыв моста послужил сигналом к нашему наступлению. Мы разбили вражескую группировку, овладели крупным опорным пунктом. Фашисты отступили к железнодорожной станции. Победили мы, как говорят, малой кровью.

Хоронили Сережу всем батальоном. И каждый понимал, что это Сереже обязан он своей жизнью. Не взорви Сергей мост, наше наступление обернулось бы многими лишними жертвами. На фронте, сынок, всегда так: в атаке, в разведке, в обороне боец ценой своей жизни спасает жизни товарищей. И все, кому суждено уцелеть, в долгу у павших. Это и есть бессмертие. Помни это, сынок!

Сережа без раздумий пошел на подвиг... Вот написал я «без раздумий» и вижу: не то написал. Неправильные слова подвернулись под руку. Как это — «без раздумий»? Бездумная отвага — это ухарство, а не подвиг. Нет, Сергей, наверное, о многом думал: и о своих товарищах по батальону, которым предстоял жестокий бой с фашистами, и о книгах, которые довелось ему прочесть, думал о пылающем сердце Данко и стальной воле Павки Корчагина, и о матери своей думал, о перенесенных ею страшных муках — она осталась в оккупации, а мы-то видели, что такое фашистская оккупация... А до войны он, наверное, думал о том, как будет жить, что делает, чтобы отблагодарить Родину за все ее заботы. Бездумье, сынок, не про нас!

И ты думай, как тебе дальше строить жизнь. Желаю успешно сдать экзамены. Это меня очень обрадовало бы. Помогай матери. Ей я пишу отдельно — использую пере-

дышку на все сто процентов. Пиши чаще, сынок, на фронте каждая весточка от родных — самая бесценная награда.

Крепко-крепко обнимаю, любящий тебя отец

Хайдар Садыков».

В конце было торопливо приписано: «Кажется, гитлеровцы готовятся к контратаке...»

5

Дочитав письмо, Пулат бережно разгладил его, положил на стол, задумался...

Отец, как всегда, старался смягчить тяготы фронтовой жизни, приуменьшить ежеминутно грозящую ему опасность. В его письмах порой проскальзывал даже добродушный юморок, тон писем был спокойный, чуть раздумчивый. Лишь когда отец писал о подвигах боевых друзей или о героической их гибели, он не мог сдержать порывистого восхищения и терпкой скорби. Эти рассказы вызвали в сознании Пулата образ алого, победно развевающегося знамени с траурной каймой. Юноша сердцем слышал далекий, грозный гул фронта и испытывал жалящую зависть ко всем, кто воевал рядом с отцом. Зависть и жгучий стыд. Стыдно, больно было сознавать, что это его, Пулата, и таких, как он, защищают отец и фронтовые друзья отца, ради него жертвуют своими жизнями, даря ему покой, возможность благополучно окончить школу, читать любимые книги, собирать с Бахор тюльпаны на берегу мирной речушки.

Вот и теперь нестерпимым огнем опалили его душу строки отцовского письма: живые в долгу у павших. А он, Пулат, особенно в долгу, потому что там, на фронте, проливали свою горячую кровь его ровесники. И его место не за школьной партией, а в окопах, под свистящим дождем пуль и снарядов.

Как живой, стоял перед его глазами Сережа — простой, смелый парень, погибший во имя жизни своих товарищей. Он погиб за Родину, так напишут его родным. А что такое Родина? Это и те, кто сражался в одном батальоне с Сережей, и его мать, и колхозники Бахмала, и рабочие Москвы, и Бахор, и резвоногие ребятишки, бегающие по улицам наших городов и сел. О них недаром любовно говорят, что они — будущее Родины.

Советская Родина — это советские люди. Сейчас самые сильные из них защищают своих сограждан, защищают жизнь Родины. И долг Пулата тоже защищать, а не жить под защитой! Бахор говорит — он сильный. Во всяком случае, у него, как у Сережи, достало бы и ненависти к врагу, и любви к своим землякам, чтобы схватиться врукопашную с целой сворой фашистов! Позор, позор в такое время зубрить математику и литературу, вместо того чтобы драться с врагом! Да будь ему и не восемнадцать, а всего четырнадцать лет — все равно он мог бы воевать. Возраст подвигу не помеха! А он ведь к тому же и комсомолец. И у него такой отец! Он должен быть достойным своего отца!

Пулат встал, взволнованно прошелся по комнате.

Это была отцовская комната. По уговору с матерью Пулат перебрался сюда, как только отец ушел на фронт. Мать тоже любила коротать вечера в этой комнате, да и свет надо было экономить. Хайри ставила на письменный стол керосиновую лампу. Пулат готовил за маленьким столиком уроки. Мать, сидя подле за большим столом, проверяла ученические тетради. Они не мешали друг другу, вдвоем им было спокойнее, уютнее.

Все здесь напоминало об отце. Ни одна вещь не была стронута с места.

Комната обставлена скромно. Одну из стен занимали нехитрые, сработанные самим отцом полки с книгами, перед окном стоял письменный стол, рядом — столик Пулата. Был еще в комнате старенький, с выцветшей, потертой обивкой и выпирающими пружинами диван, на котором любил спать Пулат. Возле окна, над столиком Пулата, висели карта Советского Союза, вырванная из учебника — на пей он булавками отмечал продвижение наших войск, — и старая фотография: отец, мать и Пулат, большеглазый, тоненький, как щепка. Когда ему исполнилось десять лет, отец повез его и Хайри в город, там они и снялись. Одна фотография осталась на стене в комнате отца, другую он взял с собой на фронт.

Пулат снова сел, поставив на край стола локти, подперев ладонями острые скулы, и долго-долго смотрел на фотографию... Ему подумалось, что, может быть, в эту минуту и отец, достав из кармана кителя снимок, молча разглядывает его или с гордостью показывает своим однополчанам: «Вот мой сын». Кто знает, может, фотографию видел и Сережа?

Отец получился на ней и похожим, и непохожим. Фотография запечатлела характерные черты отцовского лица: оно было чуть удлинненное, сильно, четко выдавались скулы, в волосах уже появилась просесть, но они были такими густыми, вьющимися, что тубетейка еле виднелась за их пышной копной.

А вот богатырской стати отца — он был рослый, крепкого сложения — фотография не смогла передать, и выражения глаз тоже, а в глазах-то и был весь его характер. Здесь, на фотографии, глаза смеялись, но они умели быть и остро-проницательными, и провозительно-насмешливыми. Их выражение менялось резко, стремительно, без переходов: из добродушных они вмиг делались суровыми, гневными, одно и то же чувство долго в них не задерживалось, наверное, потому, что Хайдар Садыков остро, бурно реагировал на все происходящее с ним и вокруг него.

Сам Пулат тоже был и похож, и не похож на отца. Похож высоким ростом, хотя был слишком худым, узкоплечим; похож лицом, удлинненным, как у отца, счень смуглым, с выпирающими скулами, черными густыми бровями. И волосы вились, как у отца, и были такими же пышными и непокорными. А вот глаза... Большие-большие, они выделялись на худощавом лице и были красивее, чем у отца, но всегда казались печальными, хотя Пулат не позволял себе печалиться, даже если на то были причины. Брови у него срослись на переносице и придавали лицу постоянное выражение серьезности, даже некоторой сумрачности.

А Пулату очень хотелось каждой черточкой походить на отца! Он пытался улыбочиво щуриться, как отец, но в этом его прищуре не было добродушной искренности, в улыбке глаз чувствовалась преднамеренность — Пулат не умел притворяться.

Он старался стать сильнее: по утрам занимался гимнастикой, поднимал тяжелые, заржавевшие гири, обливался холодной водой до пояса, но после таких ледяных душей чувствовал себя не лучше, а хуже, и, хотя мускулы его окрепли, выглядел он болезненно-худым.

Юноша часто с пристрастием спрашивал себя: смог бы он с честью выйти из таких испытаний, какие выпали в молодости на долю отца? Пулат знал о них из рассказа матери и гордился отцовским прошлым. Сразу же после революции, семнадцатилетним пареньком, Хайдар вступил в партию. Он отдал молодые годы борьбе с басмачеством,

смело смотрел смерти в глаза, гоняясь на лихом коне за бандами богатеев-головорезов, которые шли на все, только бы вернуть былую власть, старые порядки, землю, добытое чужим потом добро, тешащее их душу, право измываться над простыми дехканами.

Хайдар и жену нашел, не слезая с коня.

Однажды он со своими джигитами проходил через кишлак Бахмал. Как всегда, на улицу высыпали ребятишки поглазеть на лихих красных конников. А из бедной мазанки выбежала тоненькая девушка с большими светлыми глазами, в которых были восторг и радость. Словно вспомнив о чем-то, она бросилась к себе во двор и вскоре вернулась с огромной дыней сорта босвалды. Подскочив к Хайдару, она подала ему дыню. Хайдара давно уже мучила жажда. Он благодарно взглянул на девушку, ударом о седло разломил дыню пополам, стал жадно пить сладкий прохладный сок. Напившись, снова посмотрел на девушку, глаза его широко распахнулись, тут же сощурились, он нагнулся с коня к юной красавице и, не отрывая от нее ласкового взгляда, спросил:

— Как тебя зовут, быстроногая?

— Хайри, — сказала девушка, забыв даже потупиться, и гордо добавила: — Я учусь в школе!

Ей было чем гордиться: она была одной из первых узбечек, поступивших в школу.

Хайдар вздохнул:

— А я вот недоучился. Некогда. Воевать надо. Чтоб учились такие, как ты, глазастые.

— Вы тоже будете учиться! — порывисто воскликнула девушка. — Обязательно!

— Гарантируешь? — улыбулся Хайдар. — Тогда все в порядке. Кстати, запомни — меня зовут Хайдар.

— Вы еще приедете к нам?

— Обязательно! — подражая вдохновенной интонации Хайри, сказал Хайдар и повторил уже серьезнее: — Обязательно!

Он сдержал слово. Вскоре вновь наведаясь в кишлак, да так и остался в нем на всю жизнь.

Кишлак был беспокойный. Он находился на отшибе от других кишлаков, один меж горами и бескрайней степью. Пользуясь этим, кулаки поднимали голову.

Хайдар в то время работал в райкоме. Ему и Хайри дали новое жилье, но он редко бывал дома. Как-то раз он

возвращался в Бахмал из горных кишлаков, с ним ехали несколько комсомольцев, у всех оружие: без него путешествовать было небезопасно. За одной из скал их поджидала засада. Бандитам удалось подстрелить двух лошадей. Они свалились в пропасть вместе с седоками. Остальные комсомольцы соскочили с коней и, спрятавшись за ними, стали отстреливаться. Бандиты обратились в бегство, но шальная пуля ранила Хайдара. Спутники принесли его в кишлак на руках: все лошади были перебиты.

В этот день родился Пулат.

Когда Хайдар выздоровел и выписался из больницы, он принял горячее участие в разгроме басмаческих недобитков.

Потом его направили на учебу в Ташкент. Он забрал с собой жену и сына. Сам учился в Промакадемии, Хайри — в женском педтехникуме. После окончания Промакадемии Хайдара назначили директором МТС, которая обслуживала в числе других кишлаков и Бахмал. В короткий срок он сумел вывести свою МТС в передовые не только в области, но и в республике. Тогда его как знающего, толкового работника избрали третьим секретарем райкома.

С первых же дней войны Хайдар принялся упрямо и страстно добиваться отправки на фронт. Райком не отпустил его: в тылу нужны были опытные организаторы. Но Хайдар настоял на своем: его как офицера запаса призвали в действующую армию, назначили комиссаром батальона.

И вот уже второй год он на фронте. И второй год сын его, Пулат, мечтает об одном: скорее окончить школу и вместе с отцом бить фашистов!

Пулат любил отца ревнивой, самозабвенной любовью. Бывало, при нем хвалили отца, а он, вместо того чтобы радоваться, хмурился: ему казалось, что другие, восхищаясь Хайдаром Садыковым, словно бы обкрадывают его, Пулата. Он считал, что только ему дано знать, какой это замечательный человек! Лишь за матерью признавал он право делить с ним беззаветную любовь к отцу. И только любовь была в его сердце, тоски не было. Письма отца, вера Пулата в то, что он скоро окажется рядом с отцом, как бы скрадывали разделявшие их дали, у Пулата не было ощущения разлуки, во всяком случае, такого острого, как у Хайри. Он только ждал со все возрастающим нетерпением, когда же наконец останутся позади занятия в

школе, выпускные экзамены, все то, что мешало ему выполнить воинский долг. И его утешало сознание, что уже этим летом он непременно попадет на фронт!

«Я не посрамлю твоего имени, отец! — горячо прошептал Пулат, обращаясь к фотографии. — Буду тебе достойным сыном!»

Погруженный в раздумья и воспоминания, Пулат не услышал даже, как в комнату вошла мать. В руках у нее были тетрадки — собиралась, видимо, поработать, но, увидев, как задумался сын, не стала его тревожить, постояла с минуту в дверях, с мягкой, грустной улыбкой глядя на Пулата, и тихонько, осторожно отступила в темноту соседней комнаты.

Перед тем как лечь спать, Пулат еще раз перечитал письмо. И всю ночь не мог сомкнуть глаз — задремывал, снова просыпался... И то видел перед собой окровавленного Сережу, то чудилось ему, что он читает письмо, в котором Халил-ата, очутившийся почему-то на фронте, рассказывает Бахор, как Пулат взорвал вражеский мост, то в тяжком, беспокойном полусне он прощался с Бахор, то обнимал отца, вся грудь которого была увешана орденами. Они жестко кололи плечо Пулата. А под утро, когда он наконец погрузился в сон, похожий на забытье, ему приснился Тураханов. Он шел на Пулата, шевеля крохотными противными усиками, и Пулат занес уже было гранату, чтобы кинуть ее в Тураханова, и вдруг опомнился и во сне удивился: на кого же это он осмелился поднять руку? Ведь это не враг, это его сосед, коммунист! Но и во сне не покидала Пулата неприязнь к этому человеку, и он сам не мог понять, почему его так не любит?

Он проснулся разбитый, в холодной липкой испарине. Простыня, которой укрывался, была влажной от пота.

Откинув простыню, совсем обессиленный, он уснул снова.

Его разбудила мать. Она стояла, обеспокоенно склонившись над ним, щупала его влажный лоб:

— Что с тобой, сынок? Не заболел ли?

Пулат приподнялся:

— Все в порядке, мама. Дурной сон приснился.

— Пора завтракать. Одевайся.

Они обычно завтракали в саду, на супе¹, под старой

¹ Супа — прямоугольное глиняное возвышение.

яблоней. Пулат, одеваясь, видел в окно, как мать с пузатым самоваром в руках шла к яблоне. Годы не согнули ее, она держалась слишком даже прямо: немало лет пришлось ей выстоять за учительским столом, перед классом.

Умывшись, Пулат присоединился к матери. Есть ему не хотелось, он рассеянно обмакивал в свежие сливки зачерствевшую лепешку. Хайри, доев оставшийся от вчерашнего обеда наскоро подогретый плов, спросила:

— Что отец пишет?

— Ты разве не читала?

— Письмо адресовано тебе, сынок, ты должен был прочесть его первым.

Пулат ласково дотронулся до материнской руки:

— Оно на столе, мама. Прочти.

— Хорошо, прочту.

Пулат отложил лепешку, потянулся, хрустнув плечами:

— Ох, мама! Скорей бы на фронт, к отцу!

Она, любуясь, смотрела на сына большими, как у него, но светлыми, без печальной черноты, глазами, а когда он закашлялся, сердито напустилась на него:

— Вот!.. Кашляешь! Купался, наверно? Так и воспаление легких схватить недолго!

— Я здоров, мама. Так, продуло чуточку.

— Береги себя, сынок!

Пулат нахмурился:

— Я здоров.

Мать и сын, как это бывало каждый день, вместе пошли в школу.

Только они вышли со двора, как мимо них прогарцевал Тураханов, молодецкато восседая на коне, прочно впаяв в разукрашенное седло свое крепко сбитое тело. Он приветственно, с покровительственной фамильярностью помахал им рукой. Хайри ответила легким кивком. Пулат усмехнулся.

— Что ты, сынок?

— Так. Ничего.

— Не любишь ты соседа.

— А за что его любить? Все лучшие люди — на фронте, а он...

— По-твоему, на заводах, в колхозах и совхозах работают худшие?

— Это другое дело.

Хайри покачала головой:

— Ох, сын, что ты знаешь о людях? Я сама не в восторге от Тураханова. Но в районе его цепят: он хороший организатор. Энергии-то у него на двоих хватит!

— Я, мама, не район, у меня свое мнение.

— Достаточно ли обоснованное, сынок?..

Пулат промолчал.

6

Тураханов, лихо промчавшийся мимо Хайри и Пулата, выглядел, как всегда, бодрым и приветливым, но в душе его клокотали злоба и раздражение. Утром у него состоялось тяжелое, неприятное объяснение с женой. Тихая, робкая Зеби вдруг подала голос! Нелегко, видно, далась ей эта ее решимость. Она давно уже не заговаривала с мужем первая, трепетала перед ним, как кеклик перед охотником, да и сегодня не смогла преодолеть до конца страха и обычной застенчивости: голос ее дрожал, когда она говорила с мужем. Она ничего не требовала, лишь молила его о жалости, но даже эта смиренная мольба привела Тураханова в бешенство. Он воспринял ее как бунт, а к домашним бунтам он не привык!

Тураханов догадывался о причинах, заставивших Зеби пойти на этот разговор: в последнее время он слишком часто пропадал по вечерам у соседа, Халила-ата, и это, наверное, навело Зеби на ревнивые подозрения. Однако в разговоре с мужем она ни разу не упомянула имени Бахор, только сказала:

— Акрамхан-ака... Я знаю... Я надоела вам. Отпустите меня с миром, Акрамхан-ака...

Они разговаривали во дворе. Тураханов ждал, когда Зеби оседлает коня. Она стояла, отвернувшись от него, и голос ее звучал тихо-тихо. Тураханов тяжелым взглядом уставился ей в затылок:

— Это еще что за фокусы? Куда отпустить?

— Домой... К родным.

— Так... — еще не понимая, куда клонит жена, но закипая гневом, протянул Тураханов. — Не вовремя ты вздумала навещать родных.

— Я не навещать. Я... совсем...

Тураханов грубо схватил жену за плечи и повернул к себе. Зеби не подняла глаз. Лицо у нее было увядшее, усталое, даже не верилось, что всего несколько лет назад оно поражало всех своей свежей, тонкой красотой. Тура-

ханов с жестокой брезгливостью оглядел жену, усмехнулся:

— Так... Значит, требуешь развода?

— Разве я могу требовать? Прошу, Акрамхан-ака!

— Какая тебя муха укусила? Или шашни с кем завела?

Зеби наконец осмелилась взглянуть на мужа. Взор ее выражал беспомощность и удивление:

— Как вы можете так, Акрамхан-ака! Я ведь вижу... Я вам опостылела. Я вижу... Отпустите меня. Женитесь на той, кто вам по сердцу.

— Это что — ревность? — Извительный пафос звучал в голосе Тураханова. — Ай-яй. Не к лицу передовой узбекской женщине поддаваться такому недостойному чувству, как ревность.

— Прошу!.. — умоляюще воскликнула Зеби. — Поверьте, и вам, и мне будет лучше...

Лицо Тураханова побагровело:

— Вон оно что! И тебе? Значит, жизнь в моем доме тебе в тягость? Так я должен тебя понимать?

Зеби молчала.

— Тебя дома угнетают, притесняют? — с насмешливой самоуверенностью продолжал Тураханов. — Это ты хочешь сказать? И ты думаешь, кто-нибудь тебе поверит?

Зеби опустила голову.

— Я ведь не жалею, Акрамхан-ака. Я хочу как лучше...

— Ха!.. Как лучше! Для кого лучше? Хочешь позором покрыть мое имя, пятно положить на мой партбилет? Что люди станут говорить, об этом ты подумала? Нет, дорогая женушка, не выйдет! Выбрось из головы эту блажь. Лично я свой партбилет марать не дам, он у меня вот где! — Тураханов хлопнул себя по нагрудному карману серого френча. — У самого сердца! — Он властно отстранил жену от коня, но, увидев, как она изменилась в лице, немного смягчился, сокрушенно пожал плечами: — Ну чего тебе не хватает? Работать я тебя не заставляю, живешь — как сыр в масле катаешься. Сыта, одета.

— Взакерти живу! — вырвалось у Зеби.

Тураханов досадливо поморщился:

— Зачем такие громкие слова? Знаю, ты обижена на моих стариков. У них свои представления о том, как должна вести себя жена их сына. Возможно, устаревшие

представления. Но они уже в могилу смотрят. Что тебе стоит уважить их старость? Убудет тебя, что ли? — Он назидательно поднял палец. — Старость надо уважать! Я уж не раз говорил тебе об этом. А ты все свое. Иди, иди в дом. Я и так тут с тобой задержался. А у меня дел по горло. Я должен беречь свою энергию, а не тратить ее на домашние свары. Это ты можешь понять? Стунай!

Он выехал со двора злой, раздраженный. Если Зеби нелегко далась ее неожиданная решимость, то Тураханову стоило немалых усилий сдержать себя — со стороны и не видно было, какая буря бушевала в его душе.

О, когда нужно было, он умел держать себя в руках! Именно умением владеть собой, принимать в зависимости от обстоятельств любую личину и объяснялось то, что никто в кипшаке по-настоящему не знал Тураханова.

Жизнь Тураханова была надвое разгорожена высоким дувалом, окружавшим его дом и двор. За дувалом, на людях, это был энергичный работник, вдохновенный оратор, старавшийся словами и делами доказать свою преданность партии, приобрести в районе прочный авторитет. Дома же он превращался в послушного сына своих родителей, передавал в их руки бразды домашнего правления, что было для него небезвыгодно: он не нес ответственности за то, что творилось дома.

Тураханов был достойным духовным наследником своего отца, Муллы Турахана, сурового, властного, хитрого старика.

До революции Мулла Турахан ремесленничал, мастерил ичиги и держал на базаре скромную, но доходную лавчонку.

Революция мало что изменила в его положении. Он ничего не приобрел, но на первых порах ничего и не потерял. Он продолжал вести замкнутую жизнь мелкого ремесленника, снедаемого одной мечтой: накопить побольше денег и помочь сыну выбиться в люди.

Однажды в базарный день на городок, где он жил с семьей, напала басмаческая банда. Банде нужно было пополнить истощившиеся запасы, и басмачи нагрянули на базар. Поднялся переполох, базар опустел в мгновение ока. Все разбежались, бросив на произвол судьбы свой товар. Лишь Мулла Турахан остался в лавке, бледный, трясущийся от страха и в то же время полный отчаянной решимости до последнего вздоха защищать от бандитов

свое добро: жадность взяла верх над трусостью. Он закрыл лавку и мастерскую на все засовы, а сам притаился у двери, с замирающим сердцем прислушиваясь к глухому топоту копыт, к крикам и выстрелам, доносившимся снаружи. Когда в дверь сильно, настойчиво постучали, он отпрянул в дальний угол лавки и до крови расшиб висок об одну из полок. Стучали, оказывается, красноармейцы, успевшие к тому времени прогнать басмачей. Убедившись, что ему и его добру больше не грозит опасность, Мулла Турахан отомкнул запоры и, показывая на окровавленный лоб, сказал:

— Басмачи. Хотели ограбить.

Вокруг лавки уже собрался народ, на Муллу Турахана смотрели с уважением, как на героя. Красноармейцы не успели еще перевязать ему разбитую голову, а уж по всему базару разнеслась весть о доблестном поведении Муллы Турахана, мужественно оборонявшегося от басмачей.

Так Мулла Турахан прослыл «борцом за Советскую власть». И до того старательно раздувал распространявшиеся о нем слухи, что скоро и сам поверил в свои «революционные» заслуги.

Правда, лавку свою с болью в сердце и с немалой для себя выгодой он вскоре продал. Он сделал это ради сына, ради его славного будущего: в мечтах он видел сына большим человеком и понимал, что в новых условиях Акрамхану полезнее иметь отцом не мелкого торговца, а «деятеля», о котором можно писать в анкетах: «участвовал в борьбе с басмачами». Это была охранныя грамота на все случаи жизни.

Когда Акрамхан кончил школу, отец послал его учиться в Ташкентский университет. Жилось Акрамхану в Ташкенте вольготно, отец не жалел для него денег.

Через несколько лет Тураханов вернулся в кишлак, где после продажи лавки поселились отец с матерью, стал преподавать ботанику в местной школе. Человек он был способный, напористый, умел обратить на себя внимание и вскоре выделился среди своих товарищей по работе — его назначили завучем.

Мулле Турахану, опять же ради сына, приходилось жить двойной жизнью. Дом у них был полная чаша, сам Мулла Турахан любил говорить:

— Не для того я дрался с басмачами, чтобы мы в нужде жили.

Однако он не выставлял своего достатка напоказ, понимая, что за богатство теперь могут скорее осудить, чем похвалить.

Он был религиозен, аккуратно совершал намаз, держал пост — уразу, читал алаты, как истинный правоверный мусульманин. Однако боясь скомпрометировать сына, он все это прятал в четырех стенах своего дома. Выходил на улицу — привычки свои оставлял за дувалом. Он с легким сердцем благословил вступление сына в партию, охотно откликался на предложения пионеров той школы, где работал Акрамхан, прийти к ним на сбор, выступить с «воспоминаниями» о проклятом прошлом. Угрюмый, суровый вид старика придавал его рассказам особую убедительность.

Ради сына, продолжателя своего рода, Мулла Турахан был готов на все.

И сын, взбираясь вверх по крутой служебной лесенке, ни на минуту не забывал о том, кому обязан своим восхождением. Он жил иной жизнью, иными интересами, чем его отец, но слово отца было для него законом.

Правда, за все, чего удалось ему добиться, он был благодарен еще и самому себе. Он любил себя, верил в свое особое предназначение, не сомневался в том, что его, талантливого, энергичного, красноречивого, ждет блестящее будущее. Он считал себя достойным этого будущего и все силы, весь опыт, всю хитрость прилагал, чтобы как можно скорее добиться большего почета и власти.

Но пока только дома чувствовал он себя полноправным хозяином.

Он женился на тихой, трудолюбивой девушке — учительнице той школы, где сам был завучем. Родители одобрили его выбор: им по душе пришлась застенчивость, послушность невестки. Она была молода, красива и скромна. Даже в большие праздники, когда ее подружки наряжались в шелка и атлас, Зеби — так звали учительницу — надевала простенькое, аккуратно выглаженное платье. Оно, правда, шло ей куда больше, чем иным роскошные наряды; скромная одежда только оттеняла ее нежную, тихую красоту — так родника украшает лицо миловидной девушки. И многие мужчины заглядывались на Зеби. У нее была тонкая, словно выточенная из слоновой кости, фигурка, длинные волосы, заплетенные в две струящиеся косы, нежное, овальное лицо, темные, с мечтательной моволокой глаза в тени мохнатых ресниц, небольшие, пух-

лые, чуть полуоткрытые, будто ждущие счастья, губы... Но сама она, казалось, не подозревала, как красива. И Мулла Турахан, познакомившись с ней поближе, мудро угадал ее характер, сказал сыну:

— Невестка — клад. Женись, сын, коли она тебе по праву. Мы будем ей рады. Тихая — мухи не обидит. Работящая. Родители — голь перекатная. За счастье почтут, если мы примем ее в свой дом.

Зеби не сразу согласилась выйти замуж за Тураханова, хотя и испытывала к нему, к его энергии и решительности почти благоговейное чувство — самой ей не хватало как раз этих качеств. Но ее отец и мать, простые дехкане, которым лестно было породниться с Турахановым, дружно насели на дочь, и она сдалась. Сам Тураханов до свадьбы держался с Зеби как шелковый.

Робко вошла она в дом мужа, и ее робостью, безропотностью не преминули воспользоваться родители Тураханова.

Прежде всего они потребовали, чтобы Зеби бросила работу в школе. Однажды, когда она собралась идти в школу, дорогу ей преградил свекор:

— Ты куда?

— Как куда? У меня сегодня урок.

— Лаббай!¹ У нее урок! Как будто дома дел мало!

Зеби промолчала, закусив губу.

— Сыну жена надобна, хозяйка в доме, а не учителя-вертихвостка. Запомни.

— Вы хотите... чтобы я сидела дома? — ужаснулась Зеби.

— Лаббай! И посидишь, ничего не сделается. Хозяйство у нас большое, старухе с ним не управиться. Пускай жены бедняков чужих детей учат. Нам, слава богу, не приходится жаловаться на нужду.

В глазах у Зеби был испуг. Она проговорила дрожащим от обиды и волнения голосом:

— Меня государство учило пятнадцать лет не для того, чтобы я заточила себя в четырех стенах! Я в долгу перед народом. У меня... ребятишки, их учить надо!

— Нарожаешь своих — с ними хлопот достанет. О долге жены забыла? Пойдешь в школу — прокляну!

¹ Л а б б а й — восклицание, соответствующее русскому «скажите, пожалуйста!» или «еще что?!».

И столько властности было в словах, в этом пасмешливом «лаббай», во всем облике свекра, что Зеби повернулась и вся в слезах убежала в свою комнату.

«Нет, нет! — говорила она себе. — Этого не может быть! Сейчас не прежние времена. Бросить школу! Да я и дня не проживу без моих сорванцов. Ребятки мои дорогие! Я еще приду к вам, буду учить вас всему, что знаю сама. Мы будем ходить в походы, петь звонкие песни. Я научу вас любить цветы, птиц и солнце! Как же я без вас?.. Я не смогу без вас! Вот вернется Акрамхан-ака, и все уладится».

Но прежде Зеби пришлось выдержать еще одну схватку с Муллою Тураханом. Возвратившись с базара, где он тайком продавал дыни с приусадебного участка, Мулла Турахан вошел в комнату невестки, присел на постель рядом с плачущей Зеби, сурово-ласково погладил ее по плечу, сказал со скрипучим смешком:

— Зачем сырость разводишь, дочка? Утри-ка слезы. Кто тебя обидел?

Зеби повернула к нему заплаканное, измятое подушкой лицо:

— Вы разве рабыню брали в дом?

— Все мы рабы перед аллахом! — вздохнул Мулла Турахан. — Аллах учит нас терпению.

Ужас метнулся в глазах Зеби:

— Какой аллах? Что вы говорите? Я не верю ни в какого аллаха!

— Ты не веришь — другие верят. Я верю. Надо уважать веру других. Этому и новая власть учит.

— Вы-то со мной не хотите считаться!

— В нашем доме тебе ни в чем нет отказа. Лаббай, неужели тебе чужие дети дороже мужа, родного дома? И у тебя хватит совести переложить на стариков все заботы по хозяйству? Тогда ты — неблагодарная тварь! — Он встал, глаза его блеснули жестко и гневно. — Жена мужа — хозяйка в доме. Так ведется исстари. Не нами выдуманы наши обычаи, их веками создавал народ по воле аллаха, вдохнувшего в него мудрость!

Зеби смотрела на свекра широко раскрытыми глазами, не в силах постичь смысла его суровой, назидательной речи, не в силах поверить в реальность происходящего. Это был кошмар, тяжкий кошмар! А Мулла Турахан продолжал говорить то строго, то вкрадчиво, и каждая его фраза

больно рапила нежную, робкую душу Зеби острым камнем, холодной льдинкой...

— Женщине самой судьбой уготована сладкая доля верной, покорной жены, заботливой хозяйки, любящей матери. Разве это не разумно, дочь моя? Если все наши жены поступят на службу — дома придут в запустение, сады засохнут.

— Я столько лет училась! — с отчаянием выкрикнула Зеби. — Ради чего?

— Твои родители, я смотрю, слишком уж пеклись о тебе. Мне вот не довелось доучиться, и я не жалуясь. Проучился год в медресе — пришлось распрощаться: надо было на кусок хлеба зарабатывать. Но я не жалуясь! И тебе грех жаловаться. У тебя достойный муж. Достаток в доме. Береги и приумножай его!

— Сидя взаперти дома?

— Лаббай! Дома! Не к лицу замужней женщине шляться по кишлаку и улыбаться каждому встречному.

— Акрамхан-ака не допустит, чтобы я ушла из школы!

— Наш сын не станет противиться воле родителей.

Взгляд свекра был суров и безжалостен. А еще уловила в нем Зеби мстительное торжество. Этот взгляд словно говорил: да, я не учен, а ты образованная, но моя воля — закон для тебя. Ты учение меня, я — сильнее тебя, я опущу тебя до себя, и этим поднимусь над тобой!

Старый Мулла Турахан хоть и был красноречив, но еле умел читать и писать. Когда-то он слыл самым грамотным человеком в кишлаке, а нынче оказался самым малограмотным. И это мучало его. Злобное его самолюбие не могло допустить, чтобы невестка задирала нос перед ним, Мулла Тураханом, стариком, главой семьи! Не быть ей учительницей. Не быть! Не быть!

И он злорадно следил за тем, как бледность разливалась по лицу Зеби и голос ее становился все тише, возражения все нерешительнее. Тьма побеждала свет!

Зеби молчала. Она чувствовала себя так, будто на нее против воли надели паранджу, и было трудно дышать, было душно, и свет померк перед глазами. У нее оставалась одна надежда — на мужа.

Тураханов пришел домой вечером. Он сочувственно выслушал взволнованный, беспорядочный рассказ Зеби о ее разговоре со свекром и беспомощно развел руками:

— Что поделаешь, родная! Старые люди живут по мысли по-своему. Поздно вато их перевоспитывать.

— Значит, смириться? — потерянно спросила Зеби. — Дать прошлому побороть себя? — Она с робкой мольбой взглянула на мужа. — Как вы, коммунист, можете мне это советовать?

— А коммунист — не человек? Коммунисту не положено любить и почитать свою мать, своего отца?

— А меня вы любите? — еле слышно спросила Зеби.

— Не любил бы — не женился. Пойми, мне лично и тебя жалко, и стариков. У старого уклада крепкие корни, сразу их не вырвешь. Тут нужен осторожный подход. Мои старики только и мечтали о том, что кто-то поддержит их в старости. Уж так ли трудно помочь им по хозяйству? Сколько наших женщин посвятили свою жизнь дому, семье — никто еще от этого не умер. Возможно, это жертва, так ведь всем нам приходится чем-нибудь жертвовать — ради страны, ради семьи, ради близких. Ты хоть обо мне подумай! Я, ей-богу, горю на работе — так и сгореть недолго. Имею я право на домашний уют, покой, на заслуженный отдых? А кто обеспечит мне это, кроме любимой женушки? А?.. Я тебя понимаю, ты воспитана Советской властью, ты в долгу перед ней. Но поверь, страна не пострадает, если ты станешь... ну, скажем, домашней хозяйкой. Это ведь тоже высокая должность! А я буду работать за двоих — за тебя и за себя. И мне будет куда легче, если я буду знать, что дома у меня все в порядке, есть на кого положиться. Зарботка моего мне, думаю, хватит, чтобы прокормить семью. Ты проще смотри на вещи. Не устраивай трагедий из-за пустяков.

— Я ведь могла бы и работать в школе, и хозяйством заниматься, — сказала Зеби.

Тураханов словно бы изумился:

— За кого ты меня считаешь? Что я, деспот, что ли? Нет, я не допущу, чтобы ты надрывалась.

Зеби не могла вымолвить ни слова. После длинной тирады мужа ее охватили не гнев, не жажда борьбы, а тупое безразличие. Пустяки... Все — пустяки! Она попала в капкан, из которого уже не вырваться, и ей теперь все равно! Ей казалось, что весь мир навалился на нее, хрупкую, слабую, и не было сил сопротивляться...

На другое утро она слабым голосом сообщила мужу, что пойдет в школу подать заявление об уходе.

— А зачем тебе самой ходить? — мягко сказал Тураханов. — Эта процедура довольно неприятная. Будет лучше, если я сам все оформлю.

— Что же мне теперь из дома — ни на шаг? — вяло усмехнулась Зеби.

— А знаешь, — Тураханов засмеялся, — мне лично так будет спокойней, ей-богу! Ты слишком красива для того, чтобы показываться людям. — Он придал своему лицу влюбленно-лукавое выражение. — Я ведь тебя ревную, Зеби! Можешь ты в это поверить? Ревную, как мальчишка!

Он так искусно свел тяжелое объяснение к ласковой, лестной для Зеби шутке, что ей оставалось только вздохнуть и вверить свою судьбу в руки мужа.

В первые годы их совместной жизни это были нежные, горячие руки, способные и приласкать, и обнять — крепко и страстно. Любовь мужа скрашивала унылое существование Зеби. Но скоро она начала блекнуть, увядать, измученная тиранством свекра и свекрови, домашними заботами. И по мере того как сгибались под домашней ношей ее плечи, желтела кожа — в объятиях мужа оставалось все меньше пыла и ласки.

Зеби обещали, что она будет хозяйкой в доме, а сделали ее покорной служанкой.

Свекрови было не до хозяйства: слишком много времени отнимали у нее молитвы. Старый Мулла Турахан тоже усердно совершал омовения и намаз, а не то пропадавал целыми днями на базаре. Их домашние обязанности сводились к тому, чтобы постоянно, изо дня в день, внушать невестке, какой должна быть примерная жена, учить ее уму-разуму и требовать от нее беспрекословного послушания.

Зеби равнодушно, опустошенно подчинилась этому требованию. Она ухаживала за садом и огородом, следила за порядком в комнатах, подметала двор, пекла лепешки, доила корову, рубила дрова и делала все это с присущим ей прилежанием и старательностью. Но аппетиты стариков все росли. Они хотели, чтобы невестка прислуживала им, как это бывало в старину, и Зеби, пересилив себя, стала сливать им воду на руки, когда они умывались, чистить их обувь, заправлять чилим, который курили оба. Порой у нее дрожали губы от обиды и унижения и слезы павертывались на глаза, но она смиряла себя, сама не зная, во имя чего. Она просто не способна была на протест. Казалось,

она унаследовала от прошлого всю терпеливость, рабскую смиренность, которые до революции были уделом узбекской женщины.

В доме Тураханова прочно стоял затхлый запах старины. Нови старики не принимали, хотя и тисцились к ней приспособиться.

Бывало, Мулла Турахан начинал с завистью вспоминать, как жили когда-то его соседи — торгоши и баи. Сып усмехался, слушая эти рассказы, но в спор с отцом не вступал. А отец, подметив его усмешку, вздыхал:

— Ты думаешь, сынок, я жалею о прошлом? Чего о нем жалеть? Было — сгинуло, слава аллаху! Эх-х-хе, я моей хилой торговлишкой никогда не сколотил бы капиталов. Нет, сынок, счастье было не про нас. Вот и пришлось силой отымать его у баев.

— Верно, верно, — кивала мать, маленькая, сухонькая, со сморщенным, как невыдубленная кожа, лицом. — Отец завоевал для тебя счастливую жизнь, живи в свое удовольствие. Слава богу, нынче для тебя все пути-дороги открыты.

Тураханов снисходительно, но не без тайного удовольствия внимал речам своих родителей. Старики словно подтверждали его право на какое-то особенное положение в жизни, возлагали на него большие надежды, и он всеми силами старался их оправдать.

Правда, его сластолюбие (охладев к Зеби, он стал искать земных утех на стороне) чуть не довело Тураханова до беды. Но его уже тогда ценило начальство как энергичного работника, и дело кончилось тем, что Тураханова перевели в другой район и назначили завучем школы в кишлаке Бахмал.

Надо сказать, что Тураханов прослыл работником не только активным, но и политически бдительным. После событий 1937 года в районе было репрессировано несколько видных коммунистов — многие подозревали, что тут не обошлось без Тураханова.

подавив свои страсти, он всего себя отдал работе, и его сделали директором. Школа вскоре вышла в число передовых, сам Тураханов благодаря своей деловитости и ораторскому таланту оказался на виду у областного руководства, и в начале войны, когда ушел на фронт отец Пулата, на его должность в райкоме был рекомендован Тураханов.

Тщеславной радости его родителей не было границ.

— Вот теперь заживешь, как тот бай! — весело сказал Мулла Турахан. — Слава богу, не последний человек у Советской власти. Сам власть.

И тогда Тураханов, может быть впервые за всю свою жизнь, оборвал отца:

— Не понимаете момента, отец! У народа беда. Я коммунист, горе народа — мое горе. Учитите, на базар больше ни ногой! На моей выпшке меня теперь всем видно. В общем, будьте поосторожней. Придется потерпеть, отец...

Старый, мудрый Мулла Турахан не разгневался на сына. Тот его отчитывал, а он согласно, понимающе кивал головой.

Тураханов повел строгий образ жизни, стал еще реже бывать дома, на работе развивал бешеную деятельность, не требовал для себя никаких льгот и привилегий, даже одевался подчеркнуто скромно, и вид у него был подвижнически-суровый. Казалось, он во всем себя ограничивал. Только дома он порой давал себе волю. Прежде всего это отзывалось на послушной, безответной Зеби. Чем большую она выказывала безропотность, тем разнузданней держался с ней Тураханов. Куда только девалась прежняя его обходительность, чуть приторная, чуть сладострастная, но обезволивающая ласковость!

Убедившись, что жена смирилась с ролью служанки и никому не станет жаловаться на свое унижительное положение, Тураханов совсем перестал с ней считаться, помыкал ею, как хотел.

Жизнь в доме мужа стала для нее мукой. Она была несчастна и одинока. И прежде-то Зеби из-за своей застенчивости сторонилась людей, теперь она избегала их уже умышленно — не хотела выставлять напоказ жалкую свою униженность. Ей было бы легче жить, если бы она родила ребенка, но детей у них с мужем не было, и Тураханов не упускал случая попрекнуть Зеби и этим.

А тут наплыло на ее жизнь еще одно темное облако. Она заметила, скорее, даже сердцем почувала, что муж увлекся юной соседкой Бахор. Наученный прошлым горьким опытом, он умело, тщательно скрывал это свое увлечение, даже родителей уверял, что заглядывает к кузнецу так, на огонек: ему, руководителю, просто-таки положено общаться с простыми тружениками. Но Зеби нельзя было обмануть, измученное сердце особенно чутко. В этом сердце не было ревности: Зеби сперва почувствовала как бы

тупой удар — еще одна обида и унижение! А потом пришло облегчение: она больше не нужна мужу, его новое увлечение словно бы обещало Зеби свободу, наконец-то она сможет вырваться из своей душной темницы!

Но плохо она знала своего мужа. Ее мольба о свободе разъярила и испугала Тураханова. Он боялся скандала, который был сейчас совсем не ко времени! Тураханов не имел права на риск. Он не мог допустить, чтобы «из-за баб» в один миг разлетелся в цух и прах с таким трудом завоеванный авторитет, рассыпалось все, что создавалось годами.

У него, правда, и в мыслях не было отказаться от своих посягательств на Бахор. Его сластолюбие искало выхода, он был бессилен перед своим темным, упрямым чувством к этой смазливой девчонке. Но Бахор надо приручать терпеливо и осторожно.

«Терпение! Осторожность!» — говорил себе Тураханов.

Это, однако, не помешало ему вечером того же дня, когда у него состоялся неприятный разговор с женой, отправиться к Халилу-ата. Он шел туда и убеждал самого себя, что в таком добрососедском визите нет ничего особенного и братские безобидные встречи с Бахор не таят в себе риска.

7

Халил-ата любил, когда к ним заглядывал Тураханов. Не то чтобы ему льстило внимание такого ответственного лица, нет, он далек был от чинопочитания: как всякий честный труженик, он обладал высоким чувством собственного достоинства и гордился своей профессией — трудной, веселой, пужной людям профессией кузнеца. Был он невысок, худощав, зато природа и работа наградили его широкими плечами и руками, большими и сильными. Даже когда они оставались неподвижными, в них угадывалась недюжинная сила. Это были руки рабочего человека, богатыря-умельца.

Однако с чувством рабочей гордости в его душе мирно уживалось наивное преклопение перед учеными, начитанными людьми. Кузнеца живо интересовало все, что происходило на белом свете. Но грамоты он не знал и с жадностью, с детским восхищением внимал рассказам Тураханова, который мог за вечерним чаепитием разразиться

целым докладом о международном положении. И как говорил — заслушаешься!.. Слова будто сами лились из его уст, круглые, складные — недаром же Тураханов был когда-то учителем!

Вот и теперь Халил-ата встретил Тураханова с искренним радушием. Прижав руки к сердцу, он провел гостя в бедно обставленную, но чисто прибранную комнату. Обветшавшая мазанка кузнеца состояла всего из двух комнат. Двор был маленький, неказистый. А приземистый, растрескавшийся от времени дувал столько раз латали, что он выглядел, словно лоскутное одеяло. Давно бы уж пора было кузнецу перебраться в новый дом, только новых домов в Бахмале раз-два — и обчелся. Кишлак был старый, колхоз начал строиться лишь перед самой войной, и она помешала строительству, пришлось отложить его до лучших времен. Халил-ата так и остался жить в ветхой мазанке. Но он не стыдился своей вынужденной бедности — весь народ бедовал в эти тяжкие, полные лишений годы, и двери дома, где ютились Халил-ата и Бахор, всегда были открыты для друзей и соседей.

Халил-ата усадил Тураханова на потертый ковер посреди комнаты и вышел во двор поставить самовар. А потом они неторопливо пили чай и степенно толковали о всякой всячине — о колхозных делах, о шайтане Гитлере, которому крепко доставалось от красноезвездных джигитов, о коварных союзниках, медливших с открытием второго фронта, и о многом другом. Тураханов то и дело поглядывал на входную дверь. И когда в дверях появилась Бахор, строгое лицо его просветлело, он приветливо поздоровался с девушкой. Халил-ата спросил:

— Что так припозднилась, дочка?

— Занималась, отец. — Бахор прошла в угол и положила на маленький колченогий столик стопку тетрадей и учебников.

Тураханов поднял бровь:

— Опять с этим... гм... сыном Садыкова?

— Что ж тут такого, сосед? — вступился за дочь Халил-ата. — Пулат — славный малый. Уж такой умница! Они всегда вместе занимаются.

— Ай, атаджан, я ведь не хотел сказать ничего дурного, — досадливо поморщился Тураханов. — Я только боюсь, как бы людская молва не истолковала превратно эти их... гм... совместные занятия. К лицу ли молодой де-

вашке проводить столько времени с посторонним юношей?

— Какой же он посторонний? — весело удивился Халил-ата. — Это наш хороший сосед.

— Так-то оно так. Но ведь у нас даже на жениха и невесту, если они все время вместе, и то смотрят косо.

— Э, воробьев бояться — просо не сеять, — добродушно засмеялся кузнец и погладил свою узкую белую бородку. — Пулат еще мальчишка, молоко на губах не обсохло. Пускай дружат!

Бахор из-за плеча метнула на отца сердитый взгляд и вновь склонилась над своим столиком.

— Мальчишка!.. — пробормотал Тураханов, хмуря брови. — Самый опасный возраст. Самый, так сказать, настояжывающий!

— Ты пойми, экзамены у них вскорости, — убеждающе сказал Халил-ата, — вот они и корпят над книжками. Гляди, какое дело — войпа идет, такая беда на нас свалилась, а дети мирно учатся, готовятся к счастливому будущему. Я слыхивал, будто бы в селах, вырванных из фашистских лап, первым делом школы открывают. Верно это?

— Верно, атаджан, — солидно кивнул Тураханов. — Мы, воюя, думаем о мире.

— Слыхала, дочка? — Халил-ата обернулся к Бахор. — Святые слова. Смотри, не подведи народ, который так о тебе печется. Учись хорошенько! — И, снова обращаясь к Тураханову, добавил: — За нее-то душа у меня покойна. Уж так старается, совсем извелась. Ночами и то читает, уткнется в книжку — не оторвешь. Как бы глаза не испортила.

Тураханов чуть заметно усмехнулся, вздохнул:

— Мне бы ее заботы, атаджан!.. Ей-богу, мне частенько снится один и тот же сон: будто я снова школьник, сижу за партой, и учитель словно сказку какую рассказывает... Проснешься — сказка оборачивается трудными буднями. От души завидую тебе, Бахорхон!

— Чему ж завидовать? — отозвалась Бахор. — У вас такая интересная работа. Все время с людьми!

— Люди-то, они — разные, — опять усмехнулся Тураханов. — Мало ты жизнь знаешь, Бахорхон! М-да... Ну, а работа, конечно, интересная, в этом ты права. Только то, что она интересная, просто не замечаешь: некогда! Ей-богу, порой нет времени голову почесать. Что от нас, от-

ветственных работников, требуется в первую очередь? Оперативность и еще раз оперативность! Вот и получается: Тураханов то, Тураханов это, Тураханов тут, Тураханов там. — Он с удовольствием произносил свою фамилию. — Нужно где заткнуть дыру, берут за бока Тураханова. Скоро на строительство Галабагэс отправится новая партия дехкан. Кому ее возглавить? И здесь, видно, не обойдутся без Тураханова. Все мало-мальски важные и сложные дела проходят через мои руки. И конечно, приятно сознавать, что тебя цепят. Как сказал один наш работник, мол, ваши указания, товарищ Тураханов, сладки, как мед, ваши решения светлы, как солнце. Прямо поэт!.. Понимаю: типичный подхалимаж. А все-таки по-человечески приятно! Но всему судя, недолго уж мне оставаться в райкоме. Вот подтяну наш участок на стройке, выведу его на первое место — глядишь, пригласят на работу в область. Только не подумайте, дорогие, что я гонюсь за повышением. Естественно, когда поднимаешься ступенькой выше, самого тебя лучше видно. Но не это главное. Главное, что тебе больше видно, обзор шире, и можно принести больше пользы народу. Так-то, дорогие мои друзья.

Халил-ата был благодарным собеседником, сам помалкивал, слушал разглагольствования Тураханова с доверчивым вниманием. Когда тот жаловался на тяготы своей работы, сочувственно цокал языком. Доброта была главным свойством его характера: открытое лицо кузнеца выражало обычно крайнюю степень доброжелательности, и черты лица были мягкие, несмотря на застывшие морщины, из-за которых кожа походила на коричневую, растрескавшуюся от зноя землю.

Бахор, затаившись в своем углу, с интересом прислушивалась к беседе старших: для нее, юной, неопытной, жадной до всего нового, такие разговоры были настоящим откровением.

— Что правда, то правда, сынок, — сочувственно сказал Халил-ата. — Большая должность — большие заботы. Тебе, поди, домой-то некогда заглянуть...

Тураханов насупился:

— Э, дорогой друг, о доме со мной лучше не говорите.

— Стряслось что? — встревожился кузнец. — Ты расскажи, не стесняйся, мы ведь свои люди.

Тураханов бросил быстрый взгляд на Бахор, тяжело вздохнул:

— Вам, атаджан, я могу открыть душу. Ей-богу, вы мне ближе всех родственников. я у вас чувствую себя, как дома. М-да... Вам часто доводится видеть мою жену?

— Нелюдима она у тебя, сынок.

— Верно. Затворница. В том, конечно, доля и моей вины, я должен был воспитать в ней общительность, общественную активность. Но все другие дела отвлекали, более важные. Вот и проглядел жену. Опомился — поздно. Она стала мне совсем чужой, и, чем дальше, тем все глубже пронасть между нами. Это, атаджан, самое большое мое несчастье. Уж вы простите мне откровенное признание — я не люблю Зеби. А жить с нелюбимой женщиной — несчастье. Но что делать? Развестись?.. Милко бедняжку! Куда она денется? Ведь она-то меня любит, какая бы она ни была — но любит!.. М-да... Вот писатели в своих романах заставляют героев страдать от безответной любви. Так это пустяки по сравнению с обратной ситуацией: когда тебя любят, а ты — нет. Врагу такого не пожелаю! Положение, надо сказать, почти безвыходное, не у всякого хватит воли и решимости нанести тяжкую рану человеку, с которым ты прожил бок о бок столько лет! А почему так все получилось? На правах старшего я хотел бы, атаджан, предостеречь вашу дочку от опрометчивых шагов. Пусть мой горький опыт послужит ей серьезным предупреждением. Я ведь женился-то сгоряча, принял увлечение за любовь, да и пожалел Зеби. Она-то голову от любви потеряла. И вот результат: и я мучаюсь, и жена! Она ревнует меня ко всем женщинам мира! Не жизнь — каторга. Да, дорогие мои, необдуманный брак — всегда и неудачный. Тут надо семь раз отмерить, один — отрезать. Я бы, конечно, развелся с женой, если бы встретил девушку по душе, — Тураханов опять взглянул на Бахор, — но каких бы мне это стоило страданий! Глубже всего страдаешь, причиняя страдания другим. М-да... Сложно все это, куда как сложно! Остерегайся, Бахорхон, слепого чувства. А в молодости чувство всегда слепое. Не доверяйся ему, это я тебе советую, как старший брат!

Исповедь Тураханова растрогала Бахор, разжалобила доброго Халила-ата. Несладко, видать, приходится соседу, думал кузнец. Выходит, и у больших работников может неудачно сложиться личная-то жизнь. Ему бы другую жену, достойную такого мужа. Эх-хе-хе, будь сосед свободен, да будь Бахор повзрослей, он, Халил-ата, с легкой

душой отдал бы ее за Турахапова. Золотой человек!.. Уж такой работяга и в обращении прост, не кичится своим положением, не пыжится, не раздувается от гордости, как иные горе-руководители. А как почителен со своими родителями! Люди они, конечно, темные, это Халил-ата давно заметил, но они старики, а старость заслуживает уважения. И кузнецу правилась та уважительность, с какой Тураханов всегда говорил о своем отце, о матери. Он и к Халилу-ата относился с сыновним почтением, прислушивался к его словам, хотя уж куда было простому кузнецу тягаться с Турахановым, ученым, образованным человеком!

Правда, последние фразы Турахапова несколько насторожили Халила-ата. Уж не на Пулата ли он опять намекал? Бог знает, что ему мерещится! У Бахор и Пулата давняя, чистая соседская дружба. И никто еще не решался поднять на нее руку. Пускай дружат и дальше. Он, Халил-ата, верит своей дочке, она не нуждается ни в чьих предостережениях. И Пулата он не даст в обиду. Ведь Пулат ему — как сын...

8

Халил-ата и правда любил Пулата, как родного сына. Ведь это сын его друга — несмотря на разницу в возрасте, Халил-ата и Хайдар были большими друзьями. Халил-ата помнит день, когда родился Пулат. Тогда еще басмачи ранили Хайдара и весь кишлак переживал за него, а больше всех Халил-ата. Через год и у него в доме раздался крик новорожденной, но жена кузнеца умерла в тяжких родах. Его горе разделили с ним соседи, Хайдар и Хайри, принявшие живое участие в судьбе девочки.

Они жили даже не как соседи, а как самая близкая родня. А с той поры, как ушел на фронт Хайдар, не проходило дня, чтобы кузнец не навещил соседей. И писем от Хайдара он ожидал с не меньшим беспокойством и нетерпением, чем Хайри и Пулат.

Узнав от дочери, что Пулат получил письмо с фронта, от отца, Халил-ата на другой же день, как только управился с работой, поспешил к соседям. Хайри еще не было дома. Пулат и Бахор, обложившись учебниками, сидели во дворе, у хауза, под молодым талом. Когда-то Хайри сама посадила это дерево. Завидев Халила-ата, Пулат бросился ему навстречу. Кузнец и юноша, словно мерясь силами,

стиснули друг друга в крепких объятиях — Халил-ата обычно сам затевал эту игру. Сделав вид, что не может выдержать железной хватки Пулата, он легонько похлопал юношу по спине:

— Палван, богатырь! Ну-ка, отпусти, раздавишь. Скорей показывай, что отец пишет!

Пулат сбегал за письмом отца и прочитал его вслух старому кузнецу. Бахор уже читала это письмо, но слушала Пулата с жадным вниманием, и слезы стояли в ее глазах. Халил-ата серьезно, задумчиво смотрел на Пулата, машинально поглаживая свою белую бороду. Когда Пулат кончил читать, кузнец сказал:

— Твой отец — герой!

Пулат покраснел:

— А Сережа?.. Все, кто на фронте, — герои!

— Знаю, знаю, сынок, о чем твоя думка, — понимающе сказал Халил-ата. — На фронт рвешься? Усмеется, родной. Вот окончишь школу — Родина сама позовет. А пока выполняй отцовские заветы. — Старик бросил взгляд на беспорядочно разбросанные тетради и учебники, придирчиво осмотрел двор. — К экзаменам, я гляжу, вы готовитесь на совесть. А матери помогаешь?

— Помогает, помогает! — с жаром откликнулась Бахор.

— А ты за него не отвечай, у него своя голова на плечах. Я вижу, грядки у вас не вскопаны. Давай-ка кетмени, сынок!

Они разобрали кетмени и лопаты, принесенные Пулатом; Халил-ата, заткнув за бельбог, поясной платок, полуяхтака, легкого летнего халата, пошел с юношей на огород. Там они принялись окучивать молодые, в колючих пупырышках огурцы, помидоры, пустили воду на грядки с луком — его тонкие зеленые копыя, пронзив землю, неудержимо тянулись к солнцу. А Бахор побежала к цветнику, разрыхлила землю вокруг роз, уже выпустивших бутоны и листья, полила хну и райхон.

За этим занятием и застала их Хайри, вернувшись из школы. Она радушно поздоровалась с Халилом-ата, поцеловала в лоб сына и Бахор, обеспокоенно сказала:

— Сынок! Опять ты в одной рубашке. Ведь кашляешь!

— Кашель прошел, мама! — уверил ее Пулат и тут же мучительно, надрывно закашлялся.

— Вот видишь! — рассердилась Хайри. — Ох, дети, дети, как вы беспечны!

Она положила на супу, висившуюся возле хауза, старенький пухлый портфель, прошла в дом, вынесла оттуда пиджак и накинула его на плечи сына.

— Обедали, сынок?

— Нет, мама, ждали тебя.

— Хорошо, я сейчас поставлю самовар. Кажется, у нас от завтрака мастава¹ оставалась?

— Да, мама.

Халил-ата осуждающе взглянул на Хайри:

— Ох, дочка, сына в безопасности упрекаешь, а сама... Обедаеть остатками от завтрака...

— И завтрак-то Пулат готовил! — рассмеялась Хайри. — Некогда сейчас хозяйством заниматься, атаджап. Днюю и ночую в школе: скоро экзамены. Детям трудно приходится, нам, учителям, еще трудней. Ведь вместе с детьми и мы держим экзамен! Вот увидим, насколько надежно подготовили мы наших питомцев к жизни, смогли ли раскрыть в каждом жизненное призвание. За Бахор я не беспокоюсь, она выбрала себе ясную, прямую дорогу. — Хайри достала из портфеля тоненькую ученическую тетрадку. — Вот ее последнее сочинение. Написала она его на пятерку, но не в этом дело. Тема сочинения — «Кем я хочу быть». Можно я прочту, Бахор?

— Не надо, Хайри-апа!

— А ты не скромничай. Ведь я уж зачитывала его в классе. Вот послушайте. — И, не обращая внимания на протесты девупки, Хайри прочитала первые строки: — «Нет благородней профессии, чем профессия врача. В руках врача — жизнь больных. Огромный мир их чувств и мыслей, их будущее, их мечты и свершения. И если мне удастся спасти жизнь архитектору и он потом построит чудесное здание, мне будет казаться, что это и я его строила, ведь без меня, без врача, такого здания могло и не быть. И если писатель, вырванный мною из лап смертельного педуга, напишет прекрасный роман, это будет и мой роман! Врач — незримый участник всего, что делают спасенные им люди». — Хайри ласково взглянула на Бахор. — Молодец, девочка! Ты будешь хорошим врачом!

Халил-ата крикнул и с укоризной посмотрел на дочь. Та отвернулась.

¹ Мастава — рисовый суп с мясом.

— Ладно, — несердито пригрозил Халил-ата. — Дома мы с тобой поговорим.

— В чем дело, атаджан? — удивилась Хайри.

— Спасибо, соседushка, что открыла мне глаза.

— Да что случилось?

— А ничего особенного. Это касается только нас двоих. Так сказать, внутренние дела. А твой Пулат кем мечтает быть?

Хайри сокрушенно вздохнула:

— У него одно на уме — фронт, фронт...

— Мама! — с упреком возразил Пулат. — Ты же должна понимать... Профессию я успею выбрать и после войны. Сейчас самая нужная и почетная профессия — солдата, война!

— Я все понимаю, сынок... И хватит об этом. — Хайри повернулась к Халилу-ата. — Вы меня обождите, я принесу маставу. Надеюсь, не побрезгуете моим скромным угощением?

— Спасибо, дочка, я ведь обедал. Вот у Бахор с утра росинки во рту не было. Но уж разреши, соседка, я сам сегодня вас угощу — дома у меня есть немного риса, состряпаю-ка я для вас плов!

— Не стоит беспокоиться, атаджан! — смешалась Хайри. — Слава богу, не голодаем.

— Да ведь доброго плова-то давно не едали! Я уж такой сготовлю — всем пловам плов, царь-плов! — Он встал, побряхтывая, с супы и направился было к калитке, но Хайри остановила его:

— Я вам помогу, атаджан.

— А что там помогать? У меня все приготовлено. Вы занимайтесь своими делами, чаевничайте. Я быстро обернусь! А маставу не ешьте, не перебивайте аппетита.

После ухода Халила-ата Хайри раздула самовар. Вместе с Бахор они застелили супу чистой скатертью и принялись готовить салат: Бахор, присев у арыка, мыла помидоры, лук и огурцы, Хайри мелко нарезала овощи в большую фарфоровую миску. Пулат принес из дома черный и красный перец, соль и лепешки.

— Как молвит пословица, честный труд — сочный плод, — сказала Хайри. — Видишь, какие овощи вырастил мой сын!

— На нашем школьном участке тоже поспели помидо-

ры, — похвасталась Бахор. — Пулат настоял, чтобы мы пораньше их посадили, вот они рано и созрели.

Некоторое время они молчали; Хайри крошила лук. Вдруг Бахор с упреком сказала:

— Хайри-апа! Зачем вы прочитали отцу мое сочинение?

— А что тут такого?

— Он же... Он ведь не знал, что я мечтаю быть врачом, я ему ничего не говорила.

— Не знал — теперь знает, — спокойно проговорила Хайри.

— В том-то и дело! Он же мне покоя не даст, будет требовать, чтобы я поступила в медицинский институт. Он так хочет, чтоб у меня было высшее образование!

— Ну и поступишь, — с прежней невозмутимостью сказала Хайри. — Что ты так волнуешься?

— Я не хочу в институт! — чуть не выкрикнула Бахор.

Хайри с недоумением взглянула на девушку:

— Что-то я тебя не пойму. Ты ведь хочешь быть врачом?

— Хочу. Но не сейчас. Потом, когда кончится война.

Пулат одобрительно кивнул — видно, горячие слова Бахор нашли живой отклик в его душе. Хайри покачала головой:

— Ох, дети, дети! Что мне с вами делать? Вы оба правы. Но ведь и во время войны кто-то должен учиться! После войны стране понадобятся и врачи, и инженеры, и учителя... Нельзя, чтоб война засломила нам будущее! Разве в бурю люди бросают работу на полях? Они сражаются с бурей и верят в солнце! Пойми, дочка, уж как мне тяжело — муж на фронте, сына скоро призовут в армию, — а я учу детей. Гроза пройдет — я уж вижу, как из-за черных туч пробиваются лучи солнца! Ведь солнце — вечно.

— Я понимаю, Хайри-апа, все понимаю! — пылко произнесла Бахор. — Но я не могу... Я должна работать для фронта, для победы.

— Что же ты собираешься делать?

— Ну... Буду работать в колхозе, хоть какую-то пользу принесу. А может, поеду на строительство Галабагэс. Турраханов говорил, скоро туда отправится новая партия бахмальцев. Акрамхан-ака будет руководителем этой группы от райкома...

У Пулата брови слились в одну сплошную черную полосу, глаза ревниво и грозно сверкнули из-под бровей:

— Ты, я гляжу, жить не можешь без Тураханова!

— Пулат! — Бахор в упор поглядела на юношу. — Не говори ничего такого, о чем потом будешь жалеть!

— Я знаю, что говорю. Извини, но каждый вправе иметь свое мнение. Твой Тураханов — пустой орех!

— Вовсе он не мой!.. — Бахор покраснелась от обиды и возмущения. — А ты не прав, не прав! Ты это... из-за отца. Ты пристрастен!

— Отца не тронь! — взорвался Пулат. — Мой отец...

— Твой отец — герой, но это не дает тебе права чернить всех остальных! Тураханов работает не хуже дяди Хайдара, как это тебе ни обидно. Вспомни, когда он был у нас в школе директором, школа всегда занимала первое место в районе! Ведь правда, Хайри-апа?

Хайри, не вмешивавшаяся до сих пор в эту перепалку, уклончиво ответила:

— Положим... не совсем правда, Бахор.

— Вот и вы! И вы! А ему так нелегко, он несчастный, а вы...

Бахор чуть не плакала. Пулат слушал ее, угрюмо нахохлившись, низко наклонив голову.

— Ох, Бахор, Бахор! — любясь девушкой и жалея ее, сказала Хайри. — Ты наивна и доверчива, как твой отец. Как еще мало ты знаешь жизнь!

— Да что вы как сговорились: не знаешь жизни, не знаешь жизни! — вспыхнула Бахор и тут же осеклась. — Ой, простите, Хайри-апа. Это Пулат меня разозлил! — Она вскочила с места. — Я лучше уйду.

— Куда ты, Бахор?

— Домой. Не сердитесь на меня, Хайри-апа.

— Я не сержусь. Но ты же сама говорила — не надо делать ничего такого, о чем потом можно пожалеть.

— И пускай пожалею! — Она подошла к Пулату. — Ты... ты несправедлив, Пулат! Занимайся оди... раз ты такой!

И, резко повернувшись, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы, Бахор побежала к калитке. Хайри смотрела ей вслед с любовью и грустью. Пулат мрачно молчал.

— Сынок, — просительно проговорила Хайри. — Догони ее! Зачем ссориться?

Пулат медленно поднял голову:

— Не буду я унижаться перед ней!

— Ох, дети, дети! — опять вздохнула Хайри.

В душе она сетовала на себя за то, что не сумела вовремя положить конец этой глупой ссоре. Хотя... почему же глупой? Каждый отстаивал свою точку зрения. Она же сама учила их принципиальности! И если она, Хайри, и должна была вмешаться, то лишь затем, чтобы открыть девочке глаза на Тураханова. Легко сказать — открыть глаза! Они у Бахор и так широко открыты на мир, но вот Тураханова она видит не таким, каким, к примеру, видит его Пулат. Но и Пулат не прав, потому что нападает на Тураханова, доверяясь только своему чувству. Что оба они — и Бахор и Пулат — знают об этом человеке?

Вот она, Хайри, пожалуй, кое-что знает, но тоже слишком мало для того, чтобы делать определенные выводы. Что она могла бы сказать Бахор? Что, работая завучем еще в прежней школе, в другом кishлаке, и уже женившись, Тураханов пытался соблазнить школьницу, восьмиклассницу, и скандал еле удалось замять? Так ведь Хайри сама знает об этом с чужих слов, а в Бахмале в моральном отношении Тураханов ведет себя безукоризненно, придраться при всем желании вроде не к чему. Неясно, правда, что ему нужно от Бахор, почему он так старается завоевать ее доверие? Во всяком случае, и в этом пока не было ничего предосудительного. Это настораживало, но еще не давало оснований для тревоги.

Бахор расхваливала деловые качества Тураханова. А на это что можно было ей возразить? Да и позволительно ли ей, педагогу, секретарю школьной парторганизации, подрывать в глазах своей ученицы авторитет одного из уважаемых районных руководителей?

Надо сказать, самой Хайри частенько доводилось схватываться с Турахановым еще в ту пору, когда он был директором школы. Последнее столкновение произошло в самом начале войны. Тураханов вызвал Хайри к себе в кабинет, вежливо предложил ей сесть, постучал пальцами по столу и заговорил несколько сердитым, но доверительным тоном:

— Лично я знаю вас, товарищ Садыкова, как строгого, но справедливого педагога. Однако при всех ваших превосходных качествах вам не хватает, как бы это сказать... гибкости, понимания момента. Погодите, дайте мне догово-

ривть! Я допускаю, что принцип для вас дороже авторитета, чести нашей школы. По вашей милости или, если выразиться поточнее, из-за того, что вы подходите к иным ученикам со слишком уж строгой меркой, процент успеваемости у нас ниже, чем мог бы быть. В прошлом учебном году нам с трудом удалось удержать первое место. В этом году мы можем его потерять.

Хайри, закипая, сказала:

— Мы уже достаточно спорили с вами по этому поводу. Вы знаете мою точку зрения: я за честное соревнование между школами, без искусственного натягивания отметок! Если передо мной выбор: выйдет школа на первое место или из школы выйдет больше знающих людей — я за последнее.

— К сожалению, в районо судят о нашей работе не по отдельным, не поддающимся конкретному учету перспективам, а по реальному проценту успеваемости.

— Но вам-то, вам лично, — Хайри сделала упор на слово «лично», — что дороже, проценты или борьба за подлинные знания?

— Лично я выполняю указания вышестоящих инстанций.

Хайри пристально посмотрела на Тураханова:

— А я думаю, вам важно даже не то, чтобы школа была на хорошем счету, а чтобы вы сами...

— Меня не интересует, что вы думаете! — резко оборвал ее Тураханов, но тут же сбавил тон: — Товарищ Садыкова, я позвал вас не для того, чтобы пререкаться, а чтобы сблизить наши позиции. Ведь на данном этапе положение изменилось, война внесла в него серьезные коррективы. И мы должны в соответствии с этим перестроиться, отказавшись от устарелых, топорных, догматических взглядов... А вы, простите, все гнете свою линию.

— Не понимаю, что вы хотите этим сказать. И при чем тут война?

— Гм... Видите ли... Скоро нам представлять отчет в районо. Мы дали двум вашим ученикам — вы знаете, о ком идет речь, — возможность исправить двойки. А вы опять их срезали.

— Они получили те отметки, какие заслужили.

— Поймите, уважаемая товарищ Садыкова, у обоих отцы на фронте. Представляете, как они будут огорчены, узнав, что их сыновья плохо учатся?

— Но что же делать, если они действительно плохо учатся! Выход один — больше с них спрашивать, заставить их учиться!

— Опять вы за свое! — досадливо поморщился Тураханов. — То есть в принципе вы, конечно, правы. Но нельзя же быть такой непримиримой. Пусть эти ученики еще и не достойны хороших отметок. Зато отцы их достойны того, чтобы получать из дому радостные известия. Мы должны подбадривать, воодушевлять наших братьев-фронтовиков! Получив на фронте весть об успехах сына или дочери, отец будет лучше воевать, эта весть поднимет его боевой, моральный дух. Неужели до вас не доходит такая простая истина?

Хайри сперва не нашлась даже что ответить — так ловко повернул разговор Тураханов. Все-таки она продолжала стоять на своем:

— Вряд ли эти отцы обрадуются, когда, вернувшись с фронта, увидят, что их сыновей выпустили из школы неучами.

— Ну, лично я так далеко не смотрю. Нам еще надо победить, и это главная наша задача на сегодняшний день. Ей мы должны подчинить все наши помыслы, все наши действия! А чтобы ваши воспитанники не были, как вы говорите, неучами, подтягивайте их! В том, что у двух ребят двойки, ваша вина!

— Я этого не отрицаю.

— Прикрепите к ним лучших учеников. Проведите дополнительные занятия. А отметки исправьте. На нашей школе не должно быть ни малейшего пятнышка — это будет лучшим нашим подарком доблестным воинам!

— Потачки да натяжки — неважный подарок. Этих двух мы и так избаловали снисходительным к ним отношением.

Тураханов вдруг засмеялся:

— Ну что мы с вами спорим, толчем воду в ступе? Вы, верно, знаете — писателям за еще не законченную вещь выплачивают аванс. Вот и выдайте этим двоечникам в качестве аванса ну хотя бы тройки. А потом уж добейтесь того, чтобы их знания фактически соответствовали этой отметке. И никакого обмана не будет. Ну, по рукам?

Но договориться им так и не удалось. Директор сам проэкзаменовал злополучных двоечников и поставил им четверки. «Честь» школы была спасена.

А потом его перевели на другую работу, в райком. Школьные дела перестали интересовать Тураханова, и спор между ним и Хайри так и остался неразрешенным.

Может быть, обо всем этом и следовало рассказать Бахор? Но ведь Бахор могла бы истолковать этот рассказ по-своему, обвинив свою учительницу в пристрастии — мол, она тцится развенчать Тураханова лишь потому, что его недолюбливает Пулат, ее сын, и еще потому, что Тураханов занял в райкоме должность ее мужа... Не пристрастна ли она и в самом деле? Больше всего Хайри боялась показаться пристрастной. Пристрастие может далеко завести человека. Не слишком ли она придирчива к Тураханову? Да, в последнем споре с ней он был решительно не прав. Но быть неправым — еще не значит быть неискренним. Все, что он говорил ей, могло быть лукавой демагогией, а могло быть и искренним заблуждением. Недаром говорят: масть животных — снаружи, побуждения человеческие — внутри...

«Ах, Бахор, Бахор, трудную ты задала мне задачу. В вашей ссоре с Пулатом я не могу оставаться в стороне, ведь я люблю вас обоих. Но и рубить сплеча нельзя. Так юность не переубедишь. Надо действовать бережно, осторожно. И мы ведь, девочка, немало сделали для того, чтобы воспитать в тебе прямоту, честность и зоркость. Я верю тебе, девочка, и, если Тураханов не такой, каким тебе сейчас кажется, ты в конце концов сама сумеешь его разгадать, а я постараюсь помочь тебе в этом. Но прежде всего вам нужно помириться с Пулатом. Как тебя-то переупрямить, сынок любимый? Какой ты вспыльчивый, неуравновешенный, но при всем том открытый и честный! Ты ревнуешь Бахор к Тураханову. Что уж там греха таить, я ведь вижу, ты любишь ее. Самой первой, самой чистой и светлой юношеской любовью!.. Может быть, ты и не ошибаешься в Тураханове. Но я не могу ни поддержать тебя, ни возразить тебе! Мне самой предстоит еще в нем разобраться. Тщательно и беспристрастно! Как же вас помирить, дети мои? Или самое разумное сейчас — не торопить события, не вмешиваться, подождать, пока вы сами одумаетесь? Ох, дети, дети! Какие вы еще глупые! И какие вы уже взрослые!»

Так думала Хайри, наблюдая за Пулатом, который молча листал страницы учебников.

Уже начало темнеть, когда к ним заявился Халил-ата с большим блюдом дымящегося плова в руках и с торжественной миной на добром, с затвердевшими морщинами лице. Он поставил плов на суну, поинмающе глянул на хмурого Пулата:

— Меж нашими детьми вроде конка пробежала? Я уж хотел было силой вытащить Бахор из дома — куда там, уперлась и ни в какую! Упрямая девчонка!.. Твой сынок, соседка, тоже, видно, из камня сделан. Однако не пропадать же из-за этого плову, верно я говорю, соседушка? Не зря молвится — коли уж подан плов, ешь, не поднимая головы...

— Садитесь, атаджан, — с извиняющейся улыбкой сказала Хайри. — Досадно, что все так получилось. Но вы, гляжу, не унываете! Вы знаете, из-за чего они повздорили?

— И знать не желаю! Еще сто раз поцапаются и сто раз помирятся. Молодежь-то наша что сухой самап: стоит на него попасть самой малой искорке — пых-пых и загорелся!

Пулат и тот не мог сдержать улыбки, так заразительно было веселое добродушие старого кузнеца.

— Налегай на плов, сынок! А ты, соседушка, не обращай внимания на их ссоры-раздоры. Нынче поссорились — завтра помирятся. Для дружбы ссора — как лук для плова. Еще вкусней делается!

9

Но вопреки предсказаниям Халила-ата Пулат и Бахор долго еще сторонились друг друга. Бахор готовилась к экзаменам вместе с подругами, Пулат — с приятелями: друзей у обоих хватало. Перед самыми экзаменами в колхозе начался сбор коконов, школьники вызвались помочь односельчанам. Скрепя сердце дирекция разрешила и выпускникам участвовать в общей работе. Этого добился Пулат по поручению своего класса. Всех школьников разбили на группы. Пулату удалось сделать так, что он и Бахор оказались в разных группах.

Когда наступила экзаменационная страда, им волей-неволей пришлось встретиться, но они и словом не перемолвились, держались друг с другом словно чужие, отво-

дили глаза. Правда, никто из одноклассников так и не заметил, что они в ссоре — не до того было ребятам.

Оба тяжело переживали размолвку, оба мучились, но самолюбие мешало тому и другому первому протянуть руку дружбы. Ох, уж это юношеское самолюбие, когда до огромных, застилающих все разумные соображения размеров раздувается роковой вопрос: кто первый?.. Кто первым подойдет? Кто произнесет первое слово?

Экзамены оба сдавали успешно.

Наконец остался позади последний экзамен. Школа готовилась к выпускному вечеру.

И в тот день, когда он должен был состояться, Хайри получила письмо...

Письмо ей вручили утром. Почтальон, совсем молоденькая, шустрая девчушка, не застав дома ни Хайри, ни Пулата, принесла письмо в школу. Хайри в это время сидела в учительской, писала передовицу для специального номера школьной стенгазеты — ее должны были вывесить этим же вечером. Девчушка-почтальон передала ей письмо и ускакала; тяжелая кожаная сумка подпрыгивала у нее на спине.

Хайри взглянула на конверт, и у нее упало сердце: письмо было не от мужа. Она долго не решалась вскрыть его, зачем-то оглянулась по сторонам, хотя в учительской, кроме нее, никого не было, надорвала конверт дрожащими пальцами и достала из него листок бумаги, исписанный незнакомым, пугающим почерком.

«Здравствуйте, дорогая Хайри, дорогой Пулат! Хоть я вас не видел, но хорошо знаю по рассказам моего верного друга майора Садыкова. Хайдар читал мне свое последнее письмо, которое отправил тебе, Пулат. Он закончил его сообщением о том, что фашисты пошли в контратаку. В этом бою ваш муж, Хайри, твой отец, Пулат, проявил великую отвагу.

Как вы знаете из письма нашего комиссара, нам удалось после взрыва моста разгромить крупную вражескую группировку и занять большое село — важный стратегический пункт. Отступив к железнодорожной станции, фашисты подтянули резервы и стали готовиться к ответному штурму. Ночью они обстреляли из орудий и минометов занятое нами село, а потом под покровом темноты двинулись в наступление. Мы грудью встретили фашистов.

Они падали от наших пуль, как переспелые яблоки с дерева, но бросали в бой все новые и новые силы. Сражение длилось всю ночь, все утро, а днем к фашистам подошло подкрепление — свежая пехотная часть и танки.

Я пишу об этом так подробно потому, что хочу, чтобы вы представили себе и этот бой, и подвиг нашего дорогого Хайдара.

Обстановка для нас сложилась — хуже некуда. И тогда комиссар сказал мне: ты, майор, оставайся с бойцами, постарайся сдержать вражеский натиск, а я с ротой автоматчиков обойду фашистов с правого фланга, перережу дорогу, по которой подходят к ним подкрепления, и ударю им в тыл.

Это был единственный выход. Мы так и сделали, как предлагал комиссар. Он взял автоматчиков и ушел. Они действовали так стремительно, что уже через час мы почувствовали: гитлеровцы дрогнули. Видно, Хайдар вышел им в тыл и они решили, что окружены. Воодушевленные успехом Хайдара, мы ринулись вперед. Враг был прижат к реке. Среди фашистов поднялась паника. Они бросались в воду, но куда им было плыть, когда на другом берегу стояли наши части? Кто не утонул — были уничтожены или сдались в плен. Мы захватили три танка, много автомашин и орудий, освободили от фашистов железнодорожную станцию и два села. Но есть среди фашистов такие, что дерутся до последнего, понимая даже, что сопротивление бесполезно. В том селе, за которое сражался комиссар со своими автоматчиками, как потом выяснилось, засели эсэсовцы. Видя, что поражение неизбежно, они организовали круговую оборону и принялись обливать керосином и поджигать уцелевшие дома. Тогда комиссар поднял своих бойцов в решительную атаку. Его рота прорвалась в центр села, но этот героический штурм стоил ей больших жертв. Один из эсэсовцев выстрелил в Хайдара. Мы смяли фашистов и заняли это село, но наша помощь подошла поздно. Хаты горели, половина роты была перебита. Хайдара, тяжело раненного, пришлось отправить в полевой госпиталь. Я так и не знаю, где он и что с ним сейчас. Но вы не падайте духом. Наши врачи лечивали и не такие ранения. Крепитесь, родная моя Хайри, мужайся, дорогой сынок! Я уверен, что скоро встречу с Хайдаром и вы тоже увидите его живым и здоровым.

Наш батальон поклялся жестоко отомстить фашистам за раны отважного комиссара! Верьте, близок час, когда вы сможете поздравить нас с окончательной победой. Ради этого мы не жалеем ни сил, ни жизни.

Крепко обнимаю вас, родные мои. Еще раз — мужайтесь!

Ваш друг
комбат майор Петров».

Рука Хайри, державшая письмо, бессильно, с глухим стуком упала на стол. Хайри даже вздрогнула, услышав этот стук. Она отодвинула письмо в сторону, словно пытаясь отстранить от себя то страшное, что стояло за его строчками, и отвернулась к окну. Взгляд у нее был напряженный и невидящий. Ей чудилось, что солнечный свет померк за окнами и не было утра, не было лета, лишь радужный зыбкий туман дрожал перед глазами. Она и не догадывалась, что это слезы. Хайри не чувствовала их, а они катились и катились по ее щекам, она ни о чем не думала, ничего не чувствовала, машинально вынула носовой платок из кармана жакетки, вытерла слезы. Платок сразу намок, но она и этого не заметила, провела платком по холодному лбу, как бы стирая с него что-то... Потом медленно повернула голову к столу, в глаза бросилось письмо, и Хайри уже ничего не видела, кроме этого письма. Казалось, оно реяло белой птицей в безмерной пустоте, казалось, в учительской были только Хайри и это письмо. И вдруг острая, ясная боль пронзила все ее существо. Страшная весть, которую она инстинктивно отталкивала от себя, проникла наконец в ее сознание. Это вывело Хайри из состояния беспамятства, она будто прозрела. Все предметы обрели резкую отчетливость, и она увидела комнату, залитую безжалостным солнцем, и себя в этой комнате и почувствовала, как слезы обжигают лицо...

И, обгоняя друг друга, как волны, заструились бурные, беспорядочные мысли. Ведь Хайдар не убит — только ранен!.. Его вылечат, спасут, письмошло долго, может быть, Хайдар в эти минуты лежит в больничной постели, читая одну из своих любимых книг. Вот он отложил книгу, задумался — это он вспомнил о ней, о сыне... Он знает, что экзамены кончились, и старается представить себе, что сейчас делают Хайри и Пулат, и на его подвижном лице

отражаются радость, любовь, забота... Ох, нет!.. Если бы он был жив, он воспользовался бы любой возможностью, чтобы дать знать своей семье о себе. Петров пишет: Хайдар тяжело ранен, что с ним стало потом — неизвестно. Что может быть хуже и страшней неизвестности?!

Дорогой мой Хайдар, Хайдар-ака, муж мой, друг мой, любимый мой! Будь у меня крылья, я и то не смогла бы прилететь к тебе, я не знаю, где ты, как разыскать тебя! Хоть бы сердце подсказало, что с тобой, но оно сжалось от боли, и как будто не сердце в моей груди, а отравленная стрела! Ой, боюсь и подумать об этом, родной, но пусть уж лучше рук, ног лишиться — только бы ты был жив, только бы ты был жив, только бы ты был жив! Израченного, искалеченного — встречу тебя с любовью, на руках буду носить, беречь пуще глаза. Забота моя, любовь моя исцелят твои раны, и мы будем жить и работать, как прежде. Война проклятая, что же ты делаешь с людьми!.. Все, все отдала бы — мысль, сердце, жизнь, только бы покоичить с тобой поскорей, добиться победы над подлым фашизмом! Проклятые, что вы сделали с моей страной и с моим мужем, с моим сердцем?! Ненавижу тебя, война, ненавижу тебя, фашизм!

Где ты, Хайдар, мой любимый?..

В дверь постучали. Хайри вскинула голову, забыв отереть слезы с бледных щек, крикнула:

— Войдите!

Вошла Бахор. Она остановилась в дверях, хотела что-то сказать, но, взглядевшись в лицо Хайри, рывком подалась к ней:

— Что с вами, Хайри-апа? Вы такая бледная...

— С сердцем что-то, — тихо сказала Хайри и прикрыла письмо ладонью.

— Так идите скорее домой, я провожу вас.

— Ничего... Это пройдет. Сегодня у вас такой день... Я должна быть с вами.

— На вас лица нет, Хайри-апа! — чуть не плача, воскликнула Бахор. — Я позову Пулата, он во дворе.

— Нет, нет! Не надо! — торопливо, словно испугавшись чего-то, проговорила Хайри. — Не надо, дочка. — Она пристально посмотрела на Бахор, задумалась, потом решительно протянула ей письмо. — Прочти.

Бахор, подсев к столу, принялась читать письмо. Она, как первоклассница, чуть шевелила губами, а Хайри

молча глядела на ее склоненную голову с блестящими в лучах солнца волосами, и в груди ее разливалось тепло — горе легче перенести, когда рядом родные, а Бахор была для нее сейчас близкой-близкой, с ней было по-семейному уютно и спокойно, и, как ни странно, именно от нее, неопытной девочки, ждала Хайри утешения. Когда Бахор наконец оторвалась от письма, Хайри так и впилась в нее тревожным, умоляющим, полным надежды взглядом.

Глаза Бахор блестели, но в них не было слез.

— Хайри-апа! — прошептала она чуть ли не с восторгом. — Он герой, Хайри-апа! Настоящий герой...

— Дочка... — только и смогла вымолвить Хайри. — Доченька...

— Да что вы, Хайри-апа! Он ведь жив. Он в госпитале и скоро вам напишет.

И такая уверенность звучала в ее голосе, что Хайри через силу улыбнулась:

— Вижу, я сумела воспитать своих учеников оптимистами.

— Так ведь он правда жив! Вот тут написано: «Отправили в госпиталь».

Хайри вытерла влажным платком глаза, вздохнула:

— Может, ты и права. Надо верить и надеяться. Только прошу... Не говори ничего Пулату. Ладно?

— Но почему, Хайри-апа? Он должен знать.

— Подождем до утра. Прощу. Завтра он все узнает. А сегодня пезачем его огорчать. Ведь сегодня выпускной вечер. Это бывает раз в жизни. Это — праздник. Да, да, праздник. Война ведь не отменяет ни праздников, ни радости. Человек и во время войны живет для будущего. А окончание школы — это ступенька в будущее. Это ваш первый шаг в большую жизнь. Этот вечер должен навсегда остаться в вашей памяти, как светлое, яркое, радостное событие. Не говори ничего Пулату, не надо омрачать его радость. Договорились?

Бахор молча кивнула и проглотила застрявшие в горле слезы.

Она ушла от Хайри со смешанным чувством гордости, горечи и какого-то смутного беспокойства, похожего на сознание вины. Она гордилась и Хайдаром Садыковым, совершившим подвиг, и своей учительницей, такой чут-

кой даже в горе, и немножко собой: ведь ей удалось успокоить мудрого, взрослого человека. Любимая учительница оперлась на ее плечо. А откуда взялось чувство вины?.. В чем и перед кем она виновата? Чем вызвано это чувство? Конечно же, тоже письмом, которое она только что прочитала! Как она могла поссориться с Пулатом? Ведь из-за чего разгорелась ссора? Пулат не любит Тураханова, потому что любит отца. А она раскипятилась, накричала на Пулата. А дядя Хайдар, может быть, как раз в эту минуту, выпрямившись во весь свой богатырский рост, шел на фашистов, и по нему ударил вражеский автомат. Он герой, он тяжело ранен, а Тураханов отсиживается в тылу, расхаживает по гостям, что ни вечер — он у нас. Пулат говорит, что он ходит к нам из-за меня... Чепуха какая! Но почему же он старается унижить Пулата в моих глазах? Пулат настоящий друг, он прямой, смелый и честный! Я виновата перед тобой, Пулат! Но насчет Тураханова — это чепуха! Ты прав, Пулат, ему далеко до дяди Хайдара, но какой бы он там ни был, я для него только младшая сестренка, ведь если бы на уме у него было недоброе, я бы сразу это почувствовала!

Так, путаясь в собственных мыслях, рассуждала Бахор, казня себя, оправдывая Пулата. И в конце концов решила — что бы там ни было, но после этого письма она должна помириться с Пулатом! Сама к нему подойдет. Первая. Он же упрямый, он первый и пальцем не шевельнет, он такой!..

Она представила себе Пулата, хмурого, насупленного, и, втайне любуясь им, улыбнулась своим мыслям...

«Сегодня ты не должен быть хмурим, — сказала она про себя. — Сегодня выпускной вечер, светлое прощание со школой, и ты должен радоваться. Я все сделаю, чтоб ничем не омрачить твою радость. Так велела Хайри-апа!»

И она опять улыбнулась: вон какая она хитрая, сама надумала помряться с Пулатом, а свалила все на Хайри-апа!

Выпускной вечер пришлось начать засветло — в киплаке трудно было с электричеством, старый движок работал с перебоями.

Школа — кирпичное, побеленное одноэтажное здание под шиферной крышей — широкой скобой охватывала просторный двор. В центре двора ребята поставили стол для президиума, трибуну. От трибуны до самого сада и пришкольного участка тянулись ряды скамеек. На вечер были приглашены родители, старшеклассники, представители из районного центра, гости из соседних кишлаков. Народу собралось много — в эти трудные дни люди радовались каждому, пусть самому скромному торжеству.

По обеим сторонам школьного двора красовались цветники, разбитые самими школьниками. Вечер был душный, неподвижный, изредка налетал с гор ветерок; прогретый солнцем воздух, чуть всколыхнувшись, снова замирал; от цветов, разомлевших за день, тянуло вялым, пряным ароматом.

Торжественная часть была короткой. От выпускников выступил Пулат.

— Ребята! — сказал он и тут же, смешавшись, поправился: — Простите. Дорогие гости! Товарищи выпускники! Друзья! — Глаза его вспыхнули вдохновенным блеском. — Какие это замечательные слова: «друзья», «дружба»!.. Вот мы все дружим уже десять лет. Пусть же наша дружба шагнет вместе с нами за порог школы! Пусть она будет на всю жизнь! Пусть будет такая, как на фронте! Мне отец много пишет о своих фронтовых друзьях. О героях, которые жизни не жалеют для Родины, для товарищей. Подумайте-ка, что помогло нашим воинам выстоять под вражьем железным натиском и перейти в сокрушительное наступление? Высокое чувство патриотизма и святое чувство дружбы, когда все за одного, один за всех. Я хочу, чтобы и нас всех связывала такая же дружба, преодолевающая все преграды, побеждающая все черные силы, дружба, не боящаяся даже смерти. Пуля может сразить солдата, и все равно он остается жить — в памяти, в делах, в подвигах своих друзей. Дружба!.. Она склоняет знамена над павшими и воскрешает их, словно живая вода. Она бессмертна, и с нею мы тоже бессмертны. Наша страна сильна такой дружбой, потому и непобедима. Вот мы... многие из нас... скоро будем на фронте. Но мы не забудем друг друга. Мы не забудем и тебя, родная наша школа! Мы ведь и за тебя будем драться, отстоим тысячи советских школ,

чтобы спокойно могли расти и учиться наши младшие братья, маленькие наши друзья. Да здравствует дружба, да здравствует великое содружество всех советских людей, советских народов, живущих одной большой семьей!

Произнося свою пылкую, чуть с пафосом речь, Пулат никого не видел перед собой. Казалось, оп в это время обнимал мыслью всю страну — страну небывалой, крепкой, как скала, дружбы. Вот плечом к плечу идут по хлопковым полям его земляки, кетмени мерно и дружно вонзаются в землю... Мчатся навстречу друг другу эшелоны со станками и артиллерийскими орудиями, и паровозы приветствуют друг друга басистыми гудками. Летят в небе самолеты — крыло к крылу, идут со смены усталые рабочие — локоть к локтю. И в стремительном порыве поднимаются с земли советские солдаты, недавние рабочие и колхозники, братья по духу и по цели, и движутся на врага, тесно прижимаясь друг к другу крутыми плечами. Среди них — отец Пулата, комиссар Садыков, и падает, сраженный вражеской пулей, его друг, и плечо отца смыкается с плечом тоже друга. Это как море: спадает одна волна, вскипает другая, а море живет — грозное, могучее, неиссякаемое!

Но вот до Пулата донеслись дружные хлопки; нахмурившись от смущения, он посмотрел на скамейки и в первом ряду увидел Бахор. Она аплодировала горячей всех, даже приподнялась на скамейке, лицо ее покраснелось, она не отрывала от Пулата восхищенного взгляда, и, совсем смутившись, он торопливо сошел с трибуны и, ни на кого не глядя, пробрался к своему месту.

А вскоре и он не сводил глаз с Бахор, потому что она была лучшей в скромном самодеятельном концерте, который выпускники подарили своим гостям. Бахор танцевала: серебристо-белое легкое платье из маргеланского шелка мягко, струисто завивалось вокруг ног; на груди, на красной бархатной жакетке, чуть подрагивала в такт танца алая роза. Руки Бахор, взлетая над головой, будто плели причудливые узоры. Хайри, сидевшая рядом с Пулатом, откровенно любовалась девушкой: совсем уже взрослая, расцвела, налилась, словно виноград «хусайни» — «дамские пальчики». Порой Хайри что-то шептала на ухо сыну, но тот ничего не слышал.

Потом ребята унесли в школу скамейки, гости и хозяйка образовали широкий круг, и первой вошла в него Хайри. Прямая, высокая, в цветном атласном платье, она плыла по кругу в медленном, задумчивом танце «Танавар». Приглушенно, таинственно гремел бубен. Уже начало темнеть, двор постепенно окутывался лунным призрачным светом, и это придавало танцу какую-то сокровенную лиричность... Пулат радовался за мать: какая она молодая, праздничная! Только лицо у нее необычно бледное, наверное, от усталости...

Было уже совсем поздно, когда выпускники проводили гостей, а потом и сами разбрелись кто куда. Они бродили по саду, прощались с садом, перешептывались в школе на подоконниках, прощались со школой, они прощались с пришкольным участком, с волейбольной площадкой, с цветами, со всем, что вот уже десять лет было их жизнью, заботой, радостью...

Стояла тихая звездная ночь. Ветра не чувствовалось, а листва деревьев чуть колыхалась: казалось, ветер приплясал в ветвях и шевелил листву изнутри, казалось, будто деревья дышали во сне. Этот покой в природе навевал мягкую, щемящую печаль, всем было немного грустно — ребята прощались друг с другом, вспоминали о школьных буднях, озорных проделках, пионерских сборах и комсомольских собраниях и клялись в дружбе на всю жизнь!..

А Пулату захотелось побыть одному... Он остановился перед яблонькой, которую посадил вдвоем с Бахор, и ему вдруг почудилось, что яблонька приветливо взмахнула зеленой веткой и прошептала-прошепестела: «Бахор... Бахор...» Он потрогал рукой ветку с первыми завязавшимися плодами — то ли поздоровался, то ли попрощался с другом-деревцем. И вздохнул, почувствовав себя одиноким, обделенным самой пухлой дружбой...

Кто-то положил руку ему на плечо:

— Познакомимся, Пулат Садыков!

Пулат обернулся. Перед ним стоял невысокий, коренастый парень — Анвар, секретарь райкома комсомола. Пулат уже видел его сегодня, когда тот сидел за столом президиума, но знакомы они еще не были — Анвар прибыл в район недавно, прямо из госпиталя. На нем была

выцветшая, застиранная солдатская гимнастерка, волосы не успели еще отрасти, но уже курчавились жесткими черными пружинками. На щеках и подбородке, казалось, лежала глубокая тень — Анвар, несмотря на молодость, брился каждый день, и все-таки уже к вечеру на лице пробивалась упрямая щетина. Однако вздернутый нос и веселые глаза придавали его лицу задорное, открытое выражение. Анвар выглядел одновременно и взрослым мужчиной, и мальчишкой.

Он протянул Пулату руку:

— Меня зовут Анвар.

— Я знаю, — сказал Пулат. — Вы — наш новый секретарь.

Анвар поморщился:

— Брось разводить церемонии, отвык я в армии от этих «вы». Давай на «ты», мы оба в комсомоле, значит, братья. — Он дружелюбно и одобрительно посмотрел на Пулату. — Молодец, Садыков! Какую речугу отколол! Я сразу взял тебя на заметку — использую при необходимости как агитатора.

— Я скоро в армию уйду.

— Вернешься — такими делами завертим! Слышал, как ты на сборе коконов отличился. Предлагаю свою дружбу — на всю жизнь, как ты сам говорил. Идет?

— Идет! — весело отозвался Пулат. Сумрачное лицо его просветлело, он хлопнул ладонью по твердой, как железо, ладони Анвара и, крепко сжав ее, повторил, будто поклялся: — На всю жизнь!

Анвар кивнул куда-то в темноту:

— Побродим?

— Побродим!

Они пошли по широкой дорожке, обсаженной по бокам тополями, черешней; сочные, как спелая черешня, звезды проглядывали сквозь ветви деревьев, в темпоте смутно поблескивала листва яблонь, мелькали чьи-то тени, слышался чей-то шепот, а может быть, это журчал арык... Пулату казалось, что он знаком с Анваром давным-давно, только не успел еще посвятить его в свою жизнь, в свои мечты. И он рассказывал новому другу о себе, об отце и матери, о друзьях отца, о Сереже, погибшем при взрыве моста, делился с ним самыми заветными своими думами — о фронте, о подвиге...

— Попимаешь, Анвар-ака... Я об одном жалею, что не был на фронте в самое трудное время, в сорок первом, когда наши отступали...

— По совести говоря, на войне всегда трудно — и в отступлении, и в наступлении.

— Нет... Попимаешь... Я хотел бы быть там в то время, когда отступление кончалось, когда солдаты стояли насмерть, ни шагу назад!.. Я завидую им: они грудью прикрыли Родину! Приняли на себя самый жестокий удар врага.

— А я, сказать по совести, тебе завидую: ты будешь идти вперед! Только вперед! И, честное слово, если есть в тебе настоящий душевный азарт, ты себя проявишь — при любых обстоятельствах. — Анвар стиснул зубы. — Отступление — это горько. Нет ничего страшней, чем отступать. Ведь это значит — оставлять. Оставлять фашистам наши города, села, оставлять наших людей в неволе у этих палачей. Я вот отступал... Дети на руках у матерей тянули ко мне худые ручонки. А я не мог взять их с собой. Где-то они сейчас, что с ними?

Они замолчали. Пулат помрачнел, ладони его невольно сжались в кулаки.

Они уже возвращались к школе, когда девичий голос позвал:

— Пулат!

Из темноты выступила Бахор. Увидев Анвара, смутилась:

— Ой, простите...

Анвар, словно бы не заметив ее замешательства, шутливо сказал:

— Это я его оккупировал. Освободить?

Пулат укоризненно взглянул на Анвара. Бахор сдвинула тонкие черные брови — она ждала, что Пулат обрадуется ее оклику, а он и шага не сделал в ее сторону,

Наклонившись к уху Пулата, Анвар понимающе шепнул:

— По-моему, сейчас тебе важнее быть с ней, а не со мной. Так подсказывает мне чутье разведчика. Мы еще встретимся. — И громко добавил: — Мне пора идти, захожу в райком, Пулат. До свидания, ребятки!

Он махнул им на прощание рукой и скрылся за углом школы. Вскоре послышался кашляющий треск заводимого мотоцикла, мотор взревел, дрожа, захлебываясь,

оглушив весь кишлак, потом шум стал затихать, удаляться...

Бахор и Пулат молча стояли друг против друга, лица их были напряжены, казалось, они усердно прислушиваются к удаляющемуся грохоту мотоцикла, и больше ничто на свете их не интересует.

Наконец Бахор решительно посмотрела в глаза Пулату и требовательно сказала:

— Я больше так не хочу, Пулат!

— Ты о чем? — с деланным равнодушием спросил Пулат.

— Не хочу ссориться. Не хочу, чтоб мы... вот так... врозь.

— Ты же сама...

Бахор вся напряглась — нелегко ей давалась ее решительность! — и медленно, отчетливо произнесла:

— Я была не права. Я... я неправильно говорила о твоём отце. Когда я прочла письмо...

— Какое письмо? — вскинулся Пулат.

Бахор поняла, что чуть не проговорила, и попыталась исправить свой промах:

— Ну, то... Ты еще давал мне читать.

— Это было до ссоры!

— А я потом о нем вспомнила.

— Ой, Бахор, что-то ты темнишь. — Пулат покачал головой. — Ты мне друг?

— На всю жизнь, Пулат!

— Тогда признавайся — что за письмо ты читала?

Бахор не в силах была больше лукавить. Опустив голову, она еле слышно прошептала:

— Твоя мама... сегодня получила письмо с фронта.

— Какое письмо?

— Сам прочтешь.

Пулат пристально посмотрел на девушку, хриплым, прерывающимся голосом спросил:

— Почему мне ничего не сказали? Плохие вести?

— Нет, нет, ничего страшного!..

— Плохие, — убежденно сказал Пулат. — А то стали бы вы скрывать от меня. Ладно. Не хочешь ничего говорить — не надо. Я пошел.

— Пулат! — остановила его Бахор. — Можно... я утром приду к вам? Или ты сердисься?

Пулат обернулся:

— На что мне сердиться? Правда, лучше прочесть самому. А тебе спасибо за то, что искала меня, за то, что не умеешь врать. Приходи, конечно. Мне без тебя... я...

Он пожал руку Бахор выше локтя и, так и не договорив, повернулся и убежал.

Когда он ворвался в дом, Хайри уже спала. Он на цыпочках подошел к ее постели — лицо у нее было осунувшееся, утомленное. Пулат не решился ее тревожить.

Сам он так и не смог уснуть до утра.

11

Утром за завтраком Пулат прочитал письмо майора Петрова. Некоторое время он молчал, машинально кроша пальцами сухую лепешку, потом вскинул голову, сказал с упреком:

— Мама! Почему ты вчера ничего не сказала мне о письме?

— Не могла, сынок. Уж ты-то меня не кори, мне и так...

В глазах ее стояли слезы, Пулат поспешил утешить ее:

— Прости, мама. И не плачь — я верю, что он жив! Слышишь, мама? Он жив, и я скоро его увижу!

— Опять ты за свое, Пулат! — со страданием в голосе сказала Хайри.

— Почему за свое, мама? Это должно быть нашим! — Он показал глазами на письмо. — Видишь... Оно зовет меня туда, к отцу, к его товарищам. И ты не должна меня отговаривать.

— Да разве я отговариваю? Я знаю, твой долг — быть рядом с отцом. А я останусь совсем одна...

— Как одна? А Бахор, а Халил-ата, а твоя школа?

— Пулат, сынок! — Хайри улыбнулась. — Вот и ты начинаешь меня воспитывать... Да я все, все понимаю. Но ты пойми: никто не заменит матери — сына, жене — мужа... Поверь, сынок, я сама соберу тебя в трудную дорогу. Но я не обещаю, что не буду плакать. Я ведь твоя мать, а материнское сердце знает и гордость, и боль. И уж не осуждай меня за то, что сердце у меня сжимается, когда ты говоришь о фронте... Не считай меня отсталой женщиной. Ладно?

Хайри всегда разговаривала с Пулатом, как со взрос-

лым, который все способен понять, но сейчас в ее словах звучала особенная, иступленная и в то же время нежная искренность. Любовь ее была — как открытая рана, и Пулату захотелось утишить ее боль. Он подошел к ней, ласково погладил по черным, без седины, волосам:

— Ты, мама, у меня самая дорогая, самая любимая!.. Самая умная!

— Спасибо, сынок... — Она благодарно пожала его руку.

В это время во дворе появилась девушка-почтальон. Ее кожаная сумка была необычно тощей — видимо, она сейчас не разпосила письма и газеты, и вид у девушки был непривычно официальный.

— Здравствуйте, тетенька Хайри! — сказала она приветливо и строго обратилась к Пулату: — Садыков! Тебе повестка. Распишись.

Пулат ликующе посмотрел на мать, но, встретив ее взгляд, полный скрытой боли, постарался сдержать свою радость. А Хайри усилием воли заставила себя улыбнуться:

— Вот, сынок, и сбылась твоя мечта.

— Да, мама! Да! Меня вызывают в военкомат.

— Ты, смотри, готов плясать от радости.

— Что ты, мама! — смущенно и виновато сказал Пулат.

— Я ведь вижу! — продолжала Хайри. — Ты сейчас торжествуешь больше, чем после успешной сдачи экзаменов, но боишься огорчить меня своей радостью. Жалеешь, сынок?

Пулат исподлобья взглянул на мать:

— А это плохо — жалеть?

— Не знаю. Как когда.

— Вот в данном случае?

— Ты любишь меня — это «в данном случае» для меня главное. Я пойду с тобой в военкомат, ты не против?

Пулат замаялся. Хайри понимала, что его смущает: он уж почти фронтовик, а мать, словно первоклассника в школу, собирается за ручку вести его в военкомат. Но любовь к матери помогла Пулату преодолеть юношеское самодлюбие, он кивнул головой:

— Хорошо, мама. Только мне ведь придется проходить всякие комиссии.

— Я подожду.

Не успела Хайри убрать со стола, как к ним пришли Халил-ата и Бахор. Старый кузнец уже знал о письме, беду соседки он воспринял как собственную и был полон желания ободрить Хайри и Пулата.

Хайри снова поставила на стол неизменный пузатый самовар, дала Халилу-ата письмо, тот передал его дочери. Бахор прочла его вслух. На глазах Хайри снова заблестели слезы.

Халил-ата неодобрительно покачал головой:

— Что плачешь, сестра? Ведь жив он!

— Он тяжело ранен.

— Эх-эх, правду говорят, что человек нежнее цветка, тверже камня. Ты, соседка, крепись, будь тверже камня, тверже стали! Сталь-то ведь огнем и закаляют. Вытри, вытри слезы-то. Уж такая эта война — куда ни глянь, у всех горе. Вчера вот не смог на ваш вечер прийти, ездил в совхоз к Касымову — он ведь близкий друг твоего мужа, верно? И такое у него горе, что сердце разрывается. Два месяца назад под Ленинградом погиб его старший сын. А вчера пришла весть о гибели единственного брата. На беднягу глядеть больно — почернел от горя. Только оно, горе-то, ни слезинки из него не выдавило. Верно, человек тверже камня.

Хайри смотрела на кузнеца расширенными глазами:

— Какой ужас!.. Что же это делается, атаджан?!

— Такая война, сестренка. От нее ворота да двери на засов не закроешь, без стука к нам входит.

— Что же он не дал мне знать? Ведь он нам, как брат.

— Я и сам случайно узнал. Он горе в себе носит. Ты сама к нему наведайся.

— Непременно!

— И не лей слезы. Увидишь, выздоровеет наш Хайдар, еще достанется от него фашистам.

Пулат, жадно прислушиваясь к этому разговору, подвинул Бахор повестку из военкомата. Девушка пробежала ее глазами, на ее лице отразились и радость, и какая-то горькая ошеломленность. Она, казалось, готова была воскликнуть гордо и звонко: «Пулата призывают в армию, порадуйтесь за него!», но в горле словно застрял комок, и она могла только тихо сказать:

— Отец! Смотрите... Пулата призывают в армию.

Хайри кивнула:

— Да, Пулат скоро нас покинет. Я все считала его ребенком. Уж прости, сынок, для матери дети — всегда малые дети. А вот Родина верит ему, зовет на помощь.

Пулат взглядом поблагодарил мать за ее слова; Бахор, как вчера на вечере, смотрела на него не отрываясь, а Халил-ата, погладив узкую белую бородку, степенно и даже как-то торжественно произнес:

— Благословляю тебя, сынок, на ратный подвиг. Пусть тело твое будет каменным, кости стальными. Не зря говорится в пословице — соловей любит розу, а человек родину. Большое горе постигло отчий наш край, и не видать нам счастья, пока мы наголову не разобьем фашистских извергов! Ты не плачь, соседка, не ты одна сына провожаешь, какую семью ни возьми — у всех близкие на фронте. Они ведь и за твое счастье воюют! Все мы у них в долгу. Ох, и тяжело им приходится, переправляются они через студёные реки, перетаскивают пушки через топкие болота, проливают за Родину свою горячую кровь. Там, на фронте, смерть — как дождь! А наши братья-солдаты все готовы перенести, вытерпеть, потому что сердцем знают — не встанут они грудью за Родину, так война разрушит и их дом. Они защищают свое и наше счастье, счастье твоих школьников, сестренка, они Родину защищают — это святое, доброе дело. Ты, Пулат, идишь на доброе дело, будь же бесстрашен, как твой отец, и дай тебе бог победы, здоровья и благополучного возвращения домой!..

12

На следующий день Хайри пошла проводить сына в военкомат. С ними, несмотря на протесты Пулата, увязалась и Бахор. Юноше не хотелось ссориться с ней, портить торжественный день, да и что греха таить, ему льстила настойчивость, с какой девушка уговаривала его взять ее с собой.

В райцентр они шли пешком. Дул горячий ветер, сметая с дороги желтую пыль; несколько раз их обгоняли машины, приходилось отскакивать далеко за обочину, чтобы не наглотаться пыли. Путь был тяжелый, но Пулат не замечал этого, он был радостно возбужден и весел, бодро шагал рядом с Бахор, оживленно разговаривая с ней.

Хайри чуть приотстала от них, погруженная в свои невеселые думы... С той минуты, как сыну вручили повестку, в ее сердце не затихала режущая боль. Еще не прошла тревога за мужа, и вот уж приходится тревожиться за сына... Если бы Хайдар подал весточку, на душе стало бы легче, но что с мужем — неизвестно, и в неизвестность уходит Пулат.

Всю ночь Хайри не спала, плакалась вволю. Утром встала с осунувшимся лицом, красными глазами, отеками веками. Но при сыне крепилась: встречаясь с ним взглядом, спешила подбадривающе улыбнуться, старалась ни в чем ему не мешать... Вот и сейчас, следуя за Пулатом и Бахор, она умышленно придерживала шаг, чтобы дать им наговориться, взглядеться друг на друга. Хотя она была изнурена, убита горем, но усталости не чувствовала. И с какой-то светлой грустью прислушивалась к разговору детей...

— Когда ты попадешь на фронт, наверно, Хайдар-амаки выздоровеет. Верно? — спрашивала Бахор.

— Возможно.

— Вы вместе сфотографируетесь, и ты пришлешь нам карточку. Да?

— Чудачка!.. На фронте не до этого.

— И неправда! Откуда же тогда фото в газетах? Бои и то для кино снимают.

— Кто снимает? Репортеры. Это их работа.

Пулат говорил с Бахор солидно, чуть спускательски, как взрослый с ребенком.

— А кончится война, — мечтательно произнесла Бахор, — ты вернешься домой, и весь кипляк выйдет тебя встречать!

Пулат, не оборачиваясь к ней, быстро спросил:

— А ты?

Бахор опустила голову, тоже торопливо, но твердо проговорила:

— Я приду с большим букетом — засыплю тебя цветами!

Хайри, слушая ее, вздохнула, — ох, дочка, сбылось бы все, о чем ты говоришь, скорее бы наступил этот день!..

Близился полдень, когда они пришли в военкомат. Большой двор был полон народа. Тут толпились и уходящие в армию уже с чемоданами или вещевыми мешками, и провожающие. Среди мобилизованных —

молодые парни и отцы семейств; кто сидел на чемоданах, кто прямо на земле, кто стоял. Одни шумно разговаривали, шутили, смеялись, у других вид был сосредоточенный, серьезный. Женщина в длинном, выцветшем платье и запыленных сапогах, сидя на корточках, одной рукой крепко прижимала к себе ребенка, а другой, не отрывая глаз от мужа, наливала ему из чайника чай в жестяную кружку. Седоволосая старуха, прильнув к смущенно молчавшему высокому парню, с какой-то лихорадочной торопливостью целовала его в лоб, в щеки и все что-то говорила, говорила, — видно, давала последние материнские напутствия. Чуть поодаль розовощекого паренька потчевали пловом — каждый из окружающих тянулся к нему со щепоткой горячего риса.

Больше всего во дворе было призывников, ровесников Пулата. Всем им предстояло еще пройти медицинскую комиссию. На всех штатская одежда: старенькие, узкие в плечах пиджаки, из которых ребята успели вырасти, белые рубанки, пестрые халаты, папиных — даже ватные. Когда через двор с озабоченным видом пробегали работники военкомата в военной форме, призывники, все, как один, почтительно и завистливо смотрели им вслед.

Пулат сразу увидел в толпе своих одноклассников, окруженных родными, и вместе с Хайри и Бахор подошел к ним. Завязалась общая беседа. Пулат пошел сдавать повестку. Когда вернулся, его обступили друзья:

— Пулат, что об отце слышно?

— Хорошо бы нас в какое-нибудь училище направили, верно?

— Тебя-то поплют — отличник.

— Пулат, как бы сделать так, чтоб всем нам — в одну часть?

— Ты последнюю сводку не слышал?

Пулат разговаривал с ребятами, а сам то и дело бросал нетерпеливый взгляд на дверь, за которой работала медкомиссия.

Но когда наконец медсестра выкликнула его фамилию, началось непонятное... Пулата держали чуть не целый час. За это время несколько его одноклассников успели пройти комиссию. Хайри вся извелась. Она вопросительно, с тревогой поглядывала то на примолкшую Бахор, то на окна, в которых мелькали белые халаты.

Но вот на пороге появился Пулат, хмурый, с педоумевающим лицом. Стараясь ни на кого не смотреть, он направился к матери. Хайри рванулась ему навстречу:

— Что случилось, сынок?

Пулат пожал плечами:

— Не знаю. Зачем-то направили на рентген. Вы пока посидите где-нибудь.

Он усадил мать и Бахор на свободную скамейку в углу двора.

Ждать пришлось долго. Пулат освободился только к вечеру. Он подошел к скамейке, потрясенный, подавленный, с закушенными губами:

— Идем домой, мама.

На Бахор он не глядел.

— В чем дело, сынок?

— Меня не взяли в армию.

В глазах Хайри мелькнула тревога:

— У тебя что-нибудь нашли?

— Ты, мама, только не волнуйся. Подозрение на туберкулез. — Хайри побелела. Пулат стоял, сжав кулаки. — Это ошибка, мама! Я здоров. Они ошиблись!

Но Пулат обманывал сам себя. Как сказал врач, диагноз был окончательный и обжалованию не подлежал. Сказано было точно: Пулат воспринял заключение медкомиссии, признавшей его негодным к службе в армии, именно как приговор. Он даже не придавал значения тому, что у него обнаружили тяжкий недуг, начавший точить легкие; самым страшным было то, что его не берут в армию!.. У него было такое ощущение, будто его лишили самого главного в жизни, отняли самую светлую надежду, разрушили самую заветную мечту!.. Это не было даже мечтой — это было потребность его души, все эти дни он уже жил в будущем, на фронте, рядом с отцом и его друзьями. Он не мыслил для себя иной судьбы. Анвар сказал, что проявить мужество можно в любых обстоятельствах. Но хотя и грела сердце Пулата мечта о подвиге, желание подвига, он рвался на фронт вовсе не для того, чтобы «проявить мужество». Ведь если бы ночью на его мать напали бандиты и он бросился бы на них, пылая отвагой и гневом, — разве двигала бы им жажда подвига? Он просто не мог бы не заслонить своей грудью самое дорогое на свете. А сейчас Родина,

которую он любил беззаветной сыновней любовью, нуждалась в защите, а его лишили права защищать ее! Сережа, веснушчатый голубоглазый паренек с сердцем Данко, взывал к отпущению, дети на руках матерей тянули к Пулату худые ручонки — а он не мог прийти им на помощь, его не пускали! Это было чудовищно несправедливо. Пулат испытывал горечь обиды, боль и мучительный стыд. Ему стыдно было смотреть в глаза матери, Бахор; в последнее время он только и говорил с ними что о фронте. Выходит, все это было пустым хвостовством.

— Как же так, сынок? — обессиленно спросила Хайри. — Туберкулез... Откуда? Как я могла проглядеть?

Пулат усмехнулся:

— Врач сказал, что в начальной стадии туберкулез трудно распознаваем. Вселел завтра еще к нему прийти.

— Да, да, — сказала Хайри, думая о чем-то своем. — Ты все время кашлял. А я думала...

— Мама! — мягко остановил ее Пулат. — Не надо об этом. Я здоров!

В кишлак они возвращались в тягостном молчании; дорога казалась бесконечной; длинные черные, словно нарисованные тушью тучи то и дело загоразивали луну, и Пулат радовался наступавшей темноте, тому, что мать и Бахор не видят его лица. Хайри несколько раз пыталась заговорить с сыном, он отмалчивался, весь ушел в себя, лишь перед самым домом, обращаясь к Бахор, сказал с горькой, самоуничижительной иронией:

— Вот и я, как твой Тураханов, буду ковать победу в тылу.

Пропустив мимо ушей намек на Тураханова, Бахор горячо возразила:

— Не смей так, Пулат! Сам же говоришь — ты здоров. Ты ведь сильнее всех ребят в классе! Вылечишься и пойдешь в армию.

— Когда война уже кончится...

Хайри жестко взглянула на сына:

— Пулат! Как не стыдно! Ты боишься, что не будет войны? Ты повимаешь, что говоришь?

— Хайри-апа! — вступилась за Пулата Бахор. — Он же сгоряча. Он в таком состоянии... Надо же и его понять!

Но Хайри была неумолима:

— Сгоряча? Нужно быть последним эгоистом, чтобы сказать такое!

Пулат вдруг остановился, повернулся к Бахор, лицо у него было страдающее, злое:

— Ты меня не защищай! Мать права, я страшную глупость сморозил. А в твоей жалости я не нуждаюсь!

— Дети! Дети!..

— Мама! Пусть она уйдет. Я не хочу ее видеть.

— Пулат!

Бахор тоже хотела что-то сказать, но увидела в глазах Пулата такую муку, что отвела взгляд, уступчиво пробормотала:

— Не сердись, Пулат. Я уйду. Мне лучше уйти. До свидания, Хайри-апа.

Ее не обидел резкий тон Пулата. Она сочувствовала ему от всей души: несмотря на юность и неопытность, Бахор умела поставить себя на место другого. Она ушла. Хайри взяла сына за локоть:

— Нельзя так распускаться, Пулат. Если ты настоящий человек — а я не сомневаюсь в этом, — ты и здесь принесешь пользу Родине.

— Мама! Это же общие фразы.

— Вон как?.. Общие фразы? Зачем же ты оскорбляешь меня, Халила-ата, Бахор, всех тех, кто тут, в тылу, трудится, не жалея сил!

— Это другое дело. Я же мужчина!

— Вот и веди себя, как мужчина. Возьми себя в руки и не обижай людей, которые ни в чем перед тобой не виноваты. Что ты на Бахор накинулся? Ты борись за себя, найди дело, которому мог бы отдать все силы! Естественное состояние человечества не война, а мир, научись быть героем и в мирных условиях.

— Мама! Разве дело в героизме? Я должен...

— Ты должен уметь быть полезным Родине, где бы ты ни был.

Хайри сердцем чувствовала, что сейчас только так и надо говорить с Пулатом — строго, без снисходительных, жалеющих ноток.

Но когда Пулат лег спать, а сама она вышла во двор и села на супу, бессильно уронив руки на колени, ее охватило чувство острой жалости к сыну. Казалось бы, ей в пору радоваться — единственный сын остался с ней,

а ее, как и Пулата, печалило, что ему заказан путь на фронт, к отцу... Еще недавно Хайри болезненно воспринимала постоянные разговоры сына о фронте, об армии, но ведь она и тогда понимала сына. А сейчас сердце с особенной чуткостью подсказывало ей, что должен был чувствовать Пулат, которого отправили домой, а не на фронт, как его сверстников. Она понимала, как больно ранили гордость сына эти слова: «неполноценный», «непригодный»... «Хайдар, дорогой мой, что же мне делать — у меня сердце обливается кровью, когда я гляжу на Пулата! Как нам обоим не хватает твердого, мудрого твоего совета! Пулат всегда с такой жадностью прислушивался к твоим словам, вчитываясь в каждую строчку твоих писем. Почему ты нам не пишешь? Поскорей пришли весточку, я верю, что ты жив! Ведь просто невозможно, немислимо не верить в это! Рыба не может жить без воды, птица без крыльев, а человек без веры. Я верю и в сына... Он найдет свое место в жизни. Понимаешь, Хайдар-ака, судьба Пулата беспокоит меня сейчас даже больше, чем его болезнь. А ведь это не шутка — туберкулез! Уж я ли не пеклась о его здоровье, не тряслась над ним; да видно, правду молвит пословица: в береженный глаз попадает соринка. Туберкулез... Как снег на голову! Хорошо еще, что болезнь захвачена в самом зачатке, мы справимся с ней, обещаю тебе это. Откуда только она взялась? Сколько горя съелилось на мои плечи, любимый!.. Выдержу ли? Должна выдержать — ради тебя, родной, ради сына!»

Листья тала успокаивающе шелестели над головой Хайри, тучи ушли с неба, и звезды сияли каким-то освобожденным светом. Они сияют, наверное, и над госпиталем, где лежит Хайдар; может быть, он в эту минуту тоже не спит и тоже о чем-то разговаривает со звездами, с ночью, с Хайри...

«Если бы вы передали ему, звезды, как мы с Пулатом любим его, как нам трудно без него!..»

13

Утром Пулат поднялся, как всегда, рано, сделал зарядку, облился ледяной водой и, позавтракав, снова отправился в районный центр.

Начать он решил с военкомата, хотя как раз в это время его ждал врач. Казалось, Пулат запасся упрям-

ством на четверых, он буквально локтями пробился к военкому.

Лицо военкома было серое от усталости, отчетливо багровел шрам, пересекавший бритую голову. Военком скучно, без особого интереса посмотрел на Пулата:

— Что там у вас?

— Товарищ комиссар! Комиссия признала меня негодным. А я чувствую себя здоровым и готов выполнить свой долг перед Родиной.

Военком досадливо наморщил лоб. Казалось, слишком громкий голос Пулата вызвал у него головную боль.

— Комиссия знает свое дело.

— Но я здоров!

За эту ночь щеки Пулата еще больше запали, глаза горели горячечным блеском. Военком вздохнул. Сколько уж довелось ему за последнее время выслушать сетований на медкомиссию! Но что-то привлекало его в Пулате, он спросил:

— Как ваша фамилия?

— Садыков. Пулат Садыков.

— Хм... Не сын Хайдара Садыкова?

— Так точно! — почему-то по-военному отчеканил Пулат.

— Знаю твоего отца. — В голосе военкома затеплилась доброжелательность. — До войны работал с ним. Так к отцу рвешься?

Он вызвал дежурного, попросил принести военно-учетную карточку Садыкова. Проглядев ее, снова вздохнул:

— Тут же написано — туберкулез. Полечись, сынок, а там посмотри.

— Я здоров!.. Комиссия просто придирается!

Военком потер ладонью помятую щеку. Какие чудесные ребята к нему приходят, а не понимают простой истины: фронту нужны здоровые люди. Он уже устал спорить с ними, устал от их жалоб и требований. Особенно утомляли его эти споры потому, что в душе он и сам не принимал этой «простой истины», считая, что зря торчит в прокуренном, неуютном кабинете: ни тяжелая контузия, ни ранение не помешали бы ему бить фашистов, как бил их до госпиталя.

— Здоров... — сказал он. — Думаешь, я не хочу на фронт? Тоже вот, — он показал рукой на шрам, — не пускает. Вынужден сидеть здесь, отбиваться от таких вот

героев вроде тебя. Ты подумай сам: ну какой смысл комиссии к тебе придирааться? Что она, зуб на тебя имеет? У такого отца, я думал, сын понятливей.

Пулат вышел из военкомата как в воду опущенный. Остановился посреди двора, задумался... Оставался один выход — пойти в райком комсомола, пускай Анвар нажмет на военкома. Уж Анвар-то должен войти в его положение, понять, что тут случай исключительный: тяжело ранен отец, и он, Пулат, должен заменить его на фронте!

Как говорит пословица, на ловца и зверь бежит. На полпути от военкомата к райкому комсомола Пулат нос к носу столкнулся с Анваром. Тот обрадованно воскликнул:

— Друг!.. Какими судьбами?

— К тебе шел, — угрюмо сказал Пулат, — как к другу, за поддержкой.

— Чем могу помочь? Говори — для друга все сделаю.

— Меня не берут в армию.

— Да, да. — Анвар снизу вверх соболезнующе посмотрел на Пулата. — Я в курсе. Сказать по совести, о тебе специально справлялся. Что голову-то повесил? Вылечат твою хворобу! А в армию не взяли... так не ты первый, не ты последний. Мы с военкомом тоже в тылу сидим.

— Вы уж понюхали пороха.

— Ишь ты!.. Мы же не в очереди за кашей: мол, получил свою порцию, отходи, пропусти других к кашевару. Неверно рассуждаешь! — Он взял Пулата за руку. — Побродим? По совести говоря, не люблю разговаривать в кабинете, сама обстановка настраивает на официальный лад.

— Побродим, — хмуро отозвался Пулат: ему уже ясно было, что и от Анвара помощи не дождаться.

Они вышли на окраину. Здесь протекал неширокий сай¹, от воды чуть ощутимо веяло прохладой, но она не могла смягчить сухой зной, опаляющий лица, и спутники почувствовали облегчение лишь тогда, когда, удалившись от поселка, вступили в благодатную тень тополевой аллеи, тянувшейся вдоль сая. Тополя стояли недвижно, словно вырезанные из камня.

¹ Сай — горная речка.

— Пойми, чужак, — убеждал Пулата Анвар. — Все мы не войне пужны; мы прежде всего пужны стране. Уж поверь, народ мудро распределяет свои силы. Понимаю тебя, вот как понимаю — ты всем готов пожертвовать для Родины. Патриотизм, он у нас в крови. В этих наших жертвах — и любовь к Родине, и благодарность. Хотя какие же это жертвы? Иначе мы просто не могли бы... Но о чем я? Так вот, в бою легче выразить эту любовь, отдав за Родину кровь, жизнь. А вот ты здесь попробуй... И тоже с наибольшей силой! Для того чтобы без колебаний и без хныканья встать на тот пост, на какой поставит тебя народ, тоже порой пужно мужество. Вот вступишь в партию, увидишь, что такое настоящая, разумная, партийная дисциплина. Я тоже мечтаю вернуться к своим боевым друзьям, но нельзя. Партия приказала: поднимай кишлачную молодежь. Значит, это пужно партии, она распоряжается нашими судьбами, исходя из высшей целесообразности. И принять ее приказ надо не только умом, но и сердцем. Принять и радоваться, что выполняешь его с отдачей всех сил!

Они дошли до деревянного мостика, перекинутого через сай. На том берегу виднелась чайхана. В прохладной глубине веранды на пыльных коврах сидели несколько стариков, молча тянули чай из пинал.

— Зайдем, выпьем чаю? — предложил Анвар.

— Не до чаю сейчас...

— Слушай! — возмутился Анвар. — Сколько я слов на тебя потратил!.. А ты все киснешь! Научись хоть цепить чужой труд!

— Я ценю, — натянуто улыбнулся Пулат.

Они повернули обратно. Анвар с сожалением оглянулся на чайхану и продолжал:

— Ты думаешь, почему мы, фронтовики, вернувшись домой, не снимаем гимнастерок — вот этих, старых, белых от пота? Ну, пным, по совести говоря, больше и надеть нечего. Иные козыряют своим боевым прошлым. Но не в этом суть. И поверь, сохраняем мы их не в память о войне. Будь она проклята — война! До чего ж она нам не нужна, как мешает! Но мы прошли через нее, узнали, почему фунт лиха, узнали, чего мы сами стоим, и моя гимнастерка как бы напоминает мне, на что я способен, как бы обязывает и в тылу не ударить в грязь лицом. Хочу так трудиться, чтобы еще потом просоли-

лось это сукно. Вот на днях... Погоди-ка! — Он ударил себя по лбу. — С этого ведь и надо было начинать! Ты должен ехать с нами.

Пулат вскинул брови:

— Куда ехать?

— Как куда? Ты что, не слышал — скоро дехкане из нашего района, из твоего кишлака тоже, отправляются на строительство Галабагас. Будем перекрывать реку, строить электростанцию. Там такая битва разворачивается! Меня тоже посылают агитатором от обкома комсомола. Завтра у вас в кишлаке делаю доклад о значении этого строительства. Читал Обращение?

— Мы обсуждали его на комсомольском собрании.

— Ага, хорошо! Теперь у тебя есть возможность делом ответить на этот призыв. Так едем? Храбреца, говорят, разглядишь только в бою. Вот и поглядим, какой ты герой. По совести говоря, это ведь тот же фронт!

— Когда вы едете?

— Мы — солдаты. Ждем команды, браток.

— Не знаешь, кто едет от нас?

— Из Бахмала? Точно не знаю, поедет человек пятьдесят. Ты пока не включен, но это уж от тебя зависит, покажи комсомольский пример, поезжай добровольцем. Ну?..

Пулат знал о строительстве, начавшемся на берегу бурной Сыр-Дарьи, но все это время был настолько захвачен мечтой о фронте, что никак не связывал свою судьбу с событиями в своей республике: он был уверен, что ему доведется защищать, а не создавать будущее родного Узбекистана. Он еще и сейчас не считал, что все потеряно. Может быть, комиссия все-таки ошиблась? Сами говорили — не так-то легко распознать туберкулез.

На вопрос Анвара он ответил неопределенно:

— Мне еще к врачу нужно. Кто знает...

— Буду рад, если окажется, что комиссия подняла ложную тревогу. А нет — тогда... Ты все-таки приходи завтра в клуб. Ты ведь у нас тоже оратор, скажешь потом, удачно ли я выступал. Говоря по совести, поболтать люблю, а выступать... Ну, да я ораторствовать и не собираюсь, просто побеседую с людьми, расскажу им, что сам знаю.

— Приду, — пообещал Пулат.

Простившись с Анваром, он направился в поликлинику, и последние лучи надежды погасли в его сердце. Старик доктор, русский, с маленькими живыми глазами, седой бородкой клинышком, казавшейся продолжением полных, обвисших щек, добродушно, словно бы даже довольный тем, что его подозрения насчет болезни Пулата так удачно подтвердились, потрепал юношу по плечу:

— О фронте вам, молодой человек, нечего пока и думать. Но и для особой тревоги нет причин — вылечим, дорогуша, еще как вылечим! Мы его, каналью, врасплох захватили: не успел еще расположиться в ваших легких, как дома, задел лишь одно из них. Чем он, бестия, опасен? Заболевание в первой стадии, как у нас говорят, протекает бессимптомно — а мы его, негодяя, вовремя схватили за руку! Попался, субчик, уж теперь мы его живенько скрутим в бараний рог!

Старый доктор говорил о туберкулезе так, как работник милиции — о преступнике-рецидивисте, не раз уж попадавшемся ему в руки. Пулат не мог удержаться от улыбки, и тогда доктор оживился еще больше. Теперь он походил на фотографа, которому удалось подстеречь у клиента нужное выражение лица:

— Прекрасно, молодой человек!.. Так вот и держитесь, улыбайтесь на здоровье, и голову, голову выше! Бодрость духа — лучшее из лекарств. И строгий режим — режим питания, труда, отдыха, сна. Утреннюю зарядку делаете? Отлично! А вот с обливаниями поосторожней. Ну и воздух, конечно, свежий воздух. Подружитесь с ним покрепче, поглощайте его тоннами — чем больше, тем лучше. Не забывайте ко мне наведываться, и всего вам лучшего, дорогуша!

14

Ночью разразилась бурная летняя гроза. Дождь лил как из ведра. Тяжело погромыхивал гром. Казалось, огромные чугунные ядра катились по горам, ударяясь о камни... А Пулату мерещилось сквозь сон, будто он слышит грохот артиллерии, и он все силился подняться, чтоб ринуться в атаку на врага, но тело не подчинялось ему, и он коротко стонал во сне — от стыда за свое бессилие...

Утром дождь прекратился, тучи, застилавшие небо-свод, разорвались, в просветы хлынуло солнце — так вода, пробив плотину, хлещет ликующим, могучим потоком!

Звения, как колокольчики, по улицам Бахмала бежали мутные пузырящиеся ручейки. Почной ливень патворил немало бед: развалил старые дувалы, размыл степы глиняных домов, разрушил хлевы и навесы, под которыми хранился хворост. В компатах стояли дужки: вода легко просачивалась сквозь ветхие крыши. За время войны кишлак совсем обветшал, словно бы состарился: деканам некогда было следить за своими жилищами.

Подбирая подолы платьев и полы халатов, стараясь не наступить в грязь, перепрыгивая через ручьи, спешили бахмальцы в колхозный клуб. Это было приземистое, длинное побеленное здание, походившее скорее на сарай, с просторным залом, разделенным надвое обшарпанными деревянными колоннами; по обе стороны от колонн теснились ряды деревянных скамеек. Кишлак заливало солнце, а в зале царил полумрак, и было неуютно, голо. Лишь сцену украшал портрет Ленина, тот, где он произносит речь, цепко сжимая в руках шапку-ушанку, да лозунг «Все для фронта, все для победы!». На самой сцене алел кумачом небольшой стол президиума.

Пулат пришел в клуб, когда все уже собрались. За столом президиума сидели Тураханов, председатель сельсовета и Анвар. Подождав, пока уляжется шум, председатель сельсовета предоставил слово Анвару. Пулат слушал его, прислонившись плечом к одной из колонн — не хотелось подсаживаться к односельчанам. У юноши было такое ощущение, словно он в чем-то провинился перед ними.

Анвар говорил, не вставая из-за стола, изредка заглядывая в листки бумаги — перед ним лежало «Обращение строителей Галабагэс ко всем труженикам Узбекистана». Говорил проникновенно и доверительно, не повышая голоса. Тураханов косился на него со снисходительной иронией — уж доведись ему выступить, он потряс бы зал пламенной, громовой речью!

— Вы, друзья, читали уже или слышали по радио письмо галабастроевцев. Помните, что они пишут? — Анвар процитировал: — «Дорогие товарищи! Мы начали всенародный поход за электрификацию республики. Кто

может стоять в стороне от этого? Только чуждые нам люди, не любящие свой народ, свою Родину, только трусы и дезертиры». И еще: «Пусть каждый из вас самоотверженным трудом завоеует право с гордостью сказать своим родным и друзьям после завершения строительства: я тоже участвовал в защите Родины — я строил гидростанцию». Да, товарищи, строители Галабагэс — это отважные солдаты труда.

На щеках Пулата выступил от волнения румянец, он повторил про себя: «Строитель — тот же солдат...»

— И они зовут вас помочь строительству, — продолжал Анвар. — Галабагэс — народная стройка. Это значит, что каждый из нас должен внести посильный вклад в это великое дело! Многие останутся трудиться на колхозных полях, их долг — трудиться не только за себя, но и за тех, кто уедет на стройку. А уехавшие обязаны будут выполнять нормы за двоих, за троих, за весь кишлак! Это как на фронте: все за одного, один за всех.

И Пулат прошептал одними губами: «Как на фронте...»

Из высоко расположенных окошек тянулись в зал пыльные полосы света, в зале густела духота. Анвар не успевал вытирать катившиеся по лицу ручейки пота.

— Иные, может, думают: мол, война идет, вон у нас лозунг висит — все для фронта, а тут строительство затеяли. Какое оно имеет отношение к фронту? Да самое прямое, товарищи, и к фронту, и к будущему Узбекистана! В письме здорово об этом сказано! Наша республика становится индустриальной. Сколько заводов и фабрик выросло у нас за последнее время! Да добавьте к этому еще промышленные предприятия, эвакуированные из прифронтовых районов. Мы ведь приютили, как родных, рабочих России, Украины, Белоруссии. Сейчас наша промышленность работает на фронт, производит оружие и боеприпасы. И она должна работать на полную мощность! А для этого ей требуется все больше электроэнергии. Построив Галабагэс, мы обеспечим нашу военную индустрию пужной электроэнергией и этим приблизим день полного разгрома фашистских гадов! Но это еще не все. Все новые и новые города и села вырывает наша армия из лап оккупантов, скоро она очистит от фашистской мрази всю нашу землю. И мы должны по-

мочь нашим братьям украинцам, белорусам, эстонцам, латышам, литовцам, молдаванам в восстановлении народного хозяйства, разрушенного немецко-фашистскими захватчиками. Это наш интернациональный долг! Однако мы справимся с этим лишь в том случае, если досыта напоим нашу промышленность электроэнергией — ведь и человек может работать на всю катушку только тогда, когда течет в его жилах напористая, молодая кровь! Верно?

Анвар при его беспокойном нраве не мог долго усидеть на месте. Он вышел из-за стола и зашагал по сцене — кренкий, коренастый. Жесты его были скупыми, вот только слишком часто он машинально потирал ладонью то щеку, то подбородок — его, видно смущало, что он выглядит небритым...

— А вы представляете себе, дорогие мои, как далеко вперед шагнет после войны родной наш Узбекистан, когда каждая его жилочка наполнится бурно пульсирующей, светоносной кровью — электроэнергией?! Одна только Галабагэс даст энергию трех с половиной миллионов богатырей. Новые электростанции вдохнут жизнь в десятки новых заводов, помогут нам преобразить пустыни в цветущие оазисы, озарят светом наши жилища — в каждом доме вспыхнет лампочка Ильича, электрический чайник придет на смену кумгану, электропечи вытеснят сандал! Наш народ издавна мечтал о такой вот светлой, счастливой жизни, недаром придумал мудрую поговорку — продай скарб, купи свет. Дешло теперь до вас, дорогие, почему так важно поскорей построить Галабагэс?

Анвар остановился на краю сцены, пристально вглядываясь в потные, отливавшие медным блеском, напряженные лица дехкан. Это его большая родня. Это за них, за этих вот стариков, женщин, серьезных не по летам подростков, пролил он свою кровь на фронте. С ними ему работать и жить, с ними. Это братья его и сестры, и он должен по-дружески предупредить их о возможных невзгодах и лишениях.

— На этом пути, друзья, ждут нас немалые трудности. Сами понимаете, строить такую махину — это не на джейранов охотиться. Сроки даны жесткие. Условия на стройке, по совести говоря, тоже не курортные. Работать будет нелегко. Придется вложить в эту стройку, пожа-

луй, не меньше труда, чем было вложено в свое время в сооружение Большого Ферганского канала. Прежде-то, в мирное время, на создание такой гидростанции даже с помощью машин потребовался бы добрый десяток лет, а нынешняя обстановка обязывает нас управиться со строительством куда быстрее. Ох, и попотеем, товарищи, что там греха таить. Но вот что пишут строители: «Ныне, в дни решительных боев Красной Армии с фашистскими пзвергами, наши сыны и братья под ливнем свинца, под разрывами бомб и снарядов идут с развернутыми знаменами в наступление на врага. Они не щадят своих жизней в борьбе за народное дело! Так можем ли мы бояться трудностей, отступать перед преградами здесь, в тылу? Нет, товарищи, не можем! Сколько бы мы ни пролзли здесь, в тылу, своего пота, сколько бы ни вынесли невзгод и лишений, все равно останемся в долгу перед нашими братьями-солдатами — они ведь не пот, а кровь свою проливают. Так будем трудиться на пово-стройках не за страх, а за совесть, выполним свой патриотический долг перед Родиной!»

И в сердце Пулата отозвалось, как эхо: «Выполним долг перед Родиной! Да, да, ты в долгу у Родины, у отца и его друзей...»

Анвар продолжал:

— Правда, тем, кто едет в ближайшие дни на стройку, будет не так трудно, как первым строителям... А ведь это тоже простые дехкане. Это настоящие герои, и с них брать нам пример!

И он поведал бахмальцам услышанную им быль о первых, самых трудных днях строительства.

* * *

...Началось строительство Галабагэс в феврале тысяча девятьсот сорок третьего года. По призыву ЦК партии Узбекистана могучим потоком хлынул на огромную строительную площадку, раскинувшуюся меж Каттасам и древними скалами, трудовой люд республики.

Основная масса дехкан, выделенных колхозами на строительство Галабагэс, расселялась вдоль трассы деривационного канала¹. У каждого района были свой уча-

¹ Канал, который должен был обеспечить спад на участке ГЭС.

сток земляных работ, свои прорабы, завхозы, даже свои повара, продукты строителям доставлялись из их же колхозов.

Зима выдалась лютая, с резкими, обжигающими лица ледяными ветрами, снежными метелями. Одеты были дехкане кто как: не всем удалось добраться до своих участков — пные, отбившись от земляков, замерзли в дороге. Тысячам же строителей, осевших на берегах будущего канала, пришлось прежде всего позаботиться о жилье. Сразу же после прибытия они принялись рыть землянки. Это тоже было нелегким делом. Лопаты с гулким звоном отскакивали от промерзшей земли, на холоде деревенели руки, лица становились словно бы воспаленными. И все же за несколько дней вырос целый город под землей. Нехитрые жилища надо было привести в божеский вид, а строительных материалов не хватало, дехкане добывали хворост на островке, где рос негустой лесок, некоторые приобретали старые дома у местных жителей: в окрестностях царил голод, мазанку можно было купить за три — пять лепешек. Дома разрушали, полученные стройматериалы шли на благоустройство землянок. Не ладилось поначалу и со снабжением — непогода затрудняла подвоз, да и колхозы были не ахти как богаты. Всем приходилось несладко, всем довелось испытать на себе тяготы военной неустроенности: штаб первого начальника строительства разместился в скалах, в щелчке.

Было трудно: стройке дали слишком мало машин и механизмов; работали в основном вручную, канал рыли лопатами да кетменями; землю таскали к отвалам в мешках, в ящиках, притороченных к спинам, возили на тачках, на ослах...

Было неимоверно, немыслимо трудно. Но люди ни перед чем не отступали; они чувствовали себя солдатами, воюющими с войпой, со стихией за счастье родного края.

И когда строители уже прочно, как фронтовики на боевых позициях, закрепились на земле, по которой должен был пройти канал, они собрались на торжественный митинг, посвященный открытию строительства. Люди стояли, тесно прижавшись друг к другу — так было теплее; над толпой неуютно курчавился стылый пар от дыхания. Вдоль трассы, низко-низко над головами, пока-

чивая крыльями, пролетел самолет; медленно закружилась в морозном воздухе стая белых птиц — листовок со строками Обращения партии к народу. Дехкане читали их и прятали, словно желая согреть, за пазухи.

После митинга все, как один, взялись за кетмени и лопаты. Дружно, одним мощным ударом двести тысяч кетменей и лопат вонзились в неподатливую, твердую как железо землю.

Так начинался Подвиг.

Так запевалась народная стройка...

* * *

Заключив свой рассказ, Анвар зачитал последнюю страницу Обращения:

— «Подобно тому как алмаз украшает золотое кольцо, так новые очаги электроэнергии станут достойным украшением солнечного Узбекистана!

Дорогие отцы, матери, жены, сестры и сыновья!.. Несколько месяцев назад мы с вами обратились к воинам-узбекам, призвали их беспощадно разить врага. Мы писали, что трус, покинувший поле боя, напрасно будет стучаться в дверь своего дома, он будет проклят всем народом. Выполняя наш наказ, наши отцы, мужья, братья и сыновья проявляют на фронтах Отечественной войны чудеса храбрости.

Но мы не должны забывать, товарищи, и о той части письма, где сами мы поклялись героически трудиться в тылу. Лишь тот, кто будет работать не щадя сил, сможет с полным правом, чувствуя себя достойным этой чести, прижать к груди героев-воинов, которые вернутся домой после победоносного завершения войны.

Наш трудолюбивый народ!.. Ты познал свою силу в коллективном труде на хлопковых полях, на строительстве каналов и водохранилищ. Тобой, твоими подвигами восхищались все советские люди. Так подчини своей воле седую Сыр-Дарью, заставь ее мчать воды по пути, который сам ей укажешь, прикажи ей быть слугой советской земли, и ты еще раз услышишь братскую хвалу своей силе и упорству».

Анвар положил листки Обращения на стол, сел; устало улыбаясь, отер пот со лба, шутливо произнес:

— Сказать по совести, упарился я с вами! — В зале доброжелательно рассмеялись. Белобородые старики с

хитрым, одобрительным прищуром поглядывали на Анвара, им пришлось по душе его выступление. — Бы сейчас пойдете в поле — не забывайте, о чем мы тут с вами толковали. А теперь товарищ Тураханов зачитает, кто от вас должен ехать на стройку. Он назначен уполномоченным райкома на Галабастрое. — Тураханов важно кивнул, словно разрешая Анвару говорить о нем. — Поедет с вами.

— Ты-то поедешь? — крикнула с места какая-то женщина. — Говорил красно!

— А то как же. Не ехал бы, так постеснялся бы вас агитировать. На фронте, кто агитирует, первым поднимается в атаку. А это — тот же фронт. Слышали, что пишут строители? — Лицо его расплылось в простодушной, открытой улыбке. — В общем, не раз еще встретимся!

15

Пулат незаметно вышел из клуба. Он решил перехватить Тураханова, когда тот будет возвращаться домой, и поговорить с ним, как мужчина с женщиной. Не слишком-то радовал его предстоящий разговор, но что поделаешь, его судьба сейчас в руках Тураханова: Тураханову поручили руководить людьми, отправляющимися на стройку, в его воле включить или не включить Пулата в список отъезжающих.

Пулату не хотелось, чтобы кто-нибудь его видел. Он выбрал место возле турахановского дувала, под кривоствольным, с пышной листвой карагачем, долго стоял там, зябко поеживаясь — земля еще не успела подсохнуть, дул сырой ветер. Пулат стоял, думал... Было над чем поразмыслить! О фронте, сказал врач, ему нечего пока и мечтать (про себя Пулат отметил это «пока»). Но и голову не следует вешать, ведь главное для него — отдать Родине молодые свои силы, огонь своей души! Анвар предложил ему ехать на строительство Галабагэс... Здорово он говорил об этой стройке — как стихи читал! А какое письмо — каждая строчка пылает, как костер! Стройка — это, конечно, не «тот же фронт», нет! Но и она — дело трудное, нужное и почетное. Вся республика следит за строительством. Уж если ему суждено остаться пока в тылу, он должен припять на свои плечи самую тяжелую ношу, чтоб под ней кости затрещали,

слезы выступили на глазах и заскрипели упрямо стиснутые зубы! Он поедет на стройку и так будет работать, что небу станет жарко!

Потом Пулат подумал о Бахор... Вот они и расстаются. Такое сейчас время — время разлук. Не попал на фронт, так все равно покидает родной кишлак. Что ж, мало кто из настоящих мужчин сидит в эти дни дома. Одни далеко-далече от родимого края тушат пожар, грозивший охватить их дома, другие на новостройках бьются за свет и счастье для родных домов!

Послышались чьи-то торопливые, осторожные шаги, Пулат оглянулся: к дому Тураханова, опасно озираясь, шла его жена Зеби. Она тихо, как мышь, скользнула в калитку. Где это она была? Да он же видел ее в клубе, она стояла у входа. Как она туда попала? За все время, пока Зеби жила в Бахмале, она почти не появлялась на людях. Соседка, а Пулат ни разу не слышал ее голоса. Ну и нашел Тураханов жену!.. Где только выкопал такую?

Пулат придвинулся ближе к дереву.

Как не похожа Бахор на Зеби!.. Бахор ничего не боится, смотрит на мир смелыми, широко распахнутыми глазами. Какие у нее искристые глаза — так и брызжут то гневом, то сочувствием, то восторгом! Черные, а полны света. И волосы черные-черные, а тоже словно светятся. И наверное, мягкие, как шелк. Он ни разу не трогал ее волос, а сейчас, в мечтах, коснулся их нерешительной рукой и испугался этого тайного своего порыва... Щекам стало жарко, грудь обдало жаром. Что же это с ним творится? Они с Бахор друзья. Отчего же ему стали вдруг мерещиться ее глаза и волосы?

Он отогнал от себя тревожные видения — они были не ко времени, как тот букет тюльпанов, который весной нарвала Бахор. До цветов ли сейчас!.. Там, где гремят бои, все цветы сожжены железными ветрами; надо сперва одолеть военную грозу, и лишь когда по стране свободно, мирно разольется буйное половодье трав и цветов — он сам поведет Бахор собирать пестрые букеты и подарит ей самый лучший и скажет... Но это потом, потом! Пока надо работать, бороться; русский писатель-герой Николай Островский говорил, что жизнь дается человеку один лишь раз — значит, надо прожить ее так, чтобы украсить ею большую, не знающую смерти жизнь

Родины. Мы разведем когтистый ветер войны, перед нашей волей, силой, решимостью до последней капли крови, до последнего вздоха сражаться за народное дело отступят бури и грозы, ночь и смерть, разлуки и недуги!..

Мама, Бахор, там, на стройке, я буду помнить о вас, работать за вас. Ты, мама, прости, что я с тобой не посоветовался, я знаю: ты одобрила бы мое решение, ты ведь мне большой друг...

Пулат так ушел в свои мысли, что услышал энергичные шаги Тураханова, когда тот уже подходил к калитке. Пулат метнулся к нему:

— Акрамхан-ака!

Тураханов остановился с недовольным видом:

— Сосед? Что тебе?

— Мне надо поговорить с вами.

— Хм... — Тураханов насторожился. — О чем?

— Хочу вас попросить...

Как бы ни недолюбливал Тураханов этого мальчишку, Пулат все-таки был сыном его предшественника, тоже руководящего лица. Почему бы и не приветить его?

— Зайдем в дом, что на улице-то разговаривать.

Одна из комнат в турахановском доме служила хозяину чем-то вроде кабинета, вход в нее был прямо со двора, и домашние сюда не допускались. Комната была обставлена с подчеркнутой скромностью: письменный стол, стулья, громоздкий телефон на стене.

— Садись, дружок. О чем хочешь попросить? Из уважения к твоему отцу я все готов для тебя сделать.

Пулата передернуло, но он сдержался.

— Я хочу поехать на стройку. На Галабагас. Добровольцем. Ведь там нужны люди!

Тураханов откинулся на спинку стула, короткие его брови подпрыгнули к кромке гладких, словно лакированных, волос:

— Постой-ка. Ведь ты идешь в армию?

— В армию меня не взяли...

— Хм... Вот как! А я и не знал. Почему же тебя забраковали? — Тураханов жестко усмехнулся. — Плоскостопие?.. Грыжа?..

Пулат опустил голову:

— Туберкулез.

— Вот как!

Сообщение Пулата было для Тураханова неожиданностью. В его тайном посягательстве на Бахор Пулат мешал ему. И Тураханов, сознавая всю унижительность этого чувства, все же не мог побороть злорадного торжества, когда узнал, что мальчишку призывают в армию. Рано, выходит, торжествовал. Мальчишка хочет на стройку. Ну нет, шалишь! Не хватает еще, чтобы этот соплик и на стройке путался у него под ногами! Не выйдет, драгоценный! У него, у Тураханова, — свои планы...

Придав своему голосу сочувственные нотки, он сказал:

— Туберкулез, говоришь... М-да... Как же с такой болезнью — и на стройку? Береги здоровье, дружок, жизнь у нас одна, другой не выдадут.

— О моем здоровье не беспокойтесь. Мне доктор прописал свежий воздух.

— А ты не дерзи. Лично я знаю, о чем мне надо беспокоиться и о чем не надо. Я как руководитель обязан заботиться о людях. Стройка — не санаторий. Да и какая там польза от больного?

— Я... Я буду так работать!.. Я должен...

— Мы все, дружок, должны прежде всего думать о пользе дела. Я лично стремлюсь на фронт, а партия приказала мне остаться в тылу — я остался. Значит, здесь я нужней. Обстоятельства порой сильнее нас, надо уметь им подчиняться.

Пулат сидел, стиснув зубы, под скулами у него ходили желваки. Почти то же самое, что и Тураханов, говорил ему вчера Анвар, но Анвар-то успел уже побывать на фронте, в его искренность Пулат верил, а в словах Тураханова чувствовал фальшь. Анвар говорил: значит, так надо. Тураханов: значит, я здесь нужней. Подумаешь, незаменимый!.. Отец во сто крат был бы полезней на этом посту, а пошел на фронт! Добился, чтобы его послали!

А может быть, Пулат, ты пристрастен к Тураханову? Ведь ты-то его не знаешь, ты судишь о нем так гневно и дерзко лишь потому, что просто не любишь этого человека, ревнуешь его к Бахор. Узнай о твоих мыслях мать, она не одобрила бы этой мальчишечьей категоричности в суждениях.

Или, может, это пронизательность юности, чистой,

искренней, нетерпимой, беззаветно преданной светлым идеалам своей страны? И в свете этой беспощадной чистоты отчетливей видна любая фальшь?

Но будь ты даже и пристрастным, я все равно люблю тебя, славный мой мальчик, люблю таким, какой ты есть. Знаю, ты еще изменишься, твои чувства возмужают, а пока мне по душе даже твои «перегибы» — они ведь от хорошего в тебе. Пулат, я верю, что на доброй почве зазолотится настоящий характер!

— Неправда, товарищ Тураханов! — горячо возразил Пулат. — Не нам, советским людям, смиряться перед обстоятельствами. Я переборю свою болезнь.

Тураханов уже не в силах был владеть собой. Крупные, тяжелые складки его лица налились багровостью. Он раздраженно забарабанил пальцами по столу:

— У тебя, дружок, что — тыква вместо головы? Ты соображаешь, что говоришь? Пока ты будешь свою болезнь перебарывать, ты у меня всех перезаразишь!

— Доктор сказал, что я везде могу работать, при должной осторожности.

— Не твой доктор, а лично я отвечаю за здоровье людей, которых повезу на стройку! Кто только внушил тебе эту дурацкую мысль — тащиться туда с туберкулезом?

— Мне посоветовал Анвар. Все равно поеду! Пойду в райком комсомола!

— Зачем же даром тратить время? — Тон Тураханова снова сделался миролюбивым. — Анвар сейчас, наверно, у себя. Мы ему позвоним. — Он подошел к телефону, резко крутнул ручку; когда его соединили с Анваром, сказал укоризненно: — Что же это ты делаешь, дорогой? Где чуткость к людям? Парень серьезно болен, а ты ему предлагаешь ехать на стройку. Как о ком? О Пулате Садыкове. Да, да. У него же туберкулез! Да, да, лично я и за него боюсь, и за других. Болезнь заразная. Я тебе говорю! Что, что? Ну, работа для него и в колхозе найдется: авось не пропадет. Что? Хорошо, хорошо. Ну, вот и ладно. До встречи, дорогой! С большевистским!

Он повесил трубку, повернулся к Пулату:

— Слышал? Отправляйся-ка, дружок, домой, а то отцу напишу, как ты тут скандалишь.

Пулат метнул на Тураханова яростный взгляд — как он смеет пугать его именем отца!.. Но у него уже не было

сил спорить с Турахановым: «измена» Аивара совсем его доконала. В душе кипела обида: сам агитировал ехать на стройку, а теперь на попятный, спасовал перед Турахановым! А еще друг...

Не говоря ни слова, Пулат поднялся и вышел из дома.

Тураханов потянулся, довольная усмешка играла на его лице. Он прошел во двор. Тотчас же во дворе появилась Зеби, казалось, только и дожидавшаяся, когда муж закончит разговор с Пулатом. Робко приблизилась она к Тураханову:

— Акрамхан-ака!.. Возьмите меня с собой!

— Что-о-о? — протянул Тураханов.

— Я была в клубе... Слышала... Все едут! Я хочу работать, Акрамхан-ака, я зачакну без работы, я умру!

Тураханов схватил ее за руку, она вскрикнула от боли, но не опустила глаза. В них были мольба, бунт, отчаяние!

— Вот как? — процедил Тураханов. — Своевольничаешь? Воспользовалась тем, что отец с матерью в районе, и в клуб? Решила покрасоваться перед народом?

— Возьмите меня на стройку! — не слушая его, словно в забытьи, продолжала молить Зеби. — Буду руками копать землю! Самые тяжелые камни таскать! Все, что скажут! Возьмите! Вы должны... Вы коммунист!

— Перед партией я виноват только в том, что такую слякоть взял в жены. Догадываюсь, что у тебя на уме! Боишься отпустить меня одного, юбочником считаешь? Опять ревность?

Тураханов и вправду полагал, будто все дело в ревности, и тон у него был скорее язвительный, чем гневный. Зеби растерялась: муж не понимал, не желал понимать, что она из последних сил терпит домашний гнет, что душа ее, как птица из тесной клетки, рвется на волю, на простор, к свету, к людям, к труду, она погибнет без солнца!

— Что вы, Акрамхан-ака! — пробормотала она, глядя на мужа расширенными, полными муки и ужаса глазами. — За что вы так?.. Я...

Она готова была заплакать. Тураханов брезгливо отстранил ее, шагнул к калитке. Обернувшись, сухо сказал:

— Я в район. Вернусь поздно. Приготовь все к отъезду. На стройке тебе делать нечего, лично мне камень

па ногах не нужен, без тебя хватит мороки. Останешься дома, за хозяйку. Вернись, проверю, как ты тут управлялась. Не забывай, чья ты жена, не какого-нибудь рядового дехкапина.

16

Хайри пришла домой только к вечеру — весь день пропадала в поле со своими школьниками и не знала, какая новая беда свалилась на сына. Пулат бродил по двору с убитым видом. Хайри накинулась на него:

— Не правишься ты мне, сынок. Что толку растравлять раны, копаться в своих переживаниях? Так совсем заболеешь. Выше голову, мальчик!.. Давай попцем выход вместе.

— Я уже нашел, мама! — Неустоявшийся басок Пулата звучал чуть хриловато. — Поеду добровольцем. На Галабастрой.

Хайри вздохнула:

— Что же, сынок, одобряю.

— Но Тураханов не хочет включить меня в список. Там говорит, трудные условия. Считает, что я заразный. И Анвар с ним заодно!

— У Тураханова большой авторитет. — Хайри разговаривала с сыном ласково, твердо, спокойно. — Может, он прав?

— Нет, нет, мама! — горячо воскликнул Пулат. — Доктор говорил совсем другое. Не бегать же мне теперь от людей! Я могу работать, могу!

— Что-нибудь придумаем, сын, раз уж ты с Турахановым, как огонь и вода. У нас в колхозе тоже дел много. А людей — мало...

— Нет, только не у нас! — Пулат упрямо замотал головой. — Совестно людям в глаза смотреть. У всех сыновья в армии. А я... со стариками!

— Сейчас всюду женщины да старики.

— Но мои ровесники — в армии!

— Понимаю, сынок. Не знаю, что я чувствовала бы на твоём месте...

Пулат посмотрел на мать — лицо ее осунулось, пожелтело за эти дни, веки опухли... И она ещё его утешает!

Их разговор был прерван приходом Халила-ата и Бахор. Пулат, завидев их, залился краской и рванулся было к дому, но Хайри мягко удержала его:

— Куда ты? Нельзя так, сынок, нехорошо. Они же к нам со всей душой!

Крепко, плотно ступая своими грубыми кирзовыми сапогами, во двор первым вошел старый кузнец. На нем, как всегда, был светло-серый яхтак, голова обмотана, как чалмой, поясным платком. Еще от калитки он крикнул:

— Сынок!.. Собирайся, поедем с нами на стройку! — Он приблизился к Хайри и Пулату, поздоровался с ними; обращаясь к юноше, продолжал: — Дело как раз по тебе.

— Вы оба едете? — спросил Пулат.

— Ой, Пулат! — рассмеялась Бахор. — Что у нас дома было! Настоящее сражение! Отец вздумал меня дома оставить... А я не хотела, чтоб он ехал.

— Хе-хе... Пришлось отступить перед превосходящими силами противника.

Халил-ата, улыбаясь в белую бороду, рассказал о домашней баталии. Тураханов, оказывается, включил в список только Бахор — от каждой семьи должен был ехать на стройку один человек. Но старик встал на дыбы:

— Нет, дочка, никуда не поедешь. Я поеду, отработаю за тебя.

— Отец! Я молодая, меня и включили. Все правильно.

— Погоди меня в старики-то записывать. Молодая... Вот и останешься в колхозе, будешь в институт готовиться.

— В какой институт? — искренне удивилась Бахор.

— В какой, в какой... Еще спрашивает! — Борода старика сердито встопорщилась. — Хороша, от отца свою мечту скрывала! Ведь на доктора хочешь учиться, верно? Порадовала старика, доченька. Сам неграмотный, так хоть ты будешь ученой! Даст бог, еще полечусь у родной дочки... Хе-хе...

— Отец! — Бахор старалась сохранить почтительный тон. — До учения ли ныпче? Ведь война!

— Война войной, но институты-то, поди, не позакрывали? Вот и будешь учиться.

— Не буду.

— Отцу перечить? — вскипел Халил-ата, но тут же смягчился: — Ведь сама... Помнишь, что писала в своем сочинении? Я слушал, на седьмом небе был от радости. До революции-то мы только и могли, что спину на баев гнуть... А ты родилась под счастливой звездой — иди учишь, на кого душа пожелает. Подумать только, дочка бедняка — доктор... Вот оно, счастье-то. Уж как бы я тобой гордился, дочурка!..

Сердце Бахор разрывалось от нежности, от любви к отцу. Она произнесла чуть не плача:

— Это потом, отец, потом! Это все после! Вы же были в клубе. Республике свет нужен. А я комсомолка! Ах, отец!.. — Она устремила вдаль мечтательный взгляд. — Вот построим электростанцию... Загудят на заводах станки — один из них я запустила! В домах, как звезды, вспыхнут лампочки Ильича — одну из них я зажгла! Не лишайте меня этого счастья, отец. Институт обождет. Пулат тоже мог бы пойти в институт. А вы, отец, сами благословили его на ратный подвиг. Помните? Стройка — тот же фронт, так говорил сегодня наш секретарь. Вы ведь Пулата не стали бы отговаривать, если бы он надумал поехать на стройку?

Последний довод оказался для старика решающим: не мог он родной дочке желать одного, а всем остальным — другого... Он вздохнул, потом, просветлев лицом, воскликнул:

— А и верно, Пулату-то в самый раз с нами поехать!

Бахор насторожилась:

— Почему — с нами, отец?

— Я тоже еду, дочка, и не возражай, дело решенное! Кузнецам там небось цены нет. Акрамхан, полагаю, уважит мою просьбу, возьмет на стройку.

На том и поладили.

Тураханов, возвращаясь из района, зашел к соседям — Халилу-ата легко удалось с ним договориться.

Обо всем этом и рассказывал теперь старик, пересыпая свою речь добродушными шуточками, а Пулат все ниже и ниже клонил голову... Вот ведь как получилось: не он едет на стройку, а Бахор. А он-то в мысленном разговоре с ней обещал работать на стройке и за себя, и за нее! Опять, выходит, расхвастался перед самим собой. За что судьба так не жалуется его? Только он гордо

расправит плечи, а ему — тумака! Значит, Бахор едет на стройку... Бахор едет на стройку с Турахановым!..

Страшная догадка потрясла Пулата: может, Тураханов отказал в его просьбе только потому, что хотел разлучить с Бахором? Что же делать? Все против него. Даже мать: она говорила, что Тураханов, возможно, и прав. Проклятая болезнь!.. Ну, погоди — я так легко не сдамся! Бахор едет с Турахановым... Пускай едет! Он тоже уедет куда-нибудь, найдет свое место в жизни — нет, нет, никому не придется за него краснеть!

Сейчас же ему хотелось одного — уйти, не видеть ни Бахора, ни ее отца. Только не будет ли это позорным малодушием?..

Пулат взглянул прямо в глаза Халилу-ата:

— Меня, Халил-амаки, и на стройку не берут.

— Кто не берет?

— Тураханов. Туберкулезникам, говорит, нечего там делать.

У Бахора дрогнули ресницы, а старик сказал ласково:

— Сынок, болезнь-то не цветок, нечего над ней трястись, баловать ее своим вниманием... Брось о ней думать. Теперь, я слышал, от этого туберкулеза запросто вылечиваются. Погляди-ка на себя, какой ты больной?

— Легко вам говорить! — криво усмехнулся Пулат. — На стройку-то меня не взяли!

— Это дело поправимое. Хочешь, похлопочу за тебя перед Турахановым? Он нам добрый сосед, не станет, думаю, упрямитесь.

— Нет! — воскликнул Пулат. — Мне от него подачек не нужно.

Халил-ата огорченно развел руками:

— Вот и толкуй с тобой... Прямо сухой хворост!

А Бахор горячо сказала:

— Не огорчайся, Пулат! Все будет хорошо! Не так уж ты болен. Ты скоро и на стройку к нам приедешь, и на фронт к отцу попадешь. Я верю, Пулат!

Хайри благодарно коснулась ее руки. Пулат хмуро спросил:

— Завтра едете?

— Ага! Завтра. Акрамхан-ака отвезет нас в своем фаэтоне.

— В фаэтоне? — опять теряя самообладание, переспросил Пулат. — С каких это пор ты стала в фаэтонах

разъезжать? В роду у вас баев как будто не было.

Хайри укоризненно покачала головой, показала глазами на Халила-ата: «Ты ведь и его обижаешь, сынок, возьми себя в руки».

— А что тут такого? — Бахор закусила губу. — Товарищ Тураханов наш сосед, вот и предложил нам ехать в его фаэтоне. Отец согласился.

Пулат хотел сказать еще что-то резкое, но вовремя удержался и так сжал кулак, что ногти впились в кожу. Мать права — в чем Бахор-то перед ним виновата? Нечего срывать на ней свою злость и обиду. Приходит гнев — уходит разум. Если спокойно поразмыслить... ведь не на прогулку едет Бахор с Турахановым, а на стройку! Ей можно только позавидовать. Но она и там будет с Акрамханом-ака... А что ей делать? Не отказываться же от чести строить Галабагэс только ради того, чтобы остаться с ним, Пулатом, и этим развеять его тревогу и подозрения! Да и имеет ли он право и основания в чем-то подозревать ее? Мало ли какие расчеты у Тураханова, сама Бахор чиста помыслами: как просто, открыто сказала она, что поедет в турахановском фаэтоне. Она светлая, как весна. Пулату так хотелось ей верить! И все же скребло у него на душе...

— До свидания, сынок, — сказал Халил-ата. — Время позднее, а нам еще в дорогу собираться. Утром придешь проститься?

Пулат промолчал.

Старик, видимо, догадывался, что творится в душе у юноши.

— Ладно, сынок, — сказал он миролюбиво. — Прощай, соседка!

Пулат помимо воли задержал руку Бахор в своей; ладонь у нее была маленькая, теплая. Она не отнимала руки; оглянувшись на отца и Хайри, спросила, понизив голос:

— Будешь мне писать?

— Не знаю...

— Пулат! Обязательно пиши! Мне без тебя будет очень, очень одиноко! Приходи утром проводить нас. Придешь?

— Не знаю, — пряча глаза, сказал Пулат. Он готов был стоять так долго-долго — от ладони Бахор тепло

шло к самому сердцу. Но была в сердце и какая-то горечь... Нет, он не придет провожать Бахор. Зачем ему видеть, как Тураханов будет усаживать ее в свой фаэтон. И он повторил, выпуская ее руку: — Не знаю.

Бахор просяще, настойчиво заглянула ему в глаза: — Приходи, слышишь?

17

«Приходи, слышишь?» — эти слова прозвучали в ушах Пулата, как только он проснулся. Было раннее утро. С минуту Пулат в задумчивости сидел на постели. Хайри тоже, видно, уже поднялась: Пулат слышал, как она убирала постель.

Он оделся и, стараясь не шуметь, выскользнул из дому.

На улице уже гомонил народ, слышался топот копыт, скрип арб. Пулат свернул в сторону, избегая встреч, прошел узкими переулками к лугу и через луг — к реке, к старому вязу, под которым он с Бахор готовился к экзаменам. Умывшись прозрачной водой, Пулат напился из реки — дома он даже не позавтракал, во рту было горько и сухо. Обычно, узнав, что он пил холодную воду, мать встревоженно щупала ему лоб — нет ли температуры. И сейчас, словно мать стояла рядом, Пулат прошептал, оправдываясь: «Я не болен, мама... Сердце горит!» Поднявшись, он направился вниз по течению. По-видимому, ночью в горах шел дождь: быстрые, бурливые ручейки веслись к саю; чем дальше, тем мутней была вода; сердитая, густо-желтая, она пузырилась, пенилась, строптиво билась о берега, по ней стремительно плыли ветки, коряги, вырванные с корнем кусты.

Пулат облюбовал место, где берег вздымался округлым холмом. Отсюда хорошо были видны выезд из кишлака, дорога, ведущая в районный центр. Дорога была забита арбами, нагруженными пестрым домашним скарбом, вокруг суетились дехкане, пробовали, крепко ли привязаны вещи, поправляли мешки и хурджуны на понуру стоявших осликах. Тем, кто уезжал, помогали провожающие. Весь кишлак высыпал на дорогу, тут были и старики, и детишки. Ребята, конечно, не удержались, чтобы не поднять веселую возню, родители направо и налево раздавали шлепки и подзатыльники, но криков

не было слышно — они заглушались звоном и грохотом самоваров, казапов, железных печурок и печных труб, кетменей и лопат, которые дехкане укладывали в арбы.

Пулат присел на обдутый ветрами, омытый дождями гладкий камень... Зачем он пришел сюда? Ведь он же поклялся не приходить, на все просьбы Бахор ответил резким отказом, он ведь не хотел видеть, как она будет уезжать. Кого же он ищет в бурлящей толпе? Что повлекло его на этот холм? Или все-таки он хочет хоть издалека, хоть одним глазком взглянуть на Бахор — ведь они теперь долго не увидятся.

Он оглядел луг, где они с Бахор весной собирали атласно-алые тюльпаны. Трава на лугу пожелтела, тюльпанов не было. И недавнего счастья больше не было. Ведь он был счастлив тогда, весной, с ним была Бахор, с ним была гордая мечта о будущем...

И вот пришлось проститься со своей мечтой, вот он прощается и с Бахор.

Но сердце его с ним, Пулат слышит жаркий его голос, зовущий к трудной, яркой жизни!

«Родина!.. Ты сделала меня сильным, знающим, богатым. Пришла пора щедрой траты накопленных сил, я готов отдать их тебе, все отдам — и стану еще богаче!

Что же я должен сделать, чтобы не приходилось больше прятаться от земляков, чтобы не стучало в висках: не годен, не годен, ни к чему не годен! Друзья ушли в огонь и дым войны, односельчане уезжают на стройку добывать свет родному краю, а я, полный сил и желания жизнь отдать Родине, народу, вынужден со стороны наблюдать за сборами соседей и только завидовать им жгучей, бессильной завистью! Как жить дальше, как смотреть в глаза оставшимся в кишлаке дряхлым старикам, калекам, слабым женщинам?»

Проклятая болезнь! Пулат в сердцах даже стукнул кулаком по камню. Он казался сейчас себе чуть ли не дезертиром.

Солнце уже улыбалось вовсю, все вокруг: река, трава на лугу, сады в кишлаке, дорога — празднично сверкало под его лучами. На дороге провожающие уже прощались со своими близкими, которым предстоял дальний путь. Вот первые арбы тронулись с места, и дорога сразу же заволоклась желтой пылью. Пулат слышал скрип колес, крики ребятишек и вдруг замер: из кишлака, как

стрела, вылетел открытый, обтянутый выцветшим красным бархатом фэтон и помчался, обгоняя медленно разворачивающийся обоз, вперед по краю дороги. Пулат ясно различил в фэтоне Бахор, Халила-ата, Тураханова, и словно какая-то сила неожиданно для него самого сорвала его с камня. Не видя ничего перед собой, кроме красного фэтона, он побежал через степь к дороге. Сердце его бешено, гулко стучало. Он и сам не понимал, зачем бежит сломя голову, не представлял, что сделает, если нагонит фэтон, — выскажет Тураханову все, что накипело на душе, потребует, чтобы тот и его взял на стройку, или выхватит из фэтона Бахор и потом сам проводит ее до Галабастроля? Даже впоследствии он так и не мог вспомнить, какое чувство, какая цель гнали его по степи наперерез фэтону Тураханова. Душа его в те минуты ослепла от обиды, от ревности, от ненависти к человеку, увозившему Бахор!

Фэтон удалялся. Пулат бежал, теряя последние силы, споткнулся, упал, поднялся, тяжело дыша; хотел было продолжить этот бессмысленный бег, но фэтон уже исчез вдаль за длинной завесой пыли. И сразу так засадило коленку, что пришлось снова опуститься на землю.

Постепенно Пулат пришел в себя — и стыд обжег его. Ну чего он несся как ошалелый, с ума сошел, что ли?..

Медленно, чуть прихрамывая, стараясь никому не показаться на глаза, побрел он к киплаку.

Домой Пулат пришел усталый, изнуренный, даже не заметил, что возле их двора стоит старенькая, запыленная не меньше самого Пулата черная «эмка». Хайри, стряпавшая во дворе, с тревогой посмотрела на сына:

— Что с тобой, сынок? Где ты пропал?

— Купался, — отговорился Пулат первым, что пришло в голову.

— То-то ты такой чистый. — Хайри оглядела его, но больше ни о чем не спросила, не желая беречь сыпанные раны, только кивнула головой на дом: — А у нас гость. Знаешь, кто приехал? Дядя Шермат!

Шермат Касымов был старым другом Хайдара и добрым другом его семьи. Они вместе с Хайдаром учились в школе, вместе работали. В доме Садыковых он был самым желанным гостем. И как ни тяжело было на ду-

ше у Пулата, в глазах его вспыхнула радость, он чуть не бегом кинулся к дому. От всех он мог бы скрыть свое отчаяние, свои огорчения и незадачи, только не от этого человека, спокойного, умного, многое повидавшего на своем веку, перечитавшего тысячи книг! А сейчас у дяди Шермата горе: после сына погиб брат. Острое сострадание пронзило сердце Пулата, собственные его переживания потускнели перед тем, что должен был чувствовать дядя Шермат!

Пулат застал гостя в своей комнате. Неуклюже пригостившись у маленького столика, Касымов читал письма Хайдара, которые дала ему Хайри. Появление Пулата оторвало его от чтения, он тяжело поднялся навстречу юноше, большой, грузный, с отеками под глазами, Пулат знал, что дядю Шермата не взяли в армию из-за болезни сердца, которое, как он сам выражался, «стало барахлить в последние годы».

— Здорово, Пулат! — сказал он громко и вроде бы даже бодро. — Что ж это ты, брат, подкачал, а? Ну мне простительно, слава аллаху, под пятьдесят подкатывает. А ты? В твои-то годы — и больной! Молодым болеть нельзя.

Он дышал часто, трудно, а лицо, как всегда, было спокойное, непроницаемое. Пулату стало стыдно за свою недавнюю несдержанность. И оттого, что он был полон сочувствия к гостю, а может, из-за требовательного, твердого тона Касымова, который, казалось, заранее предполагал твердость и мужество в самом Пулате, юношу не задела его насмешливые слова, не резануло по сердцу напоминание о его болезни.

— Шермат-амаки! — спросил он с надеждой. — Можете, вы мне что посоветуете?

— Что ж, и посоветую. — Касымов принялся грузно, тяжело расхаживать по комнате. — Вовремя, выходит, надумал я к вам заскочить. Мать мне все рассказала. Только что-то уж слишком она тебя жалест. Этакое-то молодца! — Он кивнул на стол. — Отцовские-то письма внимательно читал? Какие выводы сделал? Я вот вижу по ним, что нет ничего невозможного для советского человека. Люди в окружение попадают — вырываются. Из плена бегут! Мост взорвать под самым носом у фашистов немислимое, казалось бы, дело! А взорвали. Я к чему это говорю? У нас-то с тобой трудности поменьше.

Ну, привязалась к тебе болезнь... Сверни ей шею! В армию не взяли, не взяли на Галабастрой. Так найди дело по плечу — плечи у тебя крепкие, а страна наша вон какая огромная, всюду нужны охочие до работы руки. — Он остановился перед Пулатом. — В общем, собирайся, поедем ко мне в совхоз. Совхоз новый, такое строительство разворачивается! Научим тебя ремеслу. Заранее предупреждаю: работать придется до седьмого пота, зато целыми днями будешь на свежем воздухе. Слыхал небось, что это за совхоз?

Да, Пулат был наслышан о совхозе, которым руководил Касымов. Совхоз только еще создавался, но где создавался — в пустынной степи! Недавно туда провели канал, напоили водой растрескавшуюся, поросшую пылью землю, и теперь труженики касымовского совхоза собирали хлопок. Пулат припомнил рассказы дяди Шермата — новоселы поначалу жили в шалашах, в землянках, вокруг простиралась бескрайняя степь; зима в степи суровая, лето жаркое, как угли в мангале. Но целинники трудились упрямо и самоотверженно, и в первый же год вспенились поля раскрывшимися коробочками хлопка, белого золота. Так закладывалось славное будущее этой бескрайней степи!..

Это было чудо!.. Народ, у которого столько сил и крови отнимала смертельная схватка с фашизмом, и в те тяжкие годы оставался народом-тружеником, народом-созидателем! Отстаивая от врага свое настоящее и будущее, он не переставал строить это будущее — перекрывал плотинами реки, возводил новые заводы, прокладывая каналы, покорял пустыни.

Касымов звал Пулата в свой совхоз помогать фронту, творить завтрашний день Узбекистана. Пулат без раздумий ухватился за его предложение. Только не сидеть сложа руки! Только бы было чем порадовать отца! В совхозе он научится строительному делу, получит специальность, она пригодится ему и после, на фронте, ведь в наступлении, как никогда, нужны саперы.

— Когда ехать, Шермат-амаки?

— А что откладывать? Сейчас и поедем. С матерью твоей я говорил, она согласна. Совхоз не так уж далеко от вас — сможет часто навещаться, да и ты будешь ее

навещать. Мать береги пуще всего на свете, бойся хоть ненароком ее огорчить.

Они вышли во двор. Хайри — она, видимо, не хотела мешать их разговору и не беспокоила их всё это время — уже приготовила чай. Они съели по горячей лепешке, выпили по пшалушке чая. Собрать вещи было для Пулата делом нескольких минут. Он переоделся, отнес к машине свой фанерный чемодан.

— Мама!.. — Пулат впервые уезжал из родного кишлака, ему вдруг сдавило горло, но он пересилил волнение, солидно сказал: — Отец напишет — сразу приезжай.

— Хорошо, сынок... — Хайри тоже с трудом сдерживала слезы. Она бы с радостью проводила сына до самого совхоза, помогла ему устроиться на новом месте, но не могла и на день оставить школьников, — они, чем могли, старались подсобить колхозу, работали в поле, в саду, на огородах. «Ничего, — утешала она себя. — Не на край света уезжает. Только бы не терзал себя больше! Только бы был здоров и счастлив...»

Касымов одернул свой просторный коломянковый китель:

— Ну, Пулат. По коням!

Хайри обняла и поцеловала сына:

— Счастливого пути, родной!..

18

В совхоз они приехали, когда уже начало темнеть. Машина остановилась возле директорского дома. Пулат, прихватив свой чемодан, вошел вместе с Касымовым во двор. Навстречу им с радостным криком бросилась целая орава ребят, мал мала меньше, все круглые, подвижные как ртуть. Они крепко вцепились в отца; кто схватил его за руку, кто повис на шее. И лишь когда он перецеловал всех, они, присмирев, вежливо поздоровались за руку с Пулатом, и тут же их как ветром сдуло — убежали в дальний угол двора продолжать прерванную появлением отца и гостя какую-то шумную игру.

Касымов, кивнув в их сторону, сказал:

— Ты на них не обращай внимания. Слышал пословицу: дом с детьми — базар, без детей — мазар¹? А еще

¹ М а з а р — кладбище.

говорится: где дети, там праздник. Видал, какие крепыши? Как погляжу на них, теплеет на душе... и в работе не знаю устали! Пусть их хоть десять будет — в сердце для каждого место найдется.

Из дома быстрой походкой вышла Саодат, жена Касымова, невысокая, полная, но, несмотря на полноту, проворная, такая же, видно, непоседливая, как и ее дети. Правда, глаза Саодат, обычно живые, как-то потускнели за то время, что Пулат ее не видел, словно облачко нашло на солнце. Держалась же она по-прежнему молодцом. Ни о чем не спрашивая мужа, несколько не удивившись тому, что он привез с собой неожиданного гостя, она радушно обняла Пулата, справилась о здоровье Хайри, провела его к умывальнику и, как только он сполоснул лицо, повлекла к столу — Касымовы обедали не на супе, а за столом, на открытой веранде — айване. И тут же куда-то умчалась.

Пулат ни разу не был в совхозе у Касымова. Пока хозяин умывался, он с любопытством осматривал двор. Во дворе был небольшой виноградник, огород и цветники, однако выглядел он пустынным, в вечернем сумраке маячили жидкими тенями лишь несколько саженцев. Ни саженцы, ни дувал не мешали видеть далекий в багрянице заката горизонт. Казалось, дом Касымова стоял прямо посреди пустоши, не было ощущения уюта, уединенности.

Дети затихли, жена Касымова уложила их спать тут же, во дворе, на сури — широкой деревянной кровати. Скорее на айване появился Касымов, а за ним жена с большими касами¹ горячего парына².

— Угощайся, Пулат! Поди, проголодался с дороги.

Хозяин и гость с жадностью набросились на парыи, но Касымов, вспомнив вдруг о чем-то, отложил ложку и попросил жену:

— Позови-ка соседа.

Не прошло и пяти минут, как она привела высоченного, широкоплечего мужчину, с обритой наголо головой, черными, как вакса, обвислыми усами.

— Знакомься, сосед, — сказал Касымов. — Это Пулат,

¹ К а с а — миска.

² П а р ы н — отварное мясо, парезанное тонкой соломкой и залитое мясным бульоном с лапшой и луком.

сын моего старого друга. Хочет стать строителем. А это, дорогой, — он обращался уже к Пулату, — наша знаменитость, бригадир строителей, Рустам, вернее, Рустам-палван!

Рустам и правда отличался богатырской статью. Такой, казалось, одной рукой поднимет арбу! И все же было заметно в нем что-то похожее на усталость, словно он не спал много ночей подряд или долго-долго блуждал по пустыне, изнывая от зноя и жажды. Лишь когда он смеялся, его худощавое желтое лицо словно бы свежело, наливалось здоровьем, а засмеялся он сразу же, как только увидел на столе исходящий острым парком нарын.

— Эге, знать, тещенька меня любит! — Не дожидаясь приглашения, он уселся за стол, повернулся к Касымову: — Что так поздно обедаете? Стряслось что?

— Что могло стрястись? Раз на столе нарын, значит, все в полном порядке!

— Это верно, — согласился Рустам. — Давно не едал такого нарына! — Он подмигнул Пулату. — Что затормозил? Перерыв на обед — это я понимаю. Перерыв в обеде не признаю. Ну, взяли!

Он поглощал нарын с таким заразительным аппетитом, что Пулат не заметил, как и сам опустошил свою касу.

— Кто как ест, тот так и работает, — одобрительно сказал Рустам. — Теперь неплохо бы чайку... ежели нет ничего другого.

Пулату и нравился новый знакомый, и в то же время его раздражала шумная непринужденность Рустама, беспечное балагурство, тот аппетит к жизни, к шутке, к еде, которым Рустам словно бы даже бравировал. «Такому на фронте место, — с предвзятой неприязнью подумал Пулат, — а он... Хоть бы держался поскромней!»

Касымов, наливая в чашку Рустама кок-чай, сказал, кивнув на Пулата:

— Вот, ученика тебе привез.

— Уважил, директор! — раскатисто пробасил Рустам и, обращаясь к Пулату, принялся, как старому знакомому, выкладывать душу. — Товарищ Касымов мастер требовать: стройте то, стройте это. Требовать-то — большого ума не надо... прости, директор! А народу в бригаде раз два и обчелся. Да и что за народ? На двоих — пол-

торы поги. — Он говорил, как понял Пулат, об инвалидах-фронтвиках, и юношу покоробил его топ. — Больше фронтвыми воспоминаниями занимаются, чем работают. Я говорю директору: добудь мне хороших бетонщиков. Сам понимаю: откуда их взять? А бетонщики нам во как пужны! Бетон у нас, как говорится, гвоздь программы, без бетона — ни туда и ни сюда, ведь наипервейшее дело фундамент заложить! Ты, приятель, кстати приехал, поставлю тебя на бетонные работы.

— Скажи лучше — обучу бетонному делу, — поправил Касымов.

— Поправка принята подавляющим большинством голосов! — Лицо Рустама снова расплылось в улыбке. — Эх, и дадим жизни, приятель! За месяц так натаскаю — самых знатных мастеров перегонишь! Молодо-зелено, хоть бетонщика из тебя лепи, хоть профессора. Будешь профессором по бетону! Люблю таких вот орлят — все впереди, любое дело по плечу, самый, можно сказать, перспективный возраст. Завтра заходи ко мне с утра пораньше, я рядом живу — что время-то терять, сам сведу в бригаду. Жить-то где думаешь?

— У меня останется, — сказал Касымов и, видя, что Пулат собирается возразить, поднял руку: — Никаких разговоров! С жильем в совхозе туго. Будешь пока жить у нас, и точка.

Когда Рустам ушел, Касымов, глядя ему вслед, с уважением проговорил:

— Всем мастерам мастер. Душа человек!

Пулат нахмурился:

— Все шуточки на уме.

Он чуть было не сказал, что этому богатырю-весельчаку больше подошел бы ручной пулемет, чем его прибауточки, но вспомнил, что ни он сам, ни дядя Шермат тоже ведь не были на фронте.

— Такой уж характер, — отозвался Касымов. — Люблю его за эту вечную его жизнерадостность!

— Хороша горчица к обеду, — совсем по-взрослому промолвил Пулат. — Война идет!

— Вот как... Война. А отцовские письма забыл? Отец твой, дружок, никогда не вешал носа, юмор и в письмах ему не изменяет, чему я от души рад! Наш народ, брат, — народ-оптимист! — Он многозначительно посмотрел на Пулата. — Ничего, поработаешь с Рустамом,

сам увидишь, какой это золотой человек. С маху-то не суди о людях — что за привычка у молодежи! Нужно уметь видеть в человеке главное. Учись этому, Пулат, всю жизнь учишься! А с Рустамом вы еще подружитесь. Уверяю, дорогой, такими станете друзьями — водой не разольешь!

Пулат о чем-то задумался, потом вдруг спросил:

— Шермат-амаки... Ну хорошо, буду я дома строить. А какая от этого польза там, на фронте?

— Молодец, что интересуешься этим. Вообще-то конкретная польза от того, что ты делаешь, не всегда видна. Но тут все просто. Лучше будут жить люди — лучше станут работать, верно? Землянки — это не дело. Отдохнешь там после работы? Черта с два. От такой жизни только хворобы всякие. А нам здоровые люди нужны — совхоз хлопков выращивает, а он позарез необходим именно фронту. Тут прямая зависимость. Знаю, что тебя волнует. Не беспокойся, будешь работать на фронт.

19

Пулат поселился у директора совхоза и на следующий же день начал трудиться в бригаде Рустамы, которую тот называл интернациональной: в нее входили и узбеки, и русские, и татары, и корейцы, был в ней и армянин — Ашот.

Строили в основном жилье. Многим рабочим совхоза все еще приходилось ютиться в землянках, и Касымов подгонял строителей: скорее, скорее, людям жить пегде!

Со стороны казалось, что на территории центральной усадьбы кто-то беспорядочно перемешал несколько поселков, резко отличавшихся друг от друга: с новехонькими хозяйственными постройками и домами, вдоль которых уже вытянулись молодые тополя, соседствовали шалаши и землянки. Это походило на пестрый, растрепанный букет, где к розам льнула полынь, а из вороха сорняков выглядывали фиалки.

Вокруг поселка, сжатые холмистой, бескрайней степью — простор тоже может теснить! — зелнели хлопковые поля. Хлопчатник уже выбросил бутоны. Совхоз намеревался с каждым годом все расширять посевные площади, поэтому строительной бригаде хватало работы и в будущих отделениях совхоза.

Рустам, видно, лишь для красного словца сетовал за директорским нарыном на свою бригаду: ребята были как на подбор, почти все недавние фронтовики. И хотя война успела-таки их обкорнать — кому пальцы отхватило, кто прихрамывал, — работа спорилась в их руках: стосковались по ней на фронте.

В одном Рустам оказался прав: любили ребята поговорить о своем боевом прошлом!

Пулат, никогда не дичившийся людей, первое время держался в бригаде особняком. Но не болезни своей стыдился — по тому, как он работал, и не заметно было, что он болен, — он стыдился, что не был, как все, на фронте.

Однако, когда его товарищи по работе в минуту перекура, сбившись в кружок, принимались вспоминать о фронтовой жизни, Пулат не мог удержаться, присоединялся к ним и жадно слушал их рассказы, еще отдававшие свежим порохом. Тут уж было не до стеснительности!

Касымов рассказал Рустаму, а тот всей бригаде историю Пулата, и, хотя ребята не отличались особой деликатностью в обращении с новичками, да и друг с другом, — языки у них были острыми, как бритвы, — Пулата они приняли без подковырок, как своего, и старались щадить его самолюбие, когда поначалу дело у него не клеилось.

Рустам учил Пулата на бетонщика. Чего проще, казалось бы, приготовить бетонную массу. Но Пулат то щепня не доложит, то воды перельет... Рустам только кричал с досады и поправлял своего ученика. А ученик попался терпеливый: когда ему указывали на промах, он стискивал зубы, но рук не опускал, и бригаде, знавшей, как глубоко он переживал свою «неполноценность», помешавшую ему попасть на фронт, нравились его старательность и упорство.

Сам Пулат все с большим интересом присматривался к своему учителю. С таким бригадиром, как Рустам, работать было легко, он никогда не утрачивал бодрости и жизнерадостности, постоянно напевал что-то себе под нос, на работу являлся подтянутый, чисто выбритый и от всех требовал такой же подтянутости и аккуратности. Он подбадривал ребят шутками, сам старался от них не отстать, заражал всех своей кипучей веселостью.

И все-таки, наблюдая за Рустамом, Пулат не мог отделаться от противоречивого чувства — он испытывал к нему благодарность, уважение, и в то же время юношу раздражало в бригадире это его бьющее в глаза, казавшееся показным жизнелюбие сильного, здорового человека.

Правда, в Рустаме было больше такого, что привлекало Пулата. Он учился у бригадира мастерству строителя. Работа бетонщика, несмотря на кажущуюся свою бесхитростность и однообразие, захватила его. На фундаментах, которые он закладывал вместе с бригадой, вырастали новые дома; оно было зримым, осязаемым — дело его рук!

Он возвращался домой усталый, измученный, с волдырями на ладонях от бетономешалки, которую приходилось крутить руками; съедал все, что ему давали, снопом валялся на постель и спал как убитый. Прежде с ним такое случалось нечасто. Просыпался он бодрый, с ощущением честно прожитого трудового дня.

И все было бы совсем хорошо, если бы не Халмат. Как только Пулат вспоминал по утрам о Халмате, к чувству радостной удовлетворенности и свежего энтузиазма примешивались обида и горечь. И ему приходилось делать над собой усилие, чтобы заставить себя пойти в бригаду.

Халмату, работавшему вместе с Пулатом, было лет двадцать пять. Он, как и большинство «рустамовцев», недавно демобилизовался из армии — после ранения в ногу, но не обладал и малой долей той чуткой, мудрой душевности, какую обретают многие, пройдя тяжелые, суровые испытания. Он любил прихвастнуть, и было в его хвастовстве что-то нервное, вызывающее, он из кожи лез, чтобы только быть на виду. Как все в бригаде, любил побалагурить, но вкладывал в свои шутки какую-то грубую язвительность, взгляд у него был горячий и ядовитый. Если же кто задевал его самого, он багровел, как кирпич. В общем, это был парень тщеславный и самолюбивый, однако — надо отдать ему справедливость — умелец, каких мало. Работал он споро, ловко; невысокий, юркий, он ковылял по строительной площадке так бодро и быстро, что хромота его почти не была заметна,

При первой же встрече с Пулатом он с ног до головы критически, бесцеремонно оглядел юношу, презрительно хмыкнул:

— Пороха-то небось и не нюхал? — И, обращаясь к товарищам, ухмыльнулся: — Судя по всему, братцы, из фронтовой бригады собираются сделать детский сад!

— Брось, Халмат, — одернул его Борис, белобрысый, веснушчатый крепыш. — Что привязался к парню?

Но это вмешательство еще пуще раззадорило Халмата:

— Помяните мое слово, навезет еще нам этот птенчик хлопот!

И с первого же дня принялся на каждом шагу придираться к Пулату. Парню житья от него не стало!

Как-то Пулат по неопытности не долил в бетономешалку воды. Халмат, работавший рядом, в сердцах выругался:

— Вот доходяга! Слава богу, что на фронт не попал — хлебнули бы мы там с тобой горя! — Он вырвал из рук юноши ведро и сам стал месить бетон.

Халмат знал, что Пулат болен, и не постеснялся обратиться его болезнью в мишень для жестоких насмешек. Стоило Пулату хоть немного замешкаться, как уж Халмат тут как тут:

— Вот дохляк! Ну куда тебе, с твоей чахоткой, в бетонщики? Поискал бы работу полегче!

Бригадир пытался осадить Халмата:

— Не тронь парня, приятель. Что насканиваешь, как петух? На себя лучше посмотри: совсем разболтался. В армии бы тебе за твой расхлябанный вид наряд вне очереди!

— Тут не армия, — обрезал Халмат. — Хватит, покомандовали, теперь я вольная птица. Оставь свои наравоучения для других, для тех, кто позади плетется. А я каждый день норму перекрываю. Перекрываю или нет?

— Это же не дает тебе права издеваться над людьми, верно? Что тебе Пулат сделал плохого?

— Попробовал бы сделать! Я бы ему...

— Э, горячая голова! — сокрушенно вздыхал Рустам. — Всем вроде хорош, да петушишься слишком. Не один ты был на фронте, не один хорошо работаешь.

— Кто лучше-то? — самодовольно усмехнулся Халмат. — Может, твой чахоточник?

Нет, не удавалось Рустаму унять Халмата. Тот по-прежнему не давал Пулату прохода. А юноша с непонятным для всех терпением сносил его издевательства. Никто в бригаде и не подозревал, как велико было уважение Пулата к тем, кто уже обожжен фронтом. К тому же и правда сперва у него не все ладилось, и, когда Халмат задирал его, он лишь мрачно отмалчивался и так налегал на работу, что взмокали ладони и на висках выступал густой бисер пота.

Из-за постоянных нападок Халмата юноша стал еще больше сторониться ребят, совсем ушел в себя. Его угрюмая замкнутость не на шутку беспокоила бригадира, и однажды Рустам пригласил Пулата на рыбалку. Он часто по вечерам после работы уходил на озеро и обязательно брал с собой кого-либо из бригады.

Пулат согласился на предложение бригадира без особой охоты: он устал, клонило ко сну, да и на душе было невесело — какая уж тут рыбалка! Однако ему не хотелось отказывать человеку, который по-отцовски заботливо учил его ремеслу и, как брат, вступался за него, защищая от придирок Халмата.

Они тронулись в путь в конце дня, когда солнце клонилось к горизонту, а резкая синева неба словно нежная — жаркие, ослепительные краски сменялись теплыми, мягкими.

Работа с непривычки сильно утомляла Пулата, к нему еще не пришло «второе дыхание», и он вышагивал рядом с Рустамом медленно, молча, стараясь дышать глубоко и ровно. Рустаму приходилось прилаживаться к его шагу, но он не торопил юношу — понимал, как может разморить человека жара и усталость. Пулату даже удочки казались непосильной ношей, однако, когда Рустам попытался отобрать их, он только крепче сжал в потных ладонях тяжелые удилица.

Озеро, облюбованное Рустамом, находилось в четырех-пяти километрах от совхоза. Пулат и Рустам миновали хлопковые поля — хлопок начал уже цвести — и двинулись напрямик через степь. Каблуки их сапог разбивали в пыль сухую землю, вдавливали в нее серую колючку, и она сразу же распрямлялась, будто ее и не топтали.

Когда они наконец достигли озера, Пулат бросил на траву удочки, с видимым облегчением опустился рядом с

ними и, быстро разувшись, погрузил натруженные ноги в воду. Потом пошевелил ими, и почудилось, будто их обволокли прохладные стебли невидимых, мягко колеблющихся растений.

— Смотри, рыбу не спугни! — предупредил его Рустам.

Пулат молча кивнул.

Давно не испытывал он такой вот размягчающей отрешенности от всего, что окружало его с раннего утра до поздней ночи; отдыхало тело, отдыхала душа, отдыхали глаза, неторопко вбирающие в себя красоту отходящей ко сну природы.

Озеро питали родники и грунтовые воды. Вода была чистая, чуть пульсирующая, в алых пятнах заката. С трех сторон озеро окружали густые камыши, а на берегу, где расположились рыбаки, высился раскидистый карагач. Пряно, мощно пахла разогретая за день трава.

Вдруг Пулат замер. Неподалеку из камышей вышагнула на открытое место крупная ярко-золотистая птица; шея у нее словно повязана была ослепительно-белым шелковым шарфиком. Она повертела изумрудно-зеленой головкой и безбоязненно двинулась к воде. Пулат оглянулся на Рустама. Тот, сидя на корточках, приложил к губам палец, восхищенно шеннул:

— Наш знаменитый фазан! Видал когда-нибудь таких? Ишь, какой жирный! Нынче-то охотиться на них некому, да и некогда. Вот они и осмелели.

Когда жар-птица скрылась из виду, Рустам, взясь с рыболовной снастью, принялся рассказывать:

— Видал, какой франт? А притаится в траве, с ходу-то и не заметишь. Это петух. А курочки маленькие, серенькие, пестрые, лягут, накроются крылышком — попробуй угляди! Мастера прятаться. Не любит, когда в них стреляют. Охотник семью потоми изойдет, пока падет на добычу. — Он вздохнул. — А я бы ни в жизнь в такую красотищу не выстрелил!

Они закинули удочки. Из камышей с шумом взметнулись дикие утки и тут же, успокоившись, сели на воду.

Рыба не клевала, но Рустам, видно, это не особенно огорчало. Убедившись, что Пулат немножко отдохнул, бригадир пододвинулся к нему и завел разговор, ради которого и вытащил юношу на озеро,

— Я, приятель, давно хочу с тобой потолковать. Как ты, в настроянии?

Обласканный вечерней тишиной и покоем, Пулат утратил сковывавшие его в последние дни осторожность и угрюмость, даже взгляд его больших, налитых печальной чернотой глаз словно бы посветлел, омытый чистой радостью отдыха, свидания с природой. Смотри на воду, он негромко сказал:

— Говорите... Я ведь понимаю, вы не просто так позвали меня.

— Верно. В самую точку! Полюбился ты мне, приятель, старанием своим, упрямством. Только что людей-то дичишься?

Пулат обиженно вскинулся:

— Неправда! Я людей люблю! Для кого же работаю? И людей люблю, и жизнь, и работу!

— А ходишь как в воду опущенный.

— Вы же знаете, Рустам-ака...

— Что — знаю? Ну, недуг тебя точит, окающая сила! Ну, на фронт не взяли. Эка беда!.. Успеешь еще попасть в это пекло.

У Пулата задрожали губы:

— Вы... не говорите так о фронте!

Рустам, словно не расслышав этих слов, неожиданно подался к юноше и, схватив его за руку, проговорил азартным шепотком:

— Клюет! погоди, не дергай. Тяни!.. Тяни!..

Пулат неловко взмахнул удилицем, что-то тяжелое словно вспорхнуло над гладью озера и звучно шлепнулось в воду.

— Эх! Сорвалось! — с досадой крикнул Рустам, но, заметив, как потемнело лицо Пулата, беспечно воскликнул: — Да ты не переживай, приятель! С кем не бывает...

Пулат, не отвечая, упрямо сжав губы, насадил па крючок наживку и снова забросил леску.

— Вот это люблю! Не отчаиваешься, — одобрительно произнес Рустам.

Глаза Пулата угрюмо сверкнули из-под черных бровей:

— Халмат прав. Я верцо дохляк и растяпа.

— Ты его больше слушай! — возмутился Рустам. — Кому поверил? Ты в себя верь! А па все Халматовы под-

ковырочки наплюй и разотри. У парня мозги набекрень. А на языке — яд. Ты тоже ушами-то не хлопай, дай ему разок сдачи!

— Он ведь фронтовик! — горячо возразил Пулат. — Как вы можете так о нем?

— Э, и фронтовики всякие попадаются. До настоящей-то человечности не все еще доросли, приятель. Ты сам-то не скисай, умей за себя постоять. Он почему нос дерет? Мол, и на фронте побывал, и работает поумелей, чем ты. А ты ему утри нос-то, возьми да обгони. Упорства у тебя на двоих хватит, а умение — это дело наживное. Главное, не вешай головы, приятель! Эка важность — туберкулез. Я-то вот не унываю.

— Вы-то при чем? — Пулат неприязненно покосился на Рустама.

Тот ответил ему пристальным, посерьезневшим взглядом, как будто решая что-то про себя.

— Ладно. Не люблю, приятель, о себе рассказывать, а тебе так уж и быть расскажу. Ты, верно, глядишь на меня и думаешь: мол, чего это такой бычина в тылу болтается? Угадал?

Пулат густо покраснел:

— Что вы, Рустам-ака!

— Э, приятель, врать-то не умеешь! — улыбнулся Рустам. — Да и не гонись за таким умением. Так о чем я хотел рассказать?

— О себе.

— А что тут рассказывать? Был я на фронте, приятель, да недолго — ранило меня в Белоруссии, пуля вот сюда стукнула, — он ткнул пальцем в нагрудный карман брезентовой робы, — пробилась легкое, и вышла вот тут, — перегнувшись, он дотянулся рукой до спины, — под лопаткой. Полгода провалялся в госпитале. Врачи только головами качали: долго, мол, не протянет. А я им — кукиш: врете, выживу! Недаром говорится: человек тверже камня. Видишь — живу, не тужу! Правда, и нынче врачей без дела не оставляю — частенько приходится к ним таскаться. Да, — он улыбнулся, — привет тебе от твоей докторши!

— Вы ее знаете?

— Так она жена хирурга, который надо мной шефствует. Сказала, что ты у них на учете.

— И больше... ничего? — напряженно спросил Пулат.

Рустам спохватился. Зря он затеял этот разговор, вон как забеспокоился парень! Как можно беснечнее он воскликнул:

— А что тебе еще надо? Ты, брат, в хороших руках, — значит, все в порядке. Поначалу-то думали вдувание тебе делать...

— Меня и у нас, в районной поликлинике, так хотели лечить...

— А тут посоветовались и решили, что можно обойтись без вдувания: ты парень крепкий. Докторша смеялась: вы с ним, говорит, видно, одной выпечки — боятся вас хворобы, накинулись было, да поджали хвост. Только, приятель, чтобы и дальше в страхе их держать, нам нельзя сидеть сложа руки. Ты лекарства-то принимаешь?

— Знали бы, Рустам-ака, как я хочу выздороветь!

— Ясно. Выходит, мы больные дисциплинированные. Верно? Врачи говорят, козье молоко — полезная штука. Будем пить. А главное — бодрость духа и свежий воздух! Ничего, поправимся — сколько еще рыбы наловим, новых домов сладим!..

Он снова сверкнул белозубой своей улыбкой. Пулат смотрел на него с нескрываемым восхищением. Как он теперь стыдился своей прежней неприязни к Рустаму. Вон, оказывается, какую боль носил тот в груди, а и виду не подавал! В бригаде он самый сильный, самый жизне-радостный и веселый. И как о других заботится!.. До каждого ему дело. В больнице-то человек весь в свои хвори уходит, а Рустам не забыл справиться о здоровье Пулата!.. Пулату стыдно стало за собственные переживания. Подумаешь, туберкулез!.. Все говорят, что это излечимо; он, Пулат, еще попадет на фронт, а пока у него есть все, чем счастлив человек: мечта, цель, интересное, нужное людям дело. Ох, как он теперь будет работать! И не с чего отчаиваться, надо жить так, как Рустам, не сдаваясь ни перед какой бедой, иряча боль под веселой улыбкой. Да нет, Рустам ведь не притворяется веселым, он такой, какой есть, жаден до жизни, до работы, всего себя отдает ей, а болезни своей просто не придает значения.

— Характер же у вас, Рустам-ака! — задумчиво проговорил Пулат.

— Э, приятель! — засмеялся Рустам. — Человек — кузнец своего характера. Сообрази-ка, отчего это у тебя настроение так меняется: то пасмурный, как осень, то сияешь, словно солнышко. А оттого, приятель, что ты нраву своему слишком много воли даешь — он над тобой, а не ты над ним хозяин. Вроде разные вы с Халматом, а беда у вас одна — мало себя уважаете. А человек, он должен себя уважать, следить за каждым своим шагом, чтоб, понимаешь, не оступиться, не потерять этого вот к себе уважения.

Пулат молчал в глубоком раздумье...

В этот день рыбы они наловили немного, похвастаться было нечем, но ни Пулат, ни Рустам не жалели об этом — вечер не пронал даром.

Перед тем как уйти домой, Рустам предложил Пулату искупаться.

— Ты воды не бойся. Как в песне поется — закаляйся, как сталь!

— Я и не боюсь, — Пулат засмеялся. — А тут глубоко?

— С головой! А что?

— Я плавать не умею, — признался Пулат и торопливо добавил: — Вы не думайте, я спорт люблю. В школе в волейбол играл. Бегал неплохо. А вот плавать... — Он зябко передернул плечами.

Рустам сжалился над ним:

— Тогда обожди, я окунусь. Может, тебе и нельзя.

Он скинул робу, рубашку, и Пулат увидел у него на груди и под лопаткой глубокие впадины уродливых шрамов, и у юноши дрогнуло сердце от прилива нежности к этому человеку.

Домой они возвращались в темноте. Месяц был тонкий, как лезвие, светил слабо. Но хотя в сумерках было трудно различить дорогу, Рустам шел быстро, уверенно, и Пулат старался не отставать от него. То ли оттого, что он отдохнул на рыбалке, то ли потому, что рассказ Рустама влил в него новые силы, но обратный путь казался ему совсем неустойчивым.

Рустам звал юношу к себе, сам зажарил небогатый улов, и они вместе со всей семьей бригадира угостились рыбой, заели ее прохладной дыней.

Так у Пулата появился еще один друг.

На следующий день, в обеденный перерыв, Рустам собрал бригаду. Он, видимо, заранее предупредил всех, о чем пойдет речь, всех, кроме Пулата и Халмата, и все поглядывали на них с каким-то лукавством. А для них все, что потом произошло, было полной неожиданностью.

Рустам поставил на обсуждение один вопрос: до каких пор мы будем терпеть придирки Халмата к своему товарищу по работе?

— Дело это, ребята, не такое уж пустяковое, как может показаться, — сказал Рустам. — Бригада ваша — одна семья. И если в семье свара, если кто-то вот хоть пастолечко несправедлив к одному из наших братьев, мы обязаны вмешаться, не с руки нам стоять в сторонке. Верно я говорю?

— Верно! Верно, бригадир! — дружно загудела бригада.

Ребята сидели кто прямо на земле, кто на гудах свежего кирпича — его изготавливала сама бригада. Все были возбуждены, а бригадир необычно серьезен.

У Пулата и Халмата лица были одинаково красные — Халмат злился, Пулат испытывал смущение, стыд, негодование: его, выходит, считают слабым, неспособным защититься от нападков Халмата! Но вот один за другим начали выступать члены бригады, и Пулат понял: товарищи защищают не столько его, сколько честь своей дружной, трудовой семьи. Они искренне возмущены поведением Халмата. Ему припомнили все его старые грехи: зазнайство, недисциплинированность, прелебрежительное отношение к товарищам, нагловатые шуточки. Ох, и задали же ему перцу; он как-то даже сжался, впервые покусывал свои тонкие бледные губы, и Пулату стало жалко этого обычно самоуверенного, заносчивого паренька.

Другие, однако, не склонны были щадить Халмата. У Бориса, когда он говорил о Халмате, веснушки пылали, как подожженные:

— Раз ты не на фронте, так уж и дисциплину по боку? Нет, братец, мы воевали одной семьей и работаем одной семьей, а в семье у каждого есть свои обязанности. Мы обязаны уважать друг друга, помогать друг другу, защищать друг друга!

Горячий Ашот ринулся на Халмата, как лев:

— Ты что над человеком издеваешься, а? То не умеет, это не умеет? Сам-то ты от рождения, что ли, все умел? Ты не задирайся, ты помоги! Ты же видишь, он старается. Это главное. Парень старается! Как это у вас говорится? Глаза бояться — руки делают. Пулат еще себя покажет. И мы его не дадим в обиду. Мы ему братья! Не хочешь с нами считаться, не хочешь жить в мире со своими братьями — уходи, не держим. Бригадир! Скажи ему: не держим. Пусть катится на все четыре стороны.

У Халмата лицо пошло бурными пятнами, руки мелко дрожали, и — удивительное дело! — он словно лишился дара речи, ни разу не вскочил с места, никого не перебивал: куда только девалась его язвительная усмешечка! Он, видно, не привык к тому, чтобы на него наваливались вот так, всем миром; его, казалось, обуздал гнев коллектива. Ведь если ты останешься в одиночестве, значит, ты не прав. И как ни хотелось Халмату схватиться с кем-нибудь из выступавших или плюнуть на все, встать и уйти, он не сделал ни того ни другого: что он значил — один против всей бригады?

А душу Пулата до краев переполнила теплая волна благодарности. Если сначала он самолюбиво возмущился непрошеным заступничеством бригады, то под конец собрания от этого чувства не осталось и следа. Ну и что ж, что за него вступились? Кто вступился? Братья, друзья! От друзей иного и нельзя ждать. Сладкий озноб восторга охватил юношу — вон сколько у него друзей! Он вспомнил о матери, самом близком и строгом своем друге, о Бахор (где-то она сейчас, почему молчит, не даст о себе знать?), о добром Халиле-ата, о Касымове, протянувшем ему в трудную минуту руку помощи, о веселом докторе и даже о ворчливом военкоме, который, конечно же, желал ему, сыну Садыкова, только добра!

Да, всюду у него — друзья. И почему ему хныкать, хмуриться, ему есть на кого опереться, и все будет хорошо, все будет хорошо!

После собрания взволнованный Пулат подошел к Рустаму:

— Спасибо, Рустам-ака. Всем вам спасибо.

— Это за что же спасибо? — весело изумился Рустам. — Чему дивисься, приятель? Так оно и должно быть. Ведь среди людей живешь. Среди советских людей.

И Пулат подумал: прав, тысячу раз прав бригадир! А раз так, значит, он, Пулат, в конце концов добьется всего, к чему стремится, потому что его овекает ветер дружбы, потому что он живет в стране дружбы!

С этого дня он совсем перестал дичиться ребят из своей бригады: ведь это были его братья, люди с душой параспашку. Как же можно прятать от них свои мысли и чувства? К Халмату он относился, как прежде, настороженно, но, встречаясь с ним взглядом, внутренне подбирался, готовясь к отпору. Однако Халмат после собрания заметно присмирел: если «желторотый» давал промашку в работе, Халмат только злорадно кривил тонкие губы, но языка не распускал. Правда, промахов у Пулата становилось все меньше, и он уже не так остро переживал их, верил, что скоро и вовсе от них избавится. Он работал по-прежнему старательно, только уже не с надсадным упорством, а с каким-то вдохновенным задором: почти не глядя наливал воду в бетономешалку, и бетон получался отличный; катил тачку со щебнем, и она уже не переваливалась, как утка, с боку на бок, и щебень не просыпался на землю.

Вскоре Пулата из подсобных рабочих перевели на закладку бетона. Дело это, на первый взгляд тоже нехитрое, требовало определенного навыка и сноровки. Пулат исподтишка стал приглядываться, как работает на закладке Халмат. Обычно, первый, порывистый, Халмат, закладывая фундамент, действовал осмотрительно и неторопливо. У него хватало терпения и упорства, мешая палкой, трамбуя бетон, дожидаться, когда сверху появятся «сливки» — это значило, что фундамент готов. Пулат, хотя его и снедал азарт, припуждал себя тоже не спешить. Это давалось ему даже легче, чем «горячей голове» — Халмату. Он на все был готов, только бы не осрамиться перед бригадой, не заставить Рустама краснеть за своего ученика, не дать Халмату повода для насмешек, больше того — оставить его позади!

Как и раньше, Пулат после работы чуть не валился с ног от усталости, но он научился и отдыхать, и еще не раз ходил с Рустамом на рыбалку, возвращаясь с богатым уловом. Он сделался таким заядлым рыболовом, что стоило Рустаму в шутку, с деланным равнодушием сказать: «Может, сегодня не пойдем?» — как Пулат сразу темнел лицом...

И вот настал день — это случилось уже осенью, в конце октября, — когда Рустам, с пристрастным вниманием наблюдавший за трудовым поединком Пулата и Халмата, подошел по окончании рабочего дня к Пулату и так хлопнул его по плечу, что тот даже присел.

— Молодчина, приятель! Палван! Что глаза таращишь? Обскакал этого хвастуна. Понял? Обскакал. Дал больше «кубиков» выработки, чем Халмат!

Пулат готов был плясать от радости. И не то его радовало, что он, по выражению Рустама, «обскакал» своего обидчика, Халмата, — он радовался победе над самим собой, над своим недомоганием, неопытностью, над малодушием, которому порой поддавался; он радовался тому, что не подвел Рустама, своего друга и учителя, и тому, что теперь им вправе гордиться и отец, и мать, и Бахор. А главное, этой победой как бы утвердил свою полноценность — отныне ему открыты все пути, и он возьмется за самое трудное дело и до конца выполнит свой долг перед Родиной, отдаст ей душу, все силы, все умение, чтобы поскорее победила она проклятый фашизм!

Вся бригада сердечно поздравила Пулата с первым трудовым успехом, даже Халмат, багровый от злости и унижения, пожал ему руку: сам умелец, он не мог не уважать в других мастерство и упорство.

Пулат и Рустам вместе пошли домой. Шли не торопясь, с наслаждением разминая сладко нывшие мускулы, глубоко вдыхая сухой, нагретый все еще жарким солнцем воздух. Вечерний ветерок умывал их потные лица. Пулат подставил ему ладони, Рустам басисто рассмеялся:

— Что руки поднял? Сдаешься?

Пулат упрямо мотнул головой:

— Нет, Рустам-ака, сдаваться не собираюсь! — Голос его дрогнул от волнения, вызванного какой-то затененной мыслью. — Рустам-ака! А что сейчас важнее — дома в нашем совхозе строить или Галабагэс?

— Э, куда удочку закидываешь! — понимающе улыбнулся Рустам. — Положим, Галабагэс. Читал небось письмо строителей?

— А где труднее, там или у нас?

— Самое важное, оно и бывает самым трудным.

— Значит, мое место там, на стройке, — убежденно

заявил Пулат. — Не то... уважать себя не буду. Вы сами говорили: человек должен себя уважать!

— Точно! — кивнул Рустам. — Меня, приятель, и самого тянет на Галабастрой, прямо как магнитом. Уж там-то есть где развернуться! — Он сжал руку в кулак так, что упруго вздулись мускулы. — Видал? Хотя я и пенсионер, а силушка-то играет, ищет выхода. Что же, мне ее на сберкнижку положить, что ли? Нет, приятель, удел смелого — труд. На фронте наши товарищи смерти в глаза глядят, а наше дело тут вкалывать, чтобы народ нам сказал — рахмат¹, герои!

Пулат, загоревшись, воскликнул:

— Едем на стройку, Рустам-ака?!

Рустам вздохнул:

— Не отпустит директор. Людей-то в совхозе кот наплакал. А удрать совесть не позволит — дисциплина, приятель! А ты езжай. Башка у тебя светлая, руки умелые... Э, погоди, что это я говорю? Липиться лучшего бетонщика? Ни под каким видом.

— Рустам-ака!..

— И не проси.

— Вы же только что согласились!

Рустам надулся, молчал. Пулат еле сдерживал смех.

Занятые разговором, они ничего не замечали вокруг, даже не увидели на дороге высокой стройной женщины, чуть не бегом спешившей им навстречу. Лишь когда она крикнула издали: «Пулат! Сынок!» — Пулат встрепенулся, взглянул перед собой на дорогу и, позабыв об усталости, со всех ног кинулся к матери.

Хайри за все лето так ни разу и не смогла выбраться к сыну: вместе со школьниками ей пришлось не за страх, а за совесть потрудиться и в колхозе, и на пришкольном участке. О том, как живет Пулат, она знала лишь из его писем, которые он посылал с оказией. Она так стосковалась по сыну, что в первые минуты встречи не в силах была вымолвить ни слова. А Пулат, обняв мать, целуя ее мокрые от слез щеки, бессвязно бормотал:

— Мама!.. Мама!.. Родная моя...

Рустам стоял чуть поодаль, с волнением наблюдая за

¹ Рахмат — спасибо,

этой сценой, глуховато покашливая в кулак. Хайри наконец мягко отстранила сына:

— Дай хоть посмотреть на тебя... Как загорел-то! — И вдруг забеспокоилась: — А худущий какой, ой-ей! Как здоровье, сынок?

Рустам решил, что пора дать знать о себе, отозвался за Пулата:

— Как у слона, сестрица. А что худой, так это ему только на пользу.

— Ой, мама! — спохватился Пулат. — Познакомься, это мой бригадир. Рустам-ака.

— Салам, уста. — Хайри протянула Рустаму узкую ладонь, и тот пожал ее бережно и почтительно. — Сын мне о вас писал много хорошего. Спасибо, что научили его доброму ремеслу.

— Невелик труд — учить того, кто жаждет учиться, — прогудел Рустам, смущенно покручивая свои черные усы. — Говорят, кто полюбит свое дело, не будет знать нужды.

— Ох, недавно еще, кажется, в люльке его качала, а смотрите-ка — кормилец вырос! — Хайри смеялась, и Пулат чувствовал, что она радостно возбуждена не только встречей с ним. Ее глаза сияли, как светлая родниковая вода под солнцем, вид у нее был такой, словно она освободилась от тяжких оков. — Вижу, сынок, моя старость обеспечена.

— Мама! — сказал Пулат. — Какая ты красивая!

— Это от счастья, сынок! Да, ты еще не знаешь. От отца письмо пришло. — Она повернула пылающее лицо к Рустаму: — Слышите, уста? Отец Пулата жив, скоро выпишется из госпиталя. Да что же мы стоим? Идемте, Пулат прочтет нам письмо.

И Хайри, то и дело оборачиваясь, легкой походкой двинулась к директорскому дому — до него было уже недалеко. Пулат и Рустам заторопились следом. Только теперь Пулат заметил, как поседела мать, в черные косы вплелись тонкие серебристые нити. Сердце его сжалось от пронзительного чувства жалости и безмерной, благодарной любви.

Во дворе их встретила Саодат, ее лицо расплылось в широкой улыбке:

— Разыскала сына, сестра? — И она тут же засуетилась, затараторила. — Ой-ей, и Рустам с вами! Прохо-

дите, проходите, дорогие гости. Шермата еще нет, вы уж до него-то не читайте письмо. Он скоро придет.

И убежала куда-то.

Когда пришел домой Касымов, двор был полон гостей. На сури, под молодым карагачем, разместились облепленные детьми Хайри, Пулат, Рустам и несколько рабочих из его бригады: неведомо как они прознали, какая у Пулата радость, и поспешили к нему послушать, что пишет его отец.

Саодат хлопотала на веранде, накрывая на стол.

Пулат успел уже про себя прочесть отцовское письмо, а Хайри тайком вручила ему еще один аккуратный треугольник, от Бахор. Пулат спрятал его в боковой карман пиджака. Письмо жгло ему сердце, он сидел, как на углях, однако, когда к их тесному кружку присоединились Касымов и Саодат и Пулата попросили прочесть вслух письмо Хайдара, он забыл даже о Бахор, с готовностью развернул тетрадные листки, исписанные знакомым дорогим почерком, и стал читать, не скрывая своей радости и гордости за отца.

Отец писал, что в последнем бою был ранен тремя пулями и около месяца лежал в госпитале, как спеленатый, не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Он не хотел волновать Хайри и Пулата и потому не сообщил о своем ранении через других — боялся, что, получив письмо, написанное чужой рукой, они бог весть что подумают. Теперь самое страшное позади, операция прошла удачно, к нему постепенно возвращаются здоровье и силы, он надеется скоро снова явиться в свою часть и уж тогда без остановки пойдет до самого Берлина! «Надо понимать, это не будет увеселительная прогулка, но все же наступать куда приятней, чем отступать! Вон немцы во время наступления, даже попадая в плен, хорохорились, пыжились. Я как-то взял в плен одного немецкого капитана, привел его в штаб и сам учинил ему допрос. Как говорится, капитан свалился с лошади, а все за седло держался: угрожал, хвастался, чванился — ну, индюк индюком! Теперь не тот пленный пошел — мокрые курицы, общипанные гуси! Только и бормочут: Гитлер капут, Гитлер капут. Отмежевываются от своего фюрера. Значит, все — капут фашистам!»

Письмо Хайдара было выдержано в шутовском, ироническом тоне, трудно было поверить, что эти колючие,

веселые строки вывела рука человека, пригвожденного тяжелым рапением к госпитальной койке, перенесшего трудную, опасную операцию. Казалось, он обо всем уже позабыл — о ранах, о боли, от письма веяло жизнерадостностью, весельем, и у всех, кто слушал его, на лицах ответами сдерживаемого смеха блуждали улыбки.

Хайри взяла у сына письмо, незаметно для других прижала его к сердцу, чуть прищурилась, словно стараясь представить мужа, и почудилось, что он заглянул ей в глаза умными, смеющимися глазами.

Касымов, усмехаясь, покачал головой:

— Вот уж кто никогда не унывал! Гляди-ка, израненный, изрезанный, а все шутит. Он и в молодости таким был, веселым и стойким. — Касымов задумался. — Помню, в тридцатые годы большая тут была заваруха. Колхозы все крепили, кулаков здорово тогда прижали. По поручению партии мы с Хайдаром тоже принимали в этом участие. Ох, и ненавидели же нас кулаки, их родня, баи, у которых отобрали землю. В открытую-то они не решались с нами схватиться: правда и сила были на нашей стороне и народ за нас. Так они из-за угла действовали. Подбрасывали нам письма с угрозами, направляли куда могли разные клеветнические заявления, в каких только грехах нас не обвиняли! Что ж, когда тебя враги обливают грязью, это ж замечательно! Но удивительное дело, иные наши же работники верили этой клевете. Несколько наших товарищей было арестовано по таким вот кулацким доносам. Как-то ночью и нас с Хайдаром вызвали в районное отделение ГПУ. Каюсь, я малость струхнул. Самое это трудное и отвратное дело доказывать, что ты не верблюд. Следователя нашего я немножко знал и всегда удивлялся, как могли назначить на этот пост человека, верившего только собственной своей подозрительности. Мне уж мерещилась тюремная решетка, небо в клеточку, а Хайдар подтрунивал надо мной: мол, чего такой бледный, боишься, жена будет ругать, что где-то шляешься по ночам?

Меня допрашивали первым. Уж не помню, что я там бормотал: смотрю на этого мрачного тупицу, который словно загнипотизировать меня хочет своим тяжелым взглядом, руки дрожат, язык не слушается, больше от обиды и бессильной злости, чем от страха. Хайдар поддал мне стакан воды, подсел ко мне, следовательно зверем

на него глянул, вот-вот испепелит в порошок. Потом полистал какие-то бумаги, спрашивает Хайдара: «Что ж это ты, дорогой товарищ, расправу чинишь над невинными людьми?» «Это кулаки — невинные? — говорит Хайдар, и глаза у него сузились, сделались острыми, как шило. — Партия призывает ликвидировать их как класс!» Следователь — кулаком по столу: «Послушать тебя, так все у нас кулаки! Вон на скольких дехкан ярлык навесил: кулак. Неприглядная получается картина. Что о нас за рубежом подумают — когда революция-то была, а мы с контрой не можем справиться?..» Хайдар по сдается: «Что нам на границу оглядываться? Чем скорей выветрится у нас кулацкий дух, тем лучше — для нас, конечно, не для заграничных буржуев. — Тут Хайдар поднялся и говорит: — А ты поешь с чужого голоса! Знаешь попугая — тутукуш? Мулла обучит его паре слов, он сидит у него на плече и долбит одно: «Худога шукур, худога шукур»¹. Вот и ты, как тутукуш, повторяешь чужую клевету!» Ух, как разъярился следователь, опять грохнул по столу кулаком, подул на него, сунул в карман своих галифе: «Вот как, ты работу наших органов хочешь опорочить? Гляди, как бы с тебя шукуру не содрали, как с того барана!» Хайдар рассмеялся, весело так, открыто, однако далеко не добродушно. «Учти, — говорит, — грозный товарищ, бараны-то поедают ядовитых каракуртов».

Я вижу, Хайдар шутит, держится независимо — уверен в своей правоте, в своих силах. Ну, и я тоже приободрился, тоже проехался по адресу следователя. Кончилось тем, что тот в ярости выставил нас за дверь, пригрозил, что скоро снова пригласит. Тон его не предвещал ничего доброго. Да только и Хайдар не сидел сложа руки: такой шум поднял в райкоме, в обкоме и добился-таки правды — сняли следователя. — Касымов положил руку на плечо Пулата. — Вот, сынок, с кого бери пример — с отца! Никогда носа не вешал.

Саодат пригласила всех на веранду отужинать. Смех не смолкал и за столом. Письмо Хайдара настроило всю компанию на веселый лад, сверкали клинки шуток, лились, искрясь, как вино, забавные истории, каждый ста-

¹ Худога шукур — слава богу.

рался внести достойный вклад в застольное веселье. Не подкачал и Рустам. Он поведал фронтовую историю.

— Вот мы тут чай распиваем — эх, и угостил же я однажды чаем одного фашиста! Жаден был, дьявол, жадность его и подвела. Дрались мы за железнодорожную станцию, чудной был бой, то мы наступаем, то немцы, в общем, топчемся на одном месте, все перемешалось, не разберешь даже, где свои, где чужие. Какой-то фашист, дюжий парень, толстомордый, рыжий, как огонь, прыгнул на меня сзади, повалил на землю, а прикончить не успел: как увидал мой «спидор», так глаза у него загорелись, будто автомобильные фары. Оголодал, верно. Так торопился, что не удосужился даже снять его с меня, распорол килжалом, достал концентраты пшенной каши да так набросился на них, аж челюсти затрещали. Жрет прямо сырыми и только озирается, как ворона... Видали небось, когда навоз из хлева вываливают, так они тучами слетаются. И такая, значит, у вороны повадка: клюнет и оглянется — направо, налево, клюнет и снова оглянется — боится, что отнимут. Вот и фашист увлекся и так, видать, боялся, бедняга, как бы свои же жратву-то не отобрали, что на меня — ноль внимания. Я подтянулся к нему на спине да как пну ногой. Он заорал, за живот схватился, ну, я добавил. Он скатился как бревно в овраг, а я стою над ним, хохочу: запить, говорю, не хочешь? Может, дать чаю с сахаром? Молчит! — Рустам с шумом хлебнул горячего чаю, расправил плечи, вздохнул с притворным состраданием: — Ох, боюсь, не довелось ему больше отведать ни чаю, ни ихнего кофею... — И осклабился в широкой улыбке.

Пулат, как и все, с веселым интересом слушал рассказ Рустама, а сам нетерпеливо ерзал на стуле. В кармане у него лежало все еще не прочитанное письмо Бахор. Ох, как хотелось его прочесть! Но для этого надо было уединиться, а как тут уединишься, как покинешь гостей?

Пулат еще и не знал, что пишет Бахор, а душа полна была счастливым волнением. Пусть он не простился с ней, когда она уезжала на Галабастрой, пусть они расстались, чуть не поссорившись, — разве это могло разрушить их дружбу?

Дружбу?!

Пулату писали с фронта его друзья-однокашники, и

он от души радовался каждой такой весточке, но все же не так, как обрадовался письмам отца и Бахор. Ну, отец — понятно. А Бахор?.. Значит, она ему самый-самый близкий, лучший друг?

Лучший друг?

Вот ты сейчас думаешь о ней, Пулат, и видишь ее идущей по весеннему лугу, густо закапанному алыми тюльпанами; платье волнующе облегает гибкий стан, обвивается вокруг стройных, загорелых ног, черные до глянца волосы сияют под солнцем! Отчего же, когда ты воскресил в своей памяти эту картину, твое сердце забилося часто-часто — оно ведь не билось так, когда ты был на лугу с Бахор!..

Может, разлука виновата в том, что так пугающе-сладко взволновал тебя вызванный твоим осмелевшим воображением образ Бахор и тебе до боли в сердце захотелось встретиться с ней, не говоря ни слова, обнять ее за плечи, привлечь к себе и стоять так долго-долго, день, месяц, вечность, наслаждаясь одним сознанием того, что вы наконец вместе?

Пулат, Пулат, славный мой мальчик, почему ты боишься признаться себе, что любишь Бахор? Или тебе кажется, что тогда конец дружбе, которой вы оба так дорожите? Но ведь любовь — это тоже дружба, огромная, как мир, яркая, как солнце, готовая на любые жертвы, дарящая каждому из любящих заботу, понимание и поддержку друга, и тревогу, и жаркое биение сердца. У этой дружбы есть удивительные свойства: порой достаточно только заглянуть в глаза любимой, чтобы почувствовать себя счастливым; ты держишь в своей руке ее руку — и тебе легче жить; она приветливо помашет козынкой, провожая тебя на работу, — и работа горит у тебя в руках, ты можешь свернуть горы, остановить реки, нет на свете человека, сильнее тебя и прекраснее твоей любимой! А если споткнешься невзначай, то какой же стыд охватит тебя: ведь кроме других строгих судей у тебя есть еще судья — любовь, и нет горя горше, чем оказаться недостойным любви и дружбы любимой.

Этой дружбе порой не пужны слова — ведь это две жизни, чудесно слившиеся в одну. В кармане у тебя лежит согретое твоим сердцем письмо Бахор, и хотя ты еще не прочел его, но на душе у тебя светло и радостно, словно с этим приветом от Бахор ты нашел самого себя

и твоя жизнь сделалась вдруг полнее и ярче, и хочется еще большей полноты, хочется большего, трудного дела, подвига!

Вот какую чудесную тайну сотворила душа человека, жаждавшего чувства, которое было бы вровень с его разумом и светлой миссией на Земле.

А может, Пулат, ты просто не решаешься поверить, что ваша дружба обрела уже нежность и слепящую лучистость любви?

Так ведь по-разному приходит к людям любовь. Бывает и так, как у вас, — она постепенно вырастает из детской дружбы, а вы уже привыкли к этой дружбе, и вам нелегко осознать, что дружба — скромный, чудесный полевой цветок — уже выкинула алый бутон иного чувства. Ты, Пулат, начал уже и ревновать Бахор, еще не понимая, что любишь ее... До сих пор ваши встречи воспринимались вами как нечто естественное. Они не были для вас долгожданними праздниками, и вас не охватывал жар, когда вы думали о том, что скоро увидите. Вы и к встречам привыкли! Но вот вы не видите уже несколько месяцев. Ты чувствуешь, Пулат, как трудно тебе без Бахор? И не только без ее одобряющих слов и дружеских проборок, но и просто без ее голоса, без ее глаз и рук, гибкого стана, который ты ни разу не осмелился обнять, без всего, что принадлежит Бахор.

Да, если бы ты получил сейчас письмо просто от школьного друга, разве ты потянулся бы украдкой к карману, лишь бы коснуться заветного треугольничка, может быть еще хранящего тепло пальцев Бахор?

И вот ты уже ждешь не дожدهшься, когда разойдутся гости. А проведив их, ты слишком поспешно пожелал спокойной ночи Касымову, Саодат и матери — ее уложили спать в одной из комнат. И тут же, горя нетерпением, убежал в самую глубь двора, где было больше зелени: тебе не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел тебя за чтением письма Бахор. Усевшись прямо на землю, ты торопливо развернул изрядно помятый треугольничек. В лунном голубоватом свете строчки письма казались таинственными, и, хотя Бахор писала о самых обычных вещах, у тебя возникло такое ощущение, будто вы ночью, в зарослях виноградника, шепчетесь о чем-то своем, тайном, ужасно важном...

«Пулат-ака! — писала Бахор. — Ты не представляешь, как я соскучилась по тебе, по твоей маме, по нашему кишлаку. — От слов «соскучилась по тебе» жаркая краска прихлынула к щекам Пулата. — Ты, наверно, считаешь, что на стройке некогда скучать. Да, Пулат, работы тут ужас сколько, сюда съехались колхозники со всех концов республики, и все равно людей не хватает, хотя все работают не покладая рук, сил не жалеют.

А мне не повезло. Тураханов, как добрый сосед, решил дать мне работу полегче — сунул в библиотеку. Ты не думай, Пулат, я так упиралась, я мечтала, как все, рыть канал или строить плотину, а он говорит: кто-то должен работать в библиотеке, удовлетворять культурные запросы строителей. Это дело полезное и нужное. Человек, говорит, если он по-настоящему болеет за дело, везде может принести пользу. И ведь это же правда, Пулат! — Дойдя до этих строк, Пулат недобро усмехнулся — что и говорить, Тураханов убедит кого хочешь и в чем угодно! — Знаю, Пулат, ты не любишь Акрамхана-ака. Но ты просто не знаешь, какой он добрый и отзывчивый! Правда, мне не очень нравится, что он... ну, да об этом не в письме. Сейчас его нет на стройке. Из наших многие уже отработали свою норму, уехали домой. Он уехал вместе с ними за новой группой строителей. Он хочет и дальше работать на стройке! — У Пулата, когда он читал этот панегирик Тураханову, все кипело в душе от ревности и возмущения. — Мы с отцом тоже решили остаться. Отец работает в кузнице — знаешь, как тут нужны кузнецы! А я все равно уйду из библиотеки. У меня здесь есть подруги, они работают электросварщицами и зовут меня к себе. Я так им завидую!

Пулат, приезжай к нам на стройку! Тураханова пока нет, прораб у нас хороший, он не будет к тебе придирааться. Приезжай, поработаешь, осмотришься, а там видно будет. Отец сказал: зови Пулата, он так мечтал работать на Галабастрое. Я слышала, ты куда-то уехал из кишлака, пишу на старый адрес, Хайри-апа передаст тебе это письмо. Ты, наверно, приобрел специальность, знаешь, как тебе на стройке обрадуются? Ты еще в передовики выйдешь, поверь, будет, как я сказала, уж я-то знаю тебя и верю в тебя, Пулат! Ты часто меня обижа-

ешь, даже не захотел проститься. Все равно я желаю тебе самого-самого лучшего, всего, чего ты сам пожелаешь. И ты должен приехать, я знаю, как тебе это нужно, твоя болезнь этому не помеха, так отец говорит, и я так думаю. Я покажу тебе стройку, и мы вместе будем работать. Приезжай! Крепко жму твою руку. Бахор».

Пулат еще раз перечитал письмо... Что-то слишком часто Бахор упоминала о Тураханове... Но она писала о нем с такой наивной простосердечностью, что при всем желании ее трудно было заподозрить в чем-либо. Нет, так не пишут о человеке, к которому питают нечто большее, чем добрососедские чувства. Пулату оставалось только досадовать, что она до сих пор не раскусила еще этого «соседа», хотя что-то в нем уже начало ее настораживать. Но сам-то он не чересчур ли предвзято судит о Тураханове? Вон и Рустам поначалу не очень-то расположил его к себе, а каким оказался замечательным человеком! А, бог с ним, с Турахановым, ведь его нет сейчас на стройке, и будь что будет, а Пулат поедет туда — более удобного момента, может, и не представится. Поедет — и увидится с Бахор!..

Он бережно разглядел странички письма — они таинственно голубели в лунном свете и шелестели под пальцами, словно шептали, шептали Пулату о таком, о чем он боялся и думать.

Пулат лег спать в саду, на супе, и все равно ему было душно, и сон, являвшийся к нему в последнее время, как по команде, в эту ночь так и не пришел...

Но утром Пулат встал, не чувствуя усталости, а умывшись, ощутил во всем теле колючую, как родник, беспокойную бодрость, призывавшую к немедленным действиям. И, не откладывая дела в долгий ящик, Пулат рассказал матери и Касымову о своем решении — ехать на строительство Галабагэс.

Хайри не удивилась. Она предчувствовала, что письмо Бахор, что бы она там ни писала, не останется без каких-то неожиданных последствий. А Касымов был огорчен: он привык к Пулату, как к сыну, к тому же каждый умелец ценился в совхозе на вес золота. Хотя что же он думает только о своем совхозе? Золото-то вносится в общую копилку! На Галабастрое, надо полагать, умелые руки нужны не меньше чем здесь. Надо и Пулата понять — сбывается его заветная мечта, а мечте

грешно подрезать крылья... Когда же Касымов узнал, что Рустам согласился отпустить Пулата, он только развел руками:

— Что поделаешь — езжай! Рустам — мужик чуткий, понимает, что к чему. Ладно, сынок, мы тут за тебя поработаем, ты там — за нас. Смотри, не подведи! А ежели что, возвращайся, встретим с радостью. Так-то, сынок.

Пулат пошел проститься с бригадой. Он шагал по поселку и радостно изумлялся: сколько домов успели они построить! Землянок осталось совсем немного, совхоз креп и хорошел, улицы обрастали молодыми деревьями. А на кустах хлопчатника уже начали раскрываться корбочки. Скоро уборка... Пулат вдруг почувствовал, что ему нестерпимо жаль расставаться с совхозом, со своей бригадой, с веселым другом бригадиром Рустамом, с Шерматом-амаки, его приветливой, заботливой женой и шумными, привязавшимися к Пулату ребятишками. Он испугался, что вот-вот размякнет, и потому прощание с бригадой прошло как-то сухо и торопливо: мужчины не любят разводить телячьи печности. Рустам, видно, понял состояние юноши, и, хотя ему страсть как хотелось поболтать с ним напоследок, напутствовать его доброй шуткой, он сдержался, только сказал, крепко, до хруста в плечах обнимая Пулата:

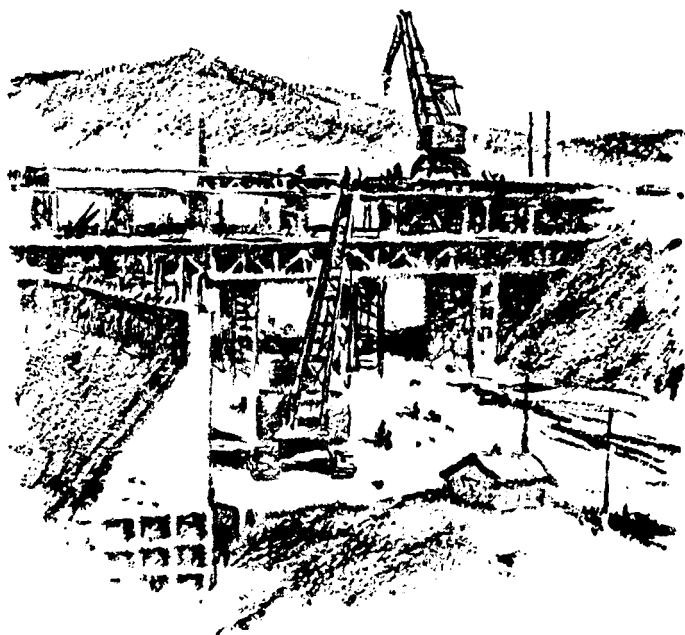
— В добрый путь, приятель! Уж не обессудь, если что не так. И жди! Скоро, глядишь, и встретимся.

— Спасибо, уста. — Пулат все-таки не смог скрыть волнения. — За все спасибо! За учебу, за все... Я ведь научился у вас не только ремеслу. Счастливо оставаться, друзья! Я всегда о вас буду помнить, о тебе, Борис, о тебе, Ашот, обо всех.

Он уехал из совхоза вместе с матерью. На душе у нее было тревожно: что-то ждет сына...

Касымов дал им свою черную «эмку». Удаляясь от усадьбы, Пулат окинул совхоз прощальным, благодарным взглядом — это ведь была первая памятная веха на его трудовом пути.

Пробыв всего лишь сутки в родном кишлаке, Пулат отправился на Галабастрой.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Пулат прибыл на стройку ранним утром и первым делом постарался разыскать Халила-ата. Это не составило особого труда: старика здесь все знали, и первый же встречный показал, как пройти к кузнице.

Кузница находилась близ Каттасая — горной быстрой речки, впадавшей в Сыр-Дарью, и обслуживала несколько районов. Это был большой полутемный сарай, обнесенный закопченным дувалом.

Пулат явился в кузницу прямо с вещами: перетянутой ремнями скаткой, с одеялом и ватником, и фанерным вместительным чемоданом, в который Хайри уложила одежду сына и всякую мелочь.

Он вошел в помещение, опустил вещи на земляной пол. Его оглушил гулкий звон большого молота, отдающийся во всем теле, и маленьких молотков; на стенах качались багровые отсветы огня, над наковальней при каждом ударе взлетали веселым фейерверком колкие искры. Халил-ата и его товарищи, занятые работой, не обратили внимания на Пулата. Их лица, озаренные сыпучим мерцанием искр и пламенем горпа, казались отлитыми из красной меди и то вспыхивали, то гасли...

Немного освоившись, Пулат позвал:

— Амаки!

Халил-ата обернулся, лицо его просияло, он отложил молот, вытер руки о кожаный фартук и резво засеменил к Пулату:

— Сынок! Приехал...

Они крепко обнялись, расцеловались. Старик так был обрадован, словно к нему приехал родной сын. Кузнецы и подручные, продолжая работать, с благожелательным любопытством поглядывали на Пулата.

— Как Бахор-то обрадуется! — сказал Халил-ата.

— А... где она? — несмело спросил Пулат.

— Да небось с девушками. На Каттасае. Так сдружилась, водой не разольешь.

— А не в библиотеке?

— Что там днем-то делать? Весь народ на работе. — Старик досадливо поморщился. — Сынок, разговор в кузнице подобен беседе глухих. Наша работа громкая. Пойдем-ка на волю! — И крикнул остальным: — Я скоро вернусь, только гостя устрою!

Он повесил на гвоздь фартук и хотел было взять чемодан гостя, но Пулат решительно воспротивился этому, схватил свои вещи. Они вышли во двор, заваленный кетменями, лопатами, какими-то колесами и металлоломом. Халил-ата пожаловался:

— Ох, сынок, голову некогда почесать! Народ-то неопытный, навезли с собой всякого старья, что ни день — то кетмень сломается, то лопата. Вот чиним, латаем, а инструмента все равно не хватает...

— Вы, значит, решили остаться на стройке?

— Остаемся, сынок, остаемся! — оживился старик. Они уже шагали к трассе канала через свежую вырубку, на месте которой еще недавно рос редкий лесок. — Хотим дожидаться, когда в этой пустыне зажгутся огни Га-

лабагэса. Иначе какой же интерес... А вот и наш дворец!

Они остановились перед одной из землянок, вытянувшихся вдоль дороги, которая вела к будущей плотине. Землянку не сразу можно было заметить — виднелся только ее глинобитный купол с дымовым отверстием и подслеповатым окошком. Халил-ата и Пулат спустились по земляным ступенькам вниз. В жилище старика было еще темнее, чем в кухне. Лишь немного привыкнув к полумраку, Пулат разглядел посередине землянки старый ковер, на нем — керосиновую лампу с черным от копоти стеклом, у стены — тощий тюфяк, брошенный на солому, немудреное ложе Халила-ата. Угол, где спала Бахор, был отгорожен от остальной части землянки плотной мешковиной — там стояла кровать из трех досок, больше похожая на скамейку.

— Это нам Тураханов устроил, — сказал Халил-ата. — Ты погоди, я сейчас...

Он ушел куда-то, наверное, в столовую, потому что вскоре появился, неся в руках миски, наполненные дымящимся, жирно лоснящимся пловом. Пулат проголодался с дороги, никогда еще плов не казался ему таким вкусным. Они ели молча, и, только когда опустошили свои миски, Халил-ата, обмакивая лепешку в жир, оставшийся на дне, сказал:

— От нашего воздуха, знаешь, как аппетит разгорается! Едим-едим, а брюхо все бурчит, будто ни рисинки в него не попало!

Пулат засмеялся:

— Я еще не надышался вашим воздухом, а уже целую миску умял!

— Поработаешь на свежем воздухе — целое блюдо сможешь осилить! — Старик показал в улыбке свои белые, как перламутр, зубы; несмотря на преклонный возраст, они все у него были целы.

Он сходил за чаем. Прихлебывая кок-чай из фарфоровой пиалочки, Пулат поинтересовался:

— Всегда тут такой вкусный плов?

— Когда как... Сейчас как раз подвезли продукты. Завхоз у нас... ледащий такой, а хитер, как лиса. Как только Акрамхан его держит?

— Может, потому и держит.

— Сынок, сынок!.. — Халил-ата сокрушенно покачал

головой. — Не суди о человеке, пока пуд соли с ним не съешь.

— Иногда, атаджан, это напрасный перевод соли, — с совсем взрослой иронией сказал Пулат, но, увидев, что огорчил старика своими словами, перевел разговор на другое. — Атаджан! Когда же мне на работу? Я готов хоть сейчас... Не думайте, я не устал. Вот лопаты и кетменя у меня пет...

— Снабжу по знакомству! — добродушно улыбнулся Халил-ата. — Да ты не торопись. Сперва стройку посмотри. Такие у нас чудеса творятся, во сне не увидишь. Народу-то съехалось — не сосчитать, и кого только пет! А как работают — богатыри, право слово, богатыри! Ты походи, посмотри, от этого только силушки в руках прибавится, после легче работать будет. Э, что ж это ты чай-то не допил? — В голосе старика звучала укоризна. — Молодежь, молодежь, все впопыхах, все бегом, все куда-то спешите... Вот и Бахор так, выпьет полпшалушки — и бежать! У меня уж язык устал увещевать торопыгу.

У Пулата прервалось дыхание, когда он снова услышал имя Бахор. Увидеть бы ее поскорее, поговорить с ней!

Халил-ата словно угадал его мысли:

— Давай, сынок, сделаем так... Мне на работу пора, мы вечером еще увидимся. А ты пока пойди к девчатам, Бахор уже наверняка там. Она тебе все покажет. Пошли, сынок, это недалеко, рукой подать.

Девушки-электросварщицы, подруги Бахор, работали на турахановском участке, там, где сооружалось бетонное русло деривационного канала. Оно должно было пройти над Каттасаем.

Халил-ата довел Пулата до этой речушки, сердечно спросил с ним и бодрой походкой зашагал к кузнице.

У Пулата, когда он представил себе, что вот сейчас, через минуту, увидит Бахор, ноги словно приросли к земле. Он сам удивился этой своей неожиданной робости (прежде никогда такого с ним не случалось), но тут же разозлился на себя и решительно двинулся вперед, на бледно-голубой свет электросварки.

Бахор сидела на корточках возле девушек, сваривавших железную арматуру, и сквозь закопченное стекло

внимательно, увлеченно наблюдала за их работой. На ней было простенькое ситцевое платье, из-под него выглядывали старенькие сапожки, на косах, вепцом уложенных вокруг головы, пламенела красная косынка. Это пламя обдало жаром сердце юноши, он замедлил шаг и все смотрел, смотрел на Бахор, словно видел ее впервые... Ее черные волосы блестели под утренним солнцем, а ему чудилось, будто вся она окружена нестерпимым сиянием. И в то же время ее маленькая согнутая фигурка была такой трогательной, что у Пулата защемило сердце... Но паваждение тут же исчезло: перед ним была Бахор, какой он знал ее много лет, — его школьный друг, соседка, и Пулат почувствовал себя проще и увереннее. Он испытывал лишь радость от встречи с ней, хотя несколько дней назад совсем по-иному рисовал себе эту встречу...

— Бахор! — крикнул он.

Девушка обернулась, вскочила на ноги, замерла, глядя в Пулата. Казалось, она тоже, как недавно Пулат, не в силах была сдвинуться с места. Но вот ее лицо озарила улыбка, и Бахор, как стрела, выпущенная из лука, устремила навстречу юноше.

— Пулат!.. Приехал!

Казалось, они сейчас обнимутся и Пулат привлечет Бахор к себе, и они будут стоять так долго-долго... Но они только сильно потрянули друг другу руки. Не выпуская пальцев Пулата, Бахор потянула его за собой:

— Знакомься, это мои подруги, я тебе о них писала.

Девушки, прервав работу, выстроились, как на параде, и с лукавым любопытством таращились на Пулата. Они были одеты в брезентовые ломкие штаны и куртки, что, конечно, не красило их. Сначала девушки даже показались Пулату похожими одна на другую.

Бахор подвела Пулата к первой из девушек:

— Зульфия!

И та с достоинством, сохраняя серьезный, даже строгий вид, протянула Пулату сложенную лодочкой ладонь.

— Надя, — сказала Бахор. — Из Брянска.

Надя, круглая, румяная, как пышка, крепкая, ладно сбитая, фыркнула в кулак, здороваясь с Пулатом. Пожатие ее руки было таким неожиданно сильным, что Пулат, тоже засмеявшись, с нарочитым усердием затряс онемевшей кистью. Это еще пуще развеселило Надю. От сдер-

живаемого хохота на глазах у нее выступили слезы. Бахор с притворной укоризной покачала головой и представила Пулату третью девушку, татарку, топенькую, худенькую — даже просторная куртка не могла скрыть ее худобы — и совсем молоденькую, на вид ей можно было дать от силы лет пятнадцать.

— А это Амина. Наша младшая сестренка, ей всего семнадцать!

Амина покраснела; потупив взгляд, неловко сунула Пулату ладонь и, засмутившись еще больше, тут же отдернула ее, словно обжегшись.

И эту бригаду, как рустамовскую, по праву можно было назвать интернациональной. Оно и не удивительно: в Узбекистане живут, строят коммунизм представители различных национальностей! В целинных совхозах, на заводах и фабриках, в школах и институтах бок о бок работают и учатся дети многих советских народов. А на Галабастрое как одна дружная семья вдохновенно трудились узбеки, таджики, русские, украинцы, казахи, киргизы, татары, армяне. И семье этой щедро помогали Москва и Ленинград, Баку и Алма-Ата. Ведь наша Родина — это родина Дружбы Народов. Все, что у нас строится, строится общими силами. И каждая наша победа — это чудесный плод великой дружбы.

Пулата Бахор почему-то не назвала девушкам — они, видно, и так были о нем наслышаны.

— Вот, Пулат, — сказала Бахор. — Надеюсь, и ты с ними подружишься.

Когда церемония знакомства была закончена, девушки с деловитым, озабоченным видом принялись за работу, — видимо, не хотели мешать подруге и ее гостю. Бахор и Пулат отошли в сторонку. Пулат сказал:

— Ты в письме обещала показать мне стройку. Показывай!.. Халпил-ата вручил мою судьбу в твои руки.

— И правильно сделал, — одобрила Бахор. — Лучшего экскурсовода тебе не найти, я тут каждую травинку знаю! За эти месяцы все успела обследовать, исходила стройку вдоль и поперек. — Она повернулась к подругам: — Встретимся на концерте! — И сияющими глазами взглянула на Пулату: — Как хорошо, что ты приехал! Пошли!..

Она и правда чувствовала себя на стройке, как дома. И ее многие знали, с ней приветливо здоровались и

юноши, и старики, и дети. Она рассказывала Пулату обо всем, что попадалось ей на глаза, со знанием дела и с искренним восторгом — это была ее стройка, и она гордилась успехами строителей, как своими.

На попутных машинах они добрались вдоль деривационного канала до котлована, где должна была вырасти будущая гидростанция. Строительство ГЭС только началось, но уже закладывался поселок галабастроителей и будущих эксплуатационников; чья-то заботливая рука посадила деревья на будущих улицах и в садах будущего поселка.

— Смотри! — удивился Пулат. — Уже и сады. Здорово!

— Тут людям жить, — солидно пояснила Бахор. — У нас о людях заранее заботятся.

— Здорово! — повторил Пулат.

Он задумчивым взглядом окинул котлован, пытаясь представить, как будет выглядеть гидростанция, и горячо произнес:

— Вот бы где работать! После войны. Помнишь, Бахор, мы смотрели фильм о Днепрогэсе? Красота какая! Знаешь, что мне больше всего понравилось? Порядок, дисциплина — как в армии. Входит кто-нибудь в диспетчерскую — дежурный в струнку, отдает рапорт. А чистота — прямо как в больнице. По-моему, при коммунизме везде так будет. Такая вот культура труда...

Бахор краешком глаза глянула на Пулата — рассуждает совсем как взрослый! Да, он повзрослел за последние месяцы. Похудел еще больше, но возмужал, окреп. Молодчина Пулат!

Она потянула его за рукав:

— Поехали, тут смотреть пока не на что.

Пересаживаясь с машины на машину, они продвигались вдоль трассы канала по направлению к головному сооружению.

Рабочий день был в разгаре. На дне канала полно народу. Сверкая под лучами осеннего солнца, взлетали и опускались кетмени и лопаты. Это было похоже на всплески серебристой воды. Большинство колхозников убирало из русла выпутый грунт. Одни насыпали его на посылки, в тачки, мешки и хурджуны, другие таскали, возили на берег, нагромождая на всем протяжении русла

высокие отвалы, которые тянулись зубчатой горной грядой.

Пулату предстояло трудиться рука об руку с этими людьми, и он с жадным интересом следил, как споро, быстро они работают. Ему словно передан их энтузиазм, даже руки чесались — так хотелось, не мешкая, взяться за лопату и бросать, бросать землю, чтобы все глубже становилось русло, все выше неровная гряда на берегу.

Но Бахор увлекала его за собой, и он следовал за ней, слушал ее. На одном из участков они увидели небольшой экскаватор. В то время техники на стройке было мало, она нужнее была фронту и районам, пострадавшим от оккупации. Пулат, остановившись неподалеку от экскаватора, смотрел на него во все глаза. Машиной управлял молодой парень, судя по старому кителю с голубыми выцветшими петлицами, — бывший летчик. Повинуясь его воле, стальной ковш экскаватора яростно вгрызался в землю, рвал острыми зубьями твердый грунт, медленно, как бы с натугой, поднимался, поворачивался и будто со вздохом облегчения высыпал грунт в подъезжающие грузовики. Пулат не удержался от завистливого восклицания:

— Здорово! Вот бы на такой штуке поработать!

— Пулат, Пулат! — рассмеялась Бахор. — Ты так разорвешься! Всюду хочешь успеть.

— Ну и что? — Пулат готов был обидеться, но увлеченность взяла верх над чувством обиды. Он проговорил с юношеским пылом: — Представляешь, если бы весь канал рыть такими машинами! Мы б тогда быстро управились.

— Если бы не война! — сказала Бахор.

Вскоре они приблизились к месту, где начинался канал. Здесь полным ходом шла подготовка к строительству головного сооружения, предназначенного управлять потоком воды, который устремится по каналу. Рядом возводилась малая ГЭС, для нужд Галабастроля, а на Сыр-Дарье — перемычка, освобождавшая от воды правобережную часть реки. Поперек Сыр-Дарьи предстояло в будущем поставить мощную плотину для регулирования уровня воды в реке и равномерного обеспечения деривационного канала. Бахор объяснила, что, когда плотина будет построена, перемычку разрушат, открыв путь воде.

Пулата особенно заинтересовала малая ГЭС — тут велись бетонные работы, — и он хотел было уже поделиться с Бахор новой своей мечтой: трудиться именно здесь, на строительстве малой ГЭС. Но, вспомнив, как смеялась Бахор над переменчивостью его желаний, промолчал... Бахор между тем рассказывала:

— Знаешь, кто тут работает? Знаменитая бригада Никитина. Вот уж мастер, всем мастерам мастер! А еще есть у них Бохадыр-ата, старик, лучший бетонщик на стройке. Ты еще о них не раз услышишь, Пулат! Ты ведь тоже бетонщик?! Может, хочешь поработать в бригаде Никитина?

Пулату показалось, что в глазах Бахор мелькнули лукавые огоньки, он нахмурился:

— Скажи по-честному, где у вас трудней всего?

— Рыть канал — трудней всего.

— С этого и начну. Зачем мне от земляков отбиваться? Поработаю, как все. А там видно будет. — Он улыбнулся: — Это я твое письмо цитирую.

Обратно они шли берегом Сыр-Дарьи. Бахор показала на противоположную сторону реки:

— Видишь, дома строят? Там будет металлургический завод. Через десять лет мы эти места и не узнаем! — Ее лицо сделалось вдруг озабоченным. — Пулат! Ты не проголодался?

Пулат отрицательно мотнул головой.

— Как же, ты скажешь! — сердито, но с внутренним одобрением проговорила Бахор. — Давай, знаешь, где пообедаем? На берегу речки. Я там такое место знаю... Как на нашем Бахмалсае! Даже вяз растет. — И тихо, смущенно призналась: — Я часто туда хожу... Пойдем? Только захвачу кое-что из дома.

Когда они подходили к землянкам, Пулат обратил внимание на красовавшийся близ дороги аккуратный домик.

— А там кто живет?

Бахор сдвинула брови.

— Акрамхан-ака... — Она обернулась к Пулату. — Вот чего я не понимаю, Пулат. Я тебе писала... Он пользуется таким уважением. Его участок всегда плац выполняет, держит переходящее знамя. Тураханова всем в пример ставят, честное слово! А тут... этот штаб...

— Штаб?!

— Да, так у нас все этот дом называют. — Бахор прыснула. — Смешная история! Когда-то в нем геологи жили. Акрамхан-ака приехал и стал требовать, чтобы дом ему отдали. В управлении согласились. И как только он там поселился... Его помощник, наш завхоз, Махсумча... водрузил над входом вывеску: «Штаб уполномоченного райкома товарища Тураханова». Смеху было!.. Акрамхан-ака, видно, понял, что глупо все это выглядит, и распорядился снять вывеску. Но до сих пор по старой памяти мы этот дом штабом называем. Видел бы, какие там ковры... Две комнаты...

— Ты... и внутри успела побывать? — Пулат злился, под скулами у него ходили желваки.

— Опять ты за свое! — гневно воскликнула Бахор. — Как тебе не стыдно? Он ко мне, как к дочери, а ты... Как ты плохо обо всех думаешь! Он добрый... скромный...

— Скромный! — усмехнулся Пулат. — А этот дом?

Бахор недоуменно повела плечами:

— Не понимаю, зачем ему это...

Бахор, Бахор!.. Ты хочешь видеть в людях только хорошее... Но твою доверчивость можно простить, ты и правда многого еще не понимаешь и не знаешь. Откуда тебе знать, что в Бахмале Тураханов вел строгий «подвижнический» образ жизни и выставлял напоказ свою скромность и неприхотливость лишь по одной причине: этого ведь «требовал момент»; первый секретарь райкома сам являл образец скромности и другим не прощал малейшего проявления феодално-байского шика. Вот Тураханов и жил применительно к вкусам и характеру вышестоящего руководителя. На стройке же, вдали от чужих глаз, почувствовав себя хозяином положения, он дал волю своей широкой натуре. Не для того же в конце концов добивался он власти, чтобы ограничивать себя во всем и подавлять свои желания!

А ты, Пулат! Не давай ревности ослепить себя. Не то она, как острый меч, подсечет только еще зацветающее деревце вашей любви. Ты ведь уже не раз мог убедиться в чистоте и благородстве чувств твоей подруги, чудесной, искренней девушки! У нее открытая душа, как ты можешь ей не верить?

Ну, Пулат!.. Ты ведь за эти месяцы многое понял, многому научился — не только ремеслу, ты сам признался в этом Рустаму.

Пулат о чем-то задумался, взглянул на Бахор. В ее папиных, родных-родных глазах застыли обида и недоумение. Пулату стало не по себе — как посмел он причинить ей хоть крошечную боль!

Он дотронулся до ее руки:

— Ладно, Бахор. Не будем об этом. Вон и ваша землянка. Я ее сразу узнал.

Взявшись за руки — это вышло как-то непроизвольно, они сами этого не заметили, — Бахор и Пулат побежали к землянке.

Бахор спустилась в нее и вскоре появилась с аккуратным узелком, в котором были лепешка, немного вареного мяса, лук, помидоры, соль. Она повела Пулата к своему излюбленному местечку под раскидистым вязом, неподалеку от впадения Каттасая в Сыр-Дарью. Берег там мягко выгибался и образовывал как бы естественную супу, покрытую зеленым травяным ковром — трава была густая и сочная, как на берегах Бахмалсая...

— Смотри, Пулат! — сказала вдруг Бахор. — Как им, наверно, больно!

Она стояла перед большим камнем, грубо придавившим траву и нежные голубые цветы. Расплющенные, беззащитно припавшие к земле, они выглядывали из-под камня, словно зывая о помощи. Пулат взглянул на Бахор, у нее дрожали ресницы... Он нахмурился, шагнул к камню, нагнулся, принаравливаясь, как ухватиться, подсунил под него руку. Камень не поддавался. Бахор подвинулась к Пулату, как бы желая помочь, глаза ее молили: скорее, Пулат! Юноша напряг мускулы, на шее вздулись жилы. Он оторвал камень от земли, толкнул его. Тяжелая глыба, несколько раз перевернувшись, скатилась в воду. Раздался сильный всплеск, крупные брызги вспыхнули над потревоженной гладью. Пулат тыльной стороной ладони вытер пот со лба, смущенно улыбнулся. Бахор бережно выпрямила поврежденные цветы, засыпала корни рыхлой землей, вскочив на ноги, забила в ладоши:

— Справедливость восторжествовала!.. Какой ты сильный, Пулат! Я пыталась сдвинуть его с места — куда там. Ты настоящий богатырь!

— Если бы не ты... — тихо сказал Пулат.

— При чем тут я? Разве я спрокинула камень?

— Ты пожелала этого, и твое желание придало мне сил.

— Не скромничай, Пулат. Ты вообще... сильней всех!

Щеки юноши зарозовели, он низко наклонил голову. В груди пела радость; Бахор похвалила его, она не умеет кривить душой, она вправду считает его сильным! Он и сам ощущал в себе богатырскую силу — валяйся тут сотня таких громадин-камней, он все скинул бы в воду, только бы выволить из неволи красоту природы, так восхищавшую Бахор!

А Бахор радовалась, как ребенок:

— Гляди, гляди, Пулат, они ожили, распрямились! Жизнь побеждает, жизнь побеждает! Гляди, кивают тебе: спасибо, спасибо... Я завтра приду сюда, справлюсь об их самочувствии. Это будут наши цветы, Пулат!

Они уселись на берегу. Бахор развернула узелок, растелила на траве прихваченную из дома простенькую скатерку. Но только они приступили к скромной трапезе, как за спиной послышались шаги и чья-то рука легла на плечо Бахор:

— Приятного аппетита, молодежь!

Бахор и Пулат обернулись и поспешили подняться. Перед ними, приветливо улыбаясь, стояли двое мужчин. Одному, русскому, было лет пятьдесят. Он уже начал сесть, хотя в белесых волосах седина была еле заметна; лицо его в резких морщинах, коричневое от загара, прокаленное ветрами и солнцем, выглядело моложавым — его молодили синие-синие, невыцветшие глаза. Такой чистой, пропитательной голубишной светятся лишь глаза детей да наше небо, и как-то чуждо выглядели очки в металлической оправе на этом лице и обкуренная трубка в зубах. Спутник его был выше ростом: представительный, благородной осанки старик, с белой, пышной, завивающейся в кольца бородой, как у древних мудрецов или у поэтов на потемневших от времени портретах, с такими же белыми, длинными ресницами и бровями, с черными глазами красивого, четкого выреза, крещкими белыми зубами и бронзовой, почти без морщин, кожей. А те морщины, что были, свидетельствовали не столько о тяготах прожитой жизни, сколько об испытанных стариком

радостях, — это были следы многих, многих улыбок; улыбка и сейчас лучилась в уголках его глаз и губ.

Бахор легонько толкнула локтем Пулата и звонко произнесла:

— Салам, товарищ Никитин! Салам, Бохадыр-ата!

— Салам, кизым!¹ — по-узбекски сказал Никитин и, пыхнув своей трубкой, пытливо посмотрел на Пулата. — Салам, углым². Ты, видать, недавно приехал?

— Сегодня утром.

— Он добровольцем, товарищ Никитин! — с гордостью сообщила Бахор.

Бохадыр-ата понимающе улыбнулся в белую бороду:

— А я гляжу, что-то тебя нет с нашими дочками, мастерами электросварки... Мы как раз от них, просили, чтобы они у нас пемного поработали — мало еще у нас таких кудесниц...

— Я тоже выучусь на электросварщицу! — взволнованно пообещала Бахор. — Увидите, выучусь! Меня девушки обучают... — Только теперь она заметила на губах старика лукавую улыбку и торопливо, оправдывающимся тоном, принялась объяснять: — Это Пулат, мы с ним из одного кишлака, вместе учились в школе... Мы давно дружим.

— Вижу, что дружите. — Никитин кивнул на скатерку. — Уж, наверно, пуд-то соли съели вместе?

— Топну! — шуткой ответила Бахор и гостеприимно предложила. — Садитесь с нами.

— Спасибо, дочка, некогда. — Никитин протянул им руку. — Свидимся еще... На концерт-то собираетесь?

— А как же!

Когда Никитин и Бохадыр-ата ушли, Пулат спросил:

— О каком это концерте вы говорили?

— О, тебе повезло, Пулат! К нам из Ташкента приехала Халимахон! Сегодня вечером ее выступление.

— Халимахон?..

Пулат не раз слышал по радио песни Халимахон, но видеть певицу ему еще не доводилось.

— Ага. Халимышон. К нам сюда и артисты приезжают, и ученые, и писатели, и художники. Это же народная стройка!

¹ Кизым — дочка.

² Углым — сынок.

Вечером Пулат вместе с Бахор и Халилом-ата пошел на концерт ташкентских артистов.

Сцена, простой деревянный помост, была установлена на дне будущего канала. По бокам, освещая ее, ярко горели костры; огненные языки, казалось, доставали до неба. Тысячи строителей Галабагэс разместились на берегу и на земляных отвалах. Они припли в рабочей одежде, но вид у них был праздничный... Одни за другим перед ними выступали известные артисты, гордость республики. Зрители выражали свое одобрение шумными аплодисментами. И Пулат смотрел больше на них, чем на сцену, — ведь это им дарили артисты свой талант, для них танцевали и пели, для них — еще не для Пулата. Он чувствовал себя на этом концерте гостем — не хозяином. Но скоро и он завоюет почетное право называться строителем Галабагэс и, придя на новый концерт, как должное примет предназначенные для славных тружеников, героев-галабастроителей, чудесные подарки: песни, танцы, музыку, стихи...

Последней вышла на сцену Халимахон. Аплодисменты вспыхнули с такой силой, что Пулату почудилось, будто на чистом небе испуганно вздрогнули звезды.

Длинное атласное платье певицы переливалось всеми красками радуги, на шее, на запястьях рук сверкали мониста и браслеты. Она исполнила несколько старинных народных песен, а потом сошла со сцены, приблизилась к строителям, сидевшим в первых рядах, и запела о героях стройки — знатных бетонщиках, Никитине и Бохадыре-ата. Это был гимн труду, обращенный к богатырям-труженикам. Халимахон пела им и о них; Пулат слушал как замороженный, каждая жилка в нем напряглась, а сердце преисполнилось чувством гордости: он ведь знаком с этими героями, они сегодня разговаривали с ним как равные с равным, и уж он в лепешку расшибется, только бы оказаться достойным их уважения!

После концерта Халил-ата и Бахор проводили Пулата в находившееся неподалеку от их землянки общежитие, где ему теперь предстояло жить, — старый кузнец еще днем позаботился о крове для своего юного гостя. Это тоже была землянка, наполовину выступавшая над поверхностью, слабо освещенная тусклой керосиновой лампой.

Пулат, уставший от впечатлений дня, растянулся на тюфяке, принесенном Халилом-ата, но долго еще лежал с открытыми глазами. В ушах у него все звенела песня Халимыхон, прославлявшая труд, звавшая на подвиг...

2

Утром Пулат вышел на трассу канала.

Тураханов уехал в район с группой колхозников, выполнивших свою норму, и еще не вернулся. Людей на участке оставалось мало, и прораб встретил Пулата с распростертыми объятиями. Он вызвал завхоза, которого все называли Махсумчой, и велел ему включить добровольца-строителя в продовольственный список. Продукты бахмальцам поставлял колхоз. Махсумча обязан был заботиться о их своевременном подвозе, хранении и распределении.

Пулат так и не понял: Махсумча — имя или прозвище? Звали бы его просто Махсумом — Пулат не удивился бы. Но это неуважительное — Махсумча... Он вспомнил, что такое имя было у героя одной пьесы, и оно полностью соответствовало всему его неприглядному облику. Каков-то этот Махсумча? Маленький, тщедушный человечек со сморщенным, как моченое яблоко, лицом, усеянным веснушками, с подобострастным, заискивающим взглядом бегающих глаз. Впрочем, вид у него был деловитый: на боку болталась потрепанная полевая сумка, за ухом торчал карандаш. Выслушав наказ прораба, он снизу вверх оценивающе взглянул на Пулата, кивнул и ушел быстрой, семенящей походкой.

Пулату не терпелось приступить к работе, и, когда Халил-ата торжественно вручил ему новехонькую, изготовленную в кузнице лопату, глаза юноши вспыхнули ликующе и победно.

— Хорманг, сынок! — пожелал ему Халил-ата.

Пулат бросил на него благодарный взгляд. Он долго, любовно разглядывал лопату, потом вскинул ее на плечо и заторопился к каналу. «Огонь-парень! — одобрительно подумал Халил-ата. — Весь в отца... Доброго здоровья тебе, сынок!»

Пулат ринулся в работу, как в битву! Ему не привыкать было рыть землю, таскать носилки, возить тяжелые тачки. В совхозе он успел освоиться с этой работой,

я сознание, что он наконец добился своего и его труд слился с трудом героев-галабастроевцев, придавало ему сил и бодрости. Перед его мысленным взором стояла простая, величественная картина стройки, с этим ясным представлением о размахе и целях строительства работать и правда было легче и радостнее. Недаром же говорят в народе, что светлая цель и доброе намерение служат человеку путеводной звездой, а надежда — это весело бьющий ключ, освещающий душу.

Конечно — так думал и Пулат, — было бы куда лучше, если бы на помощь строителям пришли машины. Труд вручную — тяжелый, изнурительный. Но это был труд во имя победы и жизни, во имя расцвета и счастья Родины, и каждый взмах лопаты и утомлял, и бодрил. А если еще утром радио приносило хорошие вести с фронта, то строители принимались за работу с каким-то особым вдохновением и удалью. Дружная песня победным стягом взвивалась над каналом.

К вечеру Пулат, как и все колхозники, выбивался из сил. В общежитие он возвращался усталый, разбитый, но счастливый.

С Бахор он почти не виделся. Она работала вечерами, он днем. Придя домой, он заваливался спать. Но по ночам иногда просыпался и долго не мог уснуть — ведь совсем рядом, в соседней землянке, спала Бахор... Казалось, он слышал ее легкое дыхание, и сердце до краев наполнялось сладким волнением, тревогой и нежностью — какие сны ты видишь, Бахор?.. Спи спокойно, Бахор!..

Пулат казался самому себе богатырем, охраняющим покой сказочной, зачарованной красавицы, и мечтал о каких-то необычайных происшествиях, которые дали бы ему возможность спасти Бахор от грозной опасности, а от какой — боялся и представить, потому что не хотел для Бахор никаких бед...

Он и на работе ощущал присутствие Бахор. Ему чудилось, что она придирчиво наблюдает за ним, и он старался не ударить перед ней в грязь лицом. О, сколько же строгих, дружеских глаз смотрело на него, когда он работал! Глаза Бахор и ее подруг, отца, матери, Рустама, Никитина, Боходыра-ата... Глаза Родины. И под этими ждущими взглядами он забывал об усталости. Он радовался, когда работа спорилась, радовался, ловя одоб-

рение в глазах тех, кто смотрел на него, и тяжело переживал каждую заминку, потому что тогда ему мерещились в этих взглядах огорчение и укор.

Он был требователен к себе: ведь это он сам смотрел на себя глазами самых близких или глубоко уважаемых людей.

Вскоре на строительство прибыла новая партия бахмальцев. Тураханов задержался в районе.

На участок пришел агитатор побеседовать с вновь прибывшими. Беседа проходила на берегу капала в обеденный перерыв. Агитатор примостился на отвале, чтобы всем его было видно; колхозники расселись перед ним прямо на земле.

Когда подошедший к ним Пулат увидел агитатора, брови у него выгнулись от удивления — он узнал Анвара. Первым его чувством была радость. Но тут же он вспомнил о «предательстве» Анвара и насупился.

Обида, правда, не помешала ему слушать рассказчика с жадным, восхищенным вниманием. Речь Анвара лишена была внешнего пафоса, такого, когда из груди оратора бушующим пламенем вырываются гнев и радость, боль и торжество. Он говорил просто, сдержанно, его чувства были просторны, как море, но море спокойное, без яростно вздымающихся волн, и могучи, как река, но река, не выходящая из берегов. И именно потому, что он избегал громких, огнедышащих фраз, слова его проникали глубоко в душу, задевали самые заветные ее струны...

В этот день он делился со строителями своими воспоминаниями о жестокой битве на Волге.

— Там мы за каждую высоту зубами цеплялись, лишь бы не отдать ее фашисту. На одной из таких высот, попросту говоря, на холме, окопался взвод младшего лейтенанта Егорова. Высота была, как у нас говорят, господствующая: она чуть выдвигалась вперед; захвати ее фашисты — все наши части оказались бы у них на виду. Ее надо было удержать во что бы то ни стало. А как удержишь? Защитников раз, два — и обчелся, подкрепления ждать неоткуда, войска, дравшиеся за горod, сильно потрепаны...

А гитлеровцы засели перед самым холмом, в глубокых, как кротовые норы, окопах, огневые точки у них —

черт-те какой мощности. Бой за высоту шел уже больше трех недель. Фашисты не раз лезли на холм, но взвод Егорова отбивал все атаки. Горячие, говоря по совести, были деньки. Фашисты кровью истекают, несут страшные потери, а ни взад ни вперед. Ну, надоела им эта волюшка, и как-то раненько утром накрыли они холм ураганным огнем из пушек и пулеметов. Наши поняли: фашисты к решительному штурму готовятся. Зарылись с головой в землю. Мины, снаряды градом сыплются на холм, вот-вот разнесут его в клочья. Грохот такой — хоть затыкай уши. А из наших окопов ни единого выстрела. Гитлеровцы, видно, подумали, что всех перебили, и ринулись в атаку. Бегут к высоте, орут что-то — ну, саранча и саранча! Бегут, а сопротивления не встречают. Это их еще больше подогрело. А наши заметили, что они уж и без того подогреты шнапсом. Это ж легко было заметить по их диким воплям да лихой бесшабашности. Бегут, а их из стороны в сторону пошатывает. Такое вот дело... Они уж победу праздновали, да только у самого подножия холма попали под такой яростный обстрел, что очумели от неожиданности. А их из надежных укрытий поливают свинцом наши пулеметы, косят меткие пули снайперов, затаившихся в искусно замаскированных засадах. Ну, фашисты враз протрезвели, шлепнулись на землю, на животах, как раки, попятились назад. Драпанули, в общем. В этот день они еще с десятков атак предприняли, решили любой ценой завладеть холмом. И видно, все подтягивали и подтягивали свежие силы. Наступил вечер, небо позади фашистов стало багровым, словно кровью окрасилось. Пользуясь темнотой, они бросили к холму танки. Те весь холм изрешетили. Но взвод Егорова укрыт был дай бог!.. Только танки начали по склону взбираться, как в них полетели противотанковые гранаты, бутылки с горючей смесью. Егоров переходил от бойца к бойцу, подбадривал их, отдавал короткие распоряжения... Ему и самому удалось поджечь один из танков. Тот вспыхнул, как спичка. Медсестра Ирина, совсем молоденькая, тоненькая и нежная, как травинка, тоже не сидела без дела, перевязывала раненых, оттаскивала их в землянку, приспособленную под медпункт. Ночь упала на землю тревожная, полная огня и грозного гула. Снег, чудилось, пропах кровью и порохом, пули поселились в воздухе комариными роями навстречу друг

дружке; до того их было много, что, казалось, сталкиваясь, они стучаются одна о другую...

Но вот сквозь грохот боя до наших солдат донеслись пьяные крики... Ребята глядят: опять к холму ползут танки, каждый фашистами облеплен, как банка варенья мухами. За танками тоже прет пьяная фашистская орава. Шнапс этот самый убил в них и страх, и осторожность. Егоров смекнул, что дело плохо, позвонил в штаб, доложил обстановку, штаб обещал прислать подкрепление. Егоров от имени всех своих солдат поклялся отстаивать высоту до последней капли крови, пока не подойдет помощь. Щеки у него были худые, так за эту ночь совсем запали, только глаза и остались на лице, горят громадными фонарями. А танки все ближе подползают... Целая куча! Один из них пулеметной очередью сразил нашего пулеметчика Ваню Потапова. Он на прощание хотел что-то сказать своему другу Ахмеджану, да захлебнулся кровью. Ахмеджан осторожно положил его тело на дно окопа. Поглядел на него с минуту, кулаком слезы вытер и к пулемету — ух, как рванул по фашистской сволочи! К нему подбежал Егоров, споткнулся о тело Потапова, молча постоял над ним, морща лоб, и кинулся помогать Ахмеджану. Рядом упал с окровавленным лицом еще один солдат, Батыров, пуля попала ему в лоб. Ахмеджан оглянулся на него, хлебнул воды из фляги, опять припал к пулемету. Тут его ранило в плечо, левая рука повисла как плеть, но он не оставил пулемета, пока по сердцу не стеганула автоматная очередь — два фашиста, подкравшись незаметно, прыгнули в окоп и палили почему зря, в пьяной отваге. Егоров выстрелил в них из пистолета и занял у пулемета место убитого. Шевченко, украинец, самый веселый парень во взводе, с перекошенным от ярости лицом, то лупил по напалзавшим танкам из противотанкового орудия, то хватался за автомат и строчил, строчил по фрицам, усыпавшим холм, словно тля капусту... Они пятились, но стоило отхлынуть одной волне, как набегала другая. Сказать по совести, конца-края им не было... Шевченко громко, отчаянно ругался и строчил, строчил... Взвод все таял, тогда Ирина подбежала к Егорову, взяла у него автомат и ну стрелять по немцам!.. Егоров крикнул, чтобы она шла к раненым, а она уже не слышала, тяжело привалилась к нему, сжимая автомат холодеющей, закостеневшей ру-

кой. Он глянул в сторону Шевченко — тот стоял недвижно, уткнувшись в бруствер окна, будто спал крепким сном. Взвода больше не было... Погиб взвод. Уцелел один командир. Лицо у него почернело и словно бы соохлось. Он перебежал от пулемета к пулемету, перешагивая через трупы товарищей, — не давал фашистам приблизиться к окопам. Начало светать... Небо было тяжелое, серое, как солдатская шинель. Егоров слышал стоны раненых. Ох, как терзали они ему сердце! А он и сам весь был изранен, на нем живого места не оставалось, но он жил и сражался, ему просто нельзя было умирать до подхода наших частей! Подле него разорвалось несколько гранат, он упал навзничь, растерзанный осколками, и будто сквозь сон услышал громкое «ура» — это пришло долгожданное подкрепление. Он попытался было приподняться на локтях, но тело обмякло, руки ослабли, он затылком ударился о землю... А когда очнулся ненадолго, то увидел над собой, в дымном воздухе, упрямо развевающееся алое знамя. Оно было густо-красного цвета, словно впитало в себя всю кровь, пролитую за то, чтобы реало оно на этом холме победно и гордо. Егоров вздохнул с каким-то счастливым облегчением — это был последний его вздох — и навсегда закрыл глаза. Навеки остался он жить в сердцах солдат, оказавшихся свидетелями героической его смерти. У солдат этих, прибывших на подмогу, потемнели лица и руки сжались в кулаки, когда оглянулись они вокруг — повсюду лежали убитые да тяжелораненые. Взвод стоял насмерть и погиб, ценой крови своей удержав высоту, выручив соседние части.

— Слушай, агитатор, — перебил Анвара кто-то из строителей. — Верно, среди раненых-то и ты был? Так рассказываешь...

— По совести говоря, неважно, — досадливо отмахнулся Анвар и продолжал: — Ох, и страшна была месть наших воинов! Они выбили фашистскую нечисть из окопов, погнали врага дальше, нанося ему смертельные раны... А отважных защитников высоты похоронили тут же, на холме. Прогредел прощальный салют. Солдаты стояли у братской могилы, низко склонив головы. По щекам генерала, командующего дивизией, текли слезы, он не вытирал их, он провожал в последний путь любимых своих детей. Плакал комиссар — партия потеряла вер-

ных своих сыновей. Да, это были сыновья партии, хотя у многих и не было партийных билетов...

Голос Анвара звучал приглушенно, но каждое его слово западало в душу, колхозники терли глаза заглубившими ладонями, у стариков бороды были мокрые от слез: в тех солдатах, о которых рассказывал Анвар, видели они своих сыновей истекающими кровью.

У Анвара, когда он взглянул на притихших слушателей, горячая, соленая волна прихлынула к горлу. Он встал, шагнул вперед:

— Мы, друзья, в неоплатном долгу перед Егоровым, Потаповым, Ахмеджаном, Шевченко, Ириной, тысячами наших братьев, спящих вечным сном в отвоеванной у врага земле. Могилы их порой безыменны, но мы поставим им прекрасные памятники: новые города, заводы, электростанции. Мы должны так трудиться, чтобы наши братья на фронте знали: не зря проливают они свою кровь, они защищают светлое будущее Родины, будущее, которое строит героический советский народ!

В эту минуту мощный гром, словно салют в память павших, прокатился над стройкой: это в скалах начали взрывать камень. Пыль поднялась столбом на месте взрыва. Взрыв словно бы послужил сигналом к началу работы. Колхозники, посуровевшие, двинулись к каналу. Анвар некоторое время смотрел в ту сторону, откуда доносились раскаты взрывов, они отдавались в его сердце грозным гулом былых сражений...

Колхозники, молчаливые, словно бы ушедшие в себя, с непросохшими ресницами и пылающими сердцами, взяли за кетмени и лопаты. «Вж-жак!» — врезалась в грунт острая сталь. «Ух! Ух!» — полетели в сторону крупные комья земли.

Строители в этот день старались, как никогда.

Анвар сбегал на дно канала, попросил у сухопарого белобородого старика лопату:

— Вы пока отдохните, ата! — И с размаху вонзил ее в землю.

Молодец Анвар!.. Я знал, что ты не ограничишься одними призывами, не утратишь, придешь к людям, чтобы поработать наравне со всеми. Помнишь, ты как-то сказал: «На фронте, кто агитирует, первым поднимается в атаку». Ты и сам всегда следуешь золотому этому правилу.

Ты живешь просто и ровно, полный постоянного, непреходящего энтузиазма, из-за этой своей постоянности он выглядит будничным, принимается всеми как нечто само собой разумеющееся.

Сколько у нас таких незаметных героев!

Ты прост и скромн, в своем рассказе ты ни словом не обмолвился о себе, хотя откуда бы тебе знать все, о чем ты рассказывал, если бы ты сам не сражался в рядах защитников непокоренной высоты? Ведь в том памятном бою тебя и ранило...

Но все, что ты сам делаешь, ты не считаешь подвигом и не ждешь ни похвал, ни наград. Лучшая награда для тебя — сознание, что ты живешь, как надо, и воевал, как положено, и есть от тебя польза и стране твоей, и твоим друзьям. Грудь твою не украшают боевые ордена, о тебе не писали в газетах, и поэты не сложили о тебе вдохновенных песен. Но сама твоя жизнь — это песня; каждый твой день — это подвиг, подвиг скромности, чуткости и отваги, и пусть он не всем бросается в глаза — пламя ведь тоже бывает ровным, но это все-таки пламя, жаркое, согревающее людей...

Ты — рядовой великой армии героев. Простой парень, храбрый солдат, задушевный друг, скромно делающий свое дело коммунист.

Пулат совсем еще не знает тебя, не то бы он отбросил все свои обиды! Он не знает ни тебя, ни твоего прошлого... Да ты ни с кем и не говоришь о том, что довелось тебе пережить.

Помнишь, как однажды, еще до того как ты попал во взвод Егорова, твой земляк, замкомроты, лейтенант — ты тогда был заместителем политрука — взял тебя с собой во вражеский тыл? Ты не ладил со своим земляком, это был человек грубый и заносчивый да еще пил, как бочка; тобой он помыкал и часто учинял тебе несправедливые разносы, но он взял тебя с собой на трудное, опасное дело, на тебя можно было положиться, это-то он понимал, и помнишь, он тогда сказал тебе: «Человек я срывистый, а ты — скала, не гляди, что я на тебя порой покрикиваю, я тебе верю». А ты ответил, глядя ему прямо в глаза: «Кричать легко; если бы этим измерялась храбрость, ты был бы самый смелый». Лейтенант стерпел эту дерзость, только зло ощерил желтые зубы. Перед тем как уйти на задание, все, кто шел с вами, и лейте-

нант тоже, выпили — все, кроме тебя и пожилого солдата Степаныча, его только по отчеству все и звали. А задание — взорвать блиндаж, где, по сведениям разведки, разместился фашистский склад боеприпасов. Вы пробирались к нему через редкую рощицу. Ночь была белая от снега и белоствольных голых берез, на вас были маскировочные халаты, вы слились с этой сплошной белизной, но вас вел пьяный лейтенант, и вы заплутались, долго кружили близ немецких позиций, а может, уже и за ними, и немцы вас обнаружили, стали обстреливать. Вы залегли. От берез летели белые щепки, белые фонтанчики снега взвивались рядом с вами, и шальная пуля пробила голову Степанычу, вышла из виска и попала тебе в руку: ты лежал подле Степаныча. Ты оглянулся на него, он был уже мертв. Морщась, ты вытащил из своей руки пулю, убившую товарища, наскоро перевязал ранку. Видя, что все разлеглись, как на привале, и никто не думает идти дальше, ты окликнул самого молодого солдата, махнул рукой — мол, пошли, надо же выполнять задание! Лейтенант повелевающе мотнул подбородком: вперед, вперед!.. Что-что, а приказывать он любил. Вы поползли. Парень, который полз с тобой, был белый, как хлопок, не от страха — от выпитой водки, но свести он, видно, не пропил, послушно повторял все твои движения. Немцы все палили по тому месту, где затаились лейтенант с бойцами, вас они не замечали, и вы благополучно отыскали блиндаж, который вам предстояло взорвать. Он находился на самой опушке, вы осторожно приблизились к нему, прячась за стволами деревьев; твой спутник подкрался к самому блиндажу, швырнул связку гранат и отпрянул назад. Раздался оглушительный взрыв. Немцы не открывали огня: видно, были ошеломлены вашей дерзостью. Вы заторопились обратно. А когда достигли поляны, где вас должны были ждать товарищи, то никого там не застали, лейтенанта с бойцами и след простыл.

Ты встретил его уже в расположении своей части, он петушился, словно и не было за ним никакой вины. Ты измерил его взглядом, тихо враждебно сказал: «Это из-за тебя погиб Степаныч! На тебе его кровь...» Запомнил земляк эти твои слова...

Тебя тогда представили к награде. А вскоре ты, защищая одного из солдат, крупно поспорил с лейтена-

том, и он с маху влепил тебе выговор за пререкания с командиром. По его докладу тебя лишили награды, орден за взрыв вражеского блиндажа получил лейтенант. Ты лишь рукой махнул, узнав об этом: бог с ним, с орденом, главное, что блиндаж взорвал!

Ты тогда умел ненавидеть только врага, с которым сражался. Не такое было время, чтобы драться еще и со своими. Перед смертью все вы были равны — лейтенант погиб в следующем же бою.

И ты забыл о своих стычках с ним, и ни на кого не держишь обиды. Пусть тебя обошли наградой, ты и без этого счастлив, потому что войска наши теснят фашистов к границе, и близка победа, и партия послала тебя на одну из важнейших строек. Ты вдохновляешь людей на трудовые победы рассказами о ратных подвигах своих товарищей, рассказами, в которых ни словом не упоминаешь о себе. Ты воевал, как положено, а ныне трудишься наравне со всеми. Большого тебе и не надо от жизни!

Напевая что-то себе под нос, Анвар копал землю до тех пор, пока старик не отобрал у него лопату. Анвар уступил ее с неохотой, но нельзя было обижать старика — взволнованный недавним рассказом Анвара, он тоже рвался к работе.

С не запятыми ничем руками Анвар почувствовал себя как-то неуютно. Он оглянулся по сторонам, и радостный огонек вспыхнул в его глазах. Неподалеку от себя он увидел Пулата.

Пулат не смотрел на Анвара, он, казалось, целиком поглощен был работой. Анвар удивился, почему Пулат не подошел к нему? Или его не было на беседе?

Он не знал, как хотелось Пулату подойти к нему и каким усилием воли подавил он в себе это желание. Безыскусное повествование Анвара задело его за живое, растравило незатухающую мечту о фронте. Он видел, что и всех захватил рассказ Анвара, видел, с какой суровой самоотверженностью взялись колхозники за работу, и в душе даже гордился былой своей дружбой с Анваром. Он восхищался им, но это был всего лишь «бывший» друг, а бывшие друзья еще более далеки и чужды, чем те, с кем ты еще не успел подружиться... Так думал Пулат и, зажав сердце в кулак, налег на работу. Он всаживал в землю лопату с каким-то яростным

остервенением, а когда увидел рядом с собой Анвара, то заработал еще усерднее, стараясь не смотреть на него... Пулата охватил самолюбивый азарт: ты, друг, был против того, чтобы я поехал на Галабастрой, ты не верил в меня, так я покажу, на что я способен! Земля словно взрывалась под ударами его лопаты; напарник не успевал отвозить ее на своей тачке.

Вдруг над самым ухом Пулат услышал радостный возглас Анвара:

— Пулат! Дружище! Ты здесь? Вот молодчина!

Не прекращая работы, юноша повернул голову на этот оклик. Его на миг обезоружила открытая, во все лицо, улыбка Анвара, однако он тут же привял еще более сосредоточенный, неприступный вид: нет, он не позволит себе размякнуть от улыбки «бывшего» друга!

Не подозревая, какие чувства обуревают Пулата, Анвар хлопнул его по плечу:

— Вот увлекся! Друзей не замечает. Кончай, друг. Перекур!

Пулат глянул на него отчужденно, но перестал копать; он стоял против Анвара, опираясь ладонями о черенок лопаты, упрямо уставясь в землю.

Анвар почувал неладное.

— Ты что, друг? Даже здороваться не хочешь? Разве, как говорится, я сжал твой ячмень незрелым?

— Здравствуй, — буркнул Пулат, не протягивая руки.

— Лапу, лапу давай! Вот так! — Анвар крепко стиснул вялую ладонь Пулата и, не обращая внимания на демонстративную его неприветливость, возбужденно заговорил: — А я тебя, сказать по совести, по всей стройке разыскивал. Не мог он, думаю, не приехать, не из таких, чтоб от своей мечты отказаться! А тебя нет и нет. Я уж в догадках терялся: не стряслось ли что с тобой? Был как-то в районе, в твой кишлак заглянул, и там тебя нет, сказали, в какой-то совхоз уехал. Что ж это ты, друг?

Пулат исподлобья взглянул на него, только и мог выдать:

— Погоди... Ты же сам...

— Что сам?.. Продолжай, что язык-то прикусил?

— Погоди... — Пулат сморщил лоб. — Ты же согласился с Турахановым, что мне не место на стройке.

— Я согласился? — Лицо Анвара выражало неподдельное удивление. — Когда это? Ты что-то путаешь,

друг. Я как раз старался, чтобы тебя включили в список. И честное слово, диву дался, не увидев тебя на стройке!

— А как же... Пстой-ка... — Пулат все морщил лоб. — Он же звонил тебе. Я сам был при этом.

— Ну, звонил... Верно, звонил! Взывал к моей чуткости: мол, Пулат серьезно болен, куда ему на стройку! Я тогда еще с ним сценился, он и слушать меня не стал, бросил трубку.

— А мне он сказал... Да и по телефону так говорил, будто ты с ним заодно.

Анвар присвистнул:

— Ну, артист! То-то я думаю: я ему про одно, он мне про другое. Разыграл как по нотам! — Он обнял Пулата, по-дружески потрянул его. — Чудило! Выходит, за изменника меня посчитал? Нечего сказать, хорош друг! То-то смотрю, я к тебе с открытой душой, а ты туча тучей...

— Ты бы и сам на моем месте...

— Ладно, не обижаюсь. Поймали тебя на крючок — бывает. А с Турахановым будет у меня еще разговор. Мы уж тут не раз лбами стучались.

Пулат уже на чем свет стоит бранил себя за то, что так легко заподозрил друга в предательстве. Он чувствовал себя виноватым перед Анваром, но еще сильнее, чем это чувство вины, было чувство радости: есть, есть на свете настоящая дружба, она как солнце. Облака могут закрыть его на время, но не погасить, а чтобы совсем не было облаков, надо верить в дружбу, надо уметь верить, не поддаваясь малодушно-случайному сомнению.

— Вот что, друг, — озабоченно произнес Анвар. — Мне еще надо к вашим соседям наведаться. Давай встретимся после работы. В вашей столовке. Поужинаем вместе. Идет?

— Спрашиваешь! — Пулат не мог удержать облегченного смеха. — Ох, какой я дурак, Анвар! Мама сказала бы: не умеешь разбираться в людях.

— Научишься! — Анвар помолчал, мотнул головой, словно удивляясь какой-то своей мысли. — Знаешь, что мне на ум пришло? По совести сказать, хорошие, искренние люди не так пронизательны, как подлецы. Уж те-то — настоящие сердцеvedы! А?.. Умеют углядеть слабинку в человеке и играют на ней. Без этого им не жить,

это у них чисто профессиональное. И чтобы бороться с ними, надо быть зорче их. Понял меня?

— Вроде понял, — кивнул Пулат.

— Ну, до вечера, друг!

После ухода Анвара Пулат ощутил прилив новых сил. Он работал весело, словно играючи, лопата сама ходила в его руках.

По окончании рабочего дня Пулат и Анвар встретились в столовой — она размещалась в просторной брезентовой палатке, служившей в ненастную погоду также и клубом.

Внутри было неприятно, сумрачно, от длинных дощатых столов шел какой-то несвежий, кислый запах, смешанный с запахом стирального мыла, темнели жирные пятна, скамейки были неудобные, узкие. Анвар, усаживаясь, потрогал скамью, покачал головой:

— На скорую руку сработано.

— До комфорта ли! — беззаботно отозвался Пулат.

— О комфорте никто и не говорит. Только не следует прощать, а тем более оправдывать трудностями военного времени чью-то безрукость, халатность. Сказать по совести, от этого она разрастается, как чертополох!

Пулат принес две миски комкастого плова. Порции были невелики, но друзья долго сидели за столом, занятые разговором. Пулат рассказал о своей жизни в совхозе. Анвар отложил ложку, всем телом повернулся к юноше:

— Ты, значит, бетонщик? Что ж землю-то роешь?

— Землекопные работы — сейчас самое главное. И самое трудное.

— У бетонщиков, полагаешь, легкая работа?

— Не сравнить же с работой на канале! За день так вымотаешься...

— Погоди. Что же для тебя важнее, больше вымотаться или принести больше пользы?

— Где труднее, там от меня и пользы больше!

Анвар рассердился:

— С чего это ты взял, что бетонщиком быть легче? Ты это дело освоил, вот оно и кажется тебе легким. Но ты пораскинь-ка мозгами. Ты умеешь делать то, чего не умеют другие. Зачем же ты свое умение, свой опыт бетонщика буквально в землю зарываешь? Тебя обучили специальности, сколько сил, времени на тебя потрати-

ли — так и работай по специальности! Тут только одна мерка годится: не где тебе труднее, а где ты полезней. Или хочешь, чтоб все видели, как тебе трудно? Глядите, мол, какой я герой! Сказать по совести, о себе думаешь, а не о пользе дела.

Пулат не ожидал такого оборота, у него даже глаза округлились от искреннего изумления:

— Я?.. О себе?.. Ты что?

— А то. По-твоему, выходит, и мне надо взяться за лопату? Это ж, по совести говоря, трудней, чем разговоры разговаривать.

Пулат улыбнулся:

— Ты сегодня и взялся! Сам видел.

— Мало что!.. Не удержался. Но назначен я агитатором и обязан выполнять поручение партии. Так, значит, нужно. А бетонщики-то на стройке еще пужней. Редкая профессия! Объем бетонных работ все увеличивается. Так что ты подумай над моими словами.

— Подумаю. Может, ты и прав...

Анвар поскреб ложкой по дну миски:

— Добавка-то у вас полагается? Проголодался как собака.

— С едой сейчас туго.

— Верно. Кормят вас неважно. Скучная еда!

— Кормят — и ладно. Не жалуемся.

— Экой неприхотливый! — сердито воскликнул Анвар. — На других-то участках народ кормят досыта. Колхозы из сил выбиваются, чтоб обеспечить продуктами своих людей на стройке, а вам подсовывают черт знает что. Ты-то, комсомолец, что сквозь пальцы смотришь на такое безобразие? Ишь, гордую позу принял: не жалуемся!

— А что делать?

— Быть нетерпимым к недостаткам! Я, друг, на фронте все, кроме трусости, готов был простить. Так то — фронт. И то, сказать по совести, не уверен, что так уж я прав был... Самое, друг, последнее дело — в скорлупу свою укрыться, не вмешиваясь в то, что лично тебя не задевает: мол, нас не трогай — мы не трзем. Но и другое не лучше, когда лично тебе какой-нибудь мерзавец нагадит, а ты помалкиваешь в тряпочку: мол, черт с ним, это только меня касается, неудобно ж за самого себя вступаться, подумают еще, что сводишь личные сче-

ты. А ведь мерзавец — он для всех мерзавец, ты ему пакость спустишь — он другому напакостит. Я это на своей шкуре испытал... И повял, до печенки дошло: всегда, во все надо вмешиваться, с любой несправедливостью надо бороться, по тебе ли она только бьет или по другим. Ты-то, сказать по совести, и на одной воде готов жить. Так о других подумай! Гляди: люди сил не жалеют, а их кормят так, что к касе-то прилипнуть нечему... Меня не проведешь, чую, продукты должны быть, присылают их, сколько надо, это точно. Куда ж они испаряются? Ладно, я с этим еще разберусь. По-моему, кто-то тут руки греет. Может, ваш завхоз?

Пулат пожал плечами:

— Кто его знает! Я за ним не подглядываю.

— Шоры-то на глаза тоже не следует надевать!

Анвар поднялся, за ним Пулат. Они вышли из столовой в прохладный звездный вечер. Пулат зябко поежился. Анвар заметил это:

— Давай по домам, друг. Ночи-то все холодней. Гляди, простынешь.

— Не простыну, я закаленный!

— Героя-то из себя не строй. Топай, топай! — Анвар с грубоватым дружелюбием толкнул Пулата в плечо.

Пулат двинулся к своей землянке, на ходу обернувшись, Анвар шагал по берегу канала, напевая какую-то песню. Вскоре его приземистая фигура растаяла в вечернем сумраке. Пулат заторопился домой...

3

Близился декабрь, но дни стояли еще теплые. К полудню солнце так припекало, что строители сбрасывали рубашки. Их почерневшие за лето плечи и спины влажно блестели от пота; под острыми, ходуном ходившими лопатками то появлялись, то исчезали тени.

Но однажды сухопарый старик, работавший по соседству с Пулатом, прикрыв ладонью выцветшие глаза, взглянул на небо и озабоченно цокнул языком:

— Ай, шайтан! Молоко... Быть непогоде.

Небо подернулось редкой пряжей облачков. Оно было белесое, мутное...

Вечером резко похолодало; пошел дождь. Он был вроде и не сильный, вода не рушилась на землю крутыми пото-

ками, а сеялась, как пыль, но, стоило хоть минуту постоять под таким дождем, можно было промокнуть до нитки. Горы грунта, поднятого со дна канала, размякли, как вымокший хлеб.

Утром, несмотря на ненастье, колхозники вышли на работу — не прекращать же из-за дождя строительство! Вышел и Пулат, не сдавшись на уговоры Халила-ата.

Серые, безрадостные тучи заволокли небо и сыпали, сыпали на землю водяную пыль. Воздух был напитан влагой и знобкой промозглостью. А тут еще подул ветер. Он налетал порывами, метался из стороны в сторону, словно затеяв какой-то бешеный таец; он толкал, заваливал набок висевший в воздухе дождь, где сгущая его, где рассеивая. От неба к земле тянулись светлые и темные полосы. Дождь то больно, остро сек лицо, то его совсем не чувствовалось. В минуты такого затишья становилось даже жарко — разогревала работа. Грунт сделался скользким, словно мыло, лопаты проезжались по нему, как по льду. Спины колхозников взмокли от напряжения, а рубахи и без того были мокрые. Многие скинули их. Пулат тоже разделся. Спина у него то горела, то вдруг дождь, оттиснутый ветром в его сторону, больно шлепал по коже холодной, колючей рукавицей. Вспотев, тело тотчас остывало — для Пулата это не могло кончиться добром. Так и вышло... В землянку он вернулся вроде даже разгоряченный. Пришедший с ним Халил-ата, не на шутку беспокоившийся за Пулата, напоил его прямо-таки раскаленным чаем. Юноше стало совсем жарко. Но только он залез под одеяло, как его охватил озноб, каждую косточку выворачивала истомная ломота, в жилах, казалось, текла не кровь, а отравы. Он со стоном вытянул ноги и тут же подогнул их, съезжившись в комок под одеялом. У него зуб не попадал на зуб. Накрылся с головой — появилось такое ощущение, будто его сунули в печь. Сбил одеяло к ногам — снова затрясся от холода.

Спал он в эту ночь урывками, засыпал — не засыпая, просыпался — не просыпаясь, сон и бодрствование были какими-то неполными, ненастоящими. А утром он с трудом разлепил горячие веки и почувствовал себя таким обессиленным, что захотелось плакать. Он попробовал даже встать и встретился глазами со встревоженным взглядом Халила-ата, который сидел перед ним на корточках. Он всю ночь продежурил возле Пулата.

— Иё! Что с тобой, сынок? Весь так и пылаешь. Неужто захворал?

— Я... Сейчас... — слабым голосом произнес Пулат и откинулся на измятую, словно изжеванную подушку.

— Ты лежи. Лежи. — Старик положил ладонь ему на лоб. — Вот беда-то! Как горит! Ты лежи, я позову врача.

— Амаки, — попросил Пулат. — Вы не говорите... ну, что у меня туберкулез. Пожалуйста, амаки...

— Как можно, сынок? Надо сказать.

Врач, вызванный Халилом-ата с соседнего участка, пропустил мимо ушей невнятные объяснения старика, толковавшего что-то о туберкулезе. Он сам был стар, как здешние скалы, глаза у него слезились после бессонной ночи — вчерашний дождь свалил не одного Пулата. Он торопливо осмотрел больного, сказал, что тот простыл из-за дождя, всучил ему какие-то порошки, велел хорошенько укрыться, лежать и пить как можно больше горячего чая. Доктор чуть не заснул во время осмотра. Пулат сквозь бред даже почувствовал ему: устал-то как, верно, всю ночь провел на ногах...

После его ухода Халил-ата принес откуда-то еще одно одеяло, плотно закутал юношу и ушел. А немного погодя прибежала взволнованная Бахор и до вечера просидела возле Пулата. Пулат и видел ее и не видел, но от одной только мысли, что она здесь, рядом, ему стало спокойнее, и он уснул. Бахор не отрывала от него глаз, воображению ее рисовались картины одна страшнее другой; она и сама осунулась от тревожных дум... Вечером Халил-ата напоил больного чаем с медом, и Пулат снова погрузился в забытьё. Старик отослал дочь и всю ночь, не смыкая глаз, пробыл у постели Пулата, следя, чтобы тот, вспотев, ненароком не сбросил одеяло, отирая ему пот со лба... Иногда в смутном страхе он ощупывал больному ноги и начинал энергично растирать их.

Больше всего старик страшился, как бы у юноши из-за простуды не обострился туберкулез... Но молодость восторжествовала над болезнью, а может, помогли неусыпные заботы Бахор и Халила-ата. Так или иначе, а на третий день Пулат почувствовал себя лучше. Его уже не скручивало, как жгут, не бросало из жара в холод. Вот только ослабел он — не мог даже приподняться. Но у него появился аппетит, и обрадованный Халил-ата щедро потчевал его пловом, будто хотел накормить на несколько лет вперед.

Плов был не такой, какой ели Пулат с Анваром в столовой, но у Пулата не было сил раздумывать над тем, почему так вкусны обеды, приносимые стариком.

Когда Пулат начал выздоравливать и ему разрешили выходить на воздух, юноше словно впервые открылось то, на что прежде, занятый одной только работой, он не обращал внимания. Он увидел, в каких невыносимо тяжелых условиях живут его земляки. Им не удавалось ни отдохнуть, ни обогреться, ни выспаться как следует. Тем, кто не прихватил из дома постелей, приходилось спать на подстилках из камыша и мелкого хвороста, а то и прямо на соломе. Темные, сырые землянки были битком набиты людьми, в спертом воздухе трудно было дышать, а двери держали закрытыми, чтобы, не дай бог, не вышло драгоценное тепло. Тепло же накапливалось лишь по ночам от дыхания спящих — топить печки было печем, завхоз Махсумча на осень не припас дров и хвороста. Когда у него просили дров, Махсумча пренебрежительно бросал: «Обойдетесь. На фронте вои солдаты спят под открытым небом».

Уже перед самым выздоровлением Пулата на участке случилась беда: умер один из строителей, Сафарали, схвативший в дождливую погоду воспаление легких.

На похороны Сафарали собрались дехкане со всего участка. Пришел и Пулат. В толпе он заметил Махсумчу: на боку — неизменная полевая сумка, за ухом — карандаш. Завхоз с озабоченным, «руководящим» видом метался от землянки к землянке, а когда стали выносить гроб, подскочил к дехканам, провожавшим своего товарища в последний путь, деловито распорядился:

— На кладбище пойдут шесть человек. Этого достаточно. Остальные — на работу!

К Махсумче подошел богатырь-старик, строго сказал:

— Помолчи, завхоз. Вот отдашь богу душу, тогда за твоим гробом и пойдут шесть человек...

У Махсумчи от злости еще больше сморщилось лицо:

— Саботаж?.. Забыл, что хозяин наказал? Первым делом — план!

— Какой еще хозяин?

— Как какой? Ясно, Акрамхан-ака!

Старик посмотрел на него сверху вниз:

— Слушай, Махсумча. Ступай-ка отсюда подобру-поздорову. — И повернулся к дехканам: — Поднимайте гроб, пошли.

На Махсумчу никто больше не обращал внимания, словно его и не было. Траурная процессия медленно двинулась к кладбищу. У землянки остались лишь Пулат и Махсумча; завхоз затравленно озирался вокруг бегающими глазами...

Пулат ушел к себе: противно было глядеть на Махсумчу.

Все чаще задумывался Пулат над житьем-бытьем своих земляков, и его грызла совесть: он-то спит под двумя одеялами, и Бахор с отцом хлопочут над ним, подкармливая медом и яблоками (где только их раздобывают!), в то время как остальные мерзнут и голодают. Запали ему в душу слова Анвара: «Будь нетерпим к недостаткам, люди сил не жалеют, трудясь на благо Родины. Уж право-то на заботу они заслужили...» Верно, идет война, времена трудные, все это понимают, молча переносят нужду и лишения. После скудного ужина, придя в землянку, строители валяются, как убитые, на солому и, скорчившись, сунув кулаки в рукава ватников, засыпают... И не жалуются, не ворчат: ведь у каждого на фронте кто-нибудь из родных, близких. Вот там и вправду несладко, а тут, в тылу, как ни туго, но хоть пули не свистят и надежный кров над головой.

Да, идет война, жестокая, кровавая. Тем более надо дорожить каждым человеком! Вот Сафарали. Он мог бы жить, будь на участке другие условия. И те, ст кого это зависит, обязаны облегчить людям жизнь, насколько это возможно. На соседних участках так и делается. Пулат, когда только начало холодать по ночам, заметил дымки, поднимающиеся над землянками соседей: там-то, выходит, хватает хвороста, их завхоз заранее позаботился о топливе. И в столовой у них, говорят, кормят сытнее. Вот вернется Тураханов, и Пулат обязательно поговорит с ним обо всем, потребует, чтобы Тураханов обеспечил людей и едой, и топливом. Это же преступление — так нагловательски относиться к нуждам строителей!.. Какую бы неприязнь не испытывал Пулат к этому человеку, но ведь все считают Тураханова толковым руководителем. Он войдет в положение колхозников и уж задаст взбучку завхозу! Завхоз давно был не по душе Пулату, да еще Анвар отозвался о нем с подозрением. И Пулат во всех бедах вицил одного Махсумчу. Распустились без Тураханова его помощники, но ничего, Тураханов поправит дело,

Но когда Пулат мысленно представил себе этот разговор с Турахановым, сердце у него сжалось: тот, может, и прислушается к его словам, но самого-то Пулата выгонит со стройки, как пить дать, выгонит! Ведь Пулат явился на стройку против его воли, и Тураханов не простит этого. Уж лучше не попадаться ему на глаза...

Вот-вот. Он будет прятаться от Тураханова, а на участке все останется по-прежнему. Тураханов, может, и не знает, как бедствуют его колхозники. Сам-то воп в каком доме поселился!..

Пулат прикусил губу. Турахановский дом... Даже Бахор он навел на какие-то подозрения. Нет, Тураханов, пожалуй, и слушать его не станет! Но все равно надо с ним поговорить. Выложить все, что накипело на душе. Добиться правды.

Будь непримиримым к недостаткам, Пулат!..

И, услышав о приезде Тураханова, Пулат не стал медлить.

Выбравшись из землянки, он жадно вдохнул свежий, пахнущий горным снегом воздух. У него закружилась голова, как от затяжки чилимом, он усмехнулся — и правда, дохляк!.. Было ломкое, прозрачное утро. Землю прихватило морозцем, и она казалась твердой, как алмаз. «Копать-то, верно, трудней, чем в дождь, — подумал Пулат. — Но все на канале. Дождь их не испугал, не устрасят и морозы. Какие люди!.. Неужели нельзя сделать так, чтобы они хоть отдохнуть могли в тепле?»

Пулат неуверенно осмотрелся по сторонам. Где ему искать Тураханова? Возле турахановского дома он увидел привязанного к колышку коня. И решительно направился туда.

Тураханов был у себя, о чем-то разговаривал с завхозом Махсумчой, меряя энергичными шагами пол, застеленный дорогими узорчатыми коврами. На нем был новенький, с иголки, светло-серый китель, ладно сидевший на его крепкой фигуре, такого же цвета коверкотовые галифе, до блеска начищенные хромовые сапоги. Две верхние пуговицы кителя, как всегда, расстегнуты, видны шелковая белоснежная рубашка и красноватого оттенка галстук. Весь наряд Тураханова отдавал каким-то строгим щегольством — хоть к начальству являйся, хоть на работу, хоть в ложу театра. Руки Тураханов держал за спиной,

поигрывая неизменной плеткой с рукоятью, украшенной перламутром.

Даже рядом с низкорослым Турахановым Махсумча выглядел карликом. Он бегал за своим начальником, заглядывая ему в глаза с собачьей преданностью, руки у него были заложены за спину, они жили своей самостоятельной жизнью, пальцы сплетались, расплетались, ладони то потирали, то тискали одна другую. Взглянув на эти неспокойные руки, Пулат с невольной брезгливостью передернул плечами.

Тураханов круто повернулся и встретился взглядом с Пулатом, стоявшим в дверях. Сперва он словно и не узнал юношу, но вот крупные морщины на его лбу грозно сдвинулись, сблизясь с удивленно поднятыми бровями. Тураханов резко остановился перед Пулатом:

— Ты?! Как ты тут оказался?

— Мне надо поговорить с вами, Акрамхан-ака, — срывающимся от волнения голосом сказал Пулат.

— Не о чем нам разговаривать, по-моему, все ясно.

— Я не о себе, Акрамхан-ака!

Восстанавливать против себя этого горячего паренька не входило в расчеты Тураханова. Выгоднее было разыграть из себя этакое доброго соседа, благодетеля. Тураханов благосклонно кивнул:

— Говори, что там у тебя.

Пулат показал глазами на Махсумчу, который давно уж вывернулся из-за спины начальника, смотрел ему в рот, ловя каждое слово, и согласно тряс головой, энергично выражая восхищение его мудростью и твердостью. Тураханов опустил руку на плечо завхоза, подтолкнул его к двери:

— Убирайся пока. Надо будет, кликну.

Махсумча попятился к выходу, не сводя глаз с Тураханова. Пулат усмешливо, удивленно сощурился: ну и фрукт! Неужели Тураханов не видит, с кем имеет дело?

Тураханов гостеприимным жестом обвел широкую, открытую роскошными коврами тахту, приглашая юношу сесть, и сам сел рядом с ним.

— Выкладывай, слушаю.

Пулат рассказал, как живут люди в землянках. Он говорил горячо, сбивчиво. Тураханов слушал его вроде бы внимательно, а когда юноша замолчал, спокойно спросил:

— Ну и что? Открыл, понимаешь, Америку!

— Как... ну и что?.. — У Пулата вспыхнули щеки. — Так же нельзя! Этот ваш завхоз...

Тураханов поморщился, как от зубной боли:

— Привыкли все валить на завхозов! Самая неблагодарная должность. Достань, отвоюй, обеспечь! А где доставать? Время военное. Или забыл об этом? Война! Во всем нехватка. У всех.

— Нет, не у всех! — возразил Пулат. — На других участках...

— Лично мне другие не указ. Переходящее знамя-то у кого — у нас или у других?

— Потому что у нас о людях не думают — только о плане. Вон в поселке галабагэсовцев... уж и сады заложили. — У Пулата дрогнул голос: — Было бы у нас, как у других... мы не потеряли бы Сафарали-ака.

Тураханов покачал головой:

— Подумай, что плетешь! Уж если пробил смертный час — ничто не спасет человека. И нечего искать виноватых.

— А почему... не давали его похоронить, как должно?

Тураханов с удовольствием выставил бы дерзкого мальчишку за дверь, но что поделаешь — приходилось еще и оправдываться перед ним.

— Кто это не давал?

— Завхоз. И на вас ссылался.

— Гм... Махсумча? Не может быть! Видно, ты не так его понял. Я лично звонил ему, просил прийти на похороны, выразить соболезнование. Жалко беднягу... Да что тут попинешь, все мы смертны. К Сафарали и врача послали, но, как говорится, порой медицина бессильна. Ничего не помогло. М-да... — Тураханов снисходительно потрепал Пулата по плечу. — Эх, молодо-зелено! Многого еще не понимаешь. Вот ты о топливе говорил. Ну, предположим, кинулись бы мы его раздобывать... Так на это ж люди нужны! А где их взять? Все на канале, на план работают. Тебе, видно, и невдомек, что такое план. А он — главный наш хозяин, все мы ему, и только ему подчиняемся. План — это... это... — Тураханов не нашел подходящего слова и только благоговейно пощелкал пальцами. — Что Родина лично от меня требует? Чтобы мой участок канала был вырыт в срок, а еще лучше — раньше срока. — Тураханов, казалось, не с Пулатом беседовал, а терпеливо просвещал многочисленную аудиторию. — А что такое Ро-

дина? Да вот эти люди, которые канал роют! Они же с меня и спросят, если я, вместо того чтобы давать кубометры, начну привередников ублажать, заботиться об их комфорте... — Заметив, что Пулат невольно обежал взглядом убранство его комнаты, стены в красных, как огонь, коврах, массивный письменный стол, Тураханов нахмурился: — Осуждаешь? Так я ведь тут работаю днем и ночью. Это, по сути дела, не столько мое личное жилье, сколько резиденция уполномоченного. Улавливаешь разницу? А строителю что надо? Зачем ему землянка? Только чтоб выспаться. И уж холод он как-нибудь перетерпит. Ради победы народ готов на любые жертвы и лишения!

Пулат чувствовал фальшь в словах Тураханова, но по неопытности ему было трудно распутать эту паутину, словно обволакивавшую собственные его мысли. Однако и молчать он не мог. Он вскочил с тахты.

— Вы говорите: Родина — это люди... Ведь и Галабагэс — для людей. У нас все для людей, люди — самое дорогое... Вот и надо о них заботиться!

— Но переходящие знамена, юноша, даются все-таки за выполнение плана, за «кубики», а не за строительство хором для рабочих, которые, кстати, в хоромах и не нуждаются.

— Какие хоромы? — возмутился Пулат. — Хоть бы хворосту дали в землянки.

— Дашь людям одно — потребуют другого. Только начни баловать...

За этими словами Пулат увидел настоящего, непритворяющегося Тураханова и, еще сильнее покраснев, неожиданно для себя выпалил:

— Врете вы все! Себе-то вон какие хоромы отхватили! И насчет плана врете. Кто его будет выполнять, если все заболеют? Сколько у нас больных — не считали? Я сам проболел неделю...

Напрасно Пулат упомянул о своей болезни!.. Тураханов медленно поднялся с тахты, складки его лица словно бы еще больше отяжелели. Он понимал, что с этим желторотым птенцом ухо надо держать остро, как-никак сын Садыкова; того гляди отец вернется с войны целым и невредимым, займет большой пост, а этот сопляк наговорит ему бог знает что, а он такой, он поверит... Но у Тураханова не было сил больше сдерживаться, да и Пулат дал ему козырь в руки. Он угрожающе протянул:

— Вон оно что!.. Болел, говоришь? Этого и надо было ожидать. Ты вообще-то почему здесь, а не дома?

— Как я мог усидеть дома? На стройке люди нужны!

— Мальчишки мне не нужны. Больные — тем более. Тут не санаторий, тем паче не туберкулезный. Какой из тебя работник? Протянешь ноги, еще влетит за тебя, беды не оберешься. Болен, так сиди дома, а не разноси заразу по всей стройке.

— Это из-за вас... из-за вас люди болеют!

Тураханов взорвался, протянул руку к выходу:

— Вон отсюда, щенок! Чтоб ноги твоей не было на стройке!

— Не имеете права!

— Имею. Скажи спасибо, что на порог-то пустил. Еще толковывал ему что-то!

— Не имели права не пустить!

— Неблагодарная тварь. О нем печешься, а он... Вот уж верно говорится, сделаешь добро человеку — не дойдешь до дома. Что глаза вытаращил, как мертвая овца? Вон... Если хоть тень твою на стройке увижу — пеняй на себя.

— Стройка не ваша — народная.

Пулат стоял перед Турахановым, сжав кулаки. Он полон был сознания своей правоты и своей силы, ощущая в эту минуту за собой поддержку друзей — Рустама, всей его бригады, которая когда-то стеной встала за Пулата, отца, Анвара, Халила-ата. Он знал: никогда кривде не победить правду! И Тураханов, видно, почувствовал, что на крик юношу не возьмешь, он решил переменить топ, сказал, как-то грязно усмехнувшись:

— Народная стройка!.. Знаю, из-за кого ты тут торчишь... Другой, что ли, не можешь найти? Вон сколько девок, только помани. Момент такой — хоть три жены заводи.

Но, увидев, как тяжело дышит Пулат, как пылает его лицо, а в глазах блещут молнии, Тураханов понял, что переборщил, и поспешил дать задний ход:

— Что ты, что ты... Уж и пошутить нельзя.

Но отступать Тураханов вовсе не собирался. Он прошел мимо Пулата к двери, выглянул из дома, и тотчас возле него очутился Махсумча — как злой дух, вызванный обладателем волшебной палочки. Завхоз заискивающе заюлился перед Турахановым: «Какие будут распоряжения, хозяин?» Тураханов ткнул в Пулата пальцем:

— Снять его с довольствия. И проследи, чтобы он не остался непароком на стройке. У него туберкулез. Понимаешь, что это такое? Ему же добра хочу!

Махсумча закивал головой:

— Майли, Акрамхан-ака. Будет сделано! — Он метнул в сторону Пулата осуждающий взгляд, зачем-то потрогал торчащий за ухом карандаш и вновь уставился на Тураханова, ожидая то ли благодарности, то ли новых приказаний.

Тураханов усмехнулся:

— Счастливого пути, сосед! Увидишь еще, кто здесь хозяин!

Пулат стиснул зубы и с высоко поднятой головой вышел на улицу.

Но душа его была в смятении. Тураханов все-таки одолел его. Конечно, он мог бы и остаться на стройке: не вытолкает же его Тураханов в шею, а Халил-ата поделится с ним последней лепешкой. Но Пулат не хотел быть в тягость старику. Может, пожаловаться на Тураханова? Слово-то какое унижительное — «жаловаться»... Да и поможет ли жалоба? Тураханов, по всему видно, крепко сидит в седле, вон как он уверенно держится! Еще бы, участок-то его и правда передовой. С ним считаются. Нет, не Пулату тягаться с Турахановым. Ох, если бы не эта проклятая болезнь! Уж Тураханов всем расскажет о ней, и с Пулатом никто и разговаривать не станет. Пойти к Анвару?.. А что может сделать Анвар? С Турахановым и ему не справиться. У Тураханова авторитет.

Пулат вдруг почувствовал себя усталым, плечи сникли, больше ни о чем не хотелось думать... Видно, еще давала себя знать недавняя болезнь.

Он вялой походкой добрал до землянки и принялся собирать свои пожитки. Только он взялся за подушку, как с нее соскользнул на пол серый треугольник. Письмо от отца!.. Пулат схватил его, прижал к сердцу. Ему так хотелось тут же развернуть и прочитать письмо! Но он сдержал себя. Надо уходить, пока кто-нибудь не заглянул в землянку.

Пулат наспех нацарапал короткую записку Халилу-ата: «Ухожу домой. Спасибо вам за все» — и положил ее на свою постель. Взяв вещи, он вышел из землянки.

Путь предстоял долгий. Вряд ли на этом пути могла попасться машина, идущая в сторону Бахмала. Пулат ре-

шил добраться через степь до железной дороги, проехать несколько остановок на поезде, а там снова пешком идти в свой кишлак.

Он оглянулся по сторонам: вокруг — ни души. Перекинув чемодан и скатку через плечо, Пулат зашагал к участку, находящемуся поближе к будущей ГЭС: там его никто не знал. Он перебрался через канал, обернулся. Высокие отвалы загораживали от него трассу канала. И как тогда, когда он покидал совхоз, сердце его пронзил острый клинок боли. До чего же родными становятся места, где ты трудишься, познаешь жизнь, мужаешь!..

Пулат прикусил губу и, упрямо наклонив голову, зашагал по дороге, ведущей к железнодорожной станции.

А небо, утром такое чистое, успели обложить серые холодные тучи. Оно, казалось, нахмурилось, угрожающе сдвинуло седые брови. По степи закружил ветер — недаром город, под боком у которого строилась ГЭС, называли городом ветров... Ветер с разбегу налетел на Пулата, словно задумав сбить его с ног, швырнул ему в лицо первую пригоршню сухого колючего снега.

Вокруг сразу стало сумрачно, а когда вьюга разыгралась — земля и воздух посветлели от снега. Пулат видел, как гонит ветер по степи вихрящиеся снежные дымки, маленькие белые смерчи, слышал, как снег шуршит в воздухе, жестко хрустит под ногами. В такую метель немудрено было и заблудиться — заметенная снегом дорога слилась с заметенной снегом степью... Но мозг Пулата был затуманен обидой, тоской и гневом. Юноша шел и шел вперед, не разбирая дороги, разрезая грудью белые волны ветра.

Шел он не слишком-то споро — слаб был после болезни, и, наверное, уже наступил вечер, когда он добрал до линии железной дороги. Он споткнулся о рельсы и остановился, не зная, куда идти дальше. Взглянул на часы — ему подарил их отец, уходя на фронт, — но в темноте не различил цифр. Куда же теперь — направо, налево?.. Где станция?

Пулат стоял один среди вьюги и проклинал в душе и Тураханова, и собственную свою, может быть, опрометчивую поспешность. Снег стучал о его заледеневший ватник, исколол ему лоб, щеки. Пулат словно и не замечал этого, погруженный в невеселые раздумья. Наконец он в сердцах махнул рукой и, загородив рукавом лицо от ветра

и снега, двинулся по скользким шпалам куда глаза глядят, полагая, что должен же он так дойти хоть до какой-нибудь станции!

Он не знал, вечер ли сейчас или уже ночь, шел в непроглядной тьме, шел все медленнее — силы были на исходе, он то и дело поскользнулся, с трудом удерживаясь на ногах. Конца не было этому пути, этой выюге, этой ночи!..

Он поскользнулся и упал, ударившись лицом о рельсы. Чемодан стукнул его по спине. Опершись руками о промерзшую землю, Пулат приподнялся, сел. Провел ладонью по лицу — слава богу, крови не было, он только набил на лбу шишку. Это его почему-то развеселило — путешествие с приключениями! И он подумал: «Стройка не хочет меня отпускать, она возвела на моем пути домой могучий заслон из ветра, льда, снега и ночной мглы. Ну нет, не поворачивать же обратно. Пробьюсь!»

Он на миг почувствовал себя солдатом, идущим на штурм неприступной высоты. Это ощущение взбодрило, окрылило его. Он вскочил на ноги, спустился с насыпи и зашагал вдоль железнодорожного полотна. Вперед, вперед!..

Но он уже еле передвигал ноги; плечо, оттянутое чемоданом и скаткой, затекло; тело под ватником было в липком поту. Пулат замедлил шаг. И тотчас вспомнил, как работал на канале, вот так же разгорячившись, вспотев, простыл в минуту отдыха и слег. Надо идти!.. Наперекор усталости!.. Наперерез непогоде!.. Он пошевелил онемевшим плечом, поудобнее пристраивая вещи, и пустился в дальнейший путь. В глаза бил снег, лицо задеревенело от холода, а губы были сухие, растрескавшиеся, как иссушенная зноем земля. Мучила жажда, глаза слезились, он то и дело вытирал их кулаком и все шел, шел, напрягая последние силы. В темноте он наткнулся на камень и опять упал. Какие-то колючки царапнули его по коже. Вещи отлетели в сторону.

И в тот же миг на него обрушился нарастающий грохот, — казалось, это обледеневшее небо, словно железная кровля, со скрежещущим лязгом падало на Пулата, грозя вот-вот раздавить... Он зажмурился. Грохот ударил по самому мозгу, оглушил. В душе Пулата шевельнулся страх — и это-то больше всего и испугало Пулата. Что же это он — поддался страху!.. Он стиснул зубы, поднял голову. Над

ним, по насыпи, мчался поезд, мелькали колеса, высекая искры; от их стука равномерно вздрагивала земля. Пулат с облегчением вздохнул, помотал головой, отряхиваясь от снега. И только теперь почувствовал, как горит колено, — наверное, падая, разбил его. Сил у него хватило лишь на то, чтобы доползти до вещей. Он сел на чемодан, все тело ныло, во рту пересохло, желудок сводило от голода, а веки слипались... слипались... Он уронил голову на грудь, глаза сами собой закрылись, и он задремал под завывание метели и убаюкивающий шелест падающего снега...

Проснулся на рассвете. Вьюга утихла. Снега, оказалось, выпало не так уж много, он даже не закрыл землю. Впереди темнели стальные фермы железнодорожного моста. Вот отчего так оглушительно гроыхал поезд — он шел по мосту!.. Слева простирались припорошенные снежком хлопковые поля. Еще не весь хлопок был убран, оставался курак — пераскрывшиеся коробочки. Пулат смотрел на них с состраданием — бедняга хлопок продрог, верно, ночью, этакую пережил вьюгу...

Колено у Пулата все еще побаливало, болели локти. Он поднялся, прихрамывая, направился к реке.

Река чуть подмерзла у берегов. Пулат опустился на корточки, сломал тонкий стеклянный ледок, напился из пригоршни. Заломило зубы. Пулат встал, вытер рукой рот, потянулся, сделал несколько движений из обычной своей физзарядки. На душе у него было радостно — он победил почь, вьюгу, холод!.. И вон каким утром одарен — тихим, безоблачным. Оно тоже словно потягивается, медленно расправляет плечи, а вот уж и скинуло с себя дремоту, прихорашивается, глядится, как в осколок зеркала, в краешек солнца, показавшийся над горизонтом, наливается светом и свежестью... Славное какое утро — и не поверишь, что совсем недавно здесь бушевала разбойница-вьюга!..

Но радуясь безмятежному утру, своей победе над вьюгой, Пулат вместе с тем испытывал какую-то смутную неудовлетворенность; он сам не понимал, что его так мучает, но на его радости будто лежала тень какого-то облака. Может, это оттого, что он до сих пор так и не прочитал отцовского письма? Нет, он все время помнил о нем, оно согревало ему сердце. У Пулата просто не было возможности прочесть его. А сейчас он ни о чем, кроме письма, и не мог думать. Усмирив свое нетерпение, он слова нагнул-

ся к воде, ополоснул лицо, вытерся носовым платком и вернулся к вещам. Примостившись на чемодане, он достал из бокового кармана пиджака заветный треугольник, развернул его, и все вокруг перестало для него существовать. Он видел перед собой только отца, слышал его глуховатый, проникновенный, согретый улыбкой голос...

4

«Вот я и опять воюю, сынок, — писал Хайдар. — Наша часть с боями продвигается на Запад. Писать приходится урывками, но я не огорчаюсь: мы в наступлении. До чего же это, родной, славно! И в то же время как горько видеть, что натворили на нашей земле зверюги-фашисты. Перед нами раскрываются все новые и новые преступлония фашистских варваров. Виселицы, пепелища, рвы с расстрелянными... Гнев и слезы жгут нам глаза! Ох, и поплачутся же гады за все свои злодеяния!

Я часто думаю вот о чем: а справедливо ли, что наших партизан да и нас, солдат, называют «народными мстителями»? Мстителями! Да разве мы мстим? Око за око, кровь за кровь — вот самая четкая формула мести. Фашисты наших детей убивают, но разве поднимется у нас рука на их детей? Разве, вступив в Германию, мы будем жечь их жилища, как они наши? Разве измываемся мы над их пленными, как они над нашими? Врагу не избежать жестокой кары, но это будет не месть, а возмездие! Это разные вещи. Ведь мы сражаемся не с немецким народом, а с немецким фашизмом. Наша святая цель — уничтожить фашизм, чтоб и духу его не было на земле! Правда, как мне думается, долю ответственности за зверства фашистов несут и многие простые немцы, обманутые Гитлером. Мстить им мы не собираемся, но нельзя и прощать их слепоты: вон к какой катастрофе она привела. От простых людей, сынок, зависит многое: в конечном счете именно они решают судьбы мира. И я вот, воюя с немцами, все думаю: как-то они поведут себя после войны? В их воле, в воле всех простых людей земли сделать так, чтобы эта война была последняя...

Что-то я расфилософствовался... Лучше расскажу тебе, сынок, об одном маленьком герое, ставшем большим моим другом.

Мы должны были взять одно село. Подойти-то к нему подошли — и ни с места. Перед селом открытое поле, про-

тивник его насквозь простреливает: установили, понимаешь, пулемет на колокольне полуразрушенной церквушки и шпартят, и шпартят! Ясно: пока не ликвидлируем эту огневую точку, дальше хода нет. Ночью наши разведчики совершили несколько вылазок — хотели взорвать церковь. И почти все погибли от вражеского огня.

У нас, сынок, уже зима, лежим на снегу, окоченели от холода и все соображаем, как же прорваться к этой проклятой церквушке... Вдруг впереди полыхнуло, грохнуло — это церковь взлетела на воздух. Мы и обрадовались, и в то же время недоумеваем: кто ж это ее мог взорвать? Разведчики наши одни полегли, другие вернулись ни с чем. Партизан, по нашим сведениям, в этом районе не было. Но факт — была церковь, нет церкви!

На рассвете мы пошли в атаку, а фашисты уже оставили село, поняли, что сопротивляться бессмысленно. Мы также оседлали важный участок дороги, связывавшей их южные позиции с северными. В общем, это был крупный успех. Только кто же это, думаем, так здорово помог нам?

Село справа огибала речушка, скованная льдом. Нам надо было перейти ее. Приблизились к ней — слышим чей-то голос, слабый-слабый. Вроде кто-то на помощь зовет, а не видать никого. Вот опять позвал... Мы двинулись по льду на голос, глядим — в подмерзшей со дна неглубокой проруби лежит мальчонка. Лед вокруг алый от крови. На мальчонке буденовка с выцветшей звездой. Еле жив парнишка. Мы его немедленно в полевой лазарет. Вечером я зашел его проведать. Он много крови потерял, обморозился, но так и рвется поговорить с кем-нибудь из наших. Оказывается, это он взорвал церковь! У меня, сынок, сердце разрывалось от гордости и жалости, когда я его слушал... Мальчонка лет двенадцати-тринадцати, зовут — Ваня, Ваня Николаев. Отец работал в здешней МТС трактористом, в первые же дни войны ушел в армию. Семья в селе осталась, тут как раз фашисты пагрязнули. Мать у Вани убили. Школу, где Ваня учился, сожгли. Он и поклялся отомстить фашистам. Умница был, понимал, что, пока они в силе, большого вреда причинить он им не сможет. Так он стал потихоньку таскать у них гранаты, взрывчатку, прятал в погребе, где и сам отсиживался. Терпеливо — ну, железный характер у мальчонки! — ждал наших. Он верил, что мы вернемся! Верил, ждал — и дождался. Выдержка его и терпение окупились сторицей: уж теперь-то

он мог крепко ударить по врагу! Он сказал, что хотел взорвать немецкий склад боеприпасов, а потом увидел, что фашисты на колокольне засели. Вот он и прокрался ночью в церковь — он там все ходы и выходы знал, — приволок туда все свое хитростью и терпением накопленное богатство и устроил фашистам иллюминацию! Взрывом его самого чуть не убило. По счастью, уцелел. Кинулся к реке, фашисты начали стрелять по нему, ранили в плечо. Он — в прорубь. А тут гитлеровские вояки пятки показали. Только сам выбраться из проруби Ваня уже не мог...

Вот что я от него услышал. Врач все время пытался прервать его: молчи, мол, нельзя тебе разговаривать. Он только легонько головой шевелил, из стороны в сторону: «Вот еще... молчать... Помираю я!» А сам улыбался довольной такой, светлой ребячьей улыбкой. То ли радовался, что удалось-таки сосчитаться с фашистами, то ли уж видел — взгляд-то его все время был куда-то вдаль устремлен — скорую нашу победу, для которой он сделал, что мог...

Ты, сынок, не печалься, выжил наш Ваня! Выходила его армейская медицина. Теперь он всем нам, как сын. Приделали мы его, как заправского солдата. Только со своей буденовкой он не захотел расставаться. Она ему от деда досталась: дед еще в гражданскую воевал.

По праву перешла к внуку эта буденовка. Паренек оказался достойным и деда своего, и отца. Вот как оно, сынок: три поколения — и все борцы за Советскую власть, крови, жизни не жалевшие ради победы, ради счастья народа! Настоящие ленинцы! Ваня-то пока еще пионер, да ведь и пионеры дети партии. У партии миллионы сыновей — и взрослых, и совсем юных. Она заботливо растит их, готовит для больших дел, учит не отступать ни перед какими преградами. Это партия ведет нас вперед, выковывает победу.

Верю, сынок, что и ты настоящий патриот Родины и, значит, верный сын партии: ведь Советская Родина и Коммунистическая партия понятия неразделимые. Сердца и мысли всех советских людей всегда с партией. Тем она и сильна, сынок.

Преданно служи Родине и Партии!

Ты начал работать на важном строительстве. Глади не подкачай. И подробно пиши обо всем, солдаты горячо интересуются, как там у вас идут дела.

Верю — скоро свидимся. Привет тебе от Вани. Нам он сын, а ты его считай за младшего братишку. Я часто рассказываю ему о тебе...»

5

Солнце, по-зимнему отчетливо круглое, уже выкатилось из-за горизонта. Вокруг было светло и тихо. Но когда тишину вдруг разбил вдребезги грохот поезда, Пулат даже не поднял головы. Он все перечитывал последнюю фразу отцовского письма: «Я часто рассказываю ему о тебе».

«Что ты можешь рассказать обо мне, отец? Какие такие подвиги я совершил, чтобы сравняться хотя бы с этим Ваней? Еще полчаса назад я ликовал, как мальчишка: одолел вьюгу! А куда я шел сквозь непогоду? Со стройки — домой. Испугался Тураханова! Собрал втихомолку пожитки и задал стрекача. Тураханов не хочет, чтобы я работал на стройке, и он добился своего, а я...»

Пулат до боли закусил губу. Он-то минувшей ночью воображал себя солдатом, идущим на приступ! Тоже — герой. Он ведь не наступал — отступал! Оттого-то и испытывал смутное недовольство собой, оттого-то все время и набегало на его мысли и чувства какое-то темное облако. Он сдался, выкинул белый флаг! Какой же он трус и тряпка рядом с малолеткой Ваней: тот в самых тяжелых условиях не падал духом, упрямо дожидался своего часа, знал, верил, что придут свои и выручат село из фашистской неволи, а он поможет им в меру своих ребячьих силенок... И помог — да еще как помог! Настоящий ленинец — так назвал его отец. А Пулат, хотя он пока комсомолец, а не коммунист, разве не сын партии? Партии, которая учит не отступать ни перед какими преградами! Не отступать!

А ему не хватило веры в свои силы и в поддержку друзей, и он отступил. Отступил перед Турахановым.

Да разве стройка — вотчина Тураханова? Ишь, пригрозил: я тебе покажу, кто здесь хозяин! Народ — хозяин. Так ведь Пулат и заявил Тураханову. Народ, простые, честные труженики, а не Тураханов. Отец часто говаривал: руководитель — слуга народа, а не начальник над ним. Сам он и был солдатом партии, верным сыном народа, чутким его слугой. Тураханов же возомнил себя хозяином. Или забыл, где живет? Ничего, Пулат еще с ним додерется! Тот же Анвар его поддержит, во всем поддержит! Он не роб-

кого десятка, и народ его уважает. Да и не один Анвар поможет. Отец прав, от простых людей завписит многое. К ним Пулат и пойдет.

Анвар советовал Пулату подумать, не вернуться ли ему к профессии бетонщика?

Верно, бетонщики ведь не подвластны Тураханову. Возможно, Тураханов попытается выжить Пулата и из бригады бетонщиков, использует все свое влияние, припугнет их его болезнью. Но Рустам-то не испугался! И дядя Шермат не испугался. Почему же Никитин должен испугаться? Пулат все ему расскажет. Никитин поймет его и примет к себе. О Никитине вся стройка говорит, он во главе передовой бригады, а значит, душевный человек, иначе как бы он мог сплотить людей и повести их за собой? Тураханов, правда, тоже руководитель передового участка... Но тут что-то не так! Работая без души, не думая о людях, в передовики не выйдешь. А Тураханов не думает, и душа у него черствая, как пригоревшая корка хлеба.

«Погоди, Акрамхан-ака, я тебя еще выведу на чистую воду!»

Пулат сжал кулаки.

Ох и скор же на выводы этот горячий парень! Но стоит ли так уж корить юношу за его горячность? От малейшей фальши и несправедливости он вспыхивает, как спичка. Что ж, больше будет таких горячих голов, меньше будет на свете несправедливости и лицемерия, пусть даже в чем-то пареньки эти и окажутся неправыми. Только бы не равнодушные и не вялость!

Пулат сжал кулаки и нахмурился.

Но тотчас его лицо просветлело — ведь он теперь знал, что делать! В его душе само собой созрело решение — идти к Никитину.

Да, да, не в Бахмал, а снова на стройку, к прославленному бригадиру бетонщиков.

Нестройная песня донеслась до Пулата. Вдоль хлопкового поля шли женщины убирать курак. Им жилось несладко, мужья, братья были на фронте, но в такое ясное утро трудно удержаться от песни. Погода благоприятствовала работе, это радовало женщин: ведь они работали для фронта. И пели о сыновьях и возлюбленных, бойцах-богатырях, сражающихся с фашистами, и о скорой, неминуе-

мой победе гордых краснозвездных соколов над хищными стервятниками.

«Наверно, и галабастроевцы сейчас радуются, — подумал Пулат. — Они бы и в метель работали, но много ли нароешь в непогоду! Героический труд — это когда от него много и пользы...»

Женщины разбрелись по междурыдьям. Пулат видел только их согнутые спины. И стыдно ему было за свое малодушное бегство со стройки.

Солнце светило изо всех своих идущих на убыль сил. Выпавший за ночь снег растаял. Пулату стало жарко в ватнике. Он снял его, приторочил к скатке, перекинул вещи через плечо и двинулся вдоль железной дороги в обратный путь. Ему уже ясно было, где он находится: дорога, соединявшая стройку со станцией, проходила недалеко от моста. Пулат был голоден, но на пустой желудок идти было даже легче, а может, его подгоняло радостное сознание, что скоро он снова очутится на Галабастрое. Он был одержим одной мыслью: побыстрее приступить к работе и так работать, чтобы отцу было что рассказать о нем маленькому герою, младшему братишке Пулата Ване Николаеву...

6

Пулат нашел Никитина в тесной брезентовой палатке, примостившейся на самом краю котлована, который бетонщики готовили под фундамент для малой ГЭС. Работа уже подходила к концу. Никитин сидел за грубо сколоченным, врытым в землю столом — кроме этого стола да двух табуреток, в палатке ничего и не могло уместиться — и что-то писал в толстой клеенчатой тетради, держась за щеку. Во рту у него торчала трубка: в палатке было полно дыма. Пулат закашлялся. Услышав, что кто-то вошел, Никитин, не отнимая от щеки ладони, обернулся. Очки у него были подняты на лоб, синие глаза смотрели страдальчески. Пулат догадался, что бригадира мучает зубная боль, и, хотя у него самого ни разу еще не болели зубы, от души посочувствовал Никитину. В то же время подумал: «Вот не вовремя заявился. Никитину сейчас не до него, ему, верно, и на белый свет глядеть-то тошно...» Но бригадир, вынув изо рта трубку, приветливо улыбнулся, улыбнулся через силу, улыбка не осветила, а только исказила его лицо.

— А, доброволец! Каким тебя ветром занесло? Хотя чего-чего, а ветров тут хватает. — Он показал на свободный табурет. — Садись, в ногах правды нет.

Пулат, обрадованный тем, что Никитин узнал его, сел и с участием спросил:

— Зубы болят?

Никитин махнул рукой.

— Не говори! Замучали. Ты еще не испытывал такого удовольствия? — Он сморщился, словно откусил кислое яблоко, но тут же рассмеялся: — Вот ведь оказия! Чудится, будто он, проклятый, пухнет и пухнет. Сдavitь бы его — лопнет, как мыльный пузырь. Не лопается, гадюка! Наверное, уж со скалу вырос. Не заметно, а?

Пулат тоже засмеялся. Он чувствовал себя с этим человеком просто и свободно, как с давним знакомым.

— Нет, не заметно.

— Выходит, субъективное ощущение. Так зачем пожаловал, дружок? Как звать-то тебя?

— Пулат.

— Пулат... — Никитин на минуту прикрыл глаза, видно, в зуб ему снова вонзилась острая игла боли, а справившись с болью, с каким-то даже восхищением крутанул головой: — Вот черт, дает прикурить!.. Ты ведь с Турахановского участка?

Пулат потемнел.

— Тураханов меня выгнал.

— Как выгнал? Что ж это ты там натворил?

— Я? Ничего.

— Ой ли?.. Тураханов, я слышал, мужик толковый, зазря не выгонит!

Тогда Пулат с неожиданной для самого себя откровенностью рассказал Никитину и про свою болезнь, и про работу в совхозе, и про последнюю стычку с Турахановым... Правда, в его передаче все, что делал и говорил Тураханов, выглядело не таким уж страшным, как представлялось самому Пулату, и Никитин, потирая щеку, задумчиво произнес:

— Может, это обида в тебе говорит? Он-то вроде и вправду добра тебе хочет. С туберкулезом, брат, шутки плохи.

Пулат сорвался с места:

— Ведь в больницу-то не положили! В совхозе никто меня и не считал за больного — работал, как все!

— Ты сядь, не кипятись. Вот горячка! — Никитин замахал рукой, отгоняя дым своей трубки от Пулата. — На всех так накидываешься? Тогда Тураханова можно понять.

Пулат набычился:

— А почему меня гонят со стройки? Я работать хочу! В вашей бригаде. Я бетонщик. Я буду стараться, товарищ Никитин, вот увидите!

— Да ведь я-то тебя пока не гоню. Пожалел бы больного человека. — Он опять закрыл глаза и продолжал: — Похвально, дружок, что ты с такой страстью бьешься за свое место в общем строю. Одобряю. Но ты мне ответь — почему тебе так хочется строить Галабагас?

— Я же говорил. На фронт меня пока не берут. А я хочу помочь разгрому врага! Война, товарищ Никитин!

Никитин наморщил лоб:

— Война, говоришь... Наша стройка, дружок, вызвана не только войной. Она — для мира, для будущего! Да, да, война идет, а мы строим будущее. Знаешь, что можно увидеть, коль глядеть вперед, а не только вокруг себя? Много, брат, можно увидеть. — Никитин словно и забыл о своем больном зубе. — Я сызмала в Узбекистане. Это родной мой край. Чудесный, брат, край! Тут такого можно понадевать!.. Ты географию-то своей республики знаешь? — Он достал из папки, лежавшей на столе, старую, протершуюся на сгибах карту, развернул ее перед Пулатом. — Гляди, какие просторы у нас пустуют. Вот... Центральная Фергана, Голодная степь, Каршинская степь... Всего и не перечешь. Какая земля даром пропадает! Сколько хлопка можно вырастить! Ты, верно, удивляешься — мне-то, бетонщику, какая забота? А мы все, дружок, должны о будущем думать! Вот кончится война — двинем в пустыни. Там и для бетонщиков работы край непочатый! — Он подпер кулаком щеку, устремил перед собой мечтательный взгляд пронзительно-синих, детски чистых глаз. — Соорудим водохранилища — новые моря. Пророем каналы. Понастроим новых поселков, заводов, электростанций. Все кишлаки зальем светом! И в каждый дом поступит счастье — привимайте, хозяева, дорогого друга, коммунизм к вам пришел! Вот какое, брат, дело. С этой мечтой в сердце мы все и работаем. Ради победы в этой войне и ради коммунизма! Наша ГЭС — это шаг к светлому будущему. — Он помолчал. — Значит, хочешь ко мне в бригаду?

— Да, уста! — пылко вырвалось у Пулата. — Теперь еще больше хочу!

— Может, нельзя тебе на наших сквозняках?

— Мне врач даже велел... на свежем воздухе!

В это время полы палатки распахнулись. Низко пригнувшись, вошел рослый, богатырской стати мужчина и еще от входа забасил:

— Бери, бери его, Сергей-ака! Не прогадаешь. Крепкий, настырный парнишка. А болезни, их по-разному можно лечить. Воздух-то тут и верно полезительный!

Пулат, просяив, кинулся навстречу вошедшему:

— Рустам-ака!

Рустам стиснул юношу в могучих объятиях:

— Видишь, сдержал слово, прибыл! Со всем семейством! Вчера к работе приступил, а нынче как раз соби-рался тебя разыскивать.

— Отпустил дядя Шермат?

— Со скрипом. И не одного меня. Стройка-то все-таки республиканского значения! А в совхоз наш брат-фронт-вик все валит. Подранки. Кто на войну, кто с войны... Круговорот природы!

Никитин строго взглянул на него:

— Нашел тему для шуток! Иные-то вовсе не возвра-щаются...

Раньше, наверное, и Пулат осудил бы Рустама за его неуместное балагурство. Но, работая с ним, он успел по-нять и полюбить его и теперь даже вступился за своего бывшего бригадира:

— Вы же его не знаете! Он всегда веселый. А сам — раненый.

Никитин усмехнулся:

— Уж как-нибудь знаю. Мой ученик, до войны вместе работали. Я его и сманил сюда, на стройку. Ладно, дру-жок. Беру в бригаду. Сегодня отдохни, а с завтрашнего дня за работу. Не забыл, о чем мы толковали? С мечтой в сердце!

— Я не устал, — сказал Пулат. — Можно я сейчас?

Никитин, снова схватившись за щеку, кивнул:

— Ладно. Ступай в отдел кадров. Получишь карточку, подзаправишься. И — ни пуха ни пера!

Не только в палатке Никитина обсуждалась в этот день судьба Пулата.

Записка, оставленная им, и встревожила, и ошеломила Бахор и Халила-ата. Они не знали, что и думать.

Обычно Халил-ата обедал у себя в кузнице, а Бахор с девушками-электросварщицами чаще в столовой, когда там никого не было. Но в этот день они решили пообедать вместе, по-семейному, с глазу на глаз потолковать о Пулате, о его неожиданном, непонятно поспешном уходе со стройки.

День был ясный, теплый. Прихватив в обеленный перерыв из столовой миски с пловом, отец и дочь расположились на берегу реки, неподалеку от кузницы. Бахор нарезала в касу редьку (старик любил плов со сладкой редькой), ополоснула ее в реке. От еще не остывшего плова шел дразнящий запах.

Халил-ата, взяв горсточку плова, положил его в рот, зажмурился от удовольствия.

— Бой-бой!.. Обьедење! — И обратился к дочери: — Я, дочка, примечаю, как один за пловом прихожу, так мне его с верхом наваливают, и уж такой жирный — пальчики оближешь. Не иначе как Акрамхан-ака нас балует...

Бахор, аккуратно подцеплявшая плов на самый кончик ложки, не донесла ее до рта, вспыхнула:

— Я тоже! Как одна — обед такой вкусный! Значит, нас кормят лучше, чем других? Нехорошо это, отец!

Старик вздохнул:

— Уж так сосед распорядился. Он это от доброго сердца. Ты ешь, ешь, дочка. Ключешь, ровно птица. Гляди, у меня уж миска пустая, а ты все ковыряешься...

Бахор бросила ложку:

— Это несправедливо, отец! Мы должны, как все. Я скажу Акрамхану-ака.

— И обидишь человека. А он вчера и так на меня обиделся. — Доброе лицо старика совсем размякло от огорчения. — Заехал ко мне в кузницу, хурджун протягивает... А там мясо, сало. Щедрый подарок по нынешним-то временам.

— И вы... взяли? — с каким-то испугом спросила Бахор.

Старик опять вздохнул:

— Вернул я ему хурджун. Он даже потемнел лицом от обиды. Оно, конечно, сосед соседу завсегда подсобляет, так уж издавна повелось. Однако как бы я людям в глаза смотрел? Бедовать, так уж всем миром.

Бахор строго сдвинула брови:

— Откуда у него сало?

— Почему я знаю? Может, из дома привез. Да и у нашего завхоза имеется, верно, кое-какой запасец.

— Завхоз — жулик.

— Ишь какая быстрая! За руку его пока никто не схватил. Правду сказать, и у меня не лежит к нему душа. А и то, как бы мы Пулата выходили, ежели б Махсумча не подмог? То меда даст, то яблок...

Стоило только старику упомянуть о Пулате, как у Бахор потемнели глаза:

— Отчего он ушел, отец? Вы утром его видели?

Старик пожал плечами:

— Ума не приложу! Утром-то он радовался, что скоро выйдет на работу.

— И я ничего не понимаю, — беспомощно сказала Бахор. — Все так хорошо было! Пулат с нами... Уверена, Акрамхан-ака оставил бы его на стройке. Как он работал, отец, всю душу в работу вкладывал! — Она улыбнулась чему-то. — Он, когда болел, все бредил... Одно у него было в мыслях — фронт да работа. Фашисты, шепчет, ползут, огонь!.. Какую-то высоту защищал. А то привидится ему, что он землю копает, сам себе командует: налегай, держись, что, дождя испугался?.. С отцом своим, с Хайри-апа разговаривал. С нашим агитатором. — Бахор вдруг зарделась. — Вообще... — И снова тень набежала на ее лицо. — Когда вы мне его записку показали, честное комсомольское, я глазам не поверила! Другие-то уже знают?

— У слухов, дочка, крылья быстрые. — Халил-ата помял в ладони свою бородку. — Чего я только за утро не наслушался! Кузница-то, что базар, народ приходит, уходит. Ну, толкуют всякое... Одни вроде нас руками разводят: парень-то с душой работал, земляки нахвалиться им не могли, и поди ж ты, сбежал! Да... А другие ругаются. Мол, захворал, с перепугу-то и смазал пятки. Чужой рот ситом не закроешь.

За их спинами послышался стук копыт, они обернулись. К ним подъехал Тураханов, соскочил с козля:

— Пусть ваш дастархан будет полон яств! Привет честным труженикам!

Он пожал руки Халилу-ата и Бахор. Старик радушно предложил:

— Присаживайтесь, сосед. Угощайтесь, чем бог послал. Вон... еще помидоры остались.

Тураханов стоял, похлестывая по сапогу своей неизменной нарядной плеткой:

— Спасибо, атаджан, некогда, я к вам так, между делом. Слышали, что Садыков выкинул?

— Вы... знаете что-нибудь? — вырвалось у Бахор. — Понимаете, он нам записку оставил, что уходит домой. Только все равно ничего непонятно!

— Уходит! — Тураханов язвительно сощурился и с гневным пафосом воскликнул: — Он не ушел — дезертировал! Покрыл позором наш участок, на всех славных тружеников наложил пятно! Нам скоро знамя получать, а у нас дезертир. Недаром лично я боялся брать его на стройку. Будто чувствовал, что навезет нам хлопот...

Бахор не выдержала:

— Акрамхан-ака! Как же он мог дезертировать? Ведь он добровольцем...

— А про чахотку забыла? Как только дала она вспышку, у него поджилки и затряслись. Испугался, что, того гляди, может совсем загнуться.

— При чем тут чахотка? Он простудился.

— Откуда нам знать, что у него было? Факт остается фактом: заболел, перетрусил, сбежал.

Халил-ата молчал, всем своим удрученным видом он напоминал размокшую мякоть хлеба. А Бахор в эту минуту ненавидела Тураханова, потому что ей нечего было возразить ему. Она только горячо, протестующе воскликнула:

— Неправда! Пулат не такой!

Тураханов снисходительно усмехнулся:

— А какой? Что ты о нем знаешь, Бахорхон? Человеческий характер полностью раскрывается лишь при столкновении с реальными трудностями. Сильные борются и побеждают, слабые бегут. Жизнь у нас, строителей Галабагэс, нелегкая. Вот Пулат и не выдержал. — Он пристально посмотрел на Бахор, лицо его окаменело, казалось, им овладело глубокое раздумье, потом он решительно произнес: — Не хотел вам говорить, друзья, уж ладно, скажу.

Пулат вчера был у меня. Просил дать ему рабству полегче. Я лично сказал — подумаю. Но он, видимо, сообразил, что с его болезнью ему вообще нечего делать на стройке. Это же не санаторий. И удрал!

Бахор хотела что-то сказать, но Тураханов властным жестом остановил ее.

— Не защищай его, Бахорхон! По-человечески парня, конечно, можно повяты. Он болен — какой с него спрос? — Тон у него был сочувственный, но Бахор заметила, что в глазах Тураханова мелькнуло жесткое выражение. — Не надо было ему ехать на стройку, лезть в герои. Уж не знаю, из каких побуждений он это сделал. Вот вам и герой! Сами виноваты, во всем ему потакали. Виноваты перед Хайдаром-ака, перед Хайри-апа! Не сумели вовремя образумить парня. Теперь красней из-за него перед всей стройкой. Ведь ни на одном участке не было до сих пор случаев дезертирства. Мы первые. Лично я врагу не пожелаю такого первенства! — Тураханов с силой стеганул плеткой по засохшему стеблю росшей на берегу верблюжьей колючки. — Ладно. Авторитет нашего района подорван на рубль — поднимем его на сотню рублей! На моем участке больше тысячи колхозников, и они героическим трудом смоят пятно, наложенное на них одной паршивой овцой. Нет, не испортить ей всего стада! Простите, друзья, лично мне трудно удержаться от гнева. А тебе, Бахорхон, урок на всю жизнь, как молвит мудрая поговорка, дружи лишь с тем, кто износил больше рубашек, чем ты сам. С хорошим человеком поведешься — всего добьешься, с плохим поведешься — только опозоришься. Не забывай об этом завете наших дедов и прадедов. Выкинь этого парня из головы, советую тебе, как старший брат. И вы, атаджан, впредь тоже не будьте слишком уж сердобольным. Чует мое сердце: это вы, воспользовавшись моим отсутствием, пригрели змею на груди. Вы всегда за него заступались! Вот он и отплатил вам за всю вашу доброту. Ладно, мы еще потолкуем об этом. Надо ехать на канал.

Бросив быстрый, испытующий взгляд на опечаленную и растерянную Бахор, усмехнувшись каким-то своим мыслям, Тураханов легко вспрыгнул на коня, махнул на прощание рукой и умчался по направлению к капалу. Старик и Бахор, словно вдруг обессилев, опустились на землю, долго молчали, — видно, заронил-таки Тураханов в их

души зерно сомнения. Бахор кинула в воду твердый как камень комок земли, вздохнула:

— Не верю, отец! Не верю, что Пулат сбежал. Акрамхан-ака говорил так убедительно... Понимаю его возмущение. А разделить не могу. Пулат всем сердцем рвался на стройку! И разве он тут на что-нибудь жаловался? Он не страшился ни трудностей, ни лишений. Вы же видели, отец!

Халил-ата, с нежностью глядя на дочь, задумчиво тербил свою бородку:

— Верно, верно, дочка... Сын таких достойных родителей. Заявился сюда по собственной воле. С чего бы ему это... дезертировать?

— Тут что-то не так, отец. Надо выяснить.

Старик пожевал губами:

— Однако и Акрамхан не стал бы зря на него наговаривать.

— Мы же с вами, отец, лучше знаем Пулата!

— Так-то оно так... Но поди ж ты, разве было у нас в мыслях, что он может уйти?

— Значит, что-то стряслось. А что? Вот этого-то мы не знаем. А Пулата знаем.

Бахор сидела, обняв руками обтянутые платьем колени, устремив взгляд на противоположный берег реки. Там возводился металлургический завод. Людей не было видно, только вспыхивали призрачно-голубым сиянием искры электросварки да доносился звон металла.

Вот бы им с отцом работать на этом заводе!.. Она электросварщицей, он — кузнецом. Какой он умелец, отец! В кузнице у него всегда тесно, сумрачно, сам он все время незло ворчит, жалуется, что кетмени то и дело ломаются: «Земля, дочка, ровно железо!» А возьмет в руки молот, обрушит его на металл — и металл принимает любую удобную отцу форму. В такие минуты Халил-ата, щуплый, но сильный, в бликах огня, среди причудливой игры света и тени, какая бывает только в кузницах, выглядит добрым, всемогущим волшебником из сказки.

— Отец! — сказала Бахор. — Почему на строительстве завода многое уже делается механизмами, а у нас все вручную?

— Дай срок, дочка, и у нас будут машины. Кетменем Сыр-Дарью не перегородишь, плотину не сладишь. Вот кончится война...

— Пулат все мечтал о машинах, — перебила Бахор. — Помню, мы шли с ним первый раз по стройке — он так и замер перед экскаватором, глядит на него во все глаза... Если бы, говорит, весь канал такими машинами!..

— Так и будет, дочка. А кетмени сдадим на переплав. Вот на этот завод.

Бахор, чуть раскачиваясь всем телом, с сомнением молвила:

— Акрамхан-ака сказал, что Пулат просил у него работу полегче. Не верится, отец! Он профессии бетонщика обучился. Думаете, это легко? Землю рыл наравне со всеми. Тут, на стройке, может, получил бы еще какую специальность. Он упорный! Я ему всегда завидовала. У меня вот, верно, работа легкая. Скучно мне в библиотеке, отец! Я так тоскую о большом, настоящем деле!

Усы Халила-ата встопорчились в лукавой улыбке:

— Я гляжу, времени даром не теряешь. Учат тебя, дочка, твои подружки?

— Ага. Я хочу обучиться ремеслу... как Пулат. Вы не против, отец?

— Что ты, доченька! В старину говаривали: научись хорошему делу — дому от этого польза, а наука на всю жизнь при тебе останется.

Бахор стремительным движением повернулась к отцу, обняла его, поцеловала:

— Спасибо, отец! Значит, вы не рассердитесь, если я уйду из библиотеки?

— Народ книжками одаривать — тоже дело похвальное. Но я ведь, дочка, рабочий, как же мне не желать тебе рабочей судьбы? — Он вздохнул. — Раз уж в институт не пошла...

Бахор сдвинула брови:

— А Пулат... Не могу понять, почему он ушел. Но я... вот как в вас, как в себя... верю в него, отец!

Старик отвернулся, чтобы дочь не увидела его растроганного лица и глаз, в которых стояли слезы.

8

Как только закончился первый рабочий день Пулата в бригаде Никитина, к нему подошел Рустам:

— Ну, приятель, на работу мы устроились, едой и жильем обеспечены. Остается подыскать подходящее место для рыбалки.

Пулат засмеялся, обвел широким жестом Сыр-Дарью:

— Вон сколько воды! Лови, где хочешь.

— Нам не вода нужна, а рыба. Вы же тут распугали ее своим шумом! Нам бы где потише, поукромней...

— Не терпится порыбачить? — с теплым лукавством спросил Пулат.

— Не говори!.. — Рустам угрожающе нахмурился. — Думаешь, тебя оставлю в покое? Мозгам и рукам надо когда-нибудь отдыхать? Или еще не убедился, что рыбалка — лучший отдых? — Обняв Пулата, он мечтательно смотрел на реку. — Выдернешь удочку, а на кричке чистое серебро сверкает. Здорово, а? Она и для легких полезна, рыбалка. Свежий воздух! — Он поскреб в затылке. — Река еще не замерзла, на погоду грех жаловаться — найти бы тихое местечко...

Пулат с удовольствием слушал Рустама. Он любил в людях увлеченность, к чему бы она ни относилась — к работе ли, к рыбалке... Помолчав, он решительно произнес:

— Я знаю такое место. А когда мы туда пойдем? На заре или вечером?

— Тотчас и двинем. Удочки я с собой захватил.

— Ну что же, пойдем!

По вечерам Бахор работала в библиотеке, после сразу же шла домой. Вряд ли Пулат мог столкнуться с ней. Он и хотел такой встречи, и боялся ее, потому что не знал, как Бахор отнеслась к его уходу, к его невразумительной записке...

— Только оденься потеплей, — предупредил Рустам, когда они торопливо шагали в общежитие, где их поселили.

Оно пахнуло у подножия скалы и представляло собой длинный барак-землянку с выступавшими из земли дощатыми, побеленными, многооконными стенами. Одиноким жили в общих комнатах, семейные — в отдельных.

Рыболовы натянули поверх теплых портянок сапоги, надели ватники, взяли удочки, старое помятое ведро, кое-какую снесь и отправились к месту впадения Каттасая в реку.

Как в закрытом тучами небе мелькают голубые просветы, так в здешней зиме выдавались порей погожие деньки. Был вечер как раз такого дня, когда Пулат и Рустам собрались на рыбалку. Уже темнело. Воздух был сту-

деный. На чистом небосводе чуть размазанно сияла луна. Небо было в мелком бисере звезд.

Пулат привел Рустама туда, где в день своего приезда на стройку обедал с Бахор. Вода под луной отливала зеркально-гуталинным блеском. Рустам расстелил на земле брезентовый плащ. Когда друзья уселись, забросили удочки и, запасшись терпением, принялись ждать клева, Пулат тихо спросил:

— Рустам-ака! Зачем вы меня так расхваливали перед Никитиным? Время покажет, на что я гожусь.

— Так я ведь, приятель, не на базаре с тобой познакомился, а на работе. Ты уж показал, чего стоишь. Я и имел полное право сказать о тебе доброе слово!

Пулат, краснея, упрямо повторил:

— Время покажет... Может, меня не хвалить надо было, а ругать.

— За что? — искренне удивился Рустам. — Не замечал за тобой никаких дисциплинарных проступков!

— Есть за что... — неопределенно ответил Пулат.

— Ну, коли сам это понимаешь, значит, все в порядке.

Когда поднятая в воздух на крючке Рустама затрепетала первая рыба, лицо бетонщика расплылось в довольной улыбке:

— Гляди-ка, тут можно жить!

Рядом слышались чьи-то шаги. Рустам обернулся, обрадованно воскликнул:

— Сергей-ака! Какими судьбами?

— Люблю тут бродить! — ответил, подходя к ним, Никитин. — Вот по берегу шел — рыбаков нашел. — Он успокоительно махнул своей трубкой. — Что всполошились? Я к вам ни с дурным, ни с хорошим. Доброго вам улова!

Пулат подошел ближе к Рустаму, освобождая на плаще место для Никитина.

— Садитесь, Сергей Иванович. Хотите мою удочку?

Никитин, усаживаясь, покачал головой:

— Не увлекаюсь. Люблю кататься, не люблю саночки возить. Угостите ухой — не откажусь. А на поплавок глядеть целый вечер... Уж лучше посижу, посмотрю, как другие мучаются.

— Мучаются! — оскорбленно хмыкнул Рустам. — Уж если кого и жалеть, так тебя, Сергей-ака. Какого удовольствия себя лишаешь!

— Ну, ну, не будем разводить дискуссию, — миролю-

биво произнес Никитин. — Кто любит рыбу ловить, кто ухой лакомиться...

— Как ваш зуб, Сергей Иванович? — спросил Пулат.

— А что с ним церемониться. Пошел к врачу да вырвал. — Никитин по-отцовски ласково взглянул на Пулата: — Как работалось, дружок? Не устал?

— Что вы, Сергей Иванович!

— Я все поглядывал, как ты там управляешься. Молодец! Хорошие у тебя были учителя. — Никитин искоса, с хитровой улыбкой, глянул на Рустама. — Так вот и идет жизнь. Ты одного доведешь до дела, он другого, другой третьего. Придет, дружок, и твой черед вытягивать кого-нибудь в мастера. Недаром говорится: стал мастером — подготовь десяток таких же. Вот оно, бессмертие труженика... — Неожиданно он схватил Пулата за рукав: — Гляди, парень! У тебя клюет!

— Заразился, Сергей-ака? — победно расхохотался Рустам. — Рыболов, выходит, тоже бессмертен — один другого наставляет на путь истинный!

— Сбивает с пути! — Никитин, видимо, сердился на себя за то, что не смог удержаться от азартного порыва, но все тормозил Пулата: — Тяни же, уйдет!

— Терпение, Сергей-ака, терпение, — похохатывая, пазидательно сказал Рустам. — Самн когда-то учили меня быть терпеливым.

— Не на рыбалке же!

— Именно! Тут, как на работе: азарт и терпение.

— Вот-вот, — сказал Никитин. — Это, паверно, рыбаки придумали поговорку: наберешься терпения, так дождешься, когда зеленые плоды превратятся в халву.

Он произнес эти слова с иронией, но, когда Пулат вытащил небольшого сазана, радости Никитина не было границ.

— Ого, какая рыбина! — Он предвкушающе потер руки. — Ох, и уха будет!

Пулат великодушно предложил:

— Считайте, Сергей Иванович, что этого сазана мы вдвоем поймали.

— Э нет, не хочу присваивать себе заслуги других. Чужого мне не надо! — Он помолчал. — Разве что не откажусь от чужого совета да опыта. Ты этим, Пулат, тоже не пренебрегай. Набрайся от людей ума-разума. Случится какое затруднение на работе, в тупик станешь — не

стесняйся, подойди, спроси. Всегда помогу. Скоро, друзья, перейдем на головное сооружение, там потрудней придется, чем на малой-то ГЭС. — И без видимой связи спросил Пулата: — Давно не был в своем кишлаке?

— Давно...

— Не хочешь съездить? Отпущу на пару деьков.

— Только начал у вас работать — уж отпуск брать?

— Мать, верно, соскучилась. Хоть пишешь ей?

Лицо юноши залила густая краска стыда:

— Давно не писал. То работа... то болел.

— А представляешь, как она тревожится, не получая от тебя вестей? Береги, дружок, материнское сердце, сколько жизнь на нем рубцов оставляет — не сосчитать. — Никитин набил табаком небольшую прямую трубку. — Ничего, я подымлю?

— Дыми уж, отравляй свои легкие! — сказал Рустам.

Никитин раскурил трубку, выпустив клуб дыма, и, отогнав его рукой от Пулата, задумчиво продолжал:

— Мать... Святое слово! Ты, Пулат, молод, еще не цепнишь мать, как она того заслуживает. — Увидев, как вскинулся Пулат, он торопливо проговорил: — Цепнишь, цепнишь, верю! А письмами-то не балуешь? То-то и оно. А ведь это мать... — Его резкие, словно вычеканенные, морщины как-то расплылись, обмякли. — Не гляди, что мне за пятьдесят, и у меня мать жива. Старенькая, в Ташкенте живет. Как выпадает свободное время, я к ней. Уж как она радуется! Обнимет, заплачет... А потом как начнет отчитывать — за то, за это. Все мальчошку во мне видит, воспитывает. А бывает, примешься помогать ей по хозяйству — принесешь воды, дров наколешь, — она вдруг руками всплеснет: Серенька, да какой же ты большой! А какой я большой? Я старый. Только не примечает она моих седин. Сама постарела, согнулась, а мы для нее все дети. Нас у нее трое было. Овдовела она рано. Младший мой братишка, командир, погиб в самом начале войны, а для нее и он живой, и тоже дите малое: в ее сердце доныне детство его живет. Убили в эту войну и моего зятя, мужа сестры, значит. Сестренка вернулась к матери. Работает на заводе. Уж мать на нее не надышится! А та уж и сама мать... Так-то, дружок. Всю свою жизнь моя мать нам, детям, отдала, всю, без остатка. Да и до сих пор для детей, детьми живет. Сколько она из-за нас горя перетерпела! Как же не любить, не беречь ее? Когда-нибудь ты,

дружок, поймешь: что бы ты ни сделал для матери, все равно в долгу перед ней, все равно она больше для тебя сделала, больше тебя любила, больше о тебе заботилась... Материнская любовь да забота — это океан без дна. Ничем их не измеришь. А мы, бывает, не то что не отвечаем на заботу заботой, а еще и волнуем зря наших родительниц... Ты папши матери, Пулат!

Пулат молча кивнул. Рустам тоже молчал. Видно, думал о своей матери...

Никитин выбил трубку, задумался.

На берегу воцарилась тишина, только волна, пробегая мимо рыболовов, приветствовала их коротким всплеском и, журча, спешила слиться с волнами могучей реки.

Внезапно начался такой клев, что Рустам и Пулат еле успевали вытаскивать удочки. Скоро ведро до краев наполнилось рыбой. То один, то другой сазан выпрыгивал из ведра на землю. Никитин, вошедший в азарт, кидался их ловить. Рыба выскальзывала у него из рук. Кое-как справившись с ней, он укладывал ее обратно в ведро.

Довольный удачной ловлей, Рустам негромко запел:

Не называли бы реку рекой,
Коль не журчала б волна...
Не называл бы тебя дорогой,
Коль не была б мне верна...

Он, видно, не знал или позабыл продолжение песни и без конца повторял один и тот же куплет.

Пулат, слушая его, вспомнил, как сидел на этом месте с Бахор, как столкнул в воду камень, придавивший цветы, и Бахор назвала его богатырем. Богатырь!.. Удрал, не сказав ей ни слова. Что-то она теперь о нем думает?

Они вернулись в общежитие в полночь. Возле землянки был вырыт небольшой хауз. Пулат вывалил в него рыбу. Завтра они угостят бетонщиков отменной ухой!

9

Следующий день начался для Пулата с неожиданности. Юпоша задержался на строительной площадке, пошел в столовую позднее всех и по дороге нос к носу столкнулся... с Халматом.

Узнав его, Пулат остановился как вкопанный:
— Халмат-ака!.. Вы здесь как очутились?

На губах Халмата зазвенела его обычная усмешка: — Вежливые люди, молодой человек, сперва здороваются, а уж после задают глупые вопросы.

Пулат вспомнил слова Рустама о том, что тот не один приехал на стройку. Но о Халмате Рустам почему-то не упомянул. Пулата неприятно удивило, что и Халмат тоже появился на Галабастрой. Но он тут же постарался приглушить в себе неприязнь к своему старому недругу: что особенного в том, что тот на стройке? Руки у него золотые, и трудностей он не боится — фронтовик! Все же Пулат оцетинился, как еж:

— Почему глупые? Просто не ожидал вас тут увидеть.

— А мы, фронтовики, всегда на самых ответственных участках! — В глазах Халмата вдруг тоже мелькнуло удивление. — Постой-ка... А ты почему здесь?

— Как почему? А куда же я из совхоза уехал?

— Уехать-то уехал... Да, говорят, смылся со стройки!

Пулат вскинул на Халмата возмущенный взгляд:

— Кто это вам сказал?

— А у нас только и разговору что о тебе. Мол, смазал пятки, дезертировал! Чепе!

Пулат ничего не понимал. Он наморщил лоб, прервал Халмата:

— Где это у вас?

Халмат хлопнул себя по лбу:

— Да ты же ничего не знаешь! Я ведь у Тураханова работаю. Ну, откуда ты удрал.

— Бетонщиком?

— Бетонщиком! — презрительно усмехнулся Халмат. — Поднимай выше! Меня Акрамхан-ака поставил прорабом на Каттасайский участок. Строю перемышку. В армии-то я сапером был, а сапер — на все руки мастер. Понял, сморчок?

С тех пор, как Пулат не видел Халмата, самоуверенности у того прибавилось.

Пулат и не подозревал, что Халмат и Тураханов давно знали друг друга — были родом из одних мест. Тураханов во время поездки в район и забрал Халмата из совхоза, насулив ему всяческих благ. Через знакомых в управлении он устроил бетонщика прорабом на одном из ответственных объектов своего участка — строительстве временной перемышки, которая должна была перегородить Кат-

тасай и защитить от возможного паводка еще не законченную бетонную часть канала.

Халмат сразу стал видной фигурой на стройке — это тешило его самолюбие. И, встретив Пулата, он обрадовался возможности и покичиться перед ним, и унизить этого сопляка, из-за которого у него в совхозе были неприятности.

А Пулат решил все стерпеть от Халмата — уж очень ему хотелось выяснить, как же все-таки отнеслись к его уходу со стройки земляки.

— Так дезертиром и называют?

— Кого?

— Ну... меня.

— А кто ж ты, как не дезертир? Приехал героем, распустил хвост, как павлин! А хлебнул лиха — и смылся. Смылся ведь?

Но тут Халмат осекся.

Он прибыл на турахановский участок как раз в тот день, когда оттуда ушел Пулат. С легкой руки Тураханова среди дехкан и правда пронесся слухок о «дезертирстве» их юного земляка. Халмат с готовностью поверил этому слуху. Но если Пулат дезертировал, то почему же он на стройке, почему на нем рабочая роба, забрызганная свежим бетоном?

Халмат даже рассмеялся:

— Постой-ка... Ежели ты сбежал со стройки... то с кем же тогда я треплюсь? Тебя тут нет, а ты тут? Неувязка получается!

— Без ветра, говорят, листья не колышутся, — невесело молвил Пулат. — Верно, я ушел. И вернулся. Работаю в бригаде Никитина. — Волнуюсь, он потребовал: — Вы скажите, от кого слышали, что я... дезертир?

Халмат уловил в его голосе тревогу и догадливо, торжествующе ухмыльнулся. Любопытный и пронырливый, он многое уже успел разнюхать с тех пор, как появился на участке Тураханова. Узнал, к кому приезжал Пулат, и смекнул про себя, что, наверное, этот дохляк и библиотечкариша «крутят любовь». Пускай парень и не дезертир, а все равно Халмат ему насолит, отомстит за прошлое. И с деланной небрежностью он сказал:

— От разных людей... Зашел в библиотеку за книжкой, и там на твой счет проходятся. Одна девшца-раскрасавица, библиотечкариша... забыл, как ее зовут, — да ты ее

должен знать! — так прямо обвинительную речугу перед всеми закатила! — Он с преувеличенным беспокойством заглянул Пулату в глаза. — Ты чего? Что это с тобой?

— Врете! — только и выдохнул Пулат.

Халмат пренебрежительно скривил губы:

— Охота была! За что купил, за то и продаю. Так ты ее знаешь?

— Не ваше дело.

— Грубишь старшим. Я все-таки износил рубашек побольше, чем ты.

Халмат понял, что его удар попал в цель. Он не скрывал злорадного торжества: переживаешь, голубчик? Так тебе и падо. Око за око, зуб за зуб!

Пулат некоторое время молчал, угрюмо наклонив голову, потом поднял глаза и, борясь со смущением, спросил:

— Не говорите никому, что видели меня. Пусть думают что хотят. Не скажете?

— А на кой ты мне сдался? Повстречались — разошлись, как в море корабли, а в пруду утки. Своих забот хватает.

Этот полный искреннего безразличия ответ успокоил Пулату: в самом деле, какое им дело друг до друга? У каждого — своя дорога...

— Верю, не скажете, — проговорил Пулат, и сдержанная горькая грусть прозвучала в его голосе. — Что ж, Халмат-ака, спасибо за правду. И вот что еще... Любовью друг к другу мы не пылаем, верно? Но и зла помнить не хочу. От души желаю успеха в работе и счастья!

Халмат почувствовал, как от этих слов в его сердце дрогнула какая-то тонкая-тонкая струнка. Все ж таки неплохой он парень, Пулат... Однако Халмат подавил в себе это легкой, теплой искоркой вспыхнувшее чувство, недобро усмехнулся:

— Счастье!.. Поостерегся бы желать его другим. На всех-то все одно не хватит. Счастье — это как одеяло на двоих: один потянет к себе, укроется — с другого стащит...

Пулат взглянул Халмату в лицо, упрямо сказал:

— Чтоб обоим было тепло, надо крепче прижаться друг к другу.

Халмат — он сам не понимал, что с ним происходит, — воздержался от дежурной колкости, протянул юноше руку:

— Прощевай, пленец! Может, еще свидимся — мир, говорят, тесен, а стройка тем более. Ты куда?

— Обедать. А вы?

— В управление. Топай, набивай брюхо, тебе это полезно.

Он круто повернулся и, чуть прихрамывая, пошел своим путем. А Пулат побрел в столовую. Настроение у него после разговора с Халматом было не из веселых. Какое уж тут веселье, когда тебя зачислили в дезертиры... Он же не сбежал — его выгнали! Но кому, кроме него самого, это известно? Ушел же — факт! И истолковать этот факт можно по-всякому.

Пулат во всем винил себя, оправдывал своих земляков, заподозривших его в позорном бегстве со стройки. Со стороны-то это и правда выглядело как бегство...

Но как Бахор могла верить, что он способен на такое! Ведь она знает его с детских лет. Она сама всегда старалась убедить его, что он сильный. Она верила в него. И что бы ни случилось, уж она-то должна была сохранить веру в друга.

А не слишком ли многого ты от нее требуешь, Пулат? Добро бы ты перед уходом рассказал ей о своем разговоре с Турахановым, а то ведь сорвался с места, ничего никому не объяснив. Вера в человека опирается на его поступки, а ты как поступил? Как мальчишка!

Может, не поздно еще сейчас побежать к Бахор, поплакаться: ты, мол, не думай, я хороший?

Пулат стиснул зубы.

Нет!.. Он делом докажет ей, что достоин ее веры и уважения! Всем докажет!

Пока ему еще нечем похвалиться — он только-только начал работать в бригаде Никитина. Но ему по душе эта работа. Он будет учиться мастерству у Сергея Ивановича, у Боходыра-ата, у Рустама, он будет трудиться, как верный сын Родины. И когда добьется первых успехов — пойдет к Бахор, все ей расскажет, и ни в чем ее не упрекает, потому что если она и потеряла веру в него, так только он сам в этом виноват. Только сам!

10

Этим же вечером Пулат сел за письмо к матери. И с тех пор пользовался каждой свободной минутой, чтоб черкнуть ей хоть несколько строк.

«Дорогая мамочка! Видишь, как часто я тебе пишу... — так начиналось одно из писем. — С кем, как не с тобой, делиться мне всем, что у меня в жизни и на душе? С тобой и с отцом... Только от него опять нет вестей. Ты не волнуйся, просто ему сейчас не до писем. Он наступает. Наши наступают, мама, на всех направлениях. До чего же это здорово!

У нас тут тоже большие события. Закончена перемычка. Сипайщики поставили поперек реки треножники из бревен, туго перевязанных проволокой, в бушующую воду обрушились тонны камней — запрудили реку. Помнишь, мама, ты как-то говорила, что в старые времена дехкане боялись наводнения и селя больше, чем пожара? А теперь человек повелевает речной стихией, нас много, мы спаяны крепкой дружбой, у нас великая цель. Как же реке не покориться нашей силе? Такая сила и горы сотрет в порошок! Строители обуздали реку, как норовистого коня, освободили от воды правую часть русла, где уже начали сооружать плотину.

Вот когда понадобились бетонщики! Почти всю нашу бригаду перевели на плотину — это, мама, комсомольский участок. Правда, Сергей Иванович и Боходыр-ата давно уже вышли из комсомольского возраста, но душой они комсомольцы, честное слово!

Я пока продолжаю работать на малой ГЭС. Мы закладываем бетон в основание, цоколь будущей электростанции. Хотя стоит зима, но со дна котлобага то тут, то там вдруг начинают бить теплые ключи, они даже лед растапливают. Грунт превращается в жидкое месиво, и над этими местами поднимается пар. Но ничего, мы воду откачиваем насосами — у нас вообще теперь с каждым днем все больше механизмов. На нашей и на других строительных площадках появились экскаваторы, подъемные краны — эти одиорукие богатыри до всего дотягиваются, как пухинку, вздымают в воздух любую тяжесть! А мне недавно вручили электровибратор, научили, как с ним обращаться. Ох, злая машинка! Так и дрожит в руках от ярости, и я весь трясусь, словно сквозь меня ток пропустили. Зато как быстро уплотняется бетон! И порой мне чудится, что вибратор живой и от души старается мне помочь. Правда, правда, мама, у машин есть душа, надо только ее понять, и тогда машина становится тебе верным другом. Если меня возьмут в ар-

мню, я, конечно, пойду в пехоту — так быстрее можно попасть на фронт. Но как бы мне хотелось быть танкистом! Танк бы меня слушался, я бы слился с ним, как на скачках всадник с горячим конем. Ох, и задали бы мы жару фашистам! Я прямо влюблен в машины! Как здорово, что они все прибывают...

У нас на стройке вообще много перемен. Построены узкоколейки, мосты, проложены дороги. Уже возводятся жилые дома. А специалистов мало. Если б я мог, я овладел бы всеми профессиями и работал бы сразу на всех участках! Ведь не хватает рабочих рук.

Ты только не посчитай меня за хвастуна. Это все ведь одни мечты. А хвастаться мне пока нечем. Работаю, как могу.

Чувствую себя хорошо. Бетон заливаем на свежем воздухе, а мне все говорят, что свежий воздух полезней всяких лекарств. Я и физзарядку не забросил. Да и труд бетонщика — сплошная гимнастика.

Товарищи заботятся обо мне, как о маленьком. С продуктами туго, а они достают для нас с Рустамом парное козье молоко. Пью его каждый день — в совхозе Рустам-ака чуть не силком мне его вливал, а теперь я и сам вижу, какая от него польза... Ох, и чудесные же у нас ребята!

Часто вижу с Анваром. Все рассказал ему о Тураханове. Пусть никто и не слышал моего разговора с Турахановым, все равно я был убежден, что Анвар мне поверит. Бояться, что тебе не поверят, — это все ж таки бояться. А чего мне бояться, если я чувствую себя правым? Оказалось, что и Анвар не жалуется Тураханова. Он не раз бывал на турахановском участке, видел, что там творится, и тоже, как и я, удивляется — как это Тураханов ухитряется каждый месяц выполнять план? Он ведь ходит в передовиках. Правда, колхозники его участка трудятся, как герои, не жалеют сил — только откуда им взять эти силы? Заботился бы он о них, так они могли б работать еще лучше, но они больше болеют, чем работают. А план выполняется! Анвар сказал, что еще доберется до Тураханова. Но я вижу, ему некогда, всюду нужно поспеть. А Тураханова, так Анвар сказал, голыми руками не возьмешь. У него авторитет, он умеет пускать пыль в глаза. Мама, ты опять, верно, морщишься: мол, слишком категорично сужу о человеке, которого

мало знаю. Мало, но знаю, мама! Слышала бы ты, как он со мной разговаривал! Я прав, мама! Только что мне делать с этой моей правотой? Ну, рассказал все Анвару — нельзя же на этом успокаиваться и ждать, когда яблоко само упадет тебе в рот. Нельзя жить по принципу — меня не трогают, и ладно. Надо бороться! Как бороться, мама? Нас в школе многому учили, но не учили, как справляться с бурным селевым потоком жизни. Вот я и барахтаюсь, как щенок.

Да, мама, чуть не забыл — Анвар, оказывается, сочиняет песни! Я как-то застиг его врасплох: сидит на берегу, что-то мурлычет под нос. Я подсел к нему, он даже не заметил. Так вот мы и сидели: он пел, я слушал. Потом он повернулся, увидел меня, покраснел. Я спрашиваю, что это ты пел? Ну, ему деваться некуда, он признался: это его собственная песня. Он еще на фронте, во время минутных передышек, начал слагать песни. От всех это скрывал! А песни чудесные, он мне спел несколько. Я говорю: пошли в газету, напечатают. Он смеется: какой я поэт, я, говорит, как тот любитель-рыболов, который удит рыбу для собственного удовольствия. Он не прав, мама. Рустам-ака часами просиживает с удочкой врсде бы для отдыха, но, если улов удачный, рыбой-то он всех угощает!

Рыбу стало ловить трудней: река замерзла. Но Рустаму-ака и горя мало. Он теперь таскает меня на озеро, оно чуть выше плотины. Я уж и сам скучаю без рыбалки. Мы прорубаем лунки во льду и удим. Воздух чистый, морозный, вдохнешь — в ноздрях покалывает. Хорошо! Наконец-то наступила настоящая зима. Долго она примерялась, играла с нами, как кошка с мышью: протянет лапу, ударит, опять отдернет... Так и зима: нашьлет на нас вьюгу и тут же на попятный. После метели — дождь. До самого января было тепло.

Но нам, мама, не страшны и холода: на работе работа греет, а в общежитии печка гудит, как паровозная топка. Вот только насчет турахановского участка беспокоюсь: как-то там переносят холод мои земляки?

Кстати, мама, я тебе уже писал и еще раз прошу: если тебе придется писать Халилу-ата и Бахор или если ты увидишь их, не говори, что я на стройке. Поверь — так надо. Придет время, я и сам к ним наведаюсь и все объясню. Исполнишь мою просьбу, мама?

Пиши чаще, родная моя, самая-самая родная! Если будет что от отца, тотчас перешли мне, ладно?

Крепко-крепко тебя обнимаю,
твой нескладный, но вполне-вполне здоровый
Пулат».

11

В своих письмах к матери Пулат рассказывал о многом, но кое о чем и умалчивал. Он, как и отец, больше писал о других, чем о себе, а свою жизнь рисовал в слишком уж радужных, безмятежных тонах, чтобы не волновать понапрасну Хайри.

Он и словом не упомянул в письмах об истории с хлебной карточкой, а ему приходилось тогда ох как несладко! Случилось так, что Рустам потерял свою хлебную карточку. Хлеб на стройке был на вес золота. От Пулата ему не удалось скрыть потерю, и, когда они сели обедать, Пулат разломил свой хлеб пополам и половину молча придвинул Рустаму. Тот добродушно рассмеялся:

— Ишь какой щедрый! Ты что, директор хлебозавода? Или боишься потолстеть? И то, гляжу, раздобыл парень, ремень на последнюю дырку застегиваешь — только с какого конца?

— Ешьте! — коротко сказал Пулат.

— Нет, приятель, этак получится, что битый небитого везет. — Он хлопнул себя по животу. — Видал, какое брюхо? Как барабан! Я, как тот верблюд, вполне могу жить старыми накоплениями.

— Ешьте. А то и я не буду.

Рустам, посерьезнев, внимательно взглянул на юношу, вздохнул.

— А ведь и правда не будешь. Упрямая башка! — Он взял хлеб, с аппетитом впился в него крепкими зубами. — Спасибо, приятель.

И пока все не уладилось, Пулат и Рустам жили на одну карточку. Матери Пулат писал, что ест до отвала...

Он не сообщил ей и о том, что ему доверили самостоятельный участок. Бригада ушла на плотину, а Пулату поручили заканчивать цоколь малой ГЭС. Времени для завершения работы было отпущено в обрез: стройка остро нуждалась в электроэнергии. А в бригаде Пулата,

«малой бригаде», как он сам ее называл, оставалось всего человек двадцать, все недавние колхозники, только на строительстве обучившиеся бетонному делу.

В то время стройка начала оснащаться механизмами, профиль работ все усложнялся, со всех участков поступали в управление заявки с просьбой выделить механизаторов, арматурщиков, монтажников, электросварщиков, бетонщиков, и на всех заявках появлялась одна резолюция: «Готовьте кадры на местах, из числа колхозников-строителей».

Иного выхода и не было!

По сравнению с остальными бетонщиками «малой бригады» Пулат считался уже умелым специалистом. Памятуя наставление Никитина, он в ходе работы старался обучить товарищей, делился с ними своим не таким уж богатым опытом, вдохновлял их советом и примером. И все равно, хоть бригада выбивалась из сил, закладка цоколя продвигалась куда медленнее, чем мечталось Пулату: он хотел сдать цоколь досрочно, чтобы поскорее присоединиться к бригаде Никитина, тоже испытывавшей нехватку в рабочей силе.

Пулат собрал бригаду, потолковал с бетонщиками по душам. Их и самих успел уже захлестнуть жаркий ритм строительства. Они дружно поддержали предложение своего бригадира работать в три смены, поклялись все сделать, чтобы уход товарищей на другие объекты не отразился на темпах и качестве работ «малой бригады». Эту свою клятву они начертали на алом полотнище, растянутом меж двумя высоченными пестами. Оно яркой молнией полыхало над строительной площадкой, упруго надуваясь под порывами ветра.

Но Пулат понимал: как бы они ни напрягались, без помощи машин им не управиться к сроку. Полный отчаянной решимости, он пошел в управление и отвоевал-таки для своего участка ленточный транспортер и еще три грузовика в дополнение к тем, что уже курсировали между малой ГЭС и бетонным заводом. Ему удалось добиться этого потому, что он был одержим одним желанием: сдержать слово, с честью выйти из трудного испытания!

Бригада за два дня установила и пустила в ход транспортер; теперь бетон, который беспрерывно подвозили машины, подавался транспортером прямо на малую ГЭС.

Пулату хотелось хоть чем-нибудь походить на командира взвода Егорова, о котором рассказывал Анвар. Стоило ему только представить, как тот персбегает от бойца к бойцу, подбадривает своих солдат, сам хватается то за автомат, то за противотанковое ружье и поливает огнем ненасытную фашистскую саранчу -- и у Пулата словно крылья вырастали. Он трудился увлеченно и неумолимо, умудряясь наблюдать за работой всех трех смен, подбадривал замешкавшихся, поправлял ошибавшихся и сам нагружал раствор на транспортер, то занимался укладкой бетона, то уплотнял его вибратором. Он, казалось, не знал усталости и всех заражал своим самозабвенным упорством.

Из скромности он ничего не писал об этом матери...

И о наступившей зиме он в последнем письме упомянул вскользь в бодром, шутовском тоне, хотя на самом деле бетонщикам было не до шуток. Неожиданно нагрянули необычные для Узбекистана холода. Стоило только выйти из дому, как вмиг воротник и шапка, брови и ресницы заледеневали в колючем инее; мороз впивался в лицо, как реней. Но пуще всего дожимали строителей резкие снежные бураны. Место, где строилась ГЭС, было открыто всем ветрам. Они прилетали из ущелий, металась по стройке, как бешеные собаки, завывали голодными шакалами, валили людей с ног, вгрызались в лица так, что становилось больно до слез, словно кожу резали бритвой. Мороз в такую вьюгу пронзал, как кипжал, обжигал, как яд. От ветра и холода перехватывало дыхание, деревенели губы, окоченевшие руки не слушались. Тянуло в общежитие, к теплу... А работать нужно было как никогда споро: чуть зазеваешься -- застынет бетон.

И люди оставались на местах. Они говорили себе: на фронте еще труднее! Они заставляли свои руки, губы, дыхание не бояться бурана. И еще находили в себе силы во время работы перекидываться шутками: «Что встал? Или уж в ледышку превратился? На лопату, погрейся!», «Ох, братцы, если бы плова было столько, сколько снега!», «Во жарынь, ребята, скидывай ватники!»

Ни трескучий мороз, ни осатаневший ветер, сыпавший в лица мелким, как манка, жестким снегом, не помешали бригаде Пулата досрочно закончить укладку цоколя.

Никитин поздравил их с трудовой победой, крепко обнял Пулата, похлопал по спине затвердевшей брезентовой рукавицей:

— Молодец, сынок. Оправдал доверие.

А еще он сказал, что с оставшейся работой «малая бригада» может справиться и без Пулата, и потому он забирает его на плотину — там позарез нужны умелые бетонщики.

Пулата охватило чувство гордости и радости. Совсем недавно Тураханов прогнал его со стройки, оскорбив, унизив, попрекнув болезнью: какой, мол, из тебя работник, туберкулезники нам ни к чему. И вот Пулат доказал, что его болезнь делу не помеха: он выполнил первое порученное ему ответственное задание, и Никитин похвалил его... Пулат почувствовал прилив новых сил, он мог бы сейчас переплыть самую широкую в мире реку, сдвинуть с места самый тяжелый камень! Если бы он в эту минуту встретил Тураханова, то сумел бы постоять за себя, бросил бы ему в лицо все, что думал о нем, и не ступевался бы под его грозным взглядом! Хозяин!.. Нет, это он, Пулат, и его товарищи — хозяева на стройке. Им подвластны стихии, и нет в мире такой силы, которая устояла бы перед ними!

Пулат готов был петь от радости, и ему так хотелось поделиться этой радостью с отцом, с матерью... с Бахор!

Отныне ему нечего стыдиться Бахор — он должен ее увидеть. Он пойдет к ней и объяснит, почему чуть было не ушел со стройки, расскажет о своем скромном трудовом успехе, о своей жизни, о своих мечтах и о том, как тоскливо ему было без Бахор, как рвалось к ней его сердце, истомившееся в разлуке, полное боли, печальности и любви. Довольно ему таиться и от самого себя, и от любимой — он все ей скажет, распахнет перед ней душу! Пулат не испытывал больше ни робости, ни смущения — он верил в свое счастье.

И, не мешкая, поспешил в библиотеку, где работала Бахор.

Землю окутал плотный вечерний сумрак. Стройка словно вымерла. Колхозники, уставшие от работы, ветра и холода, попрятались по землянкам. Темно, хоть

глаз выколи. Но Пулата ничто не могло остановить — ни тьма, ни снег, ни сильный встречный ветер; он все ускорял шаг. Вот и библиотека — небольшая мазанка из глиняных катышей. Сквозь замерзшее подслеповатое оконце пробивался на улицу мутный желтый свет керо-синовой лампы. Пулат подошел к двери и уже чуть приоткрыл ее, как вдруг услышал знакомый, ненавистный голос. Он отпрянул в темноту. Послышались твердые шаги, кто-то, подойдя к двери изнутри, прихлопнул ее, видно подумав, что она распахнулась от ветра.

Пулат стоял возле окна, которое находилось как раз на уровне его глаз, и он не удержался, заглянул внутрь через крохотный глазок, протертый на заледеневшем стекле.

В библиотеке были только двое — Бахор и Тураханов. При виде Бахор у Пулата сжалось сердце. Она сидела за круглым столиком, на котором были разложены газеты и журналы, вполоборота к Тураханову, расхаживавшему вдоль библиотечной стойки. Пулат видел только затылок Бахор. Тураханов что-то говорил ей, и она, судя по напряженной позе, внимательно его слушала. Со стола соскользнула не то газета, не то лист бумаги; Бахор нагнулась, чтобы поднять, и Пулат увидел ее размякшие щеки. Тураханов шагнул к столу, что-то положил на него. Пулат, затаив дыхание, взгляделся — это были маленькие изящные часики. Бахор отодвинула их. Тураханов настойчивым движением сунул часы ей в руки, поклонился, чтобы обнять девушку...

На это Пулат уже не мог смотреть. Как ужаленный, отскочил он от окна. Некоторое время он стоял оцепенев, словно в забытьи, не в силах осмыслить увиденное. Потом заметил, что увяз по колено в сугробе, выбрался из снега и снова застыл, как вкопанный. Неведомая сила тянула его к окну, толкала еще раз убедиться в измене любимой, до дна испить чашу унижения. Нет, такое недостойно настоящего мужчины! Пулат подавил в себе это желание, заставил себя отвернуться от окна, тяжелой походкой побрел прямо по сугробам прочь от библиотеки.

Ветер усилился или это только казалось Пулату? Идти было трудно, лицо пылало, как в огне, мысли путались... Как все это могло случиться? Ведь Бахор всегда уверяла, что относится к Тураханову лишь как к доб-

рому соседу, смеялась над ревнивыми подозрениями Пулата. Она не лгала, Бахор не способна на ложь! Но теперь она с Турахановым, принимает от него дорогие подарки, позволяет ему обнимать себя... Неужели она так изменилась за то время, что они не виделись? Его, Пулата, она сочла за дезертира. Он перестал для нее существовать. Тут-то Тураханов и раскинул свои сети, и она попала в них, глупая! Бахор глупая? Ну нет, она умная и чистая. И она — с Турахановым? Значит, она вовсе не такая, какой до сих пор представлял ее Пулат? Ему вспомнились все ее похвалы Тураханову, вспомнилось, как она уезжала из кишлака в красном турахановском фаэтоне. Эти воспоминания еще больше разожгли в нем обиду и ревность. Но зачем же тогда она вызвала Пулата на стройку? Как самоотверженно она заботилась о нем, когда он болел, с каким искренним негодованием осуждала Тураханова за то, что тот жил на стройке так широко. Не могло же все это быть притворством. Так почему же она теперь с Турахановым?..

Ревность, как кошка клубком, играла его мысли, все больше растрепывая их и перепутывая. А сердце терзали тоска и гнев. Ах, Бахор! Не знаю, что нашла ты в этом чванливом распутнике, но ты с ним, ты предала, растоптала нашу дружбу. Он добился-таки своего, разлучил нас и сумел чем-то тебя подкупить, и ты...

Едкие, как щелочь, слезы выступили на глазах Пулата — наверно, от резкого ветра, хлеставшего по лицу белыми жгутами снега. Он не помнил, как добрался до поштонного моста. Ступив на него, остановился, в последний раз взглянул в ту сторону, где была библиотека. У него дрожали губы от нестерпимой обиды, которую нанесла ему Бахор, от боли и отчаяния. Но он постарался овладеть собой, гордо вскинул голову.

Хорошо, Бахор!.. Я больше не буду о тебе думать. Я вырву из сердца любовь к тебе, воспоминания о наших встречах. Ты оскорбила меня, поверив, что я сбежал со стройки, ты предала меня, обнимаясь с Турахановым. О нем тоже не хочу и думать! Проживу без тебя, Бахор. У меня есть друзья и работа. Проживу без тебя...

И, упрямо наклонив голову, Пулат решительно зашагал на другой берег,

Пулат, Пулат, если бы ты знал, что в действительности происходило в библиотеке и о чем разговаривали Бахор и Тураханов! Это была совсем не та сцена, какую нарисовало твое разгоряченное обидой и ревностью воображение!

Ведь Бахор уже надумала уйти из библиотеки и только поджидала возвращения Тураханова из очередной его поездки в район. Да, вскоре после разговора с тобой Тураханов опять укатил со стройки: он теперь больше разъезжал по району, чем руководил участком. Ты в письме к матери угадал: дела на его участке обстояли далеко не так гладко, как он сам пытался всех уверить. Колхозники и правда сил не жалели, но силы таяли от холода, болезней, недоедания, трудного неустроенного быта. А Тураханов не желал понять, что люди нуждаются в заботе. Он думал только об одном: на участке острая нужда в рабочих руках, и старался всеми правдами и неправдами, используя свой авторитет, ораторский талант и организаторскую хватку, где только можно, набрать людей сверх обычной разверстки и добиться победы — не уменьем, так числом. Ему и теперь удалось привезти с собой колхозников. Он торопливо распахал их по холодным землянкам, которые и без того были битком набиты здоровыми и больными, кое-как залатал таким образом очередную брешь, призвал всех к решительному штурму — и участок снова выполнил месячный план, снова получил переходящее знамя. После митинга, на котором вручались знамя и премии, торжествующий и, как никогда, уверенный в себе, Тураханов явился в библиотеку к Бахор. Он знал, что в этот вечер вряд ли сюда нагрянет кто из строителей: митинг закончился поздно, люди устали...

Бахор и правда была одна. Пристроившись за круглым столом, она приводила в порядок картотеку — ей не хотелось обременять лишней работой свою преемницу. Увидев в дверях Тураханова, она приветливо улыбнулась:

— Салам, Акрамхан-ака! Давно не заглядывали.

— Дела, дела, Бахорхон! То по району мотаетесь, как проклятый; вернетесь на участок — тут навалится миллион забот. Вон какой воз тянуть приходится!

Он с каким-то удовольствием жаловался на свою загруженность — приятно сетовать на трудности, когда они уже позади. Не дожидаясь приглашения, он снял запорошенное снегом пальто, шапку, повесил их на гвоздь. Одет он был, как всегда, с присущим ему сдержанным щегольством: китель, галстук, на ногах новенькие белые бурки. Он пригладил пальцами черные короткие усы, снимая с них примерзший снег, поздоровался с Бахор, задержав ее ладонь в своей... Она осторожно высвободила руку, вопрошающе посмотрела на неурочного гостя:

— Вы сегодня как именинник.

— Правильно, лично я — именинник. Переходящее-то опять у нас. Не зря работал как вол, недосыпал ночей — руководство оценило мои старания, выдвигает на пост председателя райисполкома. Можешь поздравить!

— Поздравляю, товарищ Тураханов!

Тураханов с обидой развел руками:

— Ну, зачем же так официально? Ты же знаешь, Бахорхон, для тебя я не начальство, а сосед, старший брат. Называй меня, как и прежде, Акрамхан-ака. Поверь, мне это приятно. Я так соскучился по тебе...

Бахор вдруг показалось, что Тураханов пьян: у него было багровое лицо, масляно поблескивали глаза, и она впервые заметила, какие у него красные, влажные, плотоядные губы... Тураханов словно угадал ее мысли:

— Думаешь, хмельной? Хмельной, да не от вина. Правда, выпили после митинга, в узком кругу. Надо же было отметить успех. И я тут же к тебе. Дарно я не видел тебя... Бахорхон...

Он приблизился к ней. Она невольно отшатнулась. Тураханов усмехнулся, отошел и вновь принялся выпрашивать вдоль библиотечной стойки.

— Кажется, ты боишься меня, Бахорхон. А ведь я к тебе с открытым сердцем.

Бахор, толком еще не сознавая, что значит эта перемена в поведении Тураханова, еще ни разу не говорившего с ней таким возбужденным, развязным тоном, все же поторопилась перевести разговор на другое:

— Акрамхан-ака! Я давно хотела сказать... Вас все не было...

— Говори, слушаю.

— Нам с отцом очень неловко. Мы тут на каком-то особом положении. Живем в отдельной землянке... Кормят лучше, чем других. Отец говорит, это по вашему указанию. Но так же нельзя! Я хочу, как все. Я уже поскандалила с вашим завхозом.

— Слышал, — кивнул Тураханов и пристально, чуть снисходительно взглянул на девушку. — Как ты еще молодая, Бахорхон! — Он облизнул губы, молча прошелся взад-вперед, словно обдумывая, как бы ей лучше все объяснить. — Пойми, девочка, всех досыта не накормишь. Война, продуктов не хватает... А вы мне все-таки не чужие. — Он снова бросил на нее пристальный, быстрый взгляд и, заметив, что она нахмурилась, послешно добавил: — Может, я и не прав, что выделяю кого-то. Так ведь я человек, а не камень. Больно смотреть, как надрывается твой отец: старик, а на самой тяжелой работе. Ему необходимо усиленное питание.

Бахор требовательно спросила:

— А почему же и мне?

Тураханов шагнул к ней, остановился, покачал головой:

— Неужели ты ничего не видишь, Бахорхон? Лично я... на все для тебя готов! Да, кстати... — Он достал из кармана маленькие часики, положил на стол перед Бахор. — Это тебе от меня. Скромный подарок. В залог нашей будущей дружбы.

Щеки Бахор размялись от стыда и негодования. Резким движением она оттолкнула часы, но Тураханов сунул их ей под ладонь и прикрыл ее руку своей.

— Не возьмешь — обидишь. Сегодня нас премировали ценными подарками. Считай, что это твоя премия.

Бахор выдернула руку:

— Я еще не заслужила премии.

— Ты заслуживаешь большего! Бриллианту нужна достойная оправка. — Тураханов, как бусы, панизывал круглые слова. — Я вправе распределять премии по своему усмотрению. Носи на здоровье эти часы, с ними ты будешь еще красивее. — Легкая хрипотца прорвалась в голосе Тураханова, взгляд помутнел. Он наклонился к Бахор и попытался обнять ее. — Ты красивее всех, кого я знал!

Бахор с неожиданной силой стряхнула со своих плеч руки Тураханова, вскочила со стула:

— Как вам не стыдно!

Она стояла перед ним, напряженная, как струна, жаркое пламя просвечивало сквозь кожу, глаза метали молнии... Тураханов откровенно любовался ее гневом, похотливая улыбка блуждала на его красных, как шпавки, губах:

— Стыдно? Когда ты сердишься, ты еще прекрасней! Как же стыдиться любви к такой красавице?

Бахор была так потрясена и растеряна, что только и смогла повторить:

— Как не стыдно! — Она закрыла пылавшие щеки ладонями, устремила на Тураханова испуганный, полный страдальческого недоумения взгляд. — У вас беда жена...

Но Тураханова не так-то легко было выбить из седла. В ответ на возмущенный возглас Бахор он пренебрежительно пожал плечами:

— Жена!.. Я говорил тебе, что не выгоняю ее только из жалости. Поверь, это обуза на моей шее, но без меня она пропадет! — Он смотрел прямо в глаза Бахор. — Однако ради тебя... ради тебя я пошел бы на все!

Бахор с вызовом вскинула голову:

— Даже на подлость?

Тураханов рассмеялся:

— Зачем такие громкие слова? Кто знает, что такое подлость? Ты знаешь? Ты еще ничего не смыслишь в жизни. В ней все относительно — низкие и высокие понятия. Существует один лишь верный критерий: общественное мнение. Человек — это то, что о нем думают другие. Не делай больших глаз, Бахорхон! Учись трезво смотреть на жизнь.

Бахорхон задохнулась от возмущения:

— Трезво?! Прощать себе всякую подлость — это вы называете трезво смотреть на жизнь? Если бы вы не были пьяны... Это вино в вас говорит! Я не верю, не верю!..

Она готова была расплакаться; все, что сделал и говорил Тураханов, казалось ей страшным кошмаром. Она и сама была как во сне: ей снилось, что Тураханов, небрежно приосанясь, стоит перед ней и смотрит на нее пьяно прищуренными глазами, и усы хищно шевелятся под его мясистым носом... Вот он шагнул к ней, недобро ощерясь, лицо налилось тяжелой багровостью, даже шея побагровела... Бахор загородилась рукой, как от удара, и вскрикнула:

— Не смейте! Уходите отсюда! Сейчас же уходите!

Ее обдало перегарным жаром его дыхания, и, уже не помня себя от страха и отвращения, она с силой оттолкнула надвигавшуюся на нее бесформенную, как во сне, громаду его тела, отбежала к двери, широко распахнула ее:

— Уходите!.. Или я позову на помощь!

Тураханов стоял, прислонясь к стойке, куда его отшвырнула Бахор, прерывисто дышал, постепенно входя в себя. Черты его лица отяжелели, как всегда, когда на него накатывала слепая ярость. Он выпрямился, одернул китель, ни слова не говоря, направился к двери. Бахор инстинктивно отстранилась, он прошел мимо медленной, грузной походкой, надел пальто. Уже уходя, метнул на девушку злобный, мстительный взгляд...

Холод волнами врвался в помещение, но Бахор не чувствовала холода. Вдруг ее взгляд упал на стол, где блестящие оставленные Турахановым часы. Она кинулась к ним, схватила, снова метнулась к двери:

— Возьмите! Вы забыли! Ваши часы!

Он не обернулся. Исчез в непроглядной, ненастной мгле...

Бахор закрыла дверь, зашла за стойку. Часы жгли ей ладонь. Она бросила их в ящик своего рабочего столика брезгливо, словно держала в руках холодную, скользкую змею, и певольным движением вытерла ладонь о юбку.

А потом бессильно опустилась на стул, закрыла лицо руками и разрыдалась...

14

Из библиотеки Бахор ушла поздно, но не торопилась с возвращением в землянку: хотелось немного успокоиться после этого ужасного разговора. Отцу она решила ничего не говорить, чтоб не ранить его доверчивое, доброе сердце.

Медленно брела она домой. Дорога была еле различима в безбрежной, словно пустыня, темноте; вокруг, как барханы, шевелились под ветром сугробы снега. Вьюга завывала на разные голоса, но Бахор слышала только голос своего сердца, голос, полный боли и негодования... Негодяй! Как искусно прикидывался он все это время «добрым соседом»! Околдовал своими речами

отца да и ее, Бахор... Как она могла ему верить? Пулат, тот давно сомневался в искренности турахановских намерений, а она, глупая, еще обвиняла своего друга в безрассудной, слепой пристрастности. Сама она была слепа!

Бахор передернула плечами; казалось, они еще ощущали жар и тяжесть турахановской руки. Негодяй!.. Как он посмел? Для него нет ничего святого — ни семьи, ни любви, ни дружбы. Как он посмел подумать, что она, Бахор...

Она оступилась, упала в сугроб. Поднялась, машинально отряхнулась, долго смотрела на обледенелую дорогу, по которой, как юркие белые ящерицы, сновали подгоняемые ветром струи сухого снега. Лед словно дымился... И такие же вихри, вздымаясь, переплываясь, обжигая холодом, бушевали в душе Бахор.

А разве это справедливо — обвинять во всем одного Тураханова? Она-то хороша!.. Он при ней обливал грязью свою жену — она слушала его с участием и сострадаaniem. Зная, что она дружит с Пулатом, он принялся травить его, вертел жернов над его головой, стремился приизнить Пулата в ее глазах, хотел разрушить их дружбу, и поэтому, только поэтому отказался взять его на стройку. А что она сделала, чтобы защитить их дружбу? Она защищала Тураханова от нападок Пулата! Стоило Пулату хоть словом задеть Тураханова, как она спешила за него вступиться, назло, да назло Пулату! Она таяла, словно леденец, от лстивых, вкрадчивых речей Тураханова. Она уехала на стройку вместе с ним, в его фэртоне, да еще потребовала, чтоб Пулат провожал ее! Что ж после этого удивляться притязаниям Тураханова? Она дала для них тысячи поводов. Дура доверчивая! Доверчивая — к Тураханову, несправедливая — к Пулату...

Поглощенная мыслями, от которых душу обдавало холодом, она не замечала ничего вокруг: ни мороза, ни ветра, лизавшего ей щеки шершавым, как наждак, языком. Ее гнев, стыд и раскаяние были сильнее вьюги, невыносимее жгучего мороза... Но вскоре она почувствовала, как заоченели ноги в шевровых сапожках, руки в шерстяных рукавичках. Она глубже надвинула на лицо пуховый платок, который топорщился мягкими иглами инея, серый каракулевый воротник шубки тоже был в

инее. Она пла, как слепая, то и дело спотыкаясь, и все не оставляли Бахор растрavляющие душу, беспокойные думы.

А может, Пулат оттого и ушел со стройки, что узнал о приезде Тураханова? Не случайно же уход одного совпал с приездом другого. Пулат все видел, все понимал. Он старался и ей открыть глаза на Акрамхана-ака. А она ерепенилась, упрямо стояла на своем: Тураханов — добрый сосед, скромный, заботливый... Она хотела верить в хорошее в нем! Ее с детства воспитывали в доверии к людям. Им и надо доверять! Но в то же время надо уметь разбираться, кто тебе настоящий друг, а кто подкрадывается с камнем за пазухой...

«Где-то ты теперь, Пулат, верный друг, столько вытерпевший из-за моей слепоты, из-за моего упрямства? Что с тобой? Уж не болен ли ты? Как мне разыскать тебя, чтоб повиниться во всем? Я сама никогда не прощу себя, а ты должен простить, иначе мне будет так трудно, так невозможно трудно, что хоть головой об лед! Был бы ты сейчас рядом, любимый — да, любимый, любимый! — я бы открыла тебе свое сердце, призналась во всем, что меня терзает, я бы взглянула в твои огромные, честные глаза, заставила бы их потеплеть и сама бы успокоилась. Ох, Пулат, у меня сердце разрывается, когда вспоминаю, как мучила тебя, как помогала этому пегодья мучать тебя! Пулат, Пулат! Я бы сейчас не постеснялась обнять тебя и была бы самая-самая счастливая в мире, счастливая на всю жизнь. Я ведь знаю, ты любишь меня, родной мой, самый сильный, самый зоркий и справедливый!.. — Ей вспомнилось, как Пулат свалил в реку громадину камень, придавивший нежные, беспомощные цветы. — У тебя львиное сердце, Пулат!.. — Что бы я не дала сейчас, чтоб только увидеть тебя!»

На глазах у нее выступили слезы. У самой землянки она замедлила шаги, вытерла глаза, подождала, пока сердце станет биться ровнее и спокойнее, и лишь после этого вошла в землянку.

Халил-ата не спал, он с тревогой взглянул на дочь.

— Что так припозднилась, доченька?

Бахор, раздеваясь, ответила как можно непринужденнее:

— Отец, я же сдаю дела. Вот и задержалась.

— Ты уже решила? Будешь работать со своими подружками?

— Да, отец, с завтрашнего дня.

Старик, ворочаясь на своем тюфяке, следил за Бахор. Ее лицо показалось ему расстроенным, но он объяснил это тем, что ей жалко расставаться со своими книжками — свыклась за столько-то месяцев с работой, несущей людям свет и знания.

— А с Акрамханом говорила? Отпустит?

Бахор вздрогнула:

— Не имеет права не отпустить! — И, испугавшись, что по ее взволнованному, непримиримому тону отец может заподозрить неладное, уже мягче добавила: — Девушки обещали похлопотать за меня в управлении.

— Вот и ладно. — Старик прикрыл ладонью сладкий зевок. — Ложись, дочка. Поди, умаялась.

— Спокойной ночи, отец.

— Счастливого утра, дочка!..

15

На другой день, ближе к обеденному перерыву, Бахор поспешила на Каттасай, к своим подругам-электросварщицам. Вьюга стихла, но небо было обложено низкими, свинцовыми тучами, сквозь которые еле проглядывал тусклый диск солнца. И мороз по-прежнему пробирал до костей. В такую морозную, сумрачную погоду все вокруг кажется особенно неуютным...

Но тоску с души Бахор как рукой сняло, когда она увидела своих подруг, веселых, жизнерадостных, чем-то возбужденных. Ведь молодых пьянит сама молодость!

Надя первая бросилась к Бахор:

— Бахор!.. Ура!.. Мы все устроили. Ты теперь с нами! — Она обняла Бахор и, кружась с ней, затараторила: — Да здравствует гвардейская бригада боевых подруг-электросварщиц!

Видно, придуманный ею лозунг рассмешил ее, она отпустила Бахор и расхохоталась. Зульфья, не прекращавшая работу, подняла на лоб железный щиток, защищавший лицо от бело-голубых искр электросварки, строго сказала:

— Особенно радоваться нечему. — И, заметив недо-

уменьший взгляд Бахор, с той же серьезностью объяснила: — Разбивают нашу бригаду.

Амина, грустно потупясь, кивнула:

— Разлучают нас, Бахор!

— В чем дело, девушки? — встревожилась Бахор, вмиг забыв о собственных неприятностях. Она посмотрела на Надю, та пожала плечами:

— Зульфия тебе обо всем подробно доложит. На меня сегодня смехунчик папал!

— Сегодня!.. — с иронией сказала Зульфия. — А вчера? А позавчера? — Она сняла щиток. — Ладно, девушки, пошли обедать. По дороге я все расскажу.

И когда они шли в столовую, принялась рассказывать, обращаясь к Бахор:

— Понимаешь, с каждого участка на строительство металлургического завода направляют двух-трех специалистов. Тут мы уже почти всю работу закончили. Вот в управлении и решили: двух электросварщиц оставить на Каттасае, а остальных двух...

— Нас ведь теперь четверо! — с застенчивой гордостью вставила Амина.

— Да. А двух перевести на строительство завода, там пужны электросварщики. — Зульфия сокрушенно вздохнула. — Вот и ломай теперь голову, кому тут остаться, кому на завод... Ничего страшного, конечно, нет, столовая одна, общежитие тоже. Но работать врозь придется...

— Что же делать, девочки? — жалобно проговорила Амина и робко спросила: — А всем нельзя на завод?

— Нельзя! — отрезала Зульфия. — Интересы стройки требуют...

Надя махнула рукой:

— Завела!.. — И вдруг оживилась. — Ой, девочки, давайте жребий бросим?

Зульфия опять осуждающе взглянула на нее:

— С тобой ни о чем нельзя серьезно.

— Честное комсомольское, я серьезно!

Бахор, молчавшая все время, просяще сказала:

— Девочки! Меня — на завод...

— Тебя? — удивилась Зульфия. — У тебя же здесь отец.

— А я скажу: бригада решила послать меня на завод, нельзя было отказаться.

— Ну, пагородила целый огород! Бригада ничего не решала...

— Прошу, девочки!..

Было в умоляющем тоне Бахор что-то такое, что заставило Зульфию внимательно и озабоченно посмотреть на нее. Даже Надя посерьезнела:

— Стряслось, что, Бахор?

Девушки всегда делились друг с другом самым сокровенным, и Бахор не стала таиться от подруг: еле сдерживая слезы, рассказала им о вчерашнем столкновении с Турахановым. У Амины совсем по-детски округлились глаза. Надя тихонько охнула:

— Ох, девочки, что ж это делается!

Зульфия шагала, сосредоточенно хмурия брови.

Некоторое время все молчали. Наконец все та же непоседа Надя, разгоревшаяся, как костер на ветру, воскликнула:

— Надо его проучить, Бахор! Мы выведем его на чистую воду!

Амина только печально вздохнула, а Зульфия сердито покосилась на Надю:

— Несерьезно, Надежда. Что он такого сделал? Признался в любви. Его любовь отвергли. Он ушел.

Надя сжала кулачки:

— Разложила все по полочкам!.. Что он сделал? Да как он посмел приставать к Бахор! Он семейный человек. Это же моральное разложение...

— Ты не кипятись. Моральное разложение... Он что, соблазнил кого? А любить никому не запрещено. Жизнь сложнее, чем ты думаешь.

— А что он ей наплел? О праве на подлость?

— Ну, этого мало, чтоб на человека ярлык вешать. Это только Бахор слышала. Мы ей верим, поверят ли другие? Тураханов пользуется на стройке заслуженным уважением. — Зульфия задумалась. — Бахор права, лучше ей на завод. Если он и после этого не оставит ее в покое, мы примем меры...

Надя помотала головой:

— Ох, уж эта твоя рассудительность!

Но она привыкла во всем слушаться Зульфию — та была среди них самая старшая, самая серьезная и спокойная. К тому же Надя сама не очень-то ясно представляла себе, как им следует поступить в таких вот

сложных обстоятельствах. Все-таки речь шла не о ком-нибудь — о Тураханове!

Зульфия между тем продолжала:

— Надо подумать, кто пойдет на завод вместе с Бахор.

— Можно я? — попросила Амина.

— Нет! — решительно сказала Зульфия. — Бахор нужна напарница постарше, опытная, умелая. А за тобой самой еще присматривать надо.

— Я умелая! — сказала Надя. — И самая серьезная! — И зашла в хохоте.

Зульфия решила не обращать на нее внимания. Она направила лоб в раздумье, потом безапелляционным тоном произнесла:

— Я пойду с Бахор. А ты, Надежда, шефствуй над Аминой. Каждый день будем друг перед другом отчитываться. Договорились?

Столовая, к которой были прикреплены электросварщицы, находилась на другом берегу реки. Когда они подошли к мосту, Зульфия вдруг остановилась, ее строгие глаза просияли, она торжественно проговорила:

— Девочки!.. И давайте дадим друг другу клятву. Что бы с нами ни случилось, никогда не расставаться! Дружить всю жизнь!

— Ура, Зульфия! — радостно отозвалась Надя. — Клянемся, девочки!

— Клянемся!

— Клянемся!

— Клянемся!

Они веселой гурьбой взбежали на мост, только Бахор осталась стоять на месте.

— Погодите, девушки!

— Ты что? Разве не с нами? — спросила Зульфия. — Можешь уже сегодня у нас пообедать.

— Мне надо... к Тураханову.

На Бахор уставились три пары изумленных глаз:

— К Тураханову?..

— Надо же его предупредить...

— Ладно, Бахор, — сказала Зульфия. — Ступай. До вечера! Вечером зайдешь к нам?

— Обязательно!

Надя погрозила Бахор крепким своим кулачком:

— Смотри, держись! Эх, мне бы с ним встретиться. Я бы ему показала!..

До чего же не хотелось Бахор идти к Тураханову!.. Но ведь она так и не успела сказать ему вчера о своем решении оставить библиотеку. И его часы все еще у нее. Надо отдать их. В конце концов, чего ей бояться? Начнет снова лезть к ней со своими признаниями, так она сумеет дать достойный отпор!

И все-таки у дома Тураханова она задержалась... Ноги словно приросли к земле. Может, на ее счастье, его нет дома? Но тотчас же она рассердилась на себя: к чему медлить, все равно ведь придется с ним встретиться! Она должна справиться со своим малодушием, иначе потеряет всякое уважение к себе...

Бахор решительно толкнула дверь.

Тураханов был у себя, восседал за письменным столом, роясь в каких-то бумагах. Когда вошла Бахор, он поднял голову, губы его скривились в злорадной усмешке:

— Явилась, госпожа недотрога! Не ожидал.

Он хотел было встать ей навстречу, но она предупредила его движение — торопливо вытащила из кармана часы, положила их на стол:

— Вот... Вы вчера забыли в библиотеке.

Она смело смотрела ему в глаза, по-прежнему неприступная, гордая, нераскаившаяся... Тураханов, как вчера в библиотеке, невольно залюбовался ею, но в то же время он понял, что ни за что не сладить ему с этой упрямницей. Бессильная злоба обуяла его, он поднялся, уперся в стол кулаками, тяжелым взглядом уставился на Бахор.

— А не надоела ли тебе библиотека, Бахорхон? Лично я на твоём месте со стыда бы сгорел: война идет, а ты, молодая, здоровая, пригрелась среди книг... в то время как твои подруги, не жалея сил, работают на самых трудных участках!

Он говорил еще какие-то пустые высокопарные слова, а Бахор глядела на него широко раскрытыми глазами, не испытывая даже возмущения, только в горле бился щекочущий смех и наконец вырвался наружу. Она рассмеялась в лицо Тураханову:

— Акрамхан-ака! Вы мне мстите? Хотите за вчерашнее наказать трудной работой. Да я уж давно решила уйти из библиотеки! Я и пришла к вам сказать об этом,

Меня приняли в бригаду электросварщиц. — Она положила перед Турахановым еще утром написанное заявление и ключ от библиотеки.

У Тураханова лицо налилось кровью. Он чувствовал себя бессильным перед насмешливым спокойствием Бахор. Ему-то казалось, что она дорожит теплым местом в библиотеке — это ведь не землю копать, вот он и решил припугнуть ее, чтобы знала, с кем имеет дело. А она обвела его вокруг пальца! Ох, уж эти доморощенные героини!

А Бахор, пользуясь минутным замешательством Тураханова, продолжала:

— Вы, паверно, забыли, что самп уговаривали меня пойти в библиотеку. А я просила разрешить мне работать паравне со всеми. Это самое мое горячее желание! А вы... вы этим хотите меня наказать?.. — Глаза у нее потемнели. — Какой же вы страшный, Тураханов! Ничего-то вы не понимаете!

К Тураханову наконец вернулся дар речи. Багровый от душившейся его ярости, он навис всем телом над столом, ткнул пальцем в дверь:

— Вои, девчонка! Слишком много воли вам дали! Убирайся на все четыре стороны!

— Вы не бойтесь! — сказала Бахор напряженно-звонким голосом. — Я никому ничего не расскажу.

— Вои!.. — взревел Тураханов.

Бахор повернулась с независимым видом и ушла.

Если бы она знала, что Тураханов так же выгнал и Пулата! Из презрения к его юности и неопытности, желая поставить его на место, он позволил себе слегка пооткровенничать с ним, но, увидев, какой протест вызвали в юноше его слова, выставил его, как и Бахор, за дверь. Его бесила их независимость — ну и молодежь пошла, начали замахиваться на авторитет старших. Надо бы приструнить их, пока не поздно! Ни с чем не считаются, молокососы... Но он был слишком уверен в своих силах, в своем превосходстве над ними, чтобы долго думать об их опасном бунтарстве. Других забот хватало, и, как только Бахор ушла, Тураханов опять погружился в бумаги. Положение на участке складывалось такое, что было над чем поломать голову...

Бахор с этого же дня начала работать электросварщицей на строительстве завода. Халил-ата после ее уxo-

да перебрался из землянки в общежитие кузнецов — глинобитную мазанку, находившуюся поблизости от областной кузницы. Тураханов больше не опекал его «соседски», чему старик был только рад, а при встречах с Халилом-ата уполномоченный райкома не подавал и вида, что между ним и Бахор пробежала черная кошка.

И получилось так, что Бахор, мечтавшая о встрече с Пулатом, но не подозревавшая, что он был почти рядом с ней, своим уходом на завод отдала возможность этой встречи. Теперь они работали еще дальше друг от друга, и помочь им могла только случайность...

17

Пулат и не заметил, как на стройку пришла весна. Пронизывающие ветры, с прежней неутомимостью обдувавшие Галабастрой, несли теперь с собой сырость и неуловимые запахи близкого цветения земли. Пулат с наслаждением вдыхал волглый, теплеющий воздух, не думая о том, как он опасен, и сладкая, щемящая тревога разливалась в груди...

Он работал вместе со всей бригадой на реке, где возводилась плотина. Это было царство бетона. Но техники для его укладки и уплотнения не хватало, и это сказывалось на темпах работ. Однажды Никитин позвал к себе в палатку Пулата и Рустама. Обращаясь к Пулату, спросил:

— Ты ведь десятилетку кончил, верно?

— Н-ну... кончил, — сказал Пулат, не понимая, куда клонит бригадир.

А тот продолжал с пытливым лукавством:

— И государство, наверно, немало средств затратило на твое образование?

— В чем дело, Сергей Иванович?

— В том, что ты в долгу у народа, а долг платежом красен. Ясно?

Пулат засмеялся:

— Отец мой любил говорить: ясно, но непонятно.

— Тогда поясню. Нельзя допускать, чтобы государственные, народные средства были пущены на ветер. Теперь понял?

— Ничего не понял!..

Никитина, видно, забавляла эта игра. Он развел

руками, как бы удивляясь непопятливости Пулата, и, словно ища поддержки, перевел взгляд на Рустама:

— До чего же несообразителен твой ученик! Уж кажется, проще простого: народ — тебе, ты — народу. Верно, Рустам?

Рустам почесал затылок:

— Что-то я тоже туго стал соображать. У меня к Пулату никаких претензий. Всего себя отдает работе...

— А у меня претензии к вам обоим.

— Ну что загадки загадываешь! — взмолился Рустам. — Выкладывай, что ты от нас хочешь.

— А я как раз и хочу загадать загадку... У тебя, Рустам, опыт, фронтовая смекалка. У Пулата светлая голова, недаром целая армия учителей над ним хлопотала. Даю вам три дня срока. Пошевелите мозгами да придумайте, как быть. Всем нам надо крепко подумать! Сами видите: зашиваемся! Ну пока заливаем котлован, еще туда-сюда — и управимся. А дальше? Народу и машин — кот наплакал. Не уложимся в график. Надо, как это говорится... искать скрытые резервы. Вот и ищите. Обмозгуйте все варианты, которые помогли бы нам ускорить укладку бетона. Теперь ясно?

Рустам опять потянулся к затылку:

— Да, задал задачку! Какой из меня рационализатор? Тут особый талант нужен.

— На фронте-то попадал, наверно, в разные пердряги?

— Случалось.

— И находил выход? То-то. Что ж у тебя, особый военный талант был?

— Обстоятельства заставляли, Сергей-ака!

— Считай, что и мы пынче вроде как в окружении. И надо из него вырваться! Надо, Рустам, дорогой!.. Пулат, сынок, надо!.. Понимаете, други, вот как надо! — И Никитин провел ребром ладони по горлу.

Это «надо» крепко засело в сознании Пулата. Их участок и правда не сегодня-завтра мог очутиться в прорыве. Они с Рустамом извелись, ломая головы над заданием Никитина. Помогала им вся бригада. А решение оказалось неожиданно простым: если плотину строить, не заливая в нее бетон, а складывая, как дом, из кирпичей — дело пошло бы быстрее? Куда быстрее! А можно делать кирпичи из бетона и связывать их тоже бетоном?

Прикинув так и этак, произведя несложные подсчеты, друзья пришли к выводу: можно!

Так родился новый строительный материал — блок-бетон. В дальнейшем он получил широкое распространение на стройке.

Когда Пулат и Рустам доложили бригадиру, что задание выполнено, Никитин, обняв и расцеловав обоих, помчался в управление доказывать преимущества нового метода укладки бетона. Но настоянию Пулата и Рустама он представил там их предложение как инициативу всей бригады.

В управлении горячо поддержали новаторов. Это был крупный успех строителей плотины.

Пулат был на седьмом небе от счастья.

И чем больше сил, страсти, умения вкладывал он в свою работу, тем крепче привязывался к профессии бетонщика. Бригада Никитина стала ему второй семьей. И его любили в бригаде за неутомимость, упорство, за полную отдачу сил.

Он уже не мыслил себя без своей бригады, без своей работы. Его волновал запах бетона, он с гордостью послал свою рабочую одежду: забрызганные бетоном кирзовые сапоги, белые прорезиненные брюки и спецовку.

Как-то, когда он уплотнял бетон электровибратором, выглянуло солнце — оно все чаще пробивалось сквозь серые тучи, растапливая, превращая в веселые ручьи остатки снега, как кнутом, погоняя эти ручейки золотыми лучами... Пулату стало жарко, пот катился по лицу. Он снял спецовку, бросил ее на земляную насыпь, высившись на краю котлована, и снова налег на вибратор — дрожь вибратора передавалась рукам, плечам, всему телу, а бетон не поддавался. Вскоре и рубашка на Пулате насквозь промокла от пота... Кто-то легонько хлопнул его по спине. Пулат, словно очнувшись от светлого сна, обернулся, увидел рядом с собой Никитина. Бригадир озабоченно, с укоризной смотрел на юношу:

— Оденься, сынок. Веспа — особа коварная; ты ей не очень-то доверяй. Гляди, прохватит, опять сляжешь.

Пулат, прищурясь, кивнул на небо:

— Солнышко-то какое!

— Оно, сынок, только еще собирается с силами. А ветер прохладу с гор несет.

— Ветер теплый!

— Это тебе сгоряча кажется. Такой свежачок — только держись! — Он отобрал у Пулата вибратор и ласково, строго повторил: — Оденься.

Пулат поискал глазами свою спецовку — ее не было на месте. Во взгляде юноши мелькнула тревога. Он взобрался на насыпь. Куда же она могла задеваться? Никакая другая пропажа не огорчила бы так Пулата. В эту минуту он с особой остротой ощутил, как дорога ему рабочая одежда. И когда он наконец увидел свою куртку — ее унесло ветром впиз по обнаженному дну реки, — лицо его озарилось радостью. Он сбежал с насыпи, кинулся к спецовке, схватил ее, прижал к груди и тут же подумал с восторгом и удивлением: как же он сжился за это время со всем, что окружало его на стройке, сколько у него появилось новых привязанностей!.. И еще подумал: когда ему выдадут военное обмундирование, он, наверное, вот так же крепко и любовно прижмет его к сердцу, но и на фронте не забудет о днях, проведенных на Галабастрое, о своих друзьях по работе, о своем хищно-нетерпеливом друге вибраторе и об этой спецовке, оберегавшей его от дождей, ветров и морозов, пропитанной его потом, остро пахнущей резиной и бетоном...

Он на ходу натянул на себя куртку. Никитин поджидал его, дымя трубкой. Оглядев юношу, удовлетворенно кивнул:

— Вот так. Береги себя, сынок. Геройство-то хорошо, когда со смыслом и к месту.

— Спасибо вам, Сергей Иванович! Болеть мне совсем не хочется! — Пулат заглянул в глаза бригадиру. — Сергей Иванович! А я ведь за всю зиму ни разу не захворал!

Никитин ласково потрепал его по голове:

— Так держать, сынок! Ты у меня молодцом. Вон как возмужал-то!

Пулат вдруг почувствовал, как нежданная грусть острым коготком царапнула его по сердцу. Сколько новостей накопилось у него за последнее время, сколько невысказанных чувств теснилось в его груди! Как ему не хватало сейчас Бахор, той, прежней Бахор, от одного взгляда которой светлело вокруг и теплело на душе... Как ни старался Пулат не думать, не вспоминать о ней,

он не мог подавить в себе любовь к Бахор. Пожалуй, только теперь он и понял, что любит ее. Любил и любит горькой любовью, омраченной изменой Бахор. Пулат часто с тоской повторял про себя: как она могла, как она могла? И эти думы томили его, а сердце будоражили весенние ветры, рождая в нем неутолимую боль. Но плечи его не сникли, а распрямились, чувство оскорбленной гордости заставило его высоко держать голову.

Так бывает только у сильных.

18

Весна всем прибавила хлопот, в том числе Тураханову и Халмату.

Колхозники на турахановском участке болели все чаще, и все труднее становилось заполучить в районе лишнюю рабочую силу — на посу была посевная. Из-за нехватки людей строительство перемычки оказалось под угрозой срыва.

Перемычка должна была перегородить Каттасай, чтобы во время возможного паводка отвести воды небольшой, но бурной горной речушки от участка, где сооружалось бетонное русло канала через Каттасай. За эту часть канала также отвечал Халмат, и Тураханов требовал, чтобы он в первую очередь заботился о строительстве именно бетонного русла: от успешного хода этих работ во многом зависели общие показатели турахановского участка. Халмату пришлось все силы бросить туда, а под началом у него было всего-то около ста дехан, не считая кадровых рабочих.

К возведению Каттасайской перемычки он приступил с большим запозданием, когда уже нагрянула весна, а весну предсказывали дружную, с паводками, селевыми потоками, разливами рек. Стоило хоть чуть задержаться со строительством перемычки — и Каттасай, разбухнув от весенних вод, вобрав в себя быстрые горные ручьи, дождевую воду и талые снега, налившись силой и яростью, мог свести на нет все усилия строителей бетонной части канала.

Халмат позабыл о сне и отдыхе, колхозники, запружавшие Каттасай, валялись с ног от усталости, и все-таки с каждым днем становилось все яснее, что им не

обогнать весну, не закончить перемычку до паводка. Халмат первничал. Он сейчас ненавидел солнце, припекавшее все сильнее, — оно плавало снега в горах; ненавидел собиравшиеся в небе облака — они сулили дожди, от которых обычно рождались самые могучие паводки. С угрюмой злостью и страхом смотрел Халмат на все мутнеющую гладь Каттасая — река, казалось, распухла, вздувалась у него на глазах! Шайтан бы ее побрал! Из-за нее он, Халмат, может опозориться на всю стройку — он уже видел торжествующие ухмылки на лицах Рустама и Пулата: хвастать-то ты, мол, мастер, а как дошло до дела — провалился с треском; надувался, надувался да и лопнул, как эти вот пузыри на воде! Высоко взлетел — низко падать...

Эти мысли жалили его мозг, как осы.

Что же предпринять, чтоб спасти свою рабочую честь? Поднажать на строителей перемычки? Что с них взять — они и так, того гляди, надорвутся. Вот если б ему прибавили людей...

И когда на берегу Каттасая появился в сопровождении верного Махсумчи Тураханов, Халмат бросился к нему, видя в нем последнюю надежду:

— Акрамхан-ака! Вот здорово, что вы пришли. Выручайте! Не укладываемся в сроки.

Тураханов, вскинув бровь, смерил Халмата суровым взглядом:

— Что значит: не укладываемся? И при чем тут лично я? Ты прораб этого участка, на тебе вся ответственность.

У Халмата дергалась щека в нервном тике:

— Что я могу сделать? И так бьюсь как рыба об лед. Вода-то все прибывает; как хотите, а не успеем к паводку...

— Ну, насчет паводка, это еще вилами по воде писапо, по той воде, которой ты так боишься! — Тураханов улыбнулся собственной шутке, и Махсумча, увидевшийся вокруг, как угорь, рассмеялся мелким, дребезжащим смеником. — Рано, товарищ прораб, ударился в панику. — Скривив губы, он обернулся к Махсумче: — Вот и работай с такими! Лично я, понимаешь, оказал ему доверие, из совхоза вытащил, выдвинул на ответственную должность, и я же должен его выручать! Спасибо, братец, обрадовал. Этак вы всю стройку на мои плечи взвалите!

Махсумча, не отрывая от Тураханова преданного взгляда, машинально потирая сложенные на животе руки, будто он торопливо мыл их, восторженно воскликнул:

— А вы бы справились, товарищ Тураханов! У вас такие крылья — на любую вершину взлетите!

— Взлетишь с такими молодчиками! — Тураханов насмешливо посмотрел на Халмата. — Баба! Размазня! Сам-то все возможности использовал? Все выжал из своих людей?

Однако и Халмат был не из тех, кто лезет за словом в карман. Покраснев от обиды, он самолюбиво отгрызнулся:

— Выше себя не прыгнешь! Ждем на всю железку.

— А ты помнишь золотые слова, что нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять? Ты ведь комсомолец?

— Ну, комсомолец.

— И как вижу, мечтаешь вылететь из комсомола?

Халмат почувствовал себя так, будто арбуз выпал у него из-под мышки. Он безнадежно махнул рукой:

— Если вы так, то и мне все равно!

Тураханов решил, что пора сменить гнев на милость — достаточно с прораба того нагоняя, который он ему задал. Он покровительственно похлопал Халмата по плечу:

— Ну, ну... Уж и надулся. Если вам не накрутить хвост — совсем руки опустите. Говори, чем лично я могу тебе помочь?

У Халмата просветлело лицо, он возбужденно проговорил:

— Мне бы еще хоть пятьдесят рабочих. Мы тогда в момент управимся!

— Пятьдесят человек? У тебя, вижу, губа не дура. Что ж я тебе, рожу их, что ли?

Махсумча опять издал восхищенный, подобострастный хохоток. Тураханов строго покосился на него, завхоз тотчас умолк и вместе с Турахановым выжидающе уставился на Халмата. А тот, уязвленный насмешливым тоном Тураханова, побледнев, сказал:

— Перемычка сейчас — главное. Можно на время снять людей с канала, там дело терпит. На фронте все силы бросают на оголенный участок!

Тураханов надменно усмехнулся:

— Учи, учи, меня, дурака! Да ты понимаешь, что советуешь? В военных делах я, правда, разбираюсь неважно — где уж мне с тобой тягаться! Ишь!.. Суворов!.. У нас, в тылу, своя стратегия. Работу моего участка оценивают прежде всего по кубометрам вынутого грунта и уложенного бетона. Доходит? И если я сниму людей с канала, плана мне не уменьшат. А кто его будет выполнять? Или ты хочешь, чтобы участок лишился переходящего знамени? Лично я не могу допустить, чтоб на нас легло пятно позора!

Халмат хмуро взглянул на Тураханова:

— Тогда меня снимайте с прорабов!

— Вот как? — Тураханов прищурился. — При первой же трудности — в кусты?

Неожиданно из-за спины Тураханова выскочил Махсумча, визгливо проговорил, обращаясь к Халмату:

— Ты не паникуй, братец! Пока с нами товарищ Тураханов, бояться нечего. Уж не беспокойся, он найдет выход!

Тураханов брезгливо отстранил от себя завхоза:

— Ну, ну, без подхалимажа! Не люблю. А ты, дорогой прораб, не думай, что только у тебя одного голова болит за эту проклятую плотину. Лично я постараюсь что-нибудь придумать. Съезжу еще раз в район, может, дадут людей. Неужели в колхозах не найдутся настоящие патриоты, которые откликнулись бы на зов своих братьев — строителей Галабагэс?

Тураханов-таки не удержался, перешел на патетический тон. Махсумча восхищенно цокнул языком. Халмат только пожал плечами:

— Что ж, подождем. Паводок-то не завтра. — Он усмехнулся: — Во, скачки с препятствиями! Кто скорей: мы или паводок.

Тураханов положил руку ему на плечо:

— Не горюй, прораб! Такие ли препятствия нам, коммунистам, приходилось преодолевать! Но и ты смотри не подведи меня! Закатывайте рукава — и за работу! На штурм Каттасая! Схватим его за горло, прораб!

Он победоносным взором окинул пенящуюся реку, попрощался с Халматом и ушел твердой, начальственной походкой.

Махсумча засеменил следом, на ходу оглянулся, погрозил Халмату маленьким кулачком.

Халмат вздохнул и с тоской посмотрел на реку. Если бы они принялись запруживать ее хоть месяцем раньше, когда она спокойно текла под тонким льдом! А теперь в нее кидают, кидают землю, хворост и камни, а течение уносит их, и приходится все начинать сначала. Прямо прорва какая-то! Тут надо враз навалиться... В несколько сот рук! Где они, эти руки?

На Тураханова, конечно, можно положиться. Раз обещал помочь — поможет. Это ведь и в его интересах: не успеют они до паводка построить перемычку — с него первого шкуру спустят. Но пока-то дело обстоит так: перемычки еще нет и людей нет.

Он хотел было сбежать по обрыву к реке, где копошились строители, как вдруг кто-то окликнул его:

— Эй, приятель!

Халмат обернулся, к нему подходил Рустам. Влажная земля, казалось, пружинила под его могучим шагом. Халмат обрадовался, увидев своего бывшего бригадира: все-таки немало проработали вместе, немало построили новых домов! Но, верный своему самолюбивому праву, он напустил на себя важность — пынче он сам начальство, с ним не шути! Степенно поздоровавшись с Рустамом, он с пронией произнес:

— Командир решил поглядеть, как его солдат сам командует?

Рустам кивнул:

— Вроде того. Так как? Справляешься?

— Руковожу! — усмехнулся Халмат и неожиданно для себя признался: — И все шишки на меня валятся! Чья бы вина ни была — ты ответчик!

— На то ты и командир, братец. Командовать, приятель, — это прежде всего отвечать. Тут шкура нужна дубленая! — Он озабоченно оглядел берег, усыпанный грудами камней, земли, хвороста. — Поздно-то вы зачесались. Управитесь до паводка?

— А паводок то ли будет, то ли нет.

— Считай, что то ли будет! — засмеялся Рустам. — У меня кости ломит — к непогоде. Ты, приятель, готовься к самому худшему, так-то оно надежней.

Невольный вздох вырвался из груди Халмата:

— Сам знаю, поздно спохватились. Народу-то, видал, сколько?

— Не густо.

— Тураханов обещал еще достать.

— Откуда?

— А кто его знает. Как-нибудь вывернется, мужик напористый.

Рустам помолчал, потер ладонью круглую бритую голову:

— Хочешь, подмогнем по старому знакомству? В свободное от работы время?

Халмата словно обожгло. Кляня себя за откровенность, он запосчиво произнес:

— Обойдемся! Еще и вас возьмем на буксир!

— Ишь ты! — сказал Рустам. — Ершистый! Ты, приятель, все ж таки попомни — понадобится наша помощь, только кликни. И уж раз ты такой самолюбивый, считай, что не тебе будем помогать — всей стройке. Думаешь, случится беда на твоём участке, так это только твоя беда? Черта с два! Порвался, допустим, рукав у халата. Ведь пока ты его не залатаешь, так и халата не наденешь, верно? В одном месте дырка — это же дырка на всем халате!

— Валяй, воспитывай! — незлобиво буркнул Халмат.

— Не любишь? Мол, сами с усами? Ну, как знаешь. Прощевай, приятель!

Вечером в общежитии Рустам рассказал о встрече с Халматом Никитину и Пулату. Обращаясь к юноше, с недоумением проговорил:

— Чудно, приятель, у твоих земляков получается. Все время в передовиках ходят. А на участке — во какие прорехи! — Он широко развел руки. — Ох, долбанет по ним паводок — от всей их работы мокрое место останется. А по всему судя, не успеют они организовать достойную встречу этому грозному товарищу.

Пулат отвел в сторону хмурый взгляд:

— Самы виноваты.

— Малоутешительное соображение. Ведь всю стройку могут подвести, и нас тоже. Помочь им надобно.

Пулат с наивной пылкостью воскликнул:

— Помогать? Тураханову? С такими бороться надо, а не помогать!

Никитин неодобрительно покосился на юношу:

— Какая тебя муха укусила? При чем тут Тураханов? Рустам прав — участок Халмата один из решающих.

Пулат упрямо наклонил голову:

— Помогать Тураханову я не буду.

— Вот и говори с ним! — с досадой буркнул Никитин. — Я ему про Фому, а он про Ерему. Заладил: Тураханов, Тураханов!.. Дался тебе этот Тураханов! Ну, обидел тебя. Так ты не поддавайся личным чувствам. Не по-комсомольски это, сынок. Мы о Тураханове тоже достаточно наслышаны — заметная фигура на стройке. Может, и не без греха. Так ведь, как говорится, победителей не судят.

Пулат нахохлился:

— Если он победитель, что ж ему помогать? В пору дотягиваться до них, а не их подтягивать.

— Эх, сынок! — с укоризной сказал Никитин. — Замутила тебе душу обида. А через нее переступить надо ради общего дела. Мы ведь о чем толкуем? О перемычке. Может, Халмат что недоглядел. Слышал? Он и от помощи-то отказывается. С гонором парень! Не лежит у меня душа к таким вот... гонористым. О себе думает — не о стройке. Как и ты!

Пулат чуть не захлебнулся от обиды: как мог Никитин сравнить его с Халматом! Значит, и он, Пулат, с гонором? Только уважение к бригадиру удержало его от резкого слова. Но позднее, немного поостыв, он задумался над словами Никитина. А может, им действительно движут личные чувства? Знал бы Никитин, что он к тому же просто боится очутиться на турахановском участке, боится ненароком встретиться там с земляками, с Бахор! И разве все его наскоки на Тураханова — не мальчишество? Ишь, расхорохорился: не будет помогать Тураханову! Смешно он, наверное, если поглядеть со стороны: петушится, подпрыгивает, все норовит клюнуть Тураханова. И все, кто слушает его сердитое фырканье, вправе подумать, что он это от обиды. Высекли мальчишку, вот он и забился в угол, смотрит оттуда волчком, огрызается...

Несерьезно все это. Не в обиде же дело! Он знает о Тураханове больше, чем другие. И обязан разоблачить его перед всеми, да, разоблачить или хотя бы заставить всех насторожиться. Ведь он комсомолец, и комсомольская совесть не позволяет ему стоять в стороне, когда рядом вершится хоть малейшая несправедливость! Так говорил Анвар, и он прав!

Только действовать надо достойно, по-взрослому. Он правильно написал матери: мало рассказать о том, что знал и видел, Анвару или Рустаму с Никитиным. Что толку жаловаться каждому по отдельности, так сказать, в порядке живой очереди? Это ведь, как говорил отец, шепоток в карман. Ну, убедил бы и Никитина в своей правоте, а дальше?

Нет уж, бороться так бороться!.. В открытую!.. Всерьез!.. С верой в поддержку всех честных тружеников!

Сколько хороших людей узнал он за последнее время! Сколько раз ощущал на себе их дружескую заботу! Да, он в кругу друзей, где все друг для друга и друг за друга.

Ему нечего бояться!

А если он в чем и ошибется — его поправят. И он не станет попусту кивать: ведь если он окажется один против всех, — значит, не прав.

На днях на стройке состоится собрание партийно-хозяйственного актива. Руководители и передовики строительства соберутся, чтобы по-деловому обсудить положение на Галабастрое, потолковать об успехах и срывах, о планах на будущее, поразмыслить, что надо сделать, чтобы порадовать Родину досрочным выполнением взятых на себя обязательств.

И он, Пулат, выступит на активе. Просто поделится с товарищами по работе своими раздумьями и сомнениями, расскажет, что успел подметить, когда трудился на участке Тураханова.

Надо только хорошенько все обдумать, проверить себя. Не примешивается ли к его намерению желание отомстить Тураханову за то, что тот выгнал его со стройки, отнял у него Бахор? Достаточно ли важно, благородно и принципиально то, о чем он собирается повести речь на активе?

Мальчишеского злопыхательства, продиктованного личной неприязнью к Тураханову, ему не простят.

Он сам себе этого не простит!

То, что Тураханов увидел на Каттасе и услышал от Халмата, заставило его крепко призадуматься. Он не стал доискиваться причин, по которым на Каттасай-

ском участке создалось катастрофическое положение. Он не привык даже перед самим собой признаваться в собственных промахах, полагая, что не к лицу деловому человеку, каким он считал самого себя, копаться в прошлом, и потому, отбросив в сторону все побочные мысли, принялся искать выход из сложившейся ситуации.

Выход был один — раздобыть людей, штурмом взять возникшую на его пути преграду!

Иначе... Но и об этом «иначе» Тураханов не хотел думать.

А это «иначе» означало, что если ему не удастся вовремя закончить перемычку, то могли рухнуть все его честолюбивые, далеко идущие замыслы.

Тураханов недаром постарался закрепиться на Галабастрое как уполномоченный райкома. Руководящая работа на строительстве, которому уделял особое внимание республиканский ЦК, давала Тураханову выгодную возможность в полной мере проявить свои организаторские способности, отличиться, выдвинуться. В этом смысле стройка была подходящим трамплином для рывка вперед, а «вперед» значило для Тураханова — «выше». Председатель райисполкома был уже в возрасте да к тому же не отличался крепким здоровьем. Он вот-вот должен был оставить свой пост. Тураханов как раз и метил на его место.

Пока Тураханов был «на коне». Он не жалел ни себя, ни других, из кожи вон лез, чтобы быть на хорошем счету у руководства стройки. И его отмечали, хвалили; его участок, всегда выполнявший план, ставили в пример другим. В районе иные работники, из тех, что и прежде-то побаивались его властной твердости и решительности, начали перед ним заискивать. Он был близок к своей цели и уже с наслаждением представлял себе, как развернется, заняв высокий пост, поднявшись еще на одну ступеньку той лестницы, которая вела к все большей и большей власти! Уж тогда-то он рассчитается со всеми, кто пока еще осмеливается ему перечить, противится его воле, наносит удары по его самолюбию!..

Но чем ближе был он к цели, тем дороже мог ему обойтись любой срыв в работе. Задержка со строительством перемычки грозила ему большими неприятностями.

И он немедленно отправился в район, вознамерясь прибегнуть к испытанному способу, с помощью которого уже не раз поправлял дела на своем участке.

Ему нужны были люди. Рабочая сила. На поиски ее он и направил всю свою недюжинную энергию, но не достиг желанных результатов.

Обычно председатели колхозов скрепя сердце шли на уступки Тураханову, не выдерживая его натиска, но весна сделала их несговорчивыми: в эту горячую, страдную пору каждый человек в колхозах был на счету.

Оставалась последняя надежда — на школьников, старшеклассников. У них как раз начались весенние каникулы, и, если бы удалось привлечь их к работам на Каттасайском участке, положение было бы спасено.

Тураханов решил начать со школы, где он сам когда-то был директором.

Сутки он провел дома. Отдохнув, запасшись свежими силами, бодро вскочил на коня и поскакал в поле. Он выяснил, что школьники в дни каникул возлились в сад, который сами же разбили меж пшеничным полем и пришкольным участком. Лет пять назад, еще до войны, они посадили там яблони и урюк, груши и персики, гранаты и виноград и с тех пор заботливо ухаживали за деревьями. Вскоре сад стал плодоносить. А в этом году ожидался особенно обильный урожай: все деревья благополучно перезимовали, рано зацвели, и ребята радовались, представляя, сколько фруктов соберут они нынешней осенью в подарок своим старшим братьям-фронтовикам.

Сад был гордостью бахмальской школы, слава о нем шла по всему району, и в трудные военные годы он служил большим подспорьем колхозу.

Сразу же за садом расстилались пшеничные поля. Они уже покрылись нежными всходами, изумрудно переливались под лучами солнца. Легкий ветерок пробежал по полям, чуть приминая всходы, и тогда словно тень ложилась на это место — тень ветра. Тени, как волны, появлялись и исчезали то здесь, то там — казалось, что кто-то невидимый, взявшись за края, тихо колышет бархатистый, зеленый ковер...

Всходы были густые, весна в этом году расщедрилась на дожди, обещала добрый урожай.

И радовалось сердце бахмальца: будет зерно — будет мука. Можно и самому прокормиться и помочь фронту.

Бахмальская пшеница — всем пшеницам пшеница! Зерна крупные, как ягоды боярышника, белые, будто омытые молоком, и обтянуты такой тонкой пленкой, что при помоле почти не бывает отрубей. Какие лепешки здесь пекут!.. Пышные, румяные, словно наливное яблоко, они пахнут дразняще, а пачнешь есть — так и тают во рту, словно халва! А какая лапша получается из этой муки — прямо объедение!

На богарных землях созревают также арбузы и дыни, сладкие как мед; сахаристым соком наливаются фрукты; прозрачным солнцем пропитывается виноград.

Радуется погожей весной сердце дехкана и в то же время полнится тревогой: только бы не нагрянули засуха, гармсилъ!

Сколько лишних забот прибавляют колхозникам капризы природы, коварство стихий!

Ведь их хозяйство — под открытым небом. В подручных у них солнце, облака, ветры, воздух. Это и друзья их, и враги. Стихии могут крепко им подсобить, а порой разозлятся ни с того ни с сего — ничем их не унять! Зацветет, заколосится пшеница, а небо за все лето ни слезинки не уронит, солнце сожжет зеленые колосья, не давая зернам созреть, — вот и погиб урожай. А не то нападет на пшеницу какая-либо хвороба, головня, например, — опять пиши пропало!

Да нет, не пропало... Колхозники вступают в жестокую схватку со стихиями, трудятся дено и ношно, отстаивая от нежданных напастей плоды своих неусыпных забот, — и побеждают! Это настоящие герои, богатыри. Их труд — подвиг, требующий напряжения всех сил, огромного терпения и упорства, и — не боюсь сказать! — смелости и отваги.

Тураханов, хмуро посматривая по сторонам, ехал вдоль школьного сада. В другое время и он радовался бы пышным всходам пшеницы, нежному цветению фруктовых деревьев — это же колхоз его района, и, судя по всему, осенью он украсит сводку победными цифрами! Но сейчас Тураханов не радовался, а злился: бахмальская земля, творящая богатый урожай, прочно привяза-

ла к себе колхозников, и он не в силах отнять их у нее, чтоб залатать прореху на Каттасайском участке.

Путь ему преградил арык. Тураханов остановился перед ним. Вода в арыке струилась бурно, напористо — весна в Бахмале наступила рано, река до краев наполнилась внешними водами. Черт бы побрал эту воду, откуда ее столько взялось в этом году? Того гляди, вот-вот и Каттасай упруго вздуется под латиском дружной весны!..

Тураханов натянул поводья. Конь перемахнул через арык, углубился в сад. А вон и школьрики — поливают деревья, белят стволы, копаются на огородном участке... Кто это с ними из учителей? Вот не везет — Хайри!.. Мать этого чахоточного! Она секретарь школьной парт-организации. Вот и лезет всюду, выставляет напоказ свой энтузиазм. Делать нечего, придется с ней вести малоприятные переговоры. Впрочем, она партийный вожак и обязана подчиняться требованиям секретаря райкома!

Хайри уже заметила Тураханова, махнула ребятам рукой — мол, продолжайте работать — и, не торопясь, приблизилась к нежданному гостю. Как всегда, она была в белой кофточке, темном узком жакете, строгой темной юбке. Спина неестественно прямая, голова высоко вскинута — независимый вид!..

Тураханов важно кивнул:

— Салам, Хайрихон!

Хайри тоже кивком поздоровалась с ним, взялась за уздечку:

— Слезайте, товарищ Тураханов!

Тураханова почему-то задели эти слова, ему послышалась в них скрытая насмешка. Он сердито покосился на Хайри, щегольски, одним махом спрыгнул на землю — так гимнасты четким рывком соскакивают с перекладины, замирая на ковре как влитые.

Приветственно помахав рукой возившимся неподалеку учителям и школьникам. Тураханов спросил:

— Не вижу директора. Где он?

— Вызвали в военкомат. У вас срочное дело?

— Хм... — Тураханов окинул Хайри пытливым взглядом. — И срочное, и важное... для вас.

Хайри подняла брови:

— То есть?

— Ваша школа может внести достойный вклад в де-

ло строительства Галабагэс. Лично я уверен, что вы не упустите этой возможности. Помощь стройке — это помощь фронту.

— Фронту мы и так помогаем. — Хайри кивнула в сторону школьников. — Ребята и в саду трудятся, и на полях. В колхозе только старики да женщины. Ребята это понимают...

— Молодцы! — снисходительно похвалил Тураханов. — Было бы неплохо, если бы они подсобили своему колхозу еще и на Галабастроэ. Сейчас у них весенние каникулы...

— Каникулы скоро кончатся! — Хайри пожала плечами. — Не понимаю, товарищ Тураханов, что вы от меня хотите. Чтобы ребята поехали на Галабастрой? Но ведь главная их обязанность — учиться! Впереди экзамены.

Тураханов перешел на доверительный тон:

— Поймите, Хайрихон. Вам я могу сказать... Бахмальцы на стройке не справляются с порученным им ответственным заданием. Их участок в прорыве. Молодежь Бахмала должна выручить своих земляков, сделать все, чтоб не посрамить чести родного колхоза!

Хайри пристально посмотрела на Тураханова:

— А я слышала, что ваш участок передовой?

— И передовые участки не застрахованы от угрозы стихийных бедствий. Мы должны успеть до паводка построить перемычку на Каттасае, с паводком шутки плохи. А народу не хватает!

— Да вы же и так забрали из колхоза больше людей, чем положено!

— Таково решение бюро райкома.

— Я сама член райкома. Мы такого решения не принимали.

— Руководство райкома не обязано обо всем вам докладывать. Мы решили это... хм... явочным порядком.

— Ах, вот как!.. А мобилизовать школьников тоже приказал райком?

Почувствовав в голосе Хайри насмешливые, требовательные нотки, Тураханов на миг замялся — он не посвящал райком в этот свой замысел.

— Хайрихон!.. Разве речь идет о мобилизации? А долг сердца? Стройка ждет от вас добровольной патристической инициативы! Что стоит ребятам помочь землякам? Оплошаем мы — позор падет на весь район,

а значит, и на ваш колхоз! Или вы не патриоты родного колхоза?

— Мы патриоты своей страны, товарищ Тураханов. И ребята честно выполняют свой патриотический долг, работая в колхозе, стараясь учиться так, чтобы ими могли гордиться отцы, защищающие Родину. Я не позволю перед выпускными экзаменами срывать им учебу, увозить их отсюда в самое напряженное для колхоза время!

— Но на фронте, дорогая Хайрихон, все силы бросают на оголенный участок. — Тураханов сам не заметил, как повторил слова Халмата, против которых недавно возражал. — А стройка тот же фронт. И она в прорыве!

— А по чьей вине, Акрамхан-ака? Вы вот сказали, что вас подводят бахмальцы. Так ли это? Мне сын писал о порядках на вашем участке. Вы людей не жалесте! А это же... не рабы на байских землях. Разве можно заставлять их работать из-под кнута?

Лоб Тураханова собрался в тяжелые складки:

— Пойдите-ка... Сын писал? Так он не здесь? Не в колхозе?

— Он на стройке! Разве вы не знаете? После того как вы попытались его спровадить — ведь так было дело? — он поступил в бригаду бетонщиков. Вы правда не знаете?

Тураханов скривил губы:

— Вот оно что! Теперь мне все понятно. Милый сынок напел вам невесть что с досады на мою дружескую прямоту, а вы и поверили! И решили отомстить мне за своего любимчика? Хороша же ваша партийная принципиальность! Вот почему вы против отправки школьников на Галабастрой, позора моего хотите?

— Как вам не стыдно, Акрамхан-ака! — возмутилась Хайри. — При чем тут Пулат?

— Это вы должны стыдиться! Запялись, понимаете, сведением личных счетов. Как будто я лично о себе пекусь. Как будто только лично я опозорюсь! Надо не виновных выискивать, не в обидах своих копать, а исправлять положение! И если ваши школьники помогут нам в этом, поддержат славу своего колхоза, внесут свой вклад в общее дело — честь и хвала им! Родина будет гордиться ими! Не на прогулку их зову — на народную стройку!

Тураханов оседлал своего любимого конька — литавры зазвенели в его голосе. Но Хайри не раз уж доводилось отражать его демагогические наскоки. Она в упор взглянула на Тураханова, спокойно сказала:

— Мы все знаем, что Галабастрой — это гордость и радость нашего народа. И все-таки было бы ошибкой посылать туда учащих. У них скоро экзамены. Они должны учиться — это в интересах государства: вам ведь известно, какое значение придается сейчас, в дни войны, постановке школьного дела. Мы обязаны думать о будущем!

Тураханов надменно сморщил уголки губ, задрал подбородок, глаза его источали холодный блеск.

— Хватит меня учить, я давно уж не школьник! Слава богу, всю жизнь отдал партии. И знаю, что делаю. Повторяю: стройка нуждается в людях. И вы должны их дать!

— Я не могу.

— Так... Интересно, если вас на фронт пошлют, вы тоже скажете: не могу, тоже начнете рассуждать об интересах государства и допытываться, по чьей вине на фронте обострилась обстановка?

— Не надо, товарищ Тураханов! — досадливо проговорила Хайри. — Мы ведь с вами взрослые люди, коммунисты. Зачем эта демагогия! Я уверена, вы у себя на участке не использовали еще всех возможностей. Обратитесь к руководству стройки — не оставят же вас в беде!

— Что-о?.. Вы предлагаете поклониться в ножки людям, которые так верят в нас, так на нас надеются? Вы подумали, какое это можете произвести впечатление, как мы будем выглядеть в глазах руководства? Передовой участок расписывается в своем бессилии, в неспособности выполнить взятые на себя обязательства!

— Да разве дело в том, как выглядеть? — проникновенно произнесла Хайри. — Судя по тому, что вы говорили, главное сейчас — репутацию свою спасти, а участок! Вам не могут не помочь.

— А мы будем краснеть от стыда?

— Что ж тут стыдного — принять помощь товарищей? У нас-то вы просите помощи... Я понимаю, как тяжело признаваться в своей несостоятельности, но еще хуже — скрывать правду! Мы сильны правдой, товарищ

Тураханов. Всегда, при любых обстоятельствах, мы должны быть правдивыми, как бы порой ни была горька эта правда!

— Громкие слова, Хайрихон.

Хайри усмехнулась:

— Уж не вам это говорить, товарищ Тураханов. — Она задумалась о чем-то, не сводя глаз с Тураханова, и он съезжился под ее пронизательным взглядом. — А я, кажется, поняла вас... — И, не обращая внимания на его яростные попытки перебить ее, продолжала: — Для вас важно не то, что вы делаете, а то, какое впечатление производите. Вы же сами это сказали! Вы на все готовы, только бы показать себя с лучшей стороны, в наиболее выгодном свете...

— Не вижу в этом ничего предосудительного! — фыркнул Тураханов. — Что значит: показать себя? Если, к примеру, ваш Пулат хорошо зарекомендует себя в работе, лично я буду только рад за него.

— За Пулата не волнуйтесь, он уже себя показал. Но мы вкладываем в это слово разный смысл. Тут главное — цели и побуждения...

Тураханов побагровел от ярости:

— Не слишком ли много вы на себя берете? Смотрите, товарищ Садыкова, как бы вам не пришлось ответить за свои клеветнические выпады!

— Я говорю то, что думаю.

— А мне наплевать, что вы обо мне думаете! Но подрывать свой авторитет я не позволю! Лично я требую: срочно подготовьте и отправьте на стройку группу учащихся во главе с кем-нибудь из учителей.

Хайри помолчала. Вскинула голову:

— Отправлю. Если райком сочтет это необходимым.

— Вам недостаточно моего указания... как секретаря райкома?

— Недостаточно. Первый секретарь, товарищ Усманов, вчера сказал мне, чтобы мы не перегружали старшеклассников даже работой в саду. А вы их хотите на стройку. Давайте обсудим этот вопрос на бюро. Если большинство вас поддержит — будь по-вашему. Но я постараюсь доказать, что вы замышляете какой-то обман!

— Так?

— Только так.

— Хорошо же, дорогая соседка. — Тураханов не произнес — прошипел эти слова. — Вы еще пожалеете!

— Не угрожайте, я не из пугливых.

Но Тураханов уже и сам жалел, что был с Хайри слишком откровенным. Еще и правда доведет их разговор до сведения Усманова и бюро райкома! А этого Тураханову хотелось меньше всего: из месяца в месяц от него шли в райком победные реляции. Что подумают о нем, когда узнают, как он выпрашивал у Хайри школьников? Черт бы ее побрал, заставила его унижаться! Надо было держаться с ней круче, не больно уж важная птица.

Не сказав больше ни слова, Тураханов резко повернулся и, даже не простившись с Хайри, вскочил на коня, рванул поводья, пустил его с места в карьер.

Хайри проводила его задумчивым взглядом... Вот ты какой, оказывается! А почему «оказывается»? Что она, прежде не замечала за ним демагогических вывертов, заботы в первую очередь о собственной репутации? Он и к ней-то примчался, потому что испугался за свою шкуру, испугался, что не удержится на своем посту! Как она сразу не разглядела в нем карьериста, думающего не о пользе дела, а лишь о том, как отнесутся к нему те, от кого зависело нынешнее его благополучие и дальнейшее продвижение по служебной лестнице? Не разглядела или не старалась разглядеть? Все щепетильничала, выискивала ему всяческие оправдания, тщила уверить себя, что он искренне заблуждается. Или и ей застилал глаза его дутый авторитет? Ведь это не заблуждения — позиция! Еще работая в школе, он стремился замазывать недостатки, пускать пыль в глаза. Уж она-то, педагог, воспитатель, коммунистка, должна была бы знать, что тот, кто склонен к обману в малом, если его вовремя не разоблачить, не осадить, может пойти и на крупный обман. На обман партии и народа! Зло падо дупить в зародыше, иначе оно разовьется в преступление. Она же, видя пороки в стиле работы Тураханова, ограничивалась тем, что вела с ним отвлеченные диспуты! Если говорить откровенно, она проявила по отношению к нему благодушие и мягкотелость. А не зря молвится, что мягкое дерево точат черви...

Что же сейчас ей делать? Что подсказывает ей ее партийная совесть?

Она обязана поставить райком в известность о сегодняшнем разговоре с Турахановым! Ясно, он действовал в обход райкома и потому и не согласился на ее предложение обсудить на бюро вопрос о помощи стройке. Он, кажется, вообще не удосужился доложить райкому об угрожающем положении на его участке, не то райком уже принял бы необходимые меры, ведь и правда надо что-то предпринимать!

Завтра же она пойдет в райком и добьется, чтобы бюро обсудило и действия Тураханова, и положение на его участке.

20

Бессильная злоба обуревала Тураханова, будто кто разжег в его груди жаркий костер. В споре с Хайри он потерпел поражение. Нужно было думать, что делать дальше, но мозг его был затуманен злобой, на ум шли одни проклятия. Он отпустил поводья. Конь не спеша трусил по дороге, ведущей в кишлак, а Тураханов, мрачный, словно грозовая туча, по-бычьему наклонив голову, так что даже загривок налился кровью, смотрел куда-то вниз невидящими глазами и угрюмо размышлял о событиях последних дней...

Ну, дожил!.. Уж такой сопляк, как Пулат, и то не желает с ним считаться. Ишь, зацепился-таки на стройке. Проклятый чахоточник! Ну, молодежь пошла — никакой почтительности, о послушании нечего уж и говорить. А Бахор?.. Проклятая недотрога! За хлопотами, свалившимися на Тураханова, он и думать о ней забыл, а сейчас она встала перед его мысленным взором, как живая. Шайтан бы ее побрал с ее заносчивостью и упрямством! Гнев у нее на кончике носа, так и вспыхнула, когда он заговорил с ней о любви. Другая на ее месте была бы на седьмом небе от счастья: не какой-нибудь мальчишка, — секретарь райкома обратил на нее благосклонное внимание!.. Какие у нее хрупкие, горячие плечи! У Тураханова даже ладони вспотели от волнения, когда он вспомнил, как пытался обнять Бахор...

Слишком он цацкался с этими сопляками, разыгрывал благородную роль доброго соседа! Другие трепещут от одного его взгляда, выслушивают его, заискивающе заглядывая в глаза, почтительно прижимая руки к гру-

ди, и со всех ног бросаются исполнять любое его приказание — как-никак он один из районных руководителей, его слово — закон!

Закон, да пока, видно, не для всех. Он вспомнил, в какой гордой, независимой позе стояла перед ним Хайри. Высоко занеслась, проклятая баба! Кто она такая, чтоб спорить с начальством? Рядовая учительница, секретарь крохотной парторганизации, вся-то она уместится на турахановской ладоши. И его авторитет для нее ничто? Поди ж ты, взъерепенилась, отказалась выполнить его указание! Вот она, узбечка без паранджи, вместе с паранджой бросила в огонь уважение к старшим по возрасту, по чину! Много мы им дали воли, и бабам, и молодёжи... Распустили народ!

Ну ничего. Он, Тураханов, сумеет преодолеть все преграды на своем пути. Ума да энергии ему не занимать. Его ждут власть и почет, и тогда не поздоровится всем строитивцам — он поставит их на место, они еще узнают, кто такой Тураханов!

Эта мысль о будущем торжестве доставила Тураханову мстительное удовлетворение, но он еще не остыл от ярости, когда подъехал к своему дому.

Ворота оказались на запоре. Не слезая с коня, он постучал в них рукоятью плетки. Никто не откликнулся. Он постучал настойчивее, потом стал стучать изо всех сил. Наконец ворота закрипели и широко распахнулись. Тураханов увидел Зеби. Она стояла с робким, виноватым видом, придерживая рукой створ тяжелых ворот. Он метнул на нее свирепый взгляд, пригнув голову, въехал во двор. Зеби, закрыв ворота, кинулась к мужу, который успел уже спрыгнуть на землю, но только она взялась за уздечку, собираясь завести коня под навес возле хауза, как ее остановил гневный, повелительный голос мужа:

— Мало того, что я устал как собака, я еще должен ждать, когда меня соизволят впустить в собственный дом?..

Зеби, не поднимая от земли глаз, тихо сказала:

— Простите, Акрамхан-ака. Я подметала компату, не слышала...

— Жена у меня, оказывается, еще и глухая! Приятная новость.

— Ваши родители тоже ведь не слышали...

Тураханов расхохотался ей в лицо:

— Не хватает еще, чтоб старики бегали к воротам! Нашла слуг.

Зеби молчала, слабый румянец просвечивал сквозь желтизну ее кожи.

Из дома на шум вышли старики. Тураханов приказал Зеби:

— Что стоишь, как приковапная? Отведи коня.

Зеби, чуть не плача, повела коня под навес. Привязав его, она подбросила в кормушку охапку клевера, прошла к хаузу, обессиленно прислонилась к стволу старой ивы, склонившейся над водой. Боже, как она устала!.. В эти дни работы по дому было не так уж много, да она к ней и привыкла, но все же она испытывала сейчас такую усталость, что не могла даже шевельнуть рукой. В зеркальной глади хауза отражалась ива с прижавшейся к ней тонкой женской фигуркой. Зеби смотрела на свое колеблющееся отражение, и комок стоял у нее в горле. Как будто она смотрела в свое прошлое, счастливое, прозрачное, как вода в хаузе... Тогда лицо у нее было, как румяное яблоко, и глаза под мохнатыми длинными ресницами, словно два чистых озера в зарослях камыша, и на сердце ни облачка! Она и сейчас не утратила еще былую красоту. Засученные до локтей рукава халата обнажали белые, гладкие, как слоновая кость, руки, и стан был стройный, и косы тугие, а щеки увяли, и глаза увяли, и на сердце камень, тяжкий камень на ее увядшем сердце!..

В последнее время муж бывал дома наездами, и каждый раз повторялось одно и то же: попреки, окрики, оскорбления, ругань. Тошно жить на свете!..

Зеби встрепенулась — до нее донесся голос мужа. Он не мог не видеть ее и все же кричал так, будто она умышленно от него пряталась:

— Жена!.. Где ты там запропастилась? Или хочешь уморить меня голодом? Накрывай обедать!

Зеби, как затравленная, метнулась от хауза к дому, вынесла скатерть — дастархан, расстелила ее на супе, в дальнем тенистом углу двора, где уже восседали в ожидании обеда Тураханов и его родители, принесла горячие лепешки, кок-чай, большую касу с мелко нарезанными рваными овощами, холодное тушеное мясо, изюм с жареным горохом и густые сливки. Когда она начала

разливать чай по пиалам, Тураханов, грозно взглянув на нее из-под насупленных бровей, буркнул:

— Что торчишь, словно засохшее дерево? Неси водку. Водка-то в этом доме есть?

Зеби притащила графин с водкой. Отец и сын молча выпили. Тураханов вяло жевал холодное мясо — хоть он и измотался за день, но сегодня кусок становился ему поперек горла. Мулла Турахан, наоборот, с жадностью набросился на еду. С набитым ртом он обратился к сыну:

— Ты вроде не в духе, сынок?

— Будешь тут в духе!.. — Тураханов запил баранину чаем. — Работаешь, как вол, днем и ночью, в жару и мороз, затылок почесать некогда, а что видишь вместо благодарности? Каждый щенок поровит вцепиться тебе в ляжку! Развелись, понимаешь, указчики: то не так, это не так. Подкапываются под мой авторитет... Но Тураханова свалить — это не волос из теста вытянуть!

— Ох, сынок! — вздохнула мать. — Сердце разрывается, когда слушаю тебя! Пусть аллах покарает твоих врагов! Отец твой крови не жалел, чтобы тебе жилось получше... А оно вон как обернулось: одни заботы да сгорчения. О такой ли жизни мы мечтали? Гостей и то не можем принять. У других вон столы ломаются от всяческих яств... А дома какие — не чета нашему!

— Молчи, мать! — цыкнул на нее Мулла Турахан. — Сын еще возьмет свое. А что живем скромно, так это не на веки вечные. Лаббай, или ты хочешь, чтоб о нас болтали лишнее? Люди-то пынче не на ногах, на языках ходят! — Он повернулся к сыну. — Я на базар уж и носа не кажу.

Тураханов, разомлевший от выпитой водки, обнял отца:

— Только вы меня понимаете, отец!.. Скромность... украшает коммуниста! Однако... чем ты скромней, тем больше тобой помыкают! — Он с ненавистью посмотрел на жену, подававшую шурпу. — Жена и то вон от рук отбилась. Разбаловали вы ее без меня. Сегодня битый час проторчал перед воротами — нечего сказать, хорошо же меня встречают в собственном доме! Нет чтоб угодить мужу, побережь его нервы... Я лично хоть и коммунист, но живой человек! Хоть дома-то имею право на покой?

Он попробовал шурпы, брезгливо поморщился.

— Ей-богу, на стройке ем лучше! — Видимо, он только и искал, к чему бы придаться. Злобно воззрившись на хлопотавшую вокруг них Зеби, спросил с издевкой: — Может, прикажешь мне самому обеда стряпать? Мало у меня других забот! — Он налил себе в пиалу еще водки, осушив ее, неожиданно воспринял духом. — Ничего, отец, вот кончится война, построим Галабагэс — еще заживем, наверстаем упущенное! — Он стукнул кулаком по супе. — Или я не заслужил, черт побери?

— Заслужил, сын! Заслужил! — с гордостью поддакнул отец. — Верю, большим человеком заделаешься. Лаббай! Даром, что ль, в партию-то вступал?

Тураханова совсем развезло. Помахав перед посом отца пальцем, он, словно забыв, кто перед ним, сорвался на ораторский тон:

— Эт-то что за разговоры?.. В партию меня позвало сердце! Я... всей душой... — Он ударил себя ладонью по груди. — Делю с народом и радость, и горе...

Кончилось тем, что Зеби пришлось чуть ли не на себе волочить опьяневшего мужа в его комнату. Его распирала злость, которую он так еще ни на ком и не выместил. Опустившись на постель, он уставился на жену мутными, бессмысленными глазами. По лицу ее пробежала невольная гримаса отвращения; Тураханов заметил это, поднялся, качаясь, вплотную приблизился к Зеби:

— Что, сука, морщишься? Не по вкусу тебе ублажать мужа? Р-равноправия захотелось?

Зеби в испуге отшатнулась от него; ни разу еще не видела она мужа в такой ярости. А перед ним вдруг, рядом с лицом Зеби, всплыли лица непокорной Бахор, спокойной, гордой Хайри... Наступая на жеву, он прохрипел в бешенстве:

— Р-раскрепощенные суки!..

И с размаху ударил Зеби по лицу, вложив в этот удар всю злость, накопившуюся за эти дни в его душе. Зеби вскрикнула, закрылась ладонями, а он, распалившись, бил и бил ее, осыпая грязными ругательствами:

— Потаскуха!.. Дрянь бездетная!.. Вот тебе... равноправие!..

Она уже и не защищалась, покорно сносила побои, только глаза ее были полны ужаса, несправедливости и отчаяния...

Эта безропотность, казалось, отрезвила Тураханова. Он вытолкал жену за дверь, вернулся к своей постели и, камнем свалившись на нее, тотчас погрузился в тяжелый, смятенный сон...

Утром отец с тревогой спросил его:

— Где Зеби? Ни дома, ни во дворе ее нет.

— А черт ее знает!

У Тураханова с похмелья так трещала голова, что ему было не до жены. Он смутно помнил, что вчера произошло между ними. Выпив водки, закусив молодым луком с солью, он вывел из конюшни коня, с трудом взгромоздился на него и, простившись с родителями, поскакал в районный центр. Он спешил: ведь Галабастрой никак не мог обойтись без Тураханова!..

21

Тураханов вернулся на стройку ни с чем..

Никуда не заезжая, он направил коня прямо к Катасайскому участку. Халмата он застал на боевом посту. Прораб, как ошпаренный, метался по берегу, надрывая горло, отдавал какие-то распоряжения людям, которые суетились возле грузовиков с камнем, ссыпали землю в мутную реку, укладывали на берегу хворост в большие аккуратные груды. Тураханов, не слезая с коня, подозвал Халмата, тот, подойдя, вопросительно взглянул на своего «командира». Парень был бледнее, чем обычно, щеки ввалились, глаза запали и бегали беспокойно, как птицы в клетке, нервно поддергивался уголок губ:

— Как, начальник? С победой?..

По мрачному виду Тураханова Халмат понял, что тот вернулся с пустыми руками, но ему так хотелось надеяться на лучшее!..

Тураханов спешился, положил руку на плечо прораба:

— Лично я жду, что ты меня порадуешь победой! Уж на тебя-то, фронтовика, я могу положиться?

Он через силу улыбнулся, чтобы не выдать своей тревоги, пытался разыгрывать благодушие, но это только разозлило Халмата. Что они, в прятки играют, что ли? Тураханов разговаривал с ним так, будто и ведать не ведал о грозящей участку катастрофе!

— Я же вам докладывал, Акрамхан-ака, — горячась, сказал Халмат, — не построим перемычку до наводка! Вол как вода поднялась! Люди пужны.

Тураханов, видимо, уже принял какое-то решение. Кивнув, он успокоительно произнес:

— Знаю, знаю. Сниму людей с канала, дам тебе...

— Вот удружил, начальник! — обрадовался Халмат. — Вот спасибо!

Он протянул Тураханову обе руки, да так и замер с вытянутым лицом, услышав окончание его фразы:

— Но только на три дня. Иначе мы выбьемся из графика по всему участку.

На Халмата словно вылили ведро холодной воды:

— На три дня?.. Это нам как мертвому припарки.

— Ну, брат, остальное зависит от тебя. — Тураханов обвел внимательным взглядом берег, реку. — Что конкретно вам предстоит еще сделать?

— Засыпшем реку землей, камнями. Землю надо будет утрамбовать, переложить сучьями, хворостом... чтоб все было в ажуре! Работы сверх головы!

— А не придумываешь ли ты лишнюю работу? Не на века строите! В ажуре!.. Я гляжу, слишком уж вы возитесь с этой штукой. Это же временное сооружение, так, для перестраховки, на всякий случай. — Заметив, как помрачнел Халмат, Тураханов добродушно усмехнулся. — Понимаю, тебе приятно думать, что ты чуть ли не памятник себе возводишь. Голова закружилась, а? А ты трезвей, трезвей смотри на дело!

Халмат ошеломленно хлопал глазами, стараясь догадаться, куда клонит Тураханов, а тот твердо, спокойно продолжал:

— Временем не дорожишь, дорогой товарищ! Что для нас главное? Уложиться в сроки! Вот дам тебе людей, навалитесь да за несколько дней всю работу и закончите!

— Это же халтура будет, Акрамхан-ака!

Тураханов грозно взглянул на прораба:

— Кровь из носу, а чтоб перемычка была готова к сроку! Ясно? В противном случае взыщем с тебя по всей строгости!

Халмат выдержал его взгляд:

— Если это делу поможет — взыскивайте!

— Делу может помочь только твое трудовое рвение. Поднажмите, черт побери! Упростите технологию — перемудрили вы, по-моему, с этим «ажуром». Сделайте хоть на скорую руку, только к сроку. Недоделки потом устраним. Паводок не курьерский поезд, может и запоздать.

— А если не запоздает? Отрапортуем об успешном окончании работ, а он спесет все к чертовой матери!

— Ну, ты еще не бюро погоды, чтоб так уж точно все предсказывать. Если бы да кабы... Гляди, какая весна сухая! Ни одного дождя! Так что паводок вообще то ли будет, то ли нет, а переходящего знамени, стоит нам только поддаться панике, у нас наверняка не будет! С чем мы придем к партийно-хозяйственному активу? С позорными производственными итогами? Ты пойми, при неудачах у людей руки опускаются, остывает трудовой пыл! Отставание участка может подорвать моральный дух наших героев-строителей!

Халмат слушал его, понурился. Он ждал от Тураханова реальной помощи, а тот отделяется громкими фразами, толкает Халмата на халтуру! Нет, что бы о Халмате ни говорили, а у него душа труженика, он не привык работать кое-как, наспех, спустя рукава. А может, все обойдется? И Халмат вкусил всю сладость победы, и переходящее знамя по-прежнему будет и на него отбрасывать свой яркий ответ? Пусть тогда придет сюда Рустам — то-то подивится: работа закончена в рекордные сроки, без посторонней помощи! Ура Халмату! Ну, а если паводок?.. Как он взглянет в глаза тому же Рустаму... Пулату? Позора не оберешься!

Словно угадав его мысли, Тураханов сказал:

— Ты мне как-то говорил, что работал вместе с Садыковым.

— С Пулатом?

— Вот-вот. И, судя по всему, он тебе крепко насолил. Так вот, по моим сведениям, он у нас на стройке, в бригаде Пикитина.

— Я знаю.

— Вот как? — Тураханов постарался скрыть свое удивление. — М-да... Ну, а я только что узнал. Учти, на переходящее знамя прежде всего претендует именно их участок. И ты позволишь, чтобы этот желторотый пте-

пец опять одержал над тобой верх? Или у тебя совсем нет самолюбия?

Уж в чем, в чем, а в отсутствии самолюбия Халмата никак нельзя было упрекнуть. И все глубже проникал в его тщеславную душу горький яд турахановских слов. Паводок паводком... Ну, а вдруг пронесет? Ух, и утер бы он тогда нос и Рустаму, и этому дохляку Пулату! Всей их бригаде будут ставить в пример Халматэ, закончившего перемышку к сроку, нет, досрочно! Тураханов прав, надо любимыми способами наращивать темпы!

А Тураханов, испытующе глянув в глаза Халмату, дружески тряхнул его за плечи:

— Выше, выше голову, товарищ прораб! Ты вот что... Загляни-ка вечерком лично ко мне. На досуге обсудим все поподробней.

Вечером за рюмкой водки Тураханов и Халмат быстро нашли общий язык. За этим вечером последовал другой — Тураханов видел, что душу прораба все еще точит червь сомнения, и старался водкой и шутиливой застойной беседой усыпить его совесть.

Темпы работ на участке Халмата резко возросли, несмотря на то что людей по-прежнему не хватало. Цифры на доске показателей тешили сердце прораба, радовали взгляд Тураханова и, по их общему мнению, были как нож острый для бригады Никитина и всех других соперников на стройке.

Когда через несколько дней Тураханову пришел тревожный запрос из райкома партии, в котором уполномоченному предлагалось подробно осветить положение на его участке, с тем чтобы потом этот вопрос обсудило бюро, Тураханов выругался про себя («Накапала-таки эта проклятая Хайри!..») и в спокойном, уверенном, снимающем всякие сомнения тоне ответил, что бюро собирать излишне, так как у него на участке все в порядке. Угроза срыва строительства перемышки миновала: он, Тураханов, мобилизовал все внутренние резервы, участок обойдется своими силами, план работы и на канале, и на Каттасае будет перевыполнен.

Собрание партийно-хозяйственного актива проходило в клубе строителей металлургического завода. Квадрат-

пое, грубое, то ли деревянное, то ли сложенное из сырца — сразу и не разберешь, — здание угрюмо высилось среди глинобитных мазанок. В дождливую погоду к нему трудно было подступиться — скользкая грязь налипла на ноги, засасывала чуть не по колено.

На собрание кроме коммунистов и командиров строительства были приглашены передовики Галабастроля, представители области и республики.

Проводил актив секретарь обкома партии — старый, ленинской закалки большевик. Ему перевалило за пятьдесят. Редкие волосы давно побелели, кожу лица тронула нездоровая желтизна, глаза были красные от усталости и привычных бессонниц. Со своего места за столом президиума, покрытым красным, выцветшим, в чернильных пятнах, не достающим до пола сукном — из зала видны были заляпаные глиной сапоги выбранных в президиум руководителей и рабочих, — он вымательно разглядывал сидевших в зале...

Почти все пришли прямо с работы, не успев снять спецовок. У бригадиров выглядывали из нагрудных карманов карандаши, блокноты, складные метры. От одежды строителей исходили запахи бетона, глины, сосновых досок... Эти люди, с изможденными лицами, загрубевшими, натруженными руками, строили Галабагэс. Именно для них строились Галабагэс и сотни других электростанций, фабрик, заводов.

Ради счастья этих людей старый, смертельно уставший, седой человек, сидевший сейчас во главе почетного стола, не жалел ни сил, ни крови, ни жизни. До революции он работал в ташкентских железнодорожных мастерских, вместе с другими рабочими участвовал в революции. Тогда же, буквально на ходу, был принят в партию. И, став коммунистом, по своей воле возложил себе на плечи суровую ответственность за судьбу своей страны, за судьбы простых людей, достойных всего самого лучшего в жизни. Он твердым, решительным шагом прошел сквозь бури и грозы последующих лет, всегда оказываясь в гуще событий, там, где было всего труднее и опаснее, где решалось будущее родного края. Он подавлял осиповский мятеж, боролся вот в этих местах, где ныне возводилась Галабагэс, сперва с басмачами, потом с кулачеством, с голодом, с разрухой. Он был истинным солдатом партии не только потому, что сердцем

слушал ее приказы, но и потому, что всегда был в бою, в жестоком, кровавом бою с проклятым прошлым за светлую, прекрасную повесть для своих земляков. Он всех их принял в свое сердце, словно самую близкую родню, и, как старший брат, отвечал за каждого из них, за благополучие всей этой большой, пестрой семьи.

И потому, слушая выступавших, он морщился, как от боли, когда вскрывались недостатки в работе руководства, недостатки, бывшие прежде всего по его братьям, строителям, и светлело его усталое лицо, когда ораторы рассказывали о трудовых подвигах колхозников и рабочих, особенно молодых, своими руками строивших свое же будущее. Он от души гордился успехами подрастающих, выходящих на самостоятельную, прямую дорогу младших братьев, его согревало сознание, что не зря прожил он тяжелую, полную борьбы жизнь большевика-революционера.

Но вот названа очередная фамилия (Садыков!), и секретарь обкома с особой пристальностью стал следить за поднявшимся на помост худым высоким юношей с обветренным смуглым лицом, на котором выделялись черные, горящие глаза. Садыков, Садыков... Не сын ли это Хайдара Садыкова? Похож! Большими своими глазами, густыми, сросшимися на переносице бровями. Наверное, сын... Когда-то секретарь обкома рука об руку со старшим Садыковым дрался с басмачами. Вот был настоящий коммунист, борец, человеколюбец! Каким-то он воспитал своего сына? Секретарь обкома приставил ладонь ребром к уху — он плоховато слышал — и всем корпусом повернулся к трибуне.

Пулат некоторое время стоял молча, покусывая губы, сляясь справиться с охватившим его волнением. Но вот в глазах его вспыхнула решимость, он двинул желваками:

— Я вот о чем... Я долго думал — может, не надо об этом. На стройке такие дела творятся, такие замечательные дела! И такая она у нас огромная! — Пулат сдвинул брови. — А я о пятнах. Да и не так уж глубоко я во всем разобрался... Но если меня это тревожит, я обязан сказать?

В зале кто-то засмеялся — очень уж сбивчиво и туманно начал паренек, а кто-то захолопал в ладоши, ободряюще крикнул с места: «Жарь, парень! Тут все свои!»

У секретаря обкома подобрели глаза, его тронула искренность, звеневшая в голосе Пулата. А тот продолжал:

— Я долгое время работал на участке Тураханова... Вот он здесь, в президиуме.

Тураханов, насторожившийся при появлении Пулата на фашерной трибуне, резко вскинул голову, впился в юношу тяжелым, холодным взглядом. Впрочем, особой тревоги в этом взгляде не было, а в уголках опущенных губ, в прищуренных глазах таилась даже снисходительная, брезгливая усмешка. Пулат, глядя в зал, говорил:

— Сейчас я на другом участке, в бригаде Никитина. Жаловаться не на что — живем хорошо, дружно. А вот колхозникам моего района туго приходится. И виноват в этом уполномоченный райкома товарищ Тураханов! И пускай я работаю не у него... я все равно не могу молчать.

Пулат встретился взглядом с Апваром, улыбавшимся ему из зала. Тот энергично затряс головой: так, Пулат, молодчина, край дальше! И, почувствовав безмолвную поддержку своих друзей, всего зала, зараженного его пылкостью, Пулат заговорил увереннее, голос его все креп:

— На первый взгляд это вроде все мелочи, бытовые неурядицы. Товарищ Тураханов, наверно, оправдывает их трудностями военного времени. Он мне сам говорил: сейчас, мол, не до удобств.

Тураханов хотел было прервать Пулата, но секретарь обкома, заметив это, остановил его строгим, неодобрительным взглядом: не мешай, возразишь в свое время! И Тураханов промолчал...

— Это верно, в годы войны лишения неизбежны. Мы переносим их, сжав зубы и думая только об одном — как помочь фронту, победе над фашизмом! Правда? Но вот халатность нельзя терпеть! Меня учили... главное у нас — забота о людях. Война разве отменила этот святой закон? Если можно что-то сделать, чтобы облегчить жизнь людей — это надо делать! А на участке Тураханова колхозники иногда чуть не голодают — честное слово, я не выдумываю! Кормят их как попало, в землянках холодина... это я про зиму. То один, то другой болеет. Сафарали-амаки захворал, в больницу его вовремя не

отправили, провалялся в сырой землянке -- умер... На участке только фельдшер -- по-моему, бывший ветеринар. -- В зале засмеялись. -- Я вот болел, так позвали врача с другого участка. А требуют с этих колхозников, как со всех, даже больше. И они стараются. Я работал с ними, видел! Но ведь их трудный быт отражается на работе, верно? Значит, равнодушные Тураханова к их нуждам -- в ущерб всей нашей стройке. Без заботы о людях плана не выполнишь. Я говорил об этом со своими товарищами... И мы не понимаем, как это участок Тураханова все время впереди! А потом мы узнали... Не так уж у них все гладко. Оказывается, запаздывают со строительством Каттасайской перемычки!

— Клевета! -- все-таки не удержался Тураханов.

— Клевета? -- Пулат чуть растерялся. -- Об этом многие говорят!

— Где? На базаре?

Тураханов, победно оглядев зал, откинулся на спинку стула.

Пулат, однако, уже оправился от минутного замешательства:

— Я не говорю, что все знаю и что во всем прав. Но здесь кругом друзья. Если я в чем сомневаюсь, должен я с ними посоветоваться? Все, о чем я говорил, я видел своими глазами. И сказал себе: падо, чтоб все об этом узнали, всем вместе легче докопаться до правды. И сделать что-то... бороться с недостатками!

Секретарь обкома, слушая его, думал: «А парень дело говорит. Забываем мы порой о людях, заслоняют их от нас пусть высокие, но несколько отвлеченные понятия: будущее... счастье для всех... Пускай этот юноша и не во всем разобрался, он и сам этого не отрицает, и на Тураханова-то он, может, зря нападает так яростно -- Тураханова хвалят на стройке -- опытный, энергичный руководитель. Но есть, есть в пылкой речи юного Садыкова глубокая правда. Да и сама эта пылкость подкупает -- какие-то неполадки задела, взволновали его, и, озабоченный только тем, как бы устранить их, он не побоялся дать бой одному из авторитетнейших людей на стройке. Он готов защищать интересы строительства и строителей отважно, как лев, не думая о последствиях, которыми это выступление может грозить лично ему. Весь в отца -- боец! Вот оно, новое поколение, которому мы из

рук в руки передаем революционную эстафету... Славное поколение!»

И когда Нулата сменил на трибуне Тураханов и по залу раскатился его уверенный, зычный бас, секретарь обкома поймал себя на том, что слушает его с каким-то предубеждением. Уж слишком велик был контраст между искренней озабоченностью, юношеской запальчивостью Садыкова, принявшего близко к сердцу нужды своих земляков, и хладнокровной, спесивой самоуверенностью Тураханова, с вельможной небрежностью отметававшего всякие обвинения в свой адрес. Секретарь обкома никак не мог отделаться от ощущения, что Тураханов изо всех сил старается защитить и поднять свой, именно свой престиж в глазах этого ответственного собрания.

— До чудесных времен дожили мы с вами, товарищи, — с мягкой пренебрежительностью разглагольствовал Тураханов. — Нас, опытных руководителей, учат уму-разуму школьники! Кхм... А позвольте узнать, дорогой юноша, долго ли вы пробыли лично на моем участке? Без году неделю! Или, может, вы проверяли положение на участке с какой-либо авторитетной комиссией? Смешно слушать ваши домыслы и поверхностные рассуждения! А впрочем не смешно — грустно. Грустно, товарищи, что у нас подвергается такому искажению большевистский принцип критики и самокритики. Этот святой принцип только дискредитируется подобными безответственными, мальчишескими выпадами. Лично я, товарищи, не люблю копаться в чужих побуждениях, но я должен, так сказать, ввести вас в курс дела. Комсомолец Садыков использовал эту высокую трибуну, мягко говоря, для сведения личных счетов. Да, да, товарищи! Юноша тяжело болен, у него чахотка. — Тураханов подождал, пока уляжется в зале гул удивления, вызванный его словами. — И я, руководствуясь добрыми чувствами к своему юному односельчанину, соседу, предложил ему покинуть стройку, чтобы он не подвергал опасности ни себя, ни других. А юноша — романтик, у него отец на фронте, и, естественно, его больно ранил мой добрый совет. По-человечески это можно понять, товарищи! Но лично я не ожидал, что он вынесет свою мальчишечью обиду на трибуну нашего уважаемого и весьма серьезного собрания. Это уже не по-комсомольски, товарищ Сады-

ков. Это... дразги какие-то, на которые как-то даже неловко и унизительно отвечать...

— Неправда! — выкрикнули из зала. — Пулат — парень честный и работает дай бог каждому! И при чем тут чахотка?

Тураханов развел руками:

— Я же говорю не о его трудовом, а о его моральном облике. Слишком много он на себя берет. Его горячность граничит с безответственностью, он не гнушается прямой клеветы. Вот вам и честный! Он ведь скрыл от всех, что болен!

— Враки! — опять раздалось из зала. — Болел бы — не мог бы так работать!

Секретарь обкома устало, досадливо бросил оратору:

— Товарищ Тураханов! Мы же не разбираем здесь персональное дело Садыкова. Лучше расскажите о положении на своем участке. За этим мы, собственно, здесь и собрались.

Выступление Тураханова вызвало в нем смутный протест. Для руководителя крупного участка оно было, по меньшей мере, несерьезным и уводило собрание от больших, насущных проблем строительства. Нашел время и место — говорить о личных своих отношениях с этим горячим пареньком! Секретаря обкома все не покидало ощущение, что Тураханов, по существу, огрызался. Силясь опорочить паренька, он как бы бросал тень и на все сказанное Пулатом о порядках на участке и таким образом выгораживал самого себя.

Тураханов же, отвечая на реплику секретаря обкома, сказал:

— Положение на моем участке не дает никаких оснований для тревоги. Я надеюсь, собрание больше поверит цифрам, чем голословным обвинениям... недавнего школьника. А цифры всем известны: план мы выполняем, и строительство Каттасайской перемычки идет полным ходом. Взгляните на сводку! Правда, за время моего отсутствия там произошел небольшой затор, но он успешно ликвидирован самоотверженной работой строителей и их вожака — прораба Халмата. Я не боюсь его перехвалить, и думаю, что мы по достоинству оценим и отметим проделанную им работу. По труду и слава!

Все сидевшие вокруг Халмата с любопытством оглянулись на него. Лицо его побледнело, словно бы даже окаменело от гордости. Тураханов будто медом облил его сердце, и Халмат смотрел на него благодарными, преданными глазами.

Последним выступил секретарь обкома. Подведя итоги актива, сказав о неотложных задачах, стоящих перед строителями, он в конце речи остановился и на выступлениях Тураханова и Пулата.

— Должен откровенно признаться, товарищи, меня оправдания уполномоченного райкома не убедили. Да, не убедили, несмотря на уверенность, звучащую в его словах. Наоборот, я почувствовал, что не все ладно на участке. И нельзя предаваться благодушию. У меня нет оснований ставить под сомнение партийную честность товарища Тураханова; говорят, что он талантливый и опытный руководитель. Но посмотрите, товарищи, какую тяжелую артиллерию выдвинул он против скромного юноши, покритиковавшего порядки на его участке. Прямо — сурнай к пшеничной похлебке! Это уже настораживает... А мне понравилось выступление Садыкова. Может, в чем-то он и переборщил, но он поднял принципиально важный вопрос, от обсуждения которого Тураханов почему-то предпочел уклониться. Юный оратор прав: забота о народе, о советском человеке — незыблемый закон нашей жизни. Ленинский закон!.. А у нас порой так бывает: чем важнее объект, который мы строим, тем больше крика — давай пажимай, на нас смотрит вся страна! О самих строителях вроде уж некогда и подумать. До них ли, когда надо перед всей страной щегольнуть масштабами, темпами, перевыполнением плана, цифрами? План, конечно, мы обязаны выполнять. И цифры — вещь важная. И рапортами о досрочном выполнении работ мы радуем нашу страну. Возьмем нашу стройку. Действительно, вся страна следит за вами, верит в вас! Нам часто звонят из Москвы, беспокоятся, как тут идут дела. И вы, я уверен, не ударите в грязь лицом перед народом! Но разве вы сами — не народ? Все, что мы строим, мы строим на благо народа, а значит, и для каждого из вас! Для каждого!.. Любой гражданин нашего социалистического государства — это и творец будущего, и объект неусыпных забот нашей партии, ибо ведь ради него совершалась Октябрьская революция! А то некоторые руководители так рассуждают: не план

для людей, а люди для плана, главное, мол, интересы государства, все силы — на построение коммунизма! И вроде они все делают для достижения этой прекрасной цели, а на людей, на простых тружеников, руками которых и возводится коммунизм, им наплевать. Это, по их убеждению, лишь рабочая сила, строительный материал для будущего коммунистического здания!

Тураханов, упершись в стол локтями, не сводил с секретаря обкома тяжелого, словно налитого серым свинцом, взгляда. «Вредные разглагольствования, — сформулировал он про себя. — Заигрывание с народом, критика наших методов руководства. Что ж, возьмем это на заметку...»

А секретарь обкома продолжал:

— Нет, товарищи, надо не только болтать о коммунизме. Надо людей любить, наших современников, сограждан, и рука об руку с ними, ради них, ради их счастья бороться за светлое будущее и помнить, что государство — это не отвлеченное понятие, а мы с вами! Какое ж мы имеем право только подгонять наших строителей и не заботиться, не думать о них? Я уже не говорю, что на такую заботу они ответят еще более самоотверженным трудом. А на этой стройке потребуются героические, осознанные усилия всех наших колхозников и рабочих! Техники, сами знаете, у нас еще маловато, а темпы и качество работ должны быть высокими. Строить во время войны, в трудных исключительных условиях — не значит строить на скорую руку. Это стройка во имя будущего, можем ли мы будущее строить кое-как? Быстрее и лучше — вот наш девиз!

Тураханов подняв от стола голову, мрачно сказал:

— Мы выполним ваши указания!

Секретарь обкома повернулся к нему:

— Почему «мои указания»? Это наказ партии, а я только ее солдат. И учтите, товарищ Тураханов, выполнить этот наказ вы сможете, лишь опираясь на людей, ведя их за собой, веря в них и заботясь о каждом из них. Судя по тому, что я слышал, с этим у вас на участке не все в порядке. — И секретарь обкома закончил, обращаясь к залу: — Разберитесь в этом, товарищи! Мы вам поможем.

Анвар слушал старого ленинца затаив дыхание. Все, что тот говорил, так отвечало его собственным мыслям! Черт возьми, секретарь обкома только по выступлению

Тураханова сумел разгадать этого вельможу! И конец его речи прозвучал как мудрое наставление закаленного в борьбе за народное счастье революционера руководителям, оторвавшимся от народа, относящимся к нему лишь как к средству для достижения отвлеченных целей. А как он сам верит людям! Вот предложил строителям самим разобраться в делах на турахановском участке и навести там порядок. У него, Анвара, имеются уже на этот счет кое-какие соображения... Завхоз там больно подозрительный. Надо будет подобрать инициативных ребят, да и схватить его за руку... А Пулат — молодчина! Нет, на стройке народ что надо, с ним можно горы своротить!

23

Анвар проснулся, как обычно, на рассвете. Еще только занималась заря. Умывшись, натянув гимнастерку, старый пиджак и поношенные шевровые сапоги, он вышел из землянки на берег Сыр-Дарьи и, не торопясь, зашагал по направлению к деривационному каналу. День предстоял хлопотливый: нужно было встретиться и поговорить с Турахановым, провести очередную беседу с колхозниками, выпустить свежий номер стенгазеты, подвести итоги соревнования между бригадами, побывать в общежитиях, поинтересоваться, не нуждаются ли в чем строители. Да мало ли дел у агитатора! И перед таким полным забот и беготни днем приятно было пройтись по еще спящей стройке, подышать утренним воздухом, в одиночестве поколдовать над новой песней...

Было тихо-тихо. Утро шло по стройке неслышим шагом, словно обутое в мягкие ичиги. Небо было чистое, как озерная гладь, воздух прозрачен и недвижим: горный ветерок, видно, взял выходной и нежился где-нибудь неподалеку от стройки в покрытых росой кустах...

Так складывалась песня об утре на Галабастрое.

Вот и канал!.. Он сейчас безлюден, и, может быть, оттого так бросалась в глаза сделанная за последнее время работа. Ого, сколько грунта вынуто! Русло канала глубокое, все дно в земляных ступенях, узких, широких, высоких, низких; казалось, здесь потрудился сказочный великан. А и то великан: народ!.. Работы еще край непочатый, но и сделанного не охватишь взглядом! Берега и дно канала влажно поблескивали под первыми

лучами солнца, и Анвару чудилось: это не роса сверкает, а пот, пролитый строителями!..

Так рождались строки о трудовом подвиге галаба-строевцев.

Стройка оживала. Возле землянок взвились дымки — колхозники ставили самовары, разжигали огонь в нехитрых бивуачных очагах. На берегах канала появились успевшие уже позавтракать строители. Пробежал мимо парнишка-почтальон. Узнав Анвара, вернулся, выхватил из брезентовой сумки свежую местную газету:

— Анвар-ака! Тут про вас!

И, сунув ему в руки пахнувший типографской краской листок, помчался дальше.

Анвар взглянул на первую страницу — и простоватое лицо его приняло растерянное, озадаченное выражение. В газете были напечатаны его фронтовые и лирические песни. Анвар нахмурился — он без труда догадался, чьих рук это дело: ясно, Пулата! Недаром тот в последнее время все приставал к нему: спой да спой. И на тебе — запомнил, хитрец, несколько песен и украдкой отправил их в редакцию. Нечего сказать, удружил! Ведь предупреждал же его, чтобы он никому ни слова. А он взял да и ославил своего друга на всю стройку...

В первый момент Анвар крепко осерчал на Пулата. Добился-таки своего, башка упрямая. Ведь он все время силился уверить Анвара, что тот обязан подарить свои песни людям, а не запрягивать их подальше от всех, как скупец деньги, в кубышку. Было б что дарить! Это он же так, для себя... Но, разжигая в себе возмущение поступком Пулата, убеждая себя, что теперь его задразнят на стройке и падет, сраженный списходительными пасмешками, его авторитет агитатора, терзаясь стыдом, словно его раздетым выставили перед всем народом, Анвар все-таки несколько раз перечитал про себя строки своих песен. На газетном листке, выстроенные в аккуратные столбики, они выглядели как чужие, словно бы уже отделившиеся от него, живущие своей самостоятельной жизнью, готовые, независимо от его воли и желания, торить пелегкий, прямой путь к сердцу читателя... И, забыв обо всех только что обуревавших его чувствах, Анвар вдруг забеспокоился: а смогут ли его песни найти дорогу к чужим сердцам, ладно ли они скроены? В нем все-таки жил поэт — втайне он радовался, что плоды его вдохновения

принадлежат уже всем людям, и тревожился за судьбу своего детища, испытывал ни с чем не сравнимые, острые, как нож, благодатные, как гроза, муки неудовлетворенности: не всучил ли он читателю горький, незрелый плод?

Вот в таком смутном, во всяком случае возбужденном, состоянии духа он встретился с Турахановым.

Уполномоченный райкома стоял в тени высокого искусственного холма, заложив руки за спину, твердо упираясь в землю широко расставленными ногами, и наблюдал за ходом работ на трассе канала. Колхозники его участка, как правило, приступали к работе раньше всех, иначе им трудно было бы выполнить дневную норму. Тураханов сейчас не распоряжался, не покрикивал на бригадиров, только наблюдал. Но одно его присутствие уже действовало на всех подстегивающе. Бригадиры суетились больше обычного, знали: с ним шутки плохи. Все это отметил про себя Анвар. Он встал рядом с Турахановым. Тот поздоровался с ним сдержанным кивком, явно недовольный, что его отвлекли от начальственного созерцания. Некоторое время оба молчали. Анвар тоже устремил взгляд на канал. Его радовало, что у строителей уже появились помощники — автомашины; колхозники лопатами кидали грунт в кузова грузовиков, те отвозили его к дальним отвалам. Но было еще немало тачек, носилок... Трудно людям! А они через «трудно»! Как работают — четко, в едином, вдохновенном ритме, молодцы, герои! И тут же Анвар вспомнил о злоупотреблениях, только что вскрытых при расследовании кипучей деятельности завхоза этого участка, Махсумчи. Нельзя было откладывать разговор с Турахановым.

— Товарищ Тураханов, мне надо с вами потолковать...

Тураханов слегка повернул к Анвару голову, спросил с насмешкой:

— Ну, ну... Что там у тебя, товарищ писатель?

Анвар покраснел:

— Читали? Честное слово, я тут ни при чем!

— А ты не скромничай. Не знал, не знал за тобой таких талантов! Я лично считал — тебя агитатором прислали, а ты, оказывается, еще и поэт. И как я слышал, — он понизил голос до язвительного шипения, — записался к тому же в следователи?

— Вот я и хотел...

Тураханов не дал ему договорить. Повернувшись к нему, прищурив глаза, внешне дружелюбно, даже благодушно, но со скрытой иронией воскликнул:

— Лично я завидую тебе, агитатор! Видно, времени некуда девать? И в самом деле: работу твою в процентах не выразишь, ни начала у нее, ни конца, — значит, никакой тебе ответственности, занимайся, чем душе угодно!..

Широкое, открытое лицо Анвара потемнело:

— Вы, видно, решили действовать по принципу: кто не прав — тот первым поднимает кулак?

Тураханов вскинул брови:

— Это ты о чем?

— Будто не догадываетесь? Помните, о чем говорилось на активе? Вот мы и попытались разобраться, почему на вашем участке так плохо со снабжением...

— И разобрались?

— А как же! — Анвар потер ладонью щеку, уже успевшую обрасти колючей щетиной, и в упор посмотрел на Тураханова. — Как вы могли доверить важнейшее дело снабжения строителей заведомому аферисту и жулику? Я о Махсумче говорю!

— Ну, знаешь, — сквозь зубы процедил Тураханов. — Мастер ты, погляжу, швыряться безответственными обвинениями. Махсумча не первый год на такой работе!

— То-то... Накопил опыт, научился людей обкрадывать. Сказать по совести, он колхозников голодом морит!

— А ты бы, дорогой, все-таки выбирал выражения. Забыл, что война? Да, приходится порой подтягивать ремни — мы не в раю, а на стройке военного времени. Как говорится, по одежке протягивай ножки. С продуктами туго — должен бы знать. На фронте солдаты и не такое терпят, это тоже тебе должно быть известно!

— Терпят-то в силу необходимости! А у вас на участке... Мы проверяли: колхозы отпускают для своих дехан достаточное количество продовольствия. А до столовой доходят крохи. Куда девается остальное? Сегодня колхозники без хвороста, завтра без горячей пицци. То мяса нет, то хлеба. Чай горячий и то не всегда бывает. Это, по-вашему, порядок? В этом тоже война виновата? Нет, товарищ Тураханов, это у вашего Махсумчи клюв в крови!..

Тураханову ничего не оставалось, как сбавить тон:

— Послушай, дорогой, да ты знаешь, какой воз он везет? Видно, до всего руки не доходят.

— Руки не доходят? А вам известно, что недавно удовольствие вообще запоздало. Вместо того чтобы позаботиться о его своевременном подвозе, завхоз укатил к каким-то своим друзьям на пирушку. Себе набил живот, а каково эти дни было колхозникам? Почему это вас не беспокоило?

— Лично у меня, товарищ агитатор, других забот хватает. Ты погляди, кто работает на канале. Одни старики! А попробуй не выполнить план, недодать хоть один процент — голову снимут! С меня план требуют — я его даю. А ты ставишь нам палки в колеса!

— Не понимаю, как вы выполняете план при таком отношении к людям! Сказать по совести, колхозники уже до точки дошли. И все, как один, жалуются на завхоза. Не слышали, как они между собой его называют? Махсум-угри¹!

— Э, люди всегда чем-нибудь недовольны, на всех не угодишь. Погляжу на тебя — больно уж ты с ними пиячишься. Распустил, понимаешь, слюни!

Анвар как-то странно посмотрел на Тураханова, словно увидел его впервые:

— А верно говорил секретарь обкома — есть у нас руководители, для которых люди лишь рабочая сила... Вы вот только и умеете, что командовать ими!

— А ты, смотрю, слишком демократичен!

У Анвара сузились, остро блеснули зрачки:

— Слишком? Как это можно быть слишком демократичным в самой демократической стране мира? Разве скажешь про чистый воздух: слишком свежий?! Чем демократичней, тем лучше!

— Апархизм проповедуешь? — зло сощурился Тураханов. — Государство без диктатуры, армия без командиров?

Анвар пожал плечами:

— Почему без командиров? Без командиров нельзя. Но в том-то и дело, что командиры наши в то же время и солдаты — солдаты партии. Здорово об этом сказал секретарь обкома! Все мы товарищи друг другу и равны перед

¹ Угри — вор.

партией, перед Советской властью, друг перед другом. Только на командирах, конечно, больше ответственности и перед всей страной, и перед своими бойцами, о которых они призваны заботиться.

Тураханов усмехнулся:

— Язык-то у тебя неплохо подвешен. Только лично меня не надо агитировать, я в партии подольше, чем ты.

— А не желаете понять простых вещей! Зачем мы в партию вступали? Ради кого живем и работаем? Ради людей!

— Пышные фразы! — отмахнулся Тураханов.

— Нет, суть нашей жизни! — Анвар взгляделся в каменное лицо Тураханова, на котором были написаны самодовольство и скука, и сказал, безнадежно махнув рукой: — Ладно, оставим этот спор. Вернемся к вашему завхозу. Не защищайте его, бесполезно. У нас в руках факты. Мы можем доказать, что он завел подозрительные связи, что львиная доля продуктов, которые он получал, уходила налево. Лучше скажите, что вы намерены предпринять по отношению к нему.

Тураханов чувствовал себя подобно попавшей в силки перепелке, но не собирался без боя отдавать верного Махсумчу, стараниями которого ни он сам, ни его друзья на стройке ни в чем не испытывали нужды.

— А ничего, — ответил он. — Что мне твои факты? Я его знаю получше, чем ты, и никогда не поверю, что он вор. Безобиднейший человек. У овцы травинки не отнимет, зато сам крепко судьбой обижен. Ей-богу, смотришь на него — жалость берет. Ни лицом, ни ростом не вышел...

— Верно, сам с цыпленка, а повадки лисьи! Учтите — я не одному вам буду это доказывать, всей стройке!

Тураханов впилился в Анвара ненавидящим взглядом:

— Слушай, дорогой товарищ... Что ты лезешь не в свое дело? Ты агитатор, пу и агитируй себе на здоровье, а не занимайся травлей моих работников.

— Да к тому же еще и ваших родственников? Не потому ли вы к нему так жалостливы?

Тураханов побагровел:

— И про это успел уже проникнуть? Широко же ты понимаешь свои функции агитатора!

— Агитатору до всего есть дело!

— Ну, ну. — Меньше всего Тураханову хотелось, чтоб ему приписали еще и кумовство. Недаром он так

тщательно скрывал от всех, что Махсумча его родич. — Ладно, может, я лично и допустил ошибку, — сказал он как можно покладистее. — Сам знаешь, у нас крепкие родственные связи — традиция. Родным принято помогать... кхм... А они, бывает, тебя подводят. Будь по-твоему, уволю Махсумчу.

— Мало его уволить — надо привлечь к судебной ответственности!

Тураханова, вынужденного пойти на попятную, душила бессильная ярость. Он вплотную приблизил свое лицо к лицу Апвара, хрипло проговорил:

— Да ты спятил! Ну, проштрафился человек, пусть уходит по собственному желанию. А ты хочешь, чтоб на весь участок легло пятно позора? Не выйдет, дорогой товарищ! Лично я не позволю! Бюро не допустит.

— Посмотрим. Вы еще не бюро.

— Я секретарь райкома, черт побери! Научитесь вы когда-нибудь считаться с этим фактом? И здесь, на стройке, лично я отвечаю за участок! Я никому не позволю покушаться на его славу! Расправа с завхозом только подорвет авторитет руководителей участка. Этого ты добиваешься?

Возглас этот прозвучал у Тураханова вполне искренне: он понимал, что, предав широкой огласке махинации своего завхоза, тем самым признается в собственном попустительстве ему. Ведь это он, Тураханов, по настоянию отца, полагавшего, что сыну неплохо иметь возле себя надежного человека, притащил Махсумчу на стройку, пристроил на должность завхоза, сквозь пальцы смотрел на его махинации, платя покровительством за преданность. А этот недотепа не сумел замести следы и, того гляди, навлечет беду и на него, на Тураханова...

Апвар холодно возразил:

— По совести сказать, авторитет подрывается, когда выдвигают и продвигают таких, как Махсумча... да еще держатся за них! Честное признание ошибок не умаляло еще ничьего авторитета.

— Я же сказал, — раздраженно перебил Тураханов. — Сам им займись, уберу со стройки. Что тебе еще надо?

И злобно подумал про себя: «Ничего, ничего, будет и на нашей улице праздник, дай время, я еще с тобой почитаюсь, будешь знать, как совать нос в чужие дела!» Вслух же он проникновенно проговорил:

— Ты агитатор, помогай нам своим вдохновенным словом, а не мешай, выискивая блох! Это хорошо, что ты душой болеешь за моих колхозников. Но думай и о чести нашего района! Клянусь, я лично сил не жалею, чтоб поддержать его славу. И мы не выпустим из своих рук переходящего знамени, мы выполним свой долг перед партией и народом!

Он ораторским жестом простер вперед руку, едва не задев Анвара. Тот чуть даже смешался под бурным напором дышащих пафосом призывов и клятв. За историей с Махсумчой ему виделось большее, чем случайный промах Тураханова, проявившего слабость к своему родственнику. Но ведь в конце концов Тураханов пошел на уступки. После увольнения Махсумчи обстановка на участке наверняка оздоровится, колхозники вздохнут свободней — этого Анвар и добивался. Придется, конечно, держать участок под неослабным наблюдением и при новых тревожных сигналах еще жестче поговорить с Турахановым, а может, вынести этот разговор на обсуждение коммунистов стройки. Но пока все вроде в порядке...

Однако, расставшись с Турахановым, Анвар долго думал о нем: что же это за человек? Он давно в партии — не враг же ее интересам? Но его рассуждения... Впрочем, Анвару доводилось выслушивать подобные рассуждения не от одного Тураханова. Что это за поветрие нашло на иных руководителей: кричат — план, плач, а к людям бессердечны, это для них только «подчиненные», которые — как это сказал Тураханов? — вечно чем-нибудь недовольны и с которыми нечего мндалничать!

«Ну, нет! Мы еще поборемся с тобой, товарищ Тураханов, за этих простых людей, товарищей моих; я воевал с ними вместе, мы вместе работаем. Я не дам их в обиду, мне за них и кровь не жалко было пролить, и они бы пролили без раздумий за меня, за своих товарищей, за Советскую власть, за родную свою власть, без которой они уж и не мыслят своей жизни!»

И не раз еще обращался Анвар мыслями к Тураханову: что же в тебе главное, чем ты дышишь, какие скрытые пружинки двигают чувствами твоими и поступками? Ох, нелегкая это задача — познать человеческую душу!

А Тураханов после разговора с Анваром вызвал к себе Махсумчу. Не так уж важно, о чем они беседовали; Тураханов часто срывался на крик, Махсумче крепко до-

сталось, но не за темные его делишки, а за то, что он попался. Однако Махсумча ушел от своего благодетеля, довольно потирая руки: «хозяин» отправил его в бахмальский колхоз, порекомендовав на должность кладовщика.

А в это время в Бахмале происходили драматические события...

В ту ночь, когда Тураханов избил свою жену, она ушла из дому и, не помня себя от горя и унижения, до утра пробродила в окрестностях Бахмала с блуждающим взором, щеками, мокрыми от слез. А когда утром, придя в себя и немного успокоившись, возвратилась домой, свекор встретил ее грубым, властным окриком:

— Где шлялась всю ночь? Лаббай! Опозсрить нас хочешь? Так-то ты бережешь покой мужа? Он уехал сам не свой!

Услышав об отъезде мужа, Зеби вздохнула с невольным облегчением, подняла на свекра заплаканные глаза и столкнулась с его жестким, непрощающим взглядом:

— Больше из дома не выйдешь. Будешь сидеть у себя и ждать Акрамхана. Поганая девка!

Зеби не посмела ослушаться свекра — сутки провела в своей комнате, словно в глухой темнице. Родители мужа не звали ее ни к завтраку, ни к обеду. Свекровь сама приносила ей чай и кое-что из еды, словно узнице.

Сколько горьких дум передумала за это время Зеби, вся жизнь ей припомнилась — жизнь бессловесной рабыни в доме властелина-мужа. Когда-то она плепила его хрупкой своей красотой, но увяла, поблекла ее краса, как цветок без дождя и солнца — слишком затхло, душно было вокруг! Муж не любил ее больше. Он был холоден как лед, мрачен как туча и только помыкал ею, как когда-то баи помыкали своими женами. Из-за мужа ей пришлось бросить работу, лишиться подруг... До последнего дня она надеялась, что в муже и его родителях заговорит совесть и ей, Зеби, распутают крылья, однако жить становилось все тяжелее. Она искала в этой жизни хоть малейшего просвета — и не находила. Не было у нее ни радостей, ни дружбы, ни любимого дела; муж растоптал ее человеческое достоинство и вот вчера поднял на нее руку, а теперь ее заточили, как пленницу, в тесную,

темную комнату, ичкари¹. Зеби она казалась олицетворением всей ее нынешней жизни. Она не раз слышала, что в старые времена мужа нещадно избивали своих жен, ее бросало в дрожь от этих рассказов, и утешало лишь сознание, что нынче перевелись такие тираны, Советская власть открыла перед узбекскими женщинами широкую дорогу. Но на ее пути встал муж и загородил собой свет. Боже, как темно у нее на душе! Зеби не хватало воздуха, она то и дело растирала ладонью судорожно сжимавшееся горло, в нем комом стояли невыплаканные слезы, мешали дышать...

С ужасом представляла она, что будет с ней, когда придет муж, — угрозы свекра не предвещали ничего доброго.

Она не в силах была больше терпеть эти угрозы и унижения!

Но скромная, послушная, не могла и восстать — на это у нее тоже недоставало ни сил, ни воли.

Скромность, терпеливость украшают человека, если не превращаются в безответность: тогда недобрые люди, посчитав скромность за робость, готовы веревки вить из беззащитной жертвы!

Муж глумился над Зеби, поносил ее на чем свет стоит, не упускал случая ужалить ее обидной насмешкой — Зеби терпела. Свекор заточил ее на долгие годы в четырех стенах, понуждал выполнять все свои прихоти, покрикивал на нее, как на служанку, — Зеби смиренно подчинилась его воле. Свекровь притесняла Зеби, взвалив на ее плечи все хлопоты по дому, пилила по всякому поводу и без повода, за малейшую промашку осыпала проклятиями — Зеби молча повиновалась ей.

И ее безропотное терпение привело к тому, что и муж, и его родители все меньше считались с Зеби, все пуще распоясывались — ведь непотворение злу только множит зло...

Зеби уже не видела вокруг ни просвета.

Жить не хотелось!..

И на рассвете, пренебрегнув строгим запретом свекра, Зеби тайком выскользнула из дома и направилась к речке. Она села на берегу, обняв руками колени, и устремилась перед собой затуманенный отчаянием взгляд... Воды

¹ Ичкари — помещение для женщин.

в реке за последние дни заметно прибавилось, но здесь, близ родников, она была еще прозрачней, на дне виднелись разноцветные камушки — белые, желтые, черные... Легкие волны подступали к траве, растущей на берегу, словно играли с ней. Трава была сочная, ярко-зеленая — скоро ее начнут косить. А сколько воды в этом году, хватит, чтоб напоить сады и поля! Зеби погладила рукой шелковистую траву. Каждая травинка тянется к солнцу, и речка течет себе, напевая веселые песни, не зная ни горя, ни печали, а в садах цветут яблони, радуя взор. И яблони эти, и трава, и вода в реке, и дожди — все нужно людям. А я сама — человек, только какая от меня польза? Я — как яблоня, убитая заморозками. Я ни в чем ни перед кем не виновата, но я и не нужна никому, и жизнь моя непроглядна, как ночь, и бесцельна; зачем же тогда жить, зачем? Не для того же родилась я на свет, чтобы служить, нет, прислуживать одному лишь человеку, самому ненавистному из всех, потому что это он погубил мою молодость, помешал мне жить, как все, для людей, и тянуться к солнцу, и радоваться, как подарку, каждому новому дню?!

Белые, желтые, черные камушки радужно переливались на дне. Тут, наверное, глубоко. И вода холодная-холодная — миг охватит тело железными, ледяными обручами... Зеби смотрела на воду, темно и пусто было у нее на душе.

Вдруг она услышала чей-то звонкий смех, вздрогнула, обернулась. Из-за деревьев показалась стайка школьников, спешивших спозаранку в колхозный сад. Они бежали вприпрыжку, радуясь ветреному, омытому росой утру, переливчатой, как трели сурная, песне реки и избытку собственных молодых, веселых сил... Сзади, чуть приотстав от ребят, чтобы не мешать им дурачиться, шла Хайри. Зеби хоть и жила неподалеку от нее, но до сих пор словом с ней не перемолвилась и знала о ней лишь со слов мужа, нередко честившего учительницу за ее строптивость. И сейчас, увидев Хайри, Зеби как-то напряглась. Эта женщина со спокойной, гордой осанкой всем своим независимым видом словно укоряла, стыдила Зеби, малодушно смирявшуюся с судьбой. Вот бы кого ей в старшие сестры — уж такая никому не позволила бы измываться над Зеби!.. Но не от кого ждать помощи, кому какое дело до нее, до всего, что творится в турахановском доме?

Зеби опустила голову, плечи ее задрожали. Хайри, увидев Зеби, невольно остановилась. Что делает здесь соседка ранним утром, почему плачет, почему лицо у нее в ссадинах и сияках?.. Хайри всегда относилась к ней с брезгливой жалостью, но в эту минуту тревога и сострадание обожгли ей душу, она почувствовала неладное. Подойдя к Зеби, она ласково окликнула:

— Что с вами, соседка?

Все тело Зеби затряслось от рыданий. Она уж не в силах была их сдерживать. Хайри опустилась рядом с ней, обняла ее, заглянула в лицо, померкшее, залитое слезами. И Зеби, встретив ее взгляд, полный искреннего участия, прижалась головой к ее груди и зарыдала уже с каким-то облегчением: ведь больше всего не хватало ей в эти дни дружеского сочувствия. Хайри молча гладила ее по голове — пусть выплечется, видно, настрадалась, бедняжка, долго копила в себе эти слезы... «А я-то хороша, рядом зрело, наливалось ядовитыми соками чужое горе, а я проходила мимо». Зеби, пригревшись под лучами непривычной для нее ласки, неожиданно для себя, вскинув голову, глядя на Хайри, быстро-быстро, словно торопясь куда-то, заговорила: казалось, под напором каких-то новых для нее чувств рухнула плотина, отгораживавшая ее от людей, и наружу хлынуло все, что таилось в самой глубине души. И Хайри, слушая ее, думала: какая же она несчастная, и чистая, и как стесковалась по людям, и как мало нужно, чтобы исчезли ее замкнутость, подозрительность!.. А Зеби все говорила, лихорадочно, со всхлипами, и глаза ее молили: только не уходите, выслушайте до конца!.. Вся ее жизнь прошла перед Хайри, и Хайри удивлялась, как же могла соседка дойти до такой жизни, так ограничить, упизить себя в наше-то время! Но в душе она упрекала не Зеби, а себя...

— Хайри-апа... Я как увидела вас с ребятами... Так больно, так завидно стало!.. Я ведь тоже учительница. Вы об этом не знали, и никто не знал... Я сама, сама во всем виновата! Дичилась людей, моя беда весь мир от меня заслонила, вся жизнь казалась черной... — В это время солнце ушло за длинное облако, нависшее над самым горизонтом, вода в реке потемнела. Зеби глазами показала на реку. — Вот как эта вода. Я ведь... только не браните меня, Хайри-апа... думала оборвать все разом... Если б не увидела вас, то..

Хайри вздрогнула, услышав эти слова. Так вот отчего Зеби оказалась в такой неурочный час у быстрой реки! Взгляд ее стал строгим, но не утратил сочувственной теплоты:

— Что толку тебя бранить — когда человек один, ему и не такое может прийти в голову. Одиночество — как отравы, от него мутнеют и разум, и сердце. — Голос ее смягчился. — За что же ты решила наказать себя одиночеством, за что нас, соседей, обидела, не пришла к нам в трудную минуту? Ох, сестренка, уж как мне порой было тяжело, сколько времени не знала, что с мужем... Но люди не давали мне пасть духом, и надо было работать, детей учить ради будущего моей Родины. Смотри, смотри, Зеби, вода опять светлая. Никаким облакам не заслонить солнца, верь в солнце, оно светит и для тебя! Ты молода, сестренка, у тебя все впереди...

— Я не хочу домой! — с каким-то отчаянием выдохнула Зеби. — Там опять... тьма...

— А кто ж тебя туда гонит? — Хайри задумалась на минуту, потом решительно сказала: — Вот что. Поживи пока у меня. Придешь в себя, да и мне легче: дома-то пусто, муж на фронте, сын на стройке... Согласна? А я, хоть учебный год и кончается, попробую устроить тебя в школу... Не люблю, когда мне завидуют, но вот рада, что пробудила в тебе зависть, — значит, рвешься к ребятам...

Зеби смотрела на Хайри с надеждой и беспокойством:

— А как же Акрамхан-ака... Когда он узнает... Он...

— А что он может, если ты с людьми? Тебе нечего бояться. С людьми ничего не страшно!

25

Новая жизнь рождает новые традиции. На стройке с увлечением готовились к празднику песни.

На всех участках шли репетиции и просмотры номеров, с которыми должны были выступить на празднике солисты и хоры местной самодеятельности. Аьвар организовал молодежный хор, раздобыл гармонию и бубен, под его руководством комсомольцы разучивали песни народов Советской страны.

Они же выбрали место для заключительного концерта. Дно канала поднималось ступенями. На нескольких таких широких, от берега до берега, ступенях раскинули

ковры — получилась огромная, многоярусная сцена, на которой могли разместиться сотни певцов. Еще более просторный участок канала, расположенный метра на два ниже сцены, стал зрительным залом. Землю здесь разровняли и застелили брезентом. По бокам импровизированного зрительного зала, вдоль берегов, поставили большие, увитые алыми лентами портреты передовиков строительства. Среди них Никитин, Халил-ата, Пулат, Бохадыр-ата...

На праздник приехали колхозники из окрестных кишлаков. Они стояли в грузовиках, тесно прижавшись друг к другу, и пели под аккомпанемент карнаев и сурнаев.

Вся стройка взбурлила песнями, и трудно было угадать, кто тут исполнитель, кто слушатель: все пели и все слушали!

А вечером строители и гости, принарядившись кто как мог, заполнили «зрительный зал», усеяли, подстелив что попало, склоны отвалов. Самые молодые облепили даже стрелы экскаваторов, маячивших на берегах.

На концерт собралось столько зрителей, что, упав иголка, осталась бы стоять торчком. Это было волнующееся людское море. Зрители выбирали, где присесть, в ожидании концерта разговаривали друг с другом. Голоса сливались в нестройный гомон.

Халмат пристроился неподалеку от своего портрета и то и дело косился на него — прораба распирало от гордости! Он уж, кажется, не жалел, что пошел на поводу у Тураханова.

Сам Тураханов с группой других руководителей рассматривал портреты передовиков. Остановился возле портрета Халмата, сказал что-то своим спутникам, степенно прошествовал дальше. У него было отличное настроение: дела шли как по маслу, паводка вроде нечего пока опасаться. Он, Тураханов, крепко сидел в седле. Вдруг он снова замедлил шаги — заметил Бахор, замершую перед портретом Пулата. За ее спиной сбились в стайку подружки, веселые нарядные — сама весна! Они о чем-то перешептывались, лукаво поглядывая на Бахор. Щеки у Бахор покраснелись, глаза блестели радостно, удивленно. Тураханов разглядел свои усики... Эге, да она, кажется, только сейчас узнала, что этот чахоточник на стройке. Ба!.. Да вон и он, собственной персоной, стоит чуть поодаль, не сводя глаз с девушки, и, судя по его хмурому,

растерянному виду, не знает, на что решиться: то ли подойти к своей крале, то ли остаться незамеченным. У Тураханова раздулись поздри: надо опередить этого «борца за правду» — знай, сверчок, свой шесток!

И, отделившись от своих спутников, изобразив на лице широкую улыбку, он энергичной походкой устремился к Бахор.

Он угадал: Бахор до этого дня и не догадывалась, что Пулат на стройке. Увидев портрет юноши в ряду других, она оцепенела от неожиданности, ее охватила радость и гордость за друга: она не ошиблась в нем, нигде он не удирал, он здесь, и, конечно же, среди первых! Но в то же время сердце кольнула обида: почему же он ей-то не дал знать, что остался на стройке? Правда, она ушла из библиотеки, но неужели так уж трудно было ее разыскать? Захотел бы — нашел. Значит, не захотел? Что случилось, Пулат, дорогой? За что ты меня так мучаешь?

Она смотрела сквозь слезы на его портрет, ведать не ведая, что и он исподтишка, из толпы, наблюдал за ней, тоже охваченный смятением. Вдруг она вздрогнула — над самым ее ухом раздался знакомый, ненавистный голос:

— Салам, девушки! Бахорхон! Как и рад тебя видеть!

Она обернулась — перед ней стоял Тураханов, улыбаясь, как ни в чем не бывало.

— Ты, надеюсь, лично на меня не держишь сердца? Кто старое помянет, тому глаз вон — так молвит мудрая пословица.

— Кто забудет — тому два глаза вон! — отчужденно сказала Бахор, не протягивая Тураханову руки. Он сам взял ее неподатливую ладонь, мягко пожал ее:

— Не надо, соседка, омрачать сегодняшний праздник. Он и без того омрачен войной. — Тураханов цахмурился. — Война еще не кончилась, и нам нужно крепче сплотиться... а мы ссоримся!

— Я не ссорилась с вами. — Бахор в упор посмотрела на Тураханова. — Я вас ненавижу!

Складки турахановского лица налились свинцовой тяжестью, но он усилием воли разгладил их и все продолжал улыбаться. Он ни на минуту не забывал, что за ними следит Пулат, и не мог допустить, чтобы тот стал свидетелем его поражения. Нет уж, пусть сам терзается, видя, как

непринужденно, по-дружески беседует Тураханов с его вазнобой!

— Бахорхон! — Он развел руками и, словно ища поддержки, обратился к притихшим подругам Бахор: — Девушки! Защитите меня от несправедливости! Напрасно Бахорхон на меня нападает, честное слово, лично я ей только добра желаю, я к ней с открытой душой! — Он снова повернулся к Бахор: — Ну, погорячился, с кем не бывает? Работа задержала, нервы сдали, прости, если что было не так...

Бахор глядела на Тураханова и не узнавала его, так не похож был этот улыбающийся, благодушный человек на того разъяренного, мстительного человечешку, каким предстал он перед ней в их последнюю встречу. Уж не приснилось ли ей все, что тогда произошло между ними?

Неожиданно Тураханова кто-то окликнул хриплым голосом. Он обернулся, в его глазах мелькнула тревога. Бахор проследила за его взглядом и увидела на берегу Муллу Турахана, багрового от быстрой ходьбы. Опасливо косясь по сторонам, он делал сыну какие-то знаки. Прервав на полуслове свои извинения, Тураханов рассеянно кивнул Бахор и торопливо зашагал к отцу.

Бахор тоже почувствовала смутное беспокойство: что пужно здесь этому сухому, суровому старику, какая беда заставила его покинуть кишлак и примчаться на стройку? Она оглянулась, словно кто-то мог ответить ей на этот немой вопрос, и краска залила ее лицо — она встретилась взглядом с Пулатом! Первым чувством ее была безраздумная радость, она вскрикнула:

— Пулат!..

Пулат, чуть не до крови прикусив губу, насупившись, глянул на нее исподлобья, глаза у него были страдающие, а когда она сделала шаг к нему, он круто повернулся и исчез в толпе. Бахор даже не успела кинуться следом. Она беспомощно посмотрела на подруг:

— Что ж это, девушки!..

Подруги молчали, только бойкая Надя шепнула:

— Он же видел тебя с этим... с начальником. Ревнует! — Она завистливо вздохнула. — Надо же, такая любовь!

А строгая Зульфия заторопила Бахор:

— Пошли, пошли, скоро концерт начнется. Нам места заняли...

Бахор, понурясь, побрела за подругами. Она еще раз оглянулась: Пулата нигде не было видно. Невольно она отметила, что поблизости нет и Тураханова...

А тому было не до праздника и не до концерта. Не-добрые вести привез ему Мулла Турахан. Едва сын приблизился к отцу, как тот схватил его за руку и потащил за собой. Лишь когда они отошли подальше от собравшихся на концерт строителей, Мулла Турахан хриплым, яростным шепотом поведал сыну о случившейся у них беде.

— Зеби ушла из дому!.. Лаббай! Какие толки ходят по кишлаку — людские уста не прикроешь ситом!

У Тураханова помутилось в глазах, он злобно процедил сквозь стиснутые зубы:

— Отомстила, стерва! Как же вы ее отпустили?

Он не чувствовал за собой никакой вины, мозг сверлила одна лишь мысль: все пропало! Эта потаскуха в отместку наговорит на него бог весть что, и его недруги не замедлят воспользоваться этим — живьем съедят! Что делать, как выкрутиться из этой истории? Это посерьезнее всяких там паводков, того гляди, придется распрощаться с партбилетом, а значит, и со всеми своими далеко идущими планами!

До него донесся первый мощный раскат начавшегося концерта. Хор пел: «Идет война народная, священная война».

Тураханову хотелось заткнуть уши. Он мог думать сейчас лишь об одном — за какую бы соломинку ухватиться, чтоб спастись!

Он повлек отца к своему дому...

А на сцене, тускло освещенной гирляндами лампочек, выступал объединенный хор галабастроевцев; величественная мелодия размеренными волнами плыла над стройкой.

Вечер был светлый, чуть душный. В небе в полный накал горела луна. Звезды густо усеяли голубой купол — казалось, они высыпали тоже послушать песни и перемигивались, словно делясь впечатлениями...

Молодежный хор спел песню о Галабастрое, сложенную самими строителями. В песне воплотилась вековая мечта народа о покорении пустынь, в ней звучала уверенность в скорой победе над фашизмом, вера в прекрасное будущее этой вот земли, которую люди трудом

своим превратят в цветущий сад! Хором дирижировал Анвар. А когда молодежь сменили на сцене другие коллективы, он прошел на берег и там разыскал Пулата — они заранее договорились, где встретятся. Анвар сразу заметил, что Пулат чем-то расстроен, но не стал его ни о чем спрашивать — парень крепился изо всех сил, видно, не хотел показывать, что на душе скребут черные кошки. Правда, с каждой новой песней лицо его светлело, и он совсем оживился, когда неожиданно запели лирическую песню Анвара, напечатанную в газете:

Дочь садовника — как роза,
Ты с годами расцвела.
А когда мы расставались,
Ты же девочкой была!

Эти розы и гвоздики
Для меня сажала ты.
И влюбленными глазами
Смотрят звезды на цветы.

В своем сердце, словно тайну,
Я хранил любви бутон.
А теперь пускай все видят —
Как цветок, раскрылся он!

Не смущайся, знают люди,
Что любовь цветам сродни,
Пусть и нашу любовью
Полюбуются они¹.

Пулату пришлось выслушать от Анвара немало упреков, и сейчас, видя, как тепло принимают слушатели эту песню, он торжествующе толкнул друга в бок:

— Анвар! Погляди, как слушают твою песню. Зря ты ругался.

Анвар смолчал, а когда грянули дружные аплодисменты, ему стало и радостно, и чуть неловко: разве заслужил он такой успех?

Но Пулат почувствовал, что он прощен другом.

26

Бахор на следующий день работала во вторую смену и утром зашла в кузницу к отцу. Халил-ата, как всегда, возился с кетменями. Его уже перестало огорчать, что

¹ Перевод Е. Елисева.

кетмени и лопаты так часто ломаются. Конечно, инструмент старый, но дело, видно, и в том, что строители работают, не жалея ни себя, ни инструмент!

И как всегда, он несказанно обрадовался, когда в кузнице появилась Бахор. Они жили теперь врозь, и каждая встреча была для них праздником. Старик сильно скучал по дочери и гордился ею еще больше, чем прежде: она освоила профессию электросварщицы, и на заводе ею нахвалиться не могли.

В это утро старик поджидал дочь с особым нетерпением. Как только она вошла, он отложил молот, отер с лица пот и сажу, вытер руки о фартук, вывел дочку во двор, усадил ее на сломанную, без колес, арбу и, достав из кармана фартука письмо, протянул его Бахор:

— Прочти, дочка. Земляк сегодня привез...

Письмо было от Хайри.

«Дорогие мои, — писала Хайри, — вы уж простите, что так долго молчала, сами знаете, сколько в школе работы. Да и сейчас еле выбрала свободную минуту. У нас в Бахмале стряслось такое, что я просто не могу не рассказать вам об этом случае, который всем нам наука. Вы и не поверите, что такое могло произойти — ведь у вас, дорогой Халил-ата, мягкая, добрая душа, а ты, девочка, еще юна и неопытна.

Недавно в кишлаке побывал наш сосед, Тураханов. У меня с ним произошла очередная стычка, и я многое поняла в нем. Многое, да, видно, еще не все! После отъезда Тураханова доведенная до отчаяния жестоким обращением его жена, Зеби, хотела покончить с собой, только случайность предотвратила это несчастье. Сейчас Зеби находится у меня. Она очень плоха, слишком трудно и медленно оправляется от всего пережитого.

Я не собираюсь ее оправдывать. Она проявила непротительную слабость, малодушие. Но я и себя казню: я, все мы повинны в этой трагедии. Мы забыли, что человек человеку брат, а когда мы хоть на минуту об этом забываем, то кому-нибудь плохо. Вот так мы и проглядели, что творилось в последнее время с нашей соседкой, с нашей сестрой Зеби. Ведь когда-то она была учительницей, и, говорят, неплохой. А выйдя замуж за Тураханова, тотчас бросила работу. Мы знали, что она не работает, но нас это почему-то не встревожило, мы даже не жалели Зеби, скорее, презирали ее за то, что она со-

гласилась стать служанкой в доме мужа. Вы помните, дорогие, она жила на отшибе от людей, всех сторонилась, и, встречаясь с ней, жалкой, словно бы запуганной, прятаншей от меня взгляд, я только досадливо морщилась: наша власть все сделала, чтобы вывести ее на светлую дорогу, а она укрылась, как улитка, в домашней раковине — не хватало еще надеть на себя паранджу! Почему меня не обеспокоила эта ее запуганность? Я ведь, девочка, учила тебя и Пулата чуткости и внимательности. А, по сути дела, сама оказалась равнодушной к чужой судьбе. Зачем, мол, вмешиваться в жизнь, которую по своей воле выбрала себе Зеби? Пусть живет как знает. А так нельзя!.. Почему мы устояли перед страшным врагом — фашизмом? Потому что каждый чувствовал плечо друга — мы сильны своим единством. А в истории с Зеби я убрала свое плечо. Не знаю, как и чем я должна была ей помочь, но должна была! Нельзя было спокойно наблюдать, как новая жизнь проходит мимо кого-то из наших друзей. Это все равно что потерять солдата на фронте. Мы одна семья, мы все братья и сестры, и безразлично к жизни любого нашего советского человека граничит с преступлением. Если этот человек прячется от нас за высоким дувалом, мы обязаны встревожиться и подумать, а почему он это делает? Может быть, его прячут? Я не хотела бы, дорогой Халил-ата, чтобы вы упрекнули меня в неуважении к старшим, но — что греха таить! — многие недолюбливали стариков Турахановых, видели, что это люди темные, отсталые. Почему же нам не пришло в голову, что они и свою невестку могли погрузить в эту темноту! Темнота, отсталость одного никогда не проходит даром для другого, если никто не борется с этой отсталостью. Бедная Зеби!.. И дома ее притесняли, и со стороны никто не протянул ей руку помощи: ты же, мол, сама не просишь о помощи, смирилась со своей долей. Как будто вступаться надо только за тех, кто просит о заступничестве! Мало ли у нас таких, как Зеби, кротких, безвольных, молчаливо сносящих домашний гнет. Ведь Зеби у овцы не отняла бы травинки! Я узнала ее за эти дни. Бедняжка, как она пуждалась в нашей поддержке! Почему же я раньше-то не постаралась понять ее душу, ее характер? Как я каюсь этим, дорогие мои!

Мы не догадывались, что у нее беда, потому что стояли в стороне от этой беды. И если уж говорить откровенно

но, на многое закрывали глаза. Я знаю, Халил-ата, вы в дружбе с нашим соседом Турахановым, и Бахор всегда его защищала. Да и я одергивала Пулата, когда он, честным сердцем своим почуяв нечестность в этом человеке, высказывал со своими, на мой взгляд, слишком резкими суждениями. Как мы были слепы с вами, дорогие! И я все думаю, что же нас ослепило? Внешняя мягкость Тураханова — эта маска, которую он носил, когда было ему выгодно? Его самоуверенность? Ведь он умел заставить верить в его непогрешимость. Я всегда считала, что он настоящий коммунист и цели у него те же, что и у всех нас — он так горячо говорил об этих целях! Он в любом случае был убежден, что поступает правильно — так мне казалось, и за эту убежденность, за целеустремленность я многое ему прощала. А может, нас ослепляло и то, что он занимал ответственную должность? Мы так рассуждали: как могут выдвинуть на такой пост недостойного человека? Мы не учитывали, что иной карьерист ради достижения личных целей способен замаскироваться так ловко — сразу и не распознать! И я искренне хочу, чтобы вы в будущем остерегались таких, как Тураханов! Не понимаю, почему это в наше высокое время так развилось в иных людях карьеризм, тщеславие, властолюбие, ведь почвы-то для этого вроде нет. Но хоть я и не знаю причин, а вывод мне ясен: нам нужно быть зорче, нужно быть и внимательнее к людям, и непримиримее к любому проявлению двоедушия! Многие мы могли бы предотвратить, заметить вовремя за Турахановым ханжество, феодально-байские замашки, спесь.

Не знаю, дошла ли до него весть об уходе Зеби. Верю — он будет наказан. Но это еще не значит, что он успокоится, нет, он любыми способами постарается вернуть утерянное, начнет все сначала, и от вас зависит, чтобы ему был прегражден путь к власти, которой — в этом я тоже уверена — он способен только злоупотребить.

Тяжело мне писать обо всем этом, дорогие мои. На сердце — камень. Повторяю, все мы должны извлечь из этой истории суровый урок.

Как бы мне хотелось встретиться с вами и потолковать по душам — после Хайдара и Пулата вы для меня самые родные...

Как твои успехи, Бахор-киз? Ты ведь теперь рабочий человек, и я горжусь тобой, девочка! Я должна покаяться-

ся — перед тобой я тоже виновата. Ты в письмах все беспокоилась, где сейчас Пулат, что с ним. Я уклонялась от ответа. Прости меня, я только выполняла не очень-то для меня понятную просьбу сына. Он умолял меня не говорить вам, что он на стройке. Его выгнал со стройки Тураханов, и он действительно чуть было не уехал в Бахмал, но вернулся с полдороги и работает теперь в бригаде Никитина бетонщиком, работает хорошо, его недавно премировали именными часами. Я им довольна. Он сам хотел рассказать вам обо всем, но, судя по всему, до сих пор так и не попытался с вами увидеться. Ума не приложу, в чем тут дело. Вы что, поссорились? Что ж, всякое бывает, но нельзя же, чтобы ссора так затягивалась! Я очень огорчена вашей размолвкой. Ведь сколько лет дружили и обиделись-то друг на друга, намерное, из-за пустяков. Отыскала бы ты его, девочка, да поговорила с ним откровенно — как молвит пословица, в открытом разговоре ни капли яда. Надо будет, поспорьте. Недруг, говорят, поддакивает, истинный друг спорит. Только выясните все! А вы, дорогой Халил-ата, помогите нашим детям восстановить дружбу, прекраснее дружбы нет ничего на свете! Надо ее ценить и беречь как зеницу ока...

Не забывайте обо мне. дорожке мои,
ваша Хайри».

Бахор вслух прочла отцу это письмо. Некоторое время оба молчали, не в силах оправиться от потрясения, вызванного письмом. Хотя была весна, утро выдалось душное, в воздухе парило. Старик отер со лба пот, беспомощно спросил, обращаясь к Бахор:

— Как же это, дочка... Сосед-то?..

Бахор сдвинула брови:

— А я знала... что он такой. Давно знала.

— Что ты говоришь, доченька!

— Он жену никогда не любил. Он... он страшный, отец!.. — Бахор закрыла лицо ладонями, слезно желая отгородиться от мучительного какого-то видения, и проговорила шепотом: — Когда-нибудь я вам расскажу... Я никому не хотела рассказывать... Стыдно!.. И Хайри-апа... и ей ничего не писала. Отец, я ведь из-за него ушла на завод. Только бы не встречаться с ним... Он страшный!

Старик посмотрел на дочь, вздохнул:

— Ладно, дочка, когда захочешь, тогда и расскажешь. — Он покачал головой. — То-то, гляжу, он ко мне больше и глаз не кажет. Знать, и на меня рассерчал. Прежде-то...

Халил-ата запнулся — он вспомнил, с каким радушием относился к нему Тураханов, вспомнил также о дарах, которые тот не раз пытался ему всучить, и эта соседская «доброта» предстала перед стариком в новом свете. Ясно же, он хотел подкупить его своей щедростью, заручиться его расположением. Не доброта это была — задабривание, а он-то, старый дурень, развесил уши, размяк, принимал все за чистую монету: мол, сосед соседу всегда подсобляет, так уж искони повелось. Слепой, совсем слепой был! Чуть не замарал свою рабочую честь! всю жизнь он ел хлеб, заработанный честным трудом, отец его был кузнецом, и сам он вот уже больше сорока лет занимался этим нелегким ремеслом. Ремесло его кормило, как же он позволил чужому человеку подкармливать себя? Опозорил свои седины! Ай, Акрамхан, сбил ты старика с толку, такой овечкой прикидывался, как тебе было отказать? Откажешь — обидишь. А как ты разливался, жалуясь на неудавшуюся семейную жизнь — душа моя отзывалась добрым сочувствием, а ты ион до чего довел Зеби, хотела руки на себя наложить! Не тебя, ее в пору было пожалеть! Ой, бой, есть же на свете такие коварные люди! Ты в дом мой другом входил, а сам камень держал за пазухой. Твоя правда, Хайри-апа, слепые мы были, как котята. Бедняжка Зеби!..

Так казнил себя Халил-ата за свою доверчивость: прозрев, он умел смотреть правде в глаза. Он был добрый, честный и смелый, и если и поддался Тураханову, так лишь потому, что привык драться с недругами в открытом бою — сам не способен был наносить удары из-за угла и не умел предупреждать, отражать такие предательские удары.

О нем рассказывали такую историю.

В самый разгар борьбы с басмачами он вступил в народную милицию. О его смелости ходили легенды. Именно Халилу-ата удалось изловить курбаши, басмаческого главаря, жестокого, как барс, и хитрого, как лиса. За ним охотилась вся милиция, но никак не могли обнаружить, где он скрывался: он уходил у нее из-под носа. А Халил

его выследил. Как-то после палета на базар, курбаши отправился к своей второй жене, жившей у родни. Там, возле самого дома, и постиг его Халил. Они столкнулись лицом к лицу. Курбаши вздыбил своего коня, поскакал прочь, Халил пустился в погоню. У обоих были не кони — молнии! Курбаши мог выбирать из сотни, а милиционер сам выходил своего вороного. Они мчались по кишлаку, перемахивая через дувалы. Курбаши отстреливался из английского маузера, но патроны у него скоро кончились. Халил, уже нагонявший его, тоже перестал стрелять, крикнул: «Если ты мужчина — остановись, сразимся на саблях!» Курбаши повернул коня, выхватив саблю, понесся на Халила. Дехкане, притаившиеся в своих домах, в щели наблюдали за этой схваткой, дрожа от страха и от всей души желая победы Халилу. Сабли звенели, высекая искры, храпели кони... Вдруг конь курбаши заржал освобожденно и умчался прочь — хозяин его лежал на земле с отрубленной головой. Халил вздел его голову на пику, привез в милицию...

Незадолго перед этой схваткой жена спила ему новый халат, подбитый ватой. В нем он и дрался, а когда вернулся домой, жена ахнула: пули изрешетили весь халат, из всех дыр вылезала белая вата.

Халил был из тех, кто мог победить лишь в честном сражении, на равных. Таким оружием, как коварство и хитрость, он не владел, и Тураханов вонзил ему отравленный кинжал в самое сердце, полное доброты и доверия к людям.

Страдальчески морщась, Халил-ата пробормотал:

— Вот уж не думал, не гадал... Прямо как гром среди ясного неба! Бедняжка Зеби... Как мучилась-то, несчастная, а никто и пальцем не пошевелил, чтобы ей подсобить. Ее же еще и корили: плохая жена, не пара нашему соседу! Оцутал нас Акрамхан-ака, будто паутиной какой!

Бахор сосредоточенно хмурилась:

— Я еще вчера заподозрила неладное. К нему Мулла Турахан приезжал, такой встревоженный... Увел его с концерта. Отец, отец! Помните, как нехорошо он говорил о Зеби! А мы... а я-то слушала, я верила ему! — Она вдруг встрепенулась. — Отец!.. Он нам и про Пулата соврал! Он сказал, что Пулат дезертир. А Хайри-апа пишет, он сам выгнал Пулата. А Пулат и не удирал никуда, он на стройке!

Старик кивнул:

— Верно, дочка, сам видел его портрет. Ты права была. Молодец наш Пулат! Остался. А мы и ведать не ведали. Постой-ка, дочка! Соседка пишет, парень сам не захотел, чтоб мы знали... Уж не тапсь от меня, неужто поссорились?

— Нет, отец, нет! — горячо сказала Бахор. — Я и сама ничего не понимаю.

Во двор въехали два арбакеша, попросили подковать лошадей. Старик ушел в кузницу. Оставшись одна, Бахор уронила голову на грудь, задумалась... О Тураханове ей не хотелось и вспоминать, одно ее сейчас мучило — почему Пулат избегает ее, почему просил мать скрыть от них, что он на стройке, почему вчера, едва завидев ее, поспешил затеряться в толпе? Что она ему сделала плохого? Да, она порой была к нему несправедлива, когда он нападал на Тураханова, она вступалась за соседа. Она сама в нем ошибалась! И все же они дружили с Пулатом, вплоть до того дня, как он, оставив записку, ушел с их участка. Не ушел — его выгнали! Но почему же он с ней-то не захотел больше встречаться? Стыдно было? Чего же ему стыдиться — ведь он остался и в передовики вышел, несмотря на свою болезнь, на преследования Тураханова! «Пулат, Пулат, чем я могла тебя оттолкнуть? Или ты так увлекся работой, что и думать обо мне забыл! Или... полюбил другую? Нет, только не это. Пулат, дорогой мой, ведь мы дали друг другу обет верности, помнишь, год назад, на лугу, усыпанном алыми тюльпанами; ты сказал, что всегда будешь помнить обо мне. А когда ты болел, ты в бреду звал меня, я была такая счастливая! Нет, Пулат, ты не мог предать нашу любовь. Что же произошло? Разве ты не видел, что я люблю тебя всем сердцем? Ты ревновал меня даже к Акрамхану-ака и провозжать меня не пришел из ревности... Злючка-ревнучка! А мне не нужен никто, кроме тебя! Ты мне нужнее солнца, воздуха, воды, ты отрада моя, гордость моя, моя мечта! Ты слышишь, о чем я сейчас думаю? Тебя бы обрадовали эти слова? Они для тебя, но как раз тебе-то я побоялась бы их сказать... Чудно... Все равно как приготовить кому-нибудь подарок и всю жизнь держать его под замком, в своей комнате... Пулат, родной мой, как я хотела бы быть рядом с тобой — в бою и в труде, в борьбе за счастье народное, в беде и в радости, в солнце и в

грозу! Выбьешься из сил — прими мою бескорыстную помощь, прольешь кровь — возьми мою! Я лягу повязкой на твои раны, я крепким сном овею твои ресницы в минуту усталости. Ты болен, милый, я на все готова, только б избавить тебя от твоего недуга! Я окружу тебя заботой, отдам все, что ем сама, отдам все, что пью сама, отдам воздух, которым дышу! И ты выздоровеешь и станешь еще сильнее и отважнее, чем прежде. Слышишь меня, Пулатджан? Я не стыжусь дум своих — это сердце мое говорит с твоим сердцем, родной мой, самый-самый родной! Никаким обидам и размолвкам я не уступлю нашу дружбу, нашу любовь! Слышишь?..»

Задумавшись, Бахор чуть прикрыла глаза, ресницы ее сомкнулись и оттого казались особенно густыми и длинными. Заслышав шаги возвращающегося отца, Бахор вскинула голову, ресницы ее распахнулись, она решительно встала с места:

— Отец! Я... я должна поговорить с Пулатом. — Она все же не смогла пересилить смущения и, оправдываясь, добавила: — Хайри-апа просила... Я пойду к нему.

Халил-ата ласково погладил дочь по голове:

— Иди, дочка. Иди.

Бахор знала теперь, где работает Пулат. Она направилась напрямик к строящейся плотине. Она шла, ничего не видя вокруг. Все ее существо напряглось в ожидании встречи с Пулатом. Она и жаждала этой встречи и в то же время испытывала необоримую робость. Губы ее были плотно сжаты, щеки порозовели от смущения.

На краю котлована она остановилась, высматривая среди бетонщиков Пулата. Она узнала бы его из тысячи, но его нигде не было видно. Заметив, что она ищет кого-то, к ней подошел плечистый, богатырского сложения бетонщик в широкой прорезиненной куртке. Это был Рустам. Спросил улыбаясь:

— Что потеряла, сестренка?

Бахор смешалась:

— Вы не знаете?.. Тут должен работать Пулат Садыков.

— А ты кто ему будешь?

— Я его соседка. Мы из одного кишлака.

— Землячка, значит? — Рустам тяжело вздохнул. — Неладное с ним творится, сестренка, с нашим Пулатом. Утром пришел на работу туча тучей — с ресниц снег па-

дает. Отпросился у бригадира и пошел во-он туда! — Рустам показал рукой на вершину высокой горы. — Уж сами тревожимся, что это с ним стряслось. Утром какое-то письмо получил... От кого — не знаю. Всегда всем с нами делился, а тут никому ни слова.

Бахор побелела как полотно от волнения, от тревоги за Пулата. Письмо... Может, от матери? Нет, оно не заставило бы его бросить работу. Что же погнало его в горы? Она должна его разыскать и объясниться, помочь ему в беде! Она пересиросила срывающимся голосом:

— Куда, вы сказали, он пошел?

— Вон на ту гору. — Рустам уловил в ее тоне искреннее беспокойство, взгляд его потеплел. — Только без паники, сестренка. Ишь, на тебе лица нет! Найдешь парня, скажи, чтоб возвращался, мы тут места себе не находим.

— Ладно, — рассеянно кивнула Бахор и, забыв даже поблагодарить, заснешила на другой берег.

27

В это утро Пулат тоже получил письмо. Оно было от майора Петрова, того самого, который когда-то сообщил ему и матери о ранении Хайдара Садыкова. То, что писал не отец, а опять майор, не сулило ничего доброго. Пулат не пошел завтракать. Когда общежитие опустело, он торопливо распечатал письмо. На этот раз майор обращался только к Пулату...

«Наберись мужества, сынок, — так начиналось письмо. — Покрепче стисни зубы, чтоб ни единого стога не вырвалось из твоей груди. Ты мужчина — прими, как мужчина, как солдат, страшную весть. Твой отец, наш комиссар, пал на поле брани смертью героя...»

У Пулата потемнело в глазах, кровь отхлынула от щек и от сердца, он до боли прикусил губу... Некоторое время он сидел на нарах, не в состоянии ни о чем думать, закрыв глаза, покачиваясь из стороны в сторону. Веки его горели, но глаза были сухие... Он не находил в себе сил дочитать письмо, и все, что он делал дальше, он делал словно бы в полусне. Ему хотелось побыть одному, но только не здесь, не в общежитии. В землянке было невыносимо душно, Пулату не хватало воздуха. Комкая в потной ладони письмо, Пулат поднялся. Он не помнил, как дошел до участка, о чем говорил с Никитиным. Лицо

бригадира расплывалось перед ним, черный туман застилал всех окружающих. Не приступая к работе, не поздоровавшись ни с кем, Пулат побрел в горы.

Горе Пулата было не таким, чтобы делить его с другими. Ему не стало бы легче, если бы он бросился за утешением к друзьям. Подобное горе человек переживает один, до дна осушая наполненную ядом чашу. А друзья помогают ему тем, что просто существуют на свете, сердце помнит о них в самом тяжком несчастье.

Идя куда глаза глядят, Пулат забрался высоко в горы, остановился, в каком-то тяжелом недоумении оглянулся вокруг. Как он здесь очутился?.. Вокруг каменистые склоны, поросшие гребенщиком и колючкой. Шурпат в траве насекомые... Поют птицы.

Но все, что видел и слышал Пулат, доходило до его сознания словно из какой-то иной, далекой от него жизни. Письмо, спрятанное в нагрудном кармане, жгло ему сердце. Он опустился на траву, с минуту сидел, сдавив виски кулаками, а потом упал ничком на землю, прижавшись сухим ртом к траве, чтобы не закричать от боли. Мама, бедная мама!.. Знает ли она? Как перенесет она эту весть? Все глаза заплачет. Только он, Пулат, может поддержать ее в эту минуту. Он мужчина, он сильнее, она обопрется на его плечо — так ей легче будет идти по жизни. Он сильнее!.. Он сильнее!.. Так шипит майор Петров, так говорила Бахор... Мама, бедная мама!.. Отец!.. Неужели же это правда? Может, майор ошибся — ты не убит, а пропал без вести и скоро дашь знать о себе, и рассеется черный туман вокруг, сквозь который не видно ни гор, ни солнца. Пулат поднял голову. Надо дочитать письмо. Он должен знать, как погиб отец!..

Бережно разгладив смятый листок, напрягли все мускулы лица, Пулат перечитал начальные строки. Дальше майор рассказывал про последний бой комиссара Садыкова.

«Наша часть только что с победой вышла из тяжелого боя. Но какой ценой достигнута это победа, какой страшный урон мы понесли! Больше двух суток фашисты, закрепившиеся в большом селе — этот пункт и для них, и для нас имел важное стратегическое значение, — отражали наши атаки. Наконец нам удалось выбить фашистов из села. Комиссар с группой бойцов вырвался вперед. Они залегли за селом в насех вырытых окопах. Гитлеровцы,

не смирившиеся с потерей важных позиций, поливали смельчаков ураганным огнем, так что нельзя было голову поднять от земли. Бой затянулся.

Отец, наверно, писал тебе, Пулат, о Ване Николаеве, который, выздоровев, прижился у нас в части, стал сыном батальона. Он души не чаял в нашем комиссаре, всюду следовал за ним как тень, готовый исполнить любое его поручение. В боях парнишка, конечно, не участвовал. Мы как могли оберегали его от опасностей, к которым он так и рвался.

В тот день, когда твой отец принял на себя главный удар врага, Ваня остался по его приказанию в селе, при штабе. А ему так хотелось хоть чем-нибудь помочь комиссару и солдатам, сдерживавшим вражеский натиск! Он знал, что они с утра без горячей пищи. Не спросив ни у кого разрешения, он набрал на кухне полный котелок каши, выбрался из села и по открытому полю побежал к окопам, где укрывался комиссар. Как радовался он, что угостит комиссара горячей кашей! Детство не знает страха — я убедился в этом на фронте. По Ване открыли стрельбу, а он под градом пуль неся со всех ног к окопам. К счастью, ни одна его не задела. Когда он очутился рядом с окопами, комиссар обернулся, увидел подбежавшего к нему мальчонку. Лицо его сделалось белым как мел. Он выпрыгнул из окопа и заслонил Ваню своим телом. Он успел вовремя. Пуля, пущенная в мальчика, впилась в грудь комиссара. Он рухнул в окоп, но у него еще хватило сил затащить туда и мальчонку. Ваня, плача, склонился над ним. Комиссар открыл тускнеющие глаза, погладил Ваню по голове, и рука его упала на землю.

Ценой своей жизни твой отец спас жизнь маленькому солдату. Комиссара хоронил и оплакивал весь батальон. Гордись своим отцом, замечательный был человек! Знай, сынок, и я, и вся наша часть разделяет с тобой и твою гордость, и твою скорбь. Понимаю, как тебе тяжело. Мужайся! Пусть отец твой вечно живет в твоей памяти, как будет он жить в нашей. Он был сердцем нашего батальона! Знаю, никакие слова участия не смогут облегчить твоего горя. Ты только помни, что ты мужчина, сын героя Хайдара Садыкова. И тебе еще нужно подготовить мать к этой скорбной весте. Ей я ничего не написал. Верю в твою выдержку и мужество. Крепись, сынок!

Знай еще, что Ваня считает тебя своим старшим братом. Он ведь сирота. А наш комиссар был ему, как родной отец. Ваня сейчас рвется в бой, а мы хотим отправить его в тыл. Было бы хорошо, если бы ты взял на себя заботу о нем. Как, сынок, могу я на тебя положиться?

Был бы рад получить от тебя весточку и узнать, что и ты, и твоя мама не пали духом и находитесь в добром здравии. Ты для нас всех — как родной. Хотя знаю, отца мы тебе не заменим. Горячий привет от фронтовиков! Мы отомстим за твоего отца. Он пролил кровь за победу. Она уже близка!

Крепко тебя обнимаю,
майор Петров».

Пуллат еще раз перечитал письмо. Закрыв глаза... Отец возник перед ним как живой, улыбаясь мягкой, умной своей улыбкой. Пуллат не мог представить его погибшим! Он так верил, что будет сражаться плечом к плечу с отцом!

Он будет сражаться! Он будет сражаться рядом с друзьями отца. Вон Ваня... — сколько ему лет?... — и то в солдатской шинели. И рвется в бой! И он, Пуллат, должен добиться, чтобы его послали на фронт, никакая болезнь не в силах этому поменшать. Не кто-нибудь, а именно он, сын героя, должен отомстить врагу за кровь отца!

Легкий ветер овеивал лицо Пуллата, шевелил траву у его ног... Казалось, что хотел приласкать, утешить юношу.

Ничто не могло его утешить. Дупование ветра не могло охладить его жарко пылавших щек и сердца, обожженного болью.

— Пуллат! — услышал он вдруг чей-то задыхающийся голос.

Он не сразу понял, кто его окликнул. Не поднимаясь с земли, медленно повернул голову. К нему бежала Бахор... Легкое платье завивалось вокруг ее ног, черные волосы отливали на солнце белым блеском, щеки покраснели от быстрого бега, по вискам струился пот. Она, видно, спешила — Пуллат отметил это лишь краешком сознания. Его мысли в эту минуту были так далеки от всего окружающего, так затуманены горем, что его даже не удивило появление Бахор здесь, в горах. Его сейчас ничто уже не могло поразить. Он смотрел на Бахор

невидящими глазами, а она, приблизясь к нему, еще не отдышавшись, горячо заговорила:

— Насилу тебя разыскала... Пулат!.. Почему ты прячешься от меня, чем я тебя обидела? Я только в одном перед тобой виновата — что слишком поздно узнала цену одному человеку... ты знаешь, о ком я говорю! Пулат, тебе я могу сказать... Ты был прав, он нечестный, противный... Он страшный! Я на завод ушла, только бы не видеть этого негодяя. Он подлый, подлый!.. Твоя мама нам о нем написала. Из-за него Зеби хотела утопиться. Ты знаешь?

Пулат слушал ее — и не слышал. О чем она? Какая Зеби? Он молча, отчужденно глядел на Бахор. У нее задрожали губы:

— Пулат!.. Ты не хочешь меня слушать? Злишься на меня? За что?

В голосе ее звучало такое нескрываемое отчаяние, что у Пулата защемило сердце. У него горе... А Бахор-то при чем? Ведь это Бахор стоит перед ним, Бахор!.. Он заставил себя вслушаться в ее слова... Она сказала — негодяй. Это о ком? О Тураханове? Значит... Прикусив губу, он взглянул на Бахор, а она, ободренная его вниманием, продолжала еще торопливее, словно боясь, как бы он снова не ушел в себя или у нее вдруг не пропадет решимости высказать паболевшее.

— Почему ты не дал знать, что ты на стройке? — Она присела рядом с Пулатом. — Тураханов сказал, будто ты дезертировал — я ему вот ни-и настолечко не поверила! Честное слово! А от тебя — ни весточки. Я уж не знала, что и думать. Ты был совсем близко и молчал. Почему ты молчал, что я тебе сделала?

На глазах у нее выступили слезы. Сумрачное молчание Пулата угнетало ее. Она не понимала, почему он молчит, словно и не слышит ее... Потупясь, она спросила:

— Тебе больше... не пужна моя дружба?

Пулата, казалось, ничто не могло сейчас взволновать, нестерпимая боль разрывала ему сердце, но голос Бахор вторгался в его черное бездумье, в горькую, душевную уединенность с такой страстной настойчивостью, что трудно было устоять перед ней. Это была прежняя Бахор, такая, какой он знал ее все эти годы: порывистая, добрая, чистая, и в то же время в чем-то она неуловимо измени-

лась: никогда еще он не видел ее такой смятенной, пылкой, глубоко страдающей, откровенной в своих чувствах. никогда еще он не видел ее такой... взрослой. Лицо ее было залито слезами. Этого Пулат не мог вынести. Он положил свою ладонь на руку Бахор, чуть прижал ее к траве:

— Не надо, Бахор... Кроме тебя и мамы, у меня никого нет!

Бахор так обрадовали эти слова, что она даже не заметила затаившейся в них муки, глаза ее засияли:

— Правда, Пулат? Ты не обижен на меня? Мы по-прежнему друзья? — Она не стыдилась своей откровенной радости. — Пулат, Пулат, знал бы ты, как я... как мне без тебя... Я в эти дни многое поняла. — Она опустила было голову, чтоб скрыть смущение, но тут же смело вскинула ее и, не отводя от Пулата заплаканных, полных отчаянной решимости, широко раскрытых глаз, произнесла быстрым шепотом: — Я люблю тебя, Пулат. Слышишь? Я люблю тебя!

Она прикрыла глаза и пылающий лоб ладонью. Пулат чувствовал, как другая ее рука дрожит под его руку, он погладил ее, страдальчески наморщил лоб:

— Бахор, Бахор!

Бахор отпрянула от него, словно ее ударило током, лицо залила краска стыда:

— Какая я глупая!.. Сама... сама...

Казалось, только теперь дошел до Пулата смысл сказанного девушкой. Скажи она это раньше — он бы задохнулся от счастья! А сейчас... Он взял ее за плечи, притянул к себе:

— Что ты, Бахор! Ты... ты самая хорошая!

В голосе его было столько любви, что у Бахор снова потеплело на сердце, она подняла голову:

— А ты?..

Пулат ничего не ответил. Не отрывая глаз, он смотрел на Бахор, и она сказала уверенно:

— Ты... тоже! Да, Пулат? — Она вздохнула со вздохом. — Почему же ты прятался? Как так можно, Пулат? Если обиделся за что-то... надо же было выяснить. За дружбу надо бороться, я поняла... Расскажи мне все-все...

Она даже зажмурилась, приготовясь слушать, но Пулат как-то безучастно, устало сказал:

— Потом, Бахор!

— Нет, сейчас! Пускай в нашей дружбе не будет ни облачка! Мы должны быть честными друг с другом. Говори. Честное слово, что бы ты ни сказал, я не обижусь. Ну!..

— Потом, Бахор! — Пулат стиснул зубы. — Мне... трудно сейчас... У меня...

Только теперь, признавшись в самом сокровенном, убедившись, что и ее любят, чуть успокоившись, Бахор увидела, как он бледен, как осунулось его лицо, какая боль застыла в его бездонно-черных, словно бы отрешенных глазах.

— Что с тобой, Пулат?! — чуть не закричала Бахор. — Что случилось? Ты болен?

Пулат протянул ей письмо:

— Прочти.

Пока она читала, он сидел, уставясь в землю, пытаясь собраться с мыслями. О чем она его выспрашивала, что хотела выяснить? Все, что было между ними прежде, сейчас казалось ему далеким-далеким. Все заслонило собой письмо, подрагивающее в пальцах Бахор. Судорога перехватила горло Пулату. Отец!.. Отец!..

— Что ты сказал, Пулат? — спросила Бахор, не отрываясь от письма, боясь встретиться с юпошей взглядом.

— Ничего. Ты читай, читай...

Письмо было дочитано, а Бахор все не решалась поднять глаза на Пулата. Сердце ее было полно боли, страдания и раскаяния. Какая же она глупая, черствая! У него такое несчастье, а она к нему со своими чувствами, любовью. Еще вообразила, что это он из-за нее такой хмурый. Глупая, глупая!.. Ведь сказали же ей, что он утром получил какое-то письмо — как она могла забыть об этом, как могла не заметить, что он убит горем, что ему не до нее? Хайдар-амаки погиб. Погиб Хайдар-амаки!.. Вот и к ним в двери постучалась война — безжалостной, костлявой рукой. Сколько уж домов она обошла! Скользя коленями по траве, Бахор подвинулась поближе к Пулату, положила руки ему на плечи, заглянула в сухие, горящие глаза и вдруг разразилась рыданиями. Пулат прижал ее голову к своему плечу, неумело погладил по мягким, как шелк, скользким волосам. Смотря перед собой немигающим взглядом, он гладил ее волосы, вздрагивающие плечи. Не Бахор его утешала, ему ее

пришлось утешать! Она беспомощно припала к нему, потому что верила — он мужественнее, сильнее ее!

Бахор отняла голову от его плеча, вытерла слезы:

— Пойдем, Пулат. Вниз, к людям!

Пулат отрицательно качнул головой.

— Ты не думай, — поспешно сказала Бахор. — Я не отвлеку тебя хочу... Разве от такого можно отвлечься? С людьми тебе, может, сперва будет даже трудней... Я ведь тебя знаю, ты умрешь, а не покажешь, как тебе плохо. Но твои друзья беспокоятся о тебе, они всей душой с тобой! И ты должен быть с ними. Пойдем, Пулат! Нельзя одному. Не то горе, как лавина, все под собой погребет, всю волю твою и силу! — Она потянула Пулата за руку, и он, подчиняясь ей, поднялся с травы. Бахор неожиданно улыбнулась сквозь непросохшие слезы. — Знаешь, Пулат... Когда я шла сюда... Дорога все в гору и в гору! И вдруг — спуск. Я так обрадовалась — хоть немножко передохну...

Она отряхнула платье. Взяв Пулата за руку, повлекла его за собой. Он шел молча, а она все говорила и говорила, не заботясь даже о том, слушает ли ее Пулат.

— А потом подумала: буду идти обратно совсем уж усталая, и этот спуск обернется подъемом. Каждый спуск — это же на обратном пути подъем! И я сказала себе — не ищи легких путей, не радуйся горным спускам, пусть уж лучше будут подъемы, зато потом легче идти! Верно?

Они шли быстро, и вскоре перед ними открылась панорама строительства. Они остановились. Бахор искоса взглянула на Пулата — брови его были сурово сдвинуты, глаза полыхали черным огнем. Но, залюбовавшись стройкой, он чуть оживился. Он провел здесь зиму, веспу, сроднился с этими местами — с каждым камнем, с каждой травинкой, с землей, небом, водой. И каждый раз, когда он охватывал взором все строительство, сердце его наполняли восторг и гордость — такая это была волнующая, величественная картина!

Глухой, раскатыстый удар грома донесся до них, оба разом вскинули головы. За стройкой, над дальними горами, тяжело клубились лиловые тучи. Они напоззали из-за гор на небо, их края были окрашены солнцем в зловеще-багровые тона, изнутри их освещали вспышки молний.

— Гроза! — сказала Бахор. — С утра-то как парило. Красиво, Пулат, правда?

Пулат молча смотрел на небо, потом перевел озабоченный взгляд на стройку. Там заметна была необычная суэта: видно, надвигающаяся гроза не на шутку переполошила строителей. Грянул новый громовой раскат. Пулат в тревоге повернулся к Бахор, показал на дальние горы.

— Там ливень! Понимаешь, что это значит? Паводок! Бежим, Бахор. Скорей!

Они что есть духу припустились вниз по склону. Когда, запыхавшись, они добежали до плотины, Пулат встретился еще больше. На участке Никитина не было ни души. Бригаду словно ветром вымело.

— Ясно, — прерывисто дыша, проговорил Пулат. — Что-то случилось. Бежим!..

— Куда?

— Каттасай может разлиться. Все, наверно, уж там. Бежим!

28

Пулат угадал: во время их отсутствия на стройке сложилась напряженная обстановка. В горах, где брал начало Каттасай, ночью разразилась гроза, хлынул ливень. Сама по себе гроза не представляла для стройки особой опасности, но ливни могли вызвать на Каттасае паводок. Впрочем, поначалу даже и это мало кого обеспокоило — ведь Тураханов доложил, что Каттасайская перемычка почти закончена и выстоит перед любым паводком. Но только докатились до стройки первые удары грома, как на участок Никитина прибежал растерянный, бледный как мертвец Халмат. Он разыскал Рустама, отвел его в сторону, выговорил через силу:

— Рустам-ака! Можешь обругать меня последними словами... Я хвостун, дрянь, тряпка...

У него тряслись губы, Рустам поторопил его:

— Не тяни! Что случилось?

— Пока ничего... Но всякое может быть. Выручай, Рустам! Знаю, виноват, делайте со мной что хотите. Хоть под суд отдавайте, только помогите. Ты ведь сам хотел мне помочь, помнишь... Я, дурак, тогда отказался...

— Что ты все о себе да о себе. Говори толком, в чем дело.

— Плевать мне на себя! Семь бед — один ответ. Участок под угрозой!

— Погоди, погоди. — Рустам поморщился. — А перемышка?

Халмат махнул рукой:

— А, перемышка!.. На соплях наша перемышка. Строили абы как.

— Тураханов уверял — выдержит.

— Тураханов, Тураханов!.. Он-то и благословил нас на халтуру, все надрывался: темпы, темпы, план, план! Черт бы его побрал с его темпами и со всеми потрохами! Задурил мне голову — до паводка, мол, далеко, сдадим перемышку к сроку, потом подлатаем... Далек!.. — Халмат кивнул на небо. — Вот-вот приножалует, встречайте дорогого гостя! Что же мне, Турахановым подпереть перемышку, что ли? Река клокочет, как кипятки в котле. Я как утром глянул на реку — сразу к тебе. К кому больше? А, черт, другим я и в лицо-то не смог бы глядеть...

Халмат никогда не отличался молчаливостью, а волнение сделало его еще болтливее. Рустаму еле удалось остановить поток его слов:

— Покороче, приятель, не на суде оправдываешься. Докладывай обстановку. Где Тураханов?

Халмат рассмеялся, нервно, с надрывом:

— Ищи ветра в поле! Вчера к нему отец приехал, он с ним куда-то и смылся.

Рустам нахмурился:

— Хорош командир, бросил участок в минуту опасности. — Что надо делать?

— Крепить перемышку. Если все навалимся...

Рустам метнул на Халмата испытующий взгляд:

— А ты, приятель, не совсем еще пропащая личность.

Халмат понял, что он этим хотел сказать, огрызнулся:

— Я что, на фронте за свою шкуру дрожал?

Рустам крепко сжал его локоть:

— Ладно, время дорого, пошли. Выложи все бригаде — только покороче, понял? Поможем.

И когда Никитин по просьбе Рустама собрал бригаду и Халмат объяснил бетонщикам, какая опасность грозит Каттасайскому участку, белобородый Бохадыр-ата, обра-

щаясь к своим товарищам, произнес короткое, но обладающее магической силой слово:

— Хашар!

Хашар — добровольная помощь соседей соседям, взаимовыручка, старая, добрая традиция нашего народа.

— Беда соседа — наша беда, — добавил старик. — Не стоять же нам в стороне сложа руки?

Никитин положил руку на плечо Бохадыру-ата:

— Спасибо, ата, золотые слова! Нам с вами не впервой идти на хашар. Кто еще пойдет?

И вся бригада, подобравшись, молча шагнула вперед, замерла перед бригадиром в четком воинском строю.

Халмат, взволнованный до глубины души, переводил быстрый взгляд с одного бетонщика на другого. В чем-то все они сейчас были схожи, их объединяло сознание нависшей над стройкой опасности и готовность к трудовому подвигу.

И, глядя на их посуровевшие лица, Халмат вспомнил фронт: фронтовую дружбу, фронтовую спайку, отвагу и мужество своих товарищей-солдат. Глазам стало жарко, он судорожно глотнул, чтоб избавиться от сухой горечи во рту. Как он жалел, что в свое время с такой мальчишеской самонадеянностью отверг помощь друзей, желавших ему только добра! Вот они — настоящие его друзья, эти вот простые рабочие парни в заляпанных бетоном резиновых спецовках, а не Турахапов, не Махсумча. Да и сам-то он был себе врагом, а не другом! Себе и стройке. Главное — стройке!

Никитин между тем объяснял бригаде:

— Только, друзья, хашар хашаром, но и на нашем участке работа не должна застопориться. Придется потом отдыхом пожертвовать, чтобы наверстать упущенное. Плап-то у нас все тот же. Как, выдюжим?

— Пусть твое сердце будет спокойно, бригадир, — за всех ответил Бохадыр-ата. — Каждый готов работать за двоих!

Никитин кивнул:

— Так тому и быть. Позвоию в управление, согласую это дело.

Он по телефону сообщил начальнику строительства о катастрофической обстановке на Каттасае, о решении своей бригады помочь Халмату — конечно, не в ущерб

собственной работе. Заручившись поддержкой руководства, Никитин повел бригаду на Каттасай.

Халмат ожидал застать на своем участке растерянность и суматоху — ведь участок в такой грозный момент, по существу, оказался брошенным на произвол судьбы. Однако на Каттасае вовсю кипела работа: колхозников возглавил вездесущий Анвар.

Анвар, правда, не представлял себе подлинных размеров грозящей Каттасайскому участку катастрофы; как и многие другие, он был введен в заблуждение фанфанными рапортами Тураханова об успешном строительстве перемычки. Но и того, что он увидел, оказавшись на участке, было достаточно, чтобы забить тревогу.

Река разбушевалась не на шутку. Ее щедро питали тающие в горах снега, ливень, стеной обрушившийся на горы, все сметающие на своем пути селевые потоки. Вода в Каттасае прибывала на глазах. С каждой минутой река все сильнее билась о перемычку, увлекая с собой камни, хворост, отваливающиеся пласты земли. Она ревела, пенилась, напоминая разъяренного верблюда, брызгающего слюной. Если бы даже путь ей преграждала бетонная стена, и то трудно было бы удержаться от тревоги.

Анвар немедленно начал действовать. Он привел в подмогу каттасайцам группу колхозников с трассы канала, распределил между ними работу и сам вместе со всеми принялся укреплять перемычку, укладывая в kloчущую воду бревна, гребенщик, хворост и камни.

Увидев своих колхозников за работой, Халмат облегченно вздохнул: пока его не было, строители, оказывается, не сидели сложа руки, как могли, боролись с речной стихией. Но он понимал: того, что они делали, мало для победы над паводком! Никитину, Рустаму, Бохадыру-ата, знакомым с истинным положением на участке, тоже было ясно, что Анвар и колхозники, в сущности, занимаются переливанием из пустого в порожнее. Нужно было принимать более решительные, более действенные меры.

Они подошли к Анвару, поздоровались с ним. Никитин сказал:

— Гляжу, агитируешь не словом, а делом?

— Воюем помаленьку. — Он увидел бетонщиков, толпящихся за спиной бригадира. — Ого, да вы всей ротой?

Рустам махнул рукой:

— Тут такое дело — и армии мало.

— А что такое? — всполошился Анвар.

— Два тщеславных типчика, — Рустам недобро покосился на Халмата, — такую кашу заварили, всей стройке не расхлебать. Ты тут перемышку латаешь, а что толку — ведь на честном слове держится! А, потом расскажем...

Бохадыр-ата молчал, внимательно рассматривая перемышку, которая — он это сразу подметил наметанным глазом — чуть заметно осела и готова была вот-вот рухнуть под бешеным напором высоких волн, уже выхлестывающих на берега. Повернувшись к остальным, он озабоченно покачал головой:

— Тут, сынки, камнями да хворостом не обойтись.

— Что же делать? — хриплым, срывающимся голосом спросил Халмат.

У него за это утро ввалились глаза, щека дергалась сильнее обычного, побелели губы. Его знобило, как в лихорадке.

Бохадыр-ата степенно огладил свою длинную белую бороду:

— Надобно сипаи ставить. Распорядись, чтобы притащили проволоку. Бревен хватит?

— Не хватит — из-под земли достану! — заверил Халмат и метнулся было к своим людям, но Бохадыр-ата остановил его:

— Не торопись, сынок. Сипайщики-то у тебя есть?

— Сам малость знаком с этим делом.

— Один в поле не воин.

Халмат повернулся к колхозникам, занятым работой, рупором приставив ладони ко рту, крикнул:

— Сто-ой!.. Кончай работу! Кто умеет ставить сипаи? Ко мне!

К нему подбежали несколько человек. Нашлись сипайщики и в бригаде Никитина.

Часть строителей Халмат послал за проволокой и бревнами. На Каттасе появились уже представители управления. Они помогли обеспечить участок всеми необходимыми стройматериалами. Колхозники, не мешкая, принялись мастерить сипаи. Они спешили. В горах все злее ллл дождь, до участка докатывались глухие, грозные раскаты грома; от туч вполне разливался тревож-

ный свет. Река рычала, как лев, учуявший добычу, удары воли о перемышку становились все полноводнее и мощнее, — казалось, сотни всадников, сверкая на солнце обнаженными саблями, налетали один за другим на дрогнувшего, обессиленного противника.

В это время и прибежали на участок Пулат и Бахор. Первым их увидел Халил-ата. Вместе со всеми он по призыву Анвара еще с утра поспешил на выручку землякам, работавшим на Каттасае. Измученный вид Пулата поразил старика, он окликнул юношу:

— Здравствуй, сынок! Что с тобой? Уж не захворал ли?

Бахор прижала палец к губам — потом, отец, потом! Пулат молча обнял старого кузнеца. У Халила-ата защемило сердце от недоброго предчувствия, но он только со сдержанной лаской погладил Пулата по голове. К ним подошел Никитин:

— Пулат!.. Молодец, вовремя подоспел. У нас каждый человек на счету.

Он не стал ни о чем его расспрашивать, коротко объяснил, какая беда подняла всех на ноги, и направился к бетонщикам, ладившим на берегу из бревен и проволоки сипаи, которые показались Пулату похожими на противотанковые ежи. Бохадыр-ата, Халмат и другие бывалые сипайщики начали уже устанавливать их в воде, перед самой перемышкой, стреноживая вздыбившуюся, словно норовистый конь, реку. Это было нелегкое дело, оно требовало от сипайщиков немалой сноровки. Нужно было по-особому, определенным образом разместить сипаи поперек реки. Яростный поток мешал сипайщикам, но они работали не за страх, а за совесть, понимая, что в этом единоборстве решается судьба всего Каттасайского участка. Не овладеют они с рекой — и каттасайцам придется начинать все сначала. Больше всех усердствовал Халмат. Желая хоть как-то загладить свою вину, он старался изо всех сил. Пренебрегая опасностью, стоя по пояс в холодной воде, он искусно метал на дно деревянные треножки.

Пулат, работавший неподалеку, то и дело поглядывал на него — с удивлением, беспокойством, завистью. Как он жалел, что не обучился еще и профессии сипайщика! В эту минуту он жаждал быть рядом с Халматом, жаждал самого трудного и опасного дела — не для того,

чтоб забыться, нет! Его терзало сознание, что снова он в тылу, а не на передовой; горькое, высокое напряжение этого дня искало выхода, он чувствовал себя обязанным перед памятью отца быть там, где всего труднее и опаснее.

Халмат орудовал споро, споровисто. Вдруг он пошатнулся, — видно, свело раненую ногу. Пулат видел, как искажилось его лицо. Беспомощно взмахнув руками, прораб погрузился в воду, поток подхватил его, понес с собой. Пулат вскочил на ноги, его чувства опережали мысль. Не успел он еще осознать, что должен сделать, как мускулы сами собой напряглись, он стремглав ринулся бегом вниз по течению и, опередив поток, влекущий уж не сопротивлявшегося Халмата, не раздеваясь, бросился в быстрые ледяные волны. За собой он услышал отчаянный возглас Рустама:

— Куда, дурень? Ведь плавать не умеешь!

Рустам побежал по берегу, обгоня стремительный поток, круживший два, словно связанных, тела. Он уж хотел было кинуться в воду, но увидел, что Халмата и его спасителя прибывает к берегу как раз в том месте, где Пулат и Рустам любили удить рыбу. Прораб и юноша успели ухватиться за прибрежную траву. Рустам размашистым прыжком подскочил к ним и вытащил на берег. Пулат такой мертвой хваткой вцепился в плечи Халмата, не давая ему уйти на дно, что Рустам еле оторвал его заочевшие руки от халматовской спецовки. Подоспели бетонщики, Халил-ата и Бахор. Они принялись растирать пострадавших, делать им искусственное дыхание.

Халмат первым открыл глаза, обвел помутневшим взором склонившихся над ним, остановился на Рустаме — и, видно, все вспомнил, все понял... Схватив бетонщика за руку, он прижался мокрым лицом к его рукаву, плечи мелко затряслись от сдержанного плача. Когда плачет мужчина, обычно испытываешь чувство неловкости. Но Рустаму плачущий Халмат не казался жалким, в этих слезах словно перегорало то вздорное, наносное, что было в характере самолюбивого, озлобленного и, в сущности, одинокого парня. Рустам знал: такие потрясения не проходят бесследно.

Вскоре очнулся и Пулат. Он сел на траве, увидел рядом с собой Халмата, живого и невредимого, лицо его

озарилось радостью. Но, борясь с бешеным потоком, он совсем обессилел, да и студеная вода сделала свое дело — у него зуб на зуб не попадал, все тело была крупная дрожь. Он смежил веки, кровь отхлынула от его щек. Пулат потерял сознание...

29

Около трех недель провалялся Пулат в городской больнице, куда отвезли его Анвар и Никитин. Опять жестокая простуда пыталась его холодом и жаром. Первые дни он почти не приходил в себя, метался в бреду на узкой больничной кровати, то плакал, то звал кого-то: «Ваня, воды!.. Отец... дайте, я вытру кровь... Гранаты... Где гранаты?.. Бахор... прощай!» Халил-ата, часто навещавший юношу, только скорбно качал головой, гладил Пулата по плечу, чтобы унять дрожь, поплотнее укрывал его одеялом. Пулат ненадолго засыпал в полном изнеможении и снова начинал бредить. Ему мерещился отец — он бежал на Пулата с окровавленным лицом, кричал что-то. Пулат видел только его широко раскрытый рот и тоже кричал в бреду — от страха, от боли за отца, от ощущения собственного бессилия: ему казалось, что отец зовет его на помощь и только он, Пулат, может его спасти, а он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Отец бежал на него, и дети на руках матерей протягивали к нему худые ручонки, и пламя пожаров полыхало перед его воспаленными глазами, застилая все вокруг, — пламя было алое как кровь, все существо Пулата было охвачено этим пламенем. А потом к нему пришел Ваня Николаев в новенькой, с иголки, солдатской форме, с лицом самого Пулата, каким он помнил себя в детстве. Ваня смотрел на него большими-большими черными глазами и что-то говорил ему голосом Бахор...

Недаром Пулату чудился голос Бахор: как и тогда, когда он, больной, лежал в их землянке, она терпеливо и самоотверженно ухаживала за ним, жертвуя своим одыхом, помогая врачам и медсестрам. Она приходила в палату ранним утром, не успев даже позавтракать; из больницы спешила на завод, с завода опять в больницу, где и просиживала дотемна. Она бы оставалась и на ночь, но стеснялась отца и товарищей Пулата, поочеред-

но дежуривших возле больного. Но и дома Бахор не спала по ночам. Устремив взгляд в потолок, все думала о Пулате... Глаза у нее были красные от бессонницы.

Бахор сердцем чуяла, когда Пулату хуже, когда легче... Однажды он, на минуту придя в себя, открыл глаза, увидел Бахор у своей постели, слабо улыбнулся ей, одними губами попросил: «Пить...» В это время в палату вошел врач-украинец с седыми, по-запорожски обвислыми усами. Он остановился в дверях, наблюдая, с какой заботливой, мягкой осторожностью девушка поила больного, одобрительно хмыкнул:

— Ну, ни дать ни взять — медсестра!

Бахор, зардевшись от смущения, хотела было встать. Врач, подойдя, положил руку ей на плечо:

— Сиди, сиди, дочка, — и, покручивая ус, продолжал: — Давно я к тебе приглядываюсь. Побольше бы нам таких медсестер да сиделок — хлопцы долго бы тут не залеживались. Одними осмотрами да лекарствами человека на ноги не поднимешь. Наикрапее лекарство — забота. Надо всю душу отдавать больному. Вот как ты... Ради больного все на свете готово забыть! Гарный из тебя вышел бы доктор...

Бахор улыбнулась:

— Я когда-то и сама мечтала стать врачом.

— Добрая мечта!

— Только я уже выбрала профессию...

— Что за профессия такая, что ее уж и сменишь нельзя?

— Я электросварщица! — с гордостью сказала Бахор. — Кончится война, пойду учиться на инженера. После войны столько строить будем — так нужны будут инженеры!

— А врачи уж и не понадобятся? — с обидой спросил доктор. — К сожалению, в нас еще долго будут нуждаться.

— Врачи у нас есть! Хороших инженеров пока мало. И рабочих, — задумчиво проговорила Бахор и доверительно добавила: — Меня на стройке девушки-электросварщицы обучили своей профессии. Столько труда на меня потратили! Изменяю своему делу — вроде и их предаю, правда?

Доктор, разглаживая длинный ус, ласково взглянул на Бахор:

— Чистая у тебя душа, доченька...

Бахор покраснела.

Нежные ее руки и на этот раз отогнали хворь от Пулата. Союзниками в ее победе над болезнью были и умение врачей, и постоянное внимание и заботы друзей Пулата. Когда понадобилось достать редкое, дорогое лекарство, которого не было в больнице, бетонщики невесть каким путем раздобыли его. Помогла и жизнестойкость самого Пулата — в каждой его жилке билось желание выздороветь, встать на ноги, чтобы совершить все, чего он еще не успел в своей жизни.

Как-то утром он открыл глаза, с недоумением оглянулся, силясь припомнить, как он сюда попал и что с ним было до этого... Он лежал в маленькой комнатухе с обшарпанными стенами, высоко, у самого потолка, светилося окно, а железная сетка его кровати провисала чуть не до пола. У него появилось такое ощущение, будто он на дне глубокой ямы. Чтобы освободиться от этого тягостного чувства, он, опершись о кровать ослабевшими руками, с трудом приподнялся, спустил ноги на пол, медленно, еле удерживая равновесие, подошел к окну, приподнявшись на цыпочки, упираясь локтями в подоконник, заглянул в него...

Окно его палаты выходило на широкую, мощеную дорогу, обсаженную карагачами. По дороге взад и вперед мчались пустые и груженные машины, проехала арба, доверху наполненная свежими, лаково-яркими, алыми помидорами, шли школьники, люди в рабочих спецовках. Все куда-то спешили, у всех была какая-то цель. И уже с этой минуты Пулата начало томить вынужденное бездействие, его потянуло наружу, к этим топчущимся по своим делам людям...

Это был первый признак выздоровления.

И хотя у Пулата тотчас закружилась от слабости голова и он еле добрал до своей постели, но он уж и сам чувствовал, что самое опасное позади.

С тех пор он полюбил стоять у окна, наблюдая за пестрым движением на дороге. Окно связывало его с шумным, беспокойным, полным труда и тревог, радостей и дружбы миром, частицей которого был он сам и без которого так тосковал! Глядя в окно на дорогу, он припоминал тот путь, который прошел сам. Негладкий это был путь, нелегкие испытания выпали на его долю, но

они словно очистили, отграничили, обновили его душу. На этом пути он узнал счастье труда, дружбу, любовь. Он узнал и самое черное горе, однако болезнь, эта длинная-длинная ночь в его жизни, как бы отодвинула горе далеко в прошлое. Он знал, что никогда не забудет отца, но представлял его только живым, образ отца не вязался в его сознании с мыслью о смерти. И думал сейчас Пулат лишь о будущем. Он ясно сознавал, что ждет от будущего и что сам должен сделать для своих близких, для друзей, для Родины. Слабость еще сковывала его движения, но никогда еще он не ощущал в себе такой внутренней, зрелой силы. Он вернулся к жизни после всех невзгод, горя, болезни для того, чтоб прожить ее ярко и достойно, ярче и достойнее прежнего! И все свои словно заново проспавшиеся силы, жизнь свою он готов был отдать за счастье своего народа, который дал ему возможность учиться и трудиться свободно и вдохновенно и окружил миллионами друзей. Труд и дружба окрылили Пулата, родили в нем веру в себя и мужество. Труд и дружба помогли ему окрепнуть душой и разумом, выстоять перед бедой, отчаянием и сомнениями. Стройка, в которой он участвовал, явилась как бы колыбелью его характера. Могучая волна народного энтузиазма подняла его и понесла на высоком гребне вперед. И он был безгранично благодарен людям, которые трудились бок о бок с ним, учили его, крепко — порой до боли крепко — поддерживали за локоть в тяжелую минуту. Он был благодарен своему народу, советской нови, выведшей его на нелегкую, но ясную и прямую дорогу, и чувствовал, что у него хватит сил, воли и умения отплатить добром за добро, до конца выполнить свой долг перед друзьями, перед Родиной!

В эти дни Пулат часто думал о матери... Ее до сих пор не известили ни о гибели мужа, ни о болезни сына: ни у кого не поднималась рука нанести ее сердцу сразу две глубокие раны: это могло убить ее. Все дожидались выздоровления Пулата, а когда ему стало лучше, он сам попросил ничего ей не сообщать. Вместе с Бахор написал короткое, успокоительное письмо, где ни словом не обмолвился об отце — он решил рассказать ей все при встрече. А на это тоже требовались силы, нужно было запастись немалым мужеством, чтобы и самому не сдать

и хоть часть своего мужества передать матери, помочь ей выдержать страшный удар, справиться с немислимым горем.

На сердце у Пулата теплело, когда он думал о Бахор... Стоило ей войти в палату, как он уж не отрывал от нее глаз — он так давно не видел ее, и все по своей глупости! Как она добра и нежна, как тревожилась за него все это время. Только такой ревнивый дурак, как он, мог заподозрить ее в чем-то недостойном. Ей можно было верить больше, чем себе, — честнее и чище ее нет никого на свете! Она настоящий друг, любит его и понимает так, как может понять только самый близкий человек.

В тот день, когда Пулат впервые попробовал встать на ноги, она, заглянув в палату и увидев его сидящим на постели, вся просияла от радости. Подойдя к нему, не дожидаясь вопроса, поспешила сказать:

— С перемышкой все в порядке, Пулат. Победа за нами!

Умная, чуткая, она угадала, о чем больше всего хотелось ему узнать в эту минуту.

И только после этого она подсела к нему, приникла головой к его груди и, плача от счастья, зашептала:

— Пулат, родной, значит, тебе лучше. Тебе ведь лучше, Пулат? Я так и знала... Ты сильный, тебе любая болезнь нипочем. Вот увидишь, все будет хорошо!

Какую бодрость влили в него эти слова — они оказались целительнее любых лекарств!

О многом размышлял Пулат, глядя в окно на дорогу...

Правда, времени для раздумий у него почти не было. Не проходило дня, чтобы к нему не навещивался кто-нибудь из друзей: то Халил-ата, то Рустам, то Никитин. От посетителей отбоя не было, и доктор смотрел на эти посещения сквозь пальцы, потому что после них у Пулата поднималось настроение и даже аппетит улучшался. А уж друзья старались, чтобы он не был голоден. Вся тумбочка возле его кровати была забита снедью, принесенной ими: тут были и овощи, и сладости, и козье молоко в солдатской фляжке Рустама.

Незадолго перед выпиской, когда Пулат был в палате один, к нему заявился Халмат. Стараясь скрыть чувство неловкости, он держался с нарочитой развяз-

ностью. Небрежно поздоровался с Пулатом, широким жестом вывалил из-под мышки на тумбочку огромную дыню, похвастался:

— Весь базар обшарил! Вот достал, говорят — мир-зачульская. Из тех мест, где мы с тобой вкалывали, — помпишь?

Он присел рядом с Пулатом на кровать, достал из-за голенища сапога нож, ловким, споровистым взмахом разрезал дыню. Она всю зиму пролежала в песке, сохранив аромат, и сочность, и такую нежную сладость, что мякоть ее так и таяла во рту.

— Вкусно! — похвалил Пулат, облизывая пальцы, с которых стекал сок.

От этой похвалы лицо Халмата, как он ни сдерживался, расплылось в широкой, довольной улыбке.

— Значит, угодил? — Но тут же он принял покровительственный вид: — А ты, брат, слабák, слабák, а парень что надо! Сам-то, оказывается, плаваешь как топор... — Удивляясь чему-то про себя, он мотнул головой, усмехнулся. — Спа-аситель! — ершился он, однако, через силу, голос у него дрогнул: — Только, брат, не стоило меня спасать. Меня утопить надо!

— Бросьте, Халмат-ака, — мягко осадил его юноша. — Ну, ошиблись... Ведь поправили ошибку? Перемычка-то устояла?

— Моя тут какая заслуга? — мрачно буркнул Халмат.

— Предупредили вовремя.

— Не словчил бы раньше, не пришлось бы и предупредить. И ты бы тут не валялся! — Он оживился. — Гляди-ка, как одно за другое цепляется! Тураханову славы захотелось — на халтуру меня толкнул, а тут паводок, будь он неладен, перемычку чуть не смыло к чертовой матери. Я перепугался, вас на помощь позвал, сам в воду попер, чуть дуба не дал. А ты парень такой — для других и жизни не жалко, полез спасать меня, дурака, вот и очутился в больнице... Отчего ты, выходит, здесь? Оттого, что ты стоящий парень, а Тураханов дерьмо. — Халмат поднял палец. — Диалектика!

Пулат засмеялся:

— А у вас и правда язык без костей!

— Есть немножко, — вздохнув, согласился Халмат и снова возбужденно заговорил; видно, какая-то мысль не давала ему покоя. — Эх, брат, если бы, принимаясь за

дело, мы могли угадывать, к чему это приведет! Знай я, что такая петрушка получится... с перемычкой вот... и с тобой... да ни в жизнь бы не уломать меня Тураханову! Ох, и честят же его на стройке на чем свет стоит! Нам Халил-ата все объяснил... Почему этот тип в кишлак рванул... Бессовестная душа! Да на фронте за такое... Черт, как мы его раньше не раскусили?

— Человека не так-то легко распознать, — задумчиво проговорил Пулат, он в эту минуту подумал и о Халмате. — А Тураханов... Он ведь в душе боялся всех, вот и притворялся. В душу-то ему не влезешь.

— Надо влезать! Нет, брат, я так думаю — если такой подлец ходит среди нас неразоблаченный, да еще жизнь нам портит — в том и наша вина!

Халмат произнес эти слова необычным для него убежденным, серьезным тоном. Пулат, продолжая уплетать дыню — несколько долек он оставил для Бахор, которая должна была скоро прийти, — с радостным удивлением покосился на Халмата: а он и неглупый парень! Вот ведь как можно ошибиться в человеке...

Да, еще раз подвела Пулата мальчишечья категоричность. Жизнь сложна, нельзя всех стричь под одну гребенку, судить о людях с первого взгляда. Правда, в Тураханове он сразу почувствовал фальшь — и не ошибся. А вот с Халматом сплеховал. Он и его сразу же невзлюбил, долго считал пустым, никчемным хвастуном. Но не всегда же можно полагаться на внутреннее чутье — оно требует проверки жизнью. Лишь опыт и глубокое знание человека дает право на безоговорочное суждение о нем. А знал ли он Халмата, попытался ли узнать, что у него на сердце? Ведь несмотря на всю свою самоуверенность, язвительность, Халмат в чем-то был и слаб, но в то же время и честен, у него душа труженика. И за него нужно было бороться! А ты, Пулат, встретив его на стройке, убедившись, что он несколько не изменился, остался таким же, как был — хвастливым, тщеславным, мстительным, — поспешил с обидой отвернуться от него, и каждый пошел своим путем. Ты больше и не вспоминал о Халмате, а тот, оставшись наедине со своей слабостью, поддался Тураханову и чуть не совершил преступление, а его можно было предупредить, ведь Халмат был не так уж безнадежно неисправим! С такими, как Тураханов, борются, и ты боролся. Но борются

и за таких, как Халмат, а все от него отмахнулись. И не ты, не твои друзья — беда вразумила Халмата, беда, которой могло бы и не случиться! Теперь вся спесь слетела с него и обнажилась настоящая, человеческая сердцевина его характера.

Но что я тебя корю — ты и сам клянешь себя за то, что не сумел разгадать это настоящее в Халмате, и я верю — теперь ты будешь внимательнее к каждому, с кем столкнет тебя судьба: ведь жизнь на стройке многому тебя научила. Правда, дорогой мой, юный друг?..

А с Халматом вы еще будете друзьями!..

Пулат, открытым взором посмотрев на Халмата, протянул ему руку:

— Забудем все, что было, ладно? Будем дружить?

Этот по-школьному наивный порыв юноши заставил Халмата внутренне улыбнуться, но он с готовностью крепко пожал ему руку:

— А лапища у тебя — дай бог! Даром что болен. Вот ведь как бывает... — Он скривил губы. — Я тебя дохляком окрестил, а ты меня, бывалого фронтовика, из воды вытащил! — И тут же спохватился: — На поверку-то я и вправду послабей тебя оказался.

Нелегко далось Халмату это признание!..

В это время дверь тихо отворилась, в палату вошла Бахор. Увидев, что Пулат не один, она смутилась, но только на мгновение. Смело, с высоко поднятой головой шагнув к кровати, где сидели Пулат и его гость, она приветливо поздоровалась с обоими. Халмат встал, предложил ей сесть, но она отказалась. По-хозяйски оглядела палату, все ли в порядке, прошла к окну и настежь распахнула его. Видно было, что она чувствует себя здесь как дома. Пулат следил за ней благодарным, любящим взглядом. Халмат, покосившись на Бахор, на Пулата, каплянул в кулак, тихо шепнул:

— Ты, брат, того... прости меня. — Он глазами показал на Бахор. — Помнишь, нагородил я тебе всякого... Поддеть хотел! А она у тебя славная.

— Я же сказал — забудем!

— О чем вы там? — от окна спросила Бахор.

— Да Халмат-ака дыню припес, хочет угостить тебя.

— Ой, хорошо! — по-детски обрадовалась Бахор. — Дыня!.. Век дыню не пробовала! — Она вздохнула. — Ешь сам, Пулат, это ведь тебе.

— Да он скоро лопнет от обжорства! — не удержался Халмат. — Пагулял ряшку! — Он дружески плечом подтолкнул Пулату и поднялся. — Ладно, в гостях хорошо, а дома лучше. Я пошел.

— Куда же вы?

— Вы без меня как-нибудь обойдетесь, а стройка едва ли! — важно заявил Халмат. — Пламенный привет!

Когда он исчез за дверью, Бахор подошла к Пулату, с беспокойством спросила:

— Как себя чувствуешь?

— Когда ты со мной — лучше всех!

— Нельзя без шуток? Ты не забыл — сегодня тебе на исследование!

За последние дни Пулату замучили различными исследованиями. Он втайне страшился каждого предстоящего осмотра — а вдруг процесс обострился, тогда нечего думать о фронте, а он должен там быть, чтобы заменить отца!

И когда однажды после решающего осмотра в палату к нему вошел врач-украинец с рентгеновскими снимками в руках, Пулату охватило озноб. Сердце забилось часто, трепетно. Он до боли прикусил губу, чтоб не выдать волнения, и напряженным взглядом уставился на врача, а тот улыбался в седые, обвислые усы.

— Ну, хлопче, бывают же в природе чудеса! — Он протянул Пулату снимки. — Держи. Любуйся! Нет у тебя никакого туберкулеза! Понятно? Нет! Таких, как ты, болезни боятся!

Пулат порывисто подался навстречу врачу. Он не верил своим ушам:

— Как... нет?..

— А вот так, нет, и все тут. Все зарубцевалось. Климат-то здесь и правда волшебный! Да и труд — он, хлопче, закаляет, эт-то великий чародей!

Пулат как подкошенный опустился на кровать — порой и радость валит с ног. Он прикрыл глаза ладонью, по тут же отнял ее, вскинул голову, взволнованно спросил:

— Доктор... Значит, я теперь могу на фронт?

После призыва в армию Пулат провел около месяца в лагере, расположенном в их же районе. Там он прошел

военную подготовку. За это время он успел списаться с майором Петровым, и тот обещал добиться, чтобы Пулата из запасного полка направили к нему в часть.

К месту армейской службы Пулат уезжал со станции, находившейся неподалеку от районного центра. Эта станция была началом его нового, большого и трудного пути, и он надолго запомнил ее, хотя она и не представляла собой ничего особенного: станция как станция — педлинные шеренги запыленных, в паровозной саже карагачей вдоль пристанционного участка железной дороги, немногочисленный рынок сразу же за старым кирпичным станционным зданием, по другую сторону железной дороги голый, без зелени, колхозный поселок в степи.

На одном из путей стоял воинский эшелон, готовый к отправке. Возле теплушек толпились новобранцы и провожающие. Станция гудела, как пчелиный улей, слышались громкие возгласы, смех, плач, песни.

Провожать Пулата пришли Хайри, Бахор и Халилата, Анвар и Рустам, представлявший всю никитинскую бригаду.

Пулат был в новой солдатской форме. Она сидела на нем мешковато, но он чувствовал себя в ней заправским солдатом и все поправлял пилотку на стриженной голове. Ему, видно, было просто приятно лишний раз коснуться ее рукой.

Хайри не отходила от сына. За последнее время плечи ее чуть ссутулились, волосы еще больше посеребрила горькая седина. Ей стоило огромных усилий держать себя в руках — хотелось кипуться к сыну, крепко-крепко, как в детстве, прижать его к себе, защищая от бед и опасностей, и никуда от себя не отпускать — довольно с нее одной невосполнимой потери!..

Это чувство мучало ее давно, с того дня, как Пулату велели явиться на сборный пункт военкомата. Но и тогда она не сказала ни слова, молча уложила в чемодан вещи сына, лишь ночью, в одиночестве, зарылась лицом в подушку и разрыдалась... До фронта Пулату было еще далеко, но Хайри уже видела его в огне сражений и уговаривала себя — нет, нет, война не посмеет отнять у нее сына, это было бы слишком жестоко! Но тут же она вспомнила, что так же думала когда-то и о Хайдаре, и задохнулась от нового приступа рыданий...

Самое страшное, что она была бессильна перед тем,

чему суждено было свершиться. Хайри знала: если бы даже она была способна удержать рядом с собой сына, она не воспользовалась бы этой постыдной возможностью. Она — мать, вдова, но она одна из многих вдов и матерей, сердца которых в эти годы обливались кровью. И ей было до боли ясно: место Пулата, как и тысяч его сверстников, там, где сложил голову его отец. Он не только ее сын, он сын своего народа. Он рвался на фронт, и она понимала и одобряла его порыв, такой естественный для Пулата, для любого советского юноши. Ведь она сама воспитала его патриотом, и она гордилась своим сыном — он так походил на отца! Хайри жизнью своей готова была пожертвовать, только бы Пулат остался жив, но она не имела права его удерживать. И, плача, она мысленно напутствовала его: «Будь бесстрашен, сынок, будь отважен, как твой отец, но возвращайся целым и невредимым. Будь ты проклят, фашизм!»

Хайри часто навещала Пулата в лагере и при нем держалась напряженно-спокойно, мужественно, но стоило ей прийти домой, в опустевшие комнаты, как ноги у нее подкашивались. Сидя на постели, держа перед собой фотографию мужа, который и для нее, как для Пулата, навеки остался живым, она подолгу сердцем разговаривала с ним: вот и Пулат покинул дом, когда же наконец кончится эта война, что делать, как жить без сына, без мужа?..

В школе, охваченной предэкзаменационной страдой, Хайри немного забывалась. Она была нужна этим мальчикам и девочкам, многочисленным своим детям, и ради них она старалась подавить в себе отчаяние и слабость. Им теперь принадлежала ее жизнь.

Она пришла провожать Пулата внутренне собранная, ей хотелось, чтобы воспоминание об этих минутах прощания придавало сыну сил и мужества; пусть он видит ее стойкой, не сломленной горем, и там, на фронте, не волнуется за нее, так ему легче будет воевать.

Молча стояла она рядом с сыном и смотрела на него ненасытным взглядом, словно могла насмотреться на всю жизнь!..

А Пулат, при всей своей внешней, такой новой для нее, взрослой суровости, был возбужден. То и дело ласково, ободряюще поглядывая на мать, он оживленно разговаривал с Бахор и другими провожающими. Раз-

говор был шутливый, беспорядочный. Пулат испытывал душевный подъем, он добился-таки своего, он — воин Красной Армии и скоро будет на передовой. Наконец-то на передовой! Порой, правда, на его лицо набегала тень — он вспоминал о погибшем отце...

Бахор пришла на станцию в самом своем парадном, легком, цветастом ситцевом платье с короткими рукавами. Волосы ее сияли под солнцем, на руке поблескивали маленькие часы — подарок Пулата. Она принесла с собой большой букет чуть привядших тюльпанов. Передавая их Пулату, многозначительно посмотрела на него, шепнула:

— Это оттуда, с нашего луга... Последние.

— Нет! — громко сказал Пулат. — Не последние!.. Вернусь — ты встретишь меня таким же букетом. Правда, Халил-ата?

— Вы еще вместе будете их собирать! — любовно глядя на дочь и Пулата, откликнулся старый кузнец.

— Что вы, отец! — засмеялась Бахор, за шутливым тоном скрывая свое смущение. — Пулат возвратится героем, весь в орденах, вряд ли он снизойдет до тюльпанов.

— Честное слово, сразу кинусь на луг! — заверил Пулат. — Войны уже не будет — будет весна, и солнце, и цветы!.. Мы еще справим праздник тюльпанов всем кишлаком. Верно, мама?

Хайри не могла удержать надрывного вздоха.

А Бахор, казалось, ничуть не была опечалена предстоящей разлукой с любимым или тоже бодрилась ради Пулата? Нет, она радовалась за него, вернее, вместе с ним — у их мыслей, чувств и стремлений было одно русло, и Бахор легко было поставить себя на место Пулата. Прежде, когда его не брали в армию, она от души переживала за него, а теперь вместе с ним торжествовала победу: он победил болезнь, горе, исполнилась его страстная, суровая, испепеляющая сердце мечта — он продолжит ратный подвиг своего отца! А еще Бахор не поддавалась печали потому, что упрямо верила — ничего с Пулатом не случится, впереди у него — новые победы, он сильный, храбрый, самый сильный, лучший из всех!..

Разговаривая с ним, она так раскраснелась, что казалось — это букет, который он держал в руках, отбрасывает на ее щеки алый отсвет.

Анвар и Рустам старались не мешать их беседе — пусть вдоволь наговорятся перед долгой разлукой. Анвар скользил взглядом по группам солдат и провожающих. Вдруг у него округлились глаза — возле одной из теплушек он заметил Тураханова, что-то хмуρο втолковывавшего стоящим рядом с ним сухопарому, с жестким выражением лица старику и сморщенной старухе в очках.

Анвар знал, что Тураханов призван в армию. После драматических событий, раскрывших его истинную сущность, его сняли с должности, исключили из партии. Уполномоченным райкома на Галабастрое стал вместо него Анвар.

Анвар предполагал, что может встретиться на станции с Турахановым, и все же, увидев его, озадаченно вскинул брови. Он с трудом узнавал в этом обритом наголо солдате прежнего Тураханова. Лишь аккуратные усики по-прежнему красовались на его лице, но от этого он выглядел еще более жалким. Он словно бы сделался меньше ростом, съежился, как засохшая груша, хотя, разговаривая со стариками, грозно, властно хмурился.

Анвару не было жаль его — слишком много зла причинил он людям. Его мрачный вид вызвал в Анваре лишь глухое раздражение: отъезд на фронт, который Пулат воспринял как дар судьбы, для Тураханова был ударом судьбы, потому-то он так и съежился. Противно было на него смотреть. Как-то он поведет себя на фронте?.. Ведь там ему, рядовому солдату, придется подчиняться, а не командовать, и судить о нем будут по делам, а не по обещаниям и отчетам!

Ох, Тураханов, научило ли тебя чему-нибудь то, что случилось с тобой?

Самого Анвара все случившееся заставило крепко призадуматься. Мучало его одно сомнение — пу, а если бы стечение обстоятельств не обернулось против Тураханова, если бы Зеби согласилась покорно терпеть домашний гнет и не было бы беды на стройке из-за паводка, не было бы всего, что само по себе разоблачило Тураханова, — удержался ли бы он на поверхности? Ведь он считался в районе авторитетной фигурой, был энергичен, умел пустить пыль в глаза, многие его побаивались. И не сорвись он волей случая — так бы и был до сих пор на коне?

И Анвар отвечал сам себе — нет и еще раз нет!.. Как веревочке ни виться, а концу быть. Такие, как Тураханов, непременно споткнутся не на одном, так на другом. Он жил для себя, а не для партии, не для народа, мы начали уже это понимать и не допустили бы, чтобы народом руководил властолюбец и карьерист. Пулат, Хайри, сам Анвар уже подняли голос против Тураханова, и рано или поздно он был бы развенчан. В стране нашей любая власть бессильна перед народовластьем!..

Тураханов, словно почувствовав устремленный на него взор Анвара, на миг отвлекся от разговора с родителями, оглянулся, увидел Пулата, других своих старых знакомых, и на его лице появилось выражение какой-то униженной растерянности. Он что-то быстро сказал старикам и, затравленно озираясь, ухватившись за дверь, прыгнул в теплушку.

До отправки эшелона оставались считанные минуты.

Хайри крепко обняла сына, прижалась мокрой щекой к его щеке. Пулат погладил ее плечо:

— Мама!.. Что ты, мама!..

Но Хайри уже овладела собой. Выпрямившись, вытерев слезы, сказала:

— Доберешься до своей части — про Ваню не забудь. Сделай все, чтобы мальчика к нам отправили. Нельзя детям на фронте! Мы примем его, как родного, здесь ему будет хорошо.

— Постараюсь, мама.

Бахор, робко приблизившись к Пулату, застенчиво, нерешительно оглянулась и с таким отчаянным видом, словно бросалась в ледяную воду, обвила руками его шею, поцеловала при всех в щеку и тотчас отпрянула. Вся пылая, проговорила:

— Я буду ждать тебя, поскорей возвращайся, Пулат!..

Рустам добродушно улыбнулся:

— Ты не стесняйся, сестренка, тут все свои. Вместе будем ждать этого палвана! Ты ведь остаешься на стройке?

— Конечно!

— А ты, Пулат, когда демобилизуешься, что собираешься делать?

— Вернись на стройку. Но об этом рано еще говорить.

— О будущем говорить никогда не рано, — веско сказал Рустам. — Я знал, ребятки, что вы мне ответите. Сердцем к стройке прикипели — оно и понятно, она вас такими орлами взрастила! — Бросив взгляд на Хайри, он поспешил оговориться: — Вместе с вами, вместе с вами, Хайри-апа! — Он по-отцовски обнял Пулата и Бахор за плечи, привлек их к себе. — Эх, дорогой мой рабочий класс!

Состав громыхнул сцепами — Хайри снова, в последний раз, прикикла к сыну.

И долго еще после того, как эшелон тронулся, близкие и друзья Пулата махали руками вслед удаляющимся вагонам.

Попрощаюсь и я с тобой, юный мой друг. Доброго пути, Пулат! Возвращайся с победой!

ШАРАФ РАШИДОВ

КАШМИРСКАЯ ПЕСНЯ

ПОВЕСТЬ

Перевод Н. Грибачева

ОТ АВТОРА

В основе этой повести — древняя кашмирская легенда. Она исполняется — рассказывается и поется — в Кашмире и сейчас. Музыка к ней создал талантливый композитор и педагог Дина Натх Надим.

Известно, что авторы иногда на протяжении всей жизни обращаются к любимым произведениям, внося дополнения и исправления. То же сделал и я для этого нового издания «Кашмирской песни».

ПРОЛОГ

Много живший, много видевший, много вкусивший от радости и горя учитель спросил своих учеников, молодые глаза которых были зорки, а ум только расправлял крылья для дальнего полета:

— Где рождаются реки?

— В горах,— ответил один.

— Родниками из земных глубин,— ответил другой.

— В морях и океанах,— ответил третий.

Учитель подождал, не добавят ли они еще чего-либо, но так как они молчали, сказал:

— Каждый из вас изрек истину видимости, но не истину сути. Истина видимости открывается смотрящему, истина сути — думающему и долго ищущему. Тот, кто говорит, что реки рождаются в горах и от родников, забывает, что вода приходит туда из океанов и морей. Тот, кто говорит, что реки рождаются в морях и океанах, забывает, что вода к ним приходит с гор и от родников. Тот, кто скажет, что нашел начало и конец, нащупав одно звено замкнутой цепи,— тот или ошибающийся, или невежда, или лгун.

И снова, подумав, спросил учитель:

— Где берет начало мудрость народа?

— В опыте,— ответил один.

— В мысли,— ответил другой.

— В соединении опыта и мысли,— ответил третий.

И снова, подумав, сказал учитель:

— Опыт человека умирает вместе с человеком, ум человека умирает вместе с человеком. Ибо короток век наш! — Мудрость берет начало в памяти народа. Она океан, от которого рождаются горные потоки и родники,

она океан, куда впадают горные потоки и родники, ставшие в пути реками. Память — следствие мудрости, и она причипа ее. Но где живет память и что дает ей силу переходить, обогащаясь, из века в век, из прошлых времен во времена будущие?

Это — рисунок на скале и картина на полотне.

Это — строка на каменной плите и книга.

Это — сказка, предание, легенда.

Это — песня и музыка.

В них память народа, которая, ширя свои берега, перетекает от поколения к поколению, в них мудрость народа, которая, как все разгорающийся в пути факел, передается от поколения к поколению.

Прими, песи, передай!

Прибавь зерно к зерну и строку к строке, плод к плоду и музыку к музыке, цветок к цветку и песню к песне!



И

В широкую, от горизонта до горизонта, долину, ступая легко и беззаботно, входила весна.

И серебряными казались потоки, падавшие с гор, окаймлявших долину, и золоточешуйпо сверкала река, плавными изгибами скользившая по ней, и первые, самые смелые и нетерпеливые, поднимались ростки и вспыхивали цветы. Впитывая все краски рассветов и закатов, рос и дождей, воды и неба, переливались они синим и желтым, розовым и фиолетовым, лиловым и оранжевым. Один другого ярче, один другого краше, улыбались солнцу, и солнце

улыбалось им. А когда хотели они отдохнуть от зноя, белоснежные облака прикрывали их летучей тенью.

Во множестве порхали птицы, на бесчисленные лады пели свои песни. О чем? Этого никто никогда не мог выразить словами, но все знали, что это радость жизни и песня жизни, язык которых понятен всем. А над бесконечными переливами красок и звуков молчаливо возвышались по краям долины высокие горы с вечными снегами на вершинах.

Наргис расцветала в долине первой. И красота ее была ни с чем не сравнимой — кто увидел ее однажды, тот помнил всегда. Надев голубую бархатную жакетку поверх шелкового платья, повязав головку белой косынкой, нацепив серьги из самодетных рос, она покачивалась на ветру, хмелея от простора, света, красок, песен.

Но невеселы были ее глубокие черные глаза и грустна песня, которую она пела сама в лад птицам и ветерку. Ни на какую другую не похожа была эта ее песня и словно бы искала дорогу в далекий край. Сердце Наргис тянулось к другому сердцу, которое бы поняло ее и ответило ей любовью на любовь.

Печалью не томимый,
Ты так далек, любимый.
Кто же слезы высушит мой
В любви неутолимой?

Все ищут в час цветенья
Дорогу единенья.
Что ж ты не начинаешь путь,
Что медлишь в отдаленье?

Нет тяжелей страданья,
Чем это ожидаье.
Приди и слезы осуши,
Приди, я жду свиданья!

Прислопившись к огромному камню у подножия гор, закрыв прекрасные, полные томления глаза, все громче, все настойчивее пела Наргис о своей любви к Бамбуру. Она пела и покачивалась на ветру — так выражала она и свою радость, и свою печаль, и обиду одиночества. И в такие мгновения ей начинало казаться, что тот, кто заполнил все ее помыслы и чувства, уже возник из полдневного марева, уже идет, уже все ближе, ближе, и его дыхание колышет ее шелковые косы и обжигает алые губы.

Цветы, слушавшие Наргис, понимали, что любовь овладела всем ее существом, что все ее чувства и помыслы обращены только к Бамбуру. Без него не видеть ей красоты мира, не испытать из палаты счастья. И потому будет она ждать и звать его день за днем, час за часом, мгновение за мгновением — всю свою жизнь, до тех пор, пока серая волна небытия не набежит на глаза ее. И как бы далеко ни находился возлюбленный ее, какой бы многотрудный путь ни был ей сужден, она верила, что рано или поздно придет его — любовь вознаградится любовью.

Всему живому известно — любовь, обладающая такой преданностью и верой, будет все глубже пускать свои корни, становиться все более могущественной силой, которую не остановят ни бурные реки и бескрайние моря, ни желтые выжженные пустыни и высочайшие горы, подножия которых обмывают пенные потоки, а вершины укутываются облаками. Она, не страшась испытаний, достигнет своей цели!

— Цель далека, Наргис, и твой нелегкий путь.
Пройдешь ли до конца его когда-нибудь?
Нелегкий будет путь, дойду ли, нет ли, но
Лишь тем, кто вышел в путь, закончить путь дано.
— А если рыжий зной и яростный Хоруд
Дорогу преградят и лепестки сорвут?
Иль ноги обожгут горячие пески,
Или ударит вал разлившейся реки?
Или сторукный вихрь в свою поймает сеть —
О том, что вышла в путь, не станешь ли жалеть?
— Буря жестока, силен, а все ж любовь сильнее.
Властителем Хоруд, но только не над ней.
Любя, переборю реки могучей ток,
Любя, пройду живой сквозь пламень и песок.
Опасней, чем Хоруд, страшней кипящих вод
Молчать, когда любовь идти и петь зовет!

Всей долине была слышна песня Наргис. Ей вторили цветы, птицы, ветерок, ручейки, пробивающие себе дорогу с неба, от снежных вершин к теплой земле. И еще — в лад ей запела девушка, сердце которой переполнилось горячими мечтами юности и непомерностью всего того прекрасного, из чего состоит мир. А ей — так уж устроено, что из ручейка рождается река, из черенка дерево — откликнулись девушки близких и далеких селений, что, соединясь дорожками и тропинками, непрерывной чередой уходят за синюю черту горизонта.



А потом, когда ее голос растворился в бесконечности других, Наргис танцевала. И все, кто видел ее танец, движения рук и головы, то трепетно-радостные, то безгранично-печальные, понимал, что с ней происходит. Есть вечная связь всего со всем — птицы и ветра, неба и воды, цветка и человека, песни и сердца. Потому и получилось, что мечтания Наргис родили папев, папев породил песню девушек, песня девушек превратилась в движение, ставшее танцем Наргис, а танец Наргис, удивляя и завораживая, остановил время и заставил головки цветов тянуться выше, как можно выше.

Наконец Наргис устала и присела на камень.

Она думала о Бамбуре.

Она не помнила, когда его увидела и полюбила, не зна-

ла, во сне это было или наяву. Разве не случается так, что градь между явью и сном становится тоньше шелковой нити и качающейся на ветру паутинки, что в счастливое мгновение хочется потрогать себя — не сплю ли? — а в горестную минуту приходит желание — ах, скорее бы проснуться? Как бы там ни было, жажда встречи с Бамбуrom заполняла ее, а где и когда это началось — не имело значения.

Когда горит дом, нет времени вспомнить об искре, от которой он загорелся.

Но если пламя не гаснет и день, и два, и три и кажется, не погаснет никогда, приходит состояние, когда можно забыть то, что было, и вспомнить то, чего не было.

В такие минуты начинало казаться Наргис, что в один из летних дней на рассвете солнце, подобно ковру, растелило свои лучи от горных вершин до подножия и, окруженный сиянием, по ним сошел Бамбур. Сошел, и встал перед ней, и замер в безмолвии, и оно длилось, может быть, час, может быть, день, может быть, тысячелетие, и они не могли оторвать глаз друг от друга. И цветущая долина, и поднебесные горы, и весь мир исчез, растаял в прекрасных больших глазах Наргис, и ото всего, что было, осталась только Бамбур. И цветущая долина, и поднебесные горы, с которых сошел он по ковру солнечных лучей, и весь мир исчез, растаял в глазах Бамбура, и ото всего осталась только Наргис.

— Я царь пчел,— сказал наконец Бамбур, когда обрел дар речи.— Много садов и цветников, горных склонов и пустынь, благодатных лугов и тучных полей облетел я, но нигде не встретил такой, как ты. Может быть, ты не поверишь, но я искал тебя. Столько лет я искал! Во всем краю нет уголка, где я не побывал бы, нет цветка, у которого я не спросил бы о тебе — где ты, где ты, где ты? Есть волшебное зеркало мира, в котором отражено все, что было, все, что есть, все, что будет,— в нем я увидел тебя, и с тех пор жажда встречи гнала меня на поиски источника, который утолит ее. Я нашел этот источник — это ты, Наргис. Я нашел смысл своей жизни — это ты, Наргис. Не отвергай меня — в отвержении твоём моя смерть, Наргис!

Вот все, что он сказал.

Но сказал ли?

И сходил ли он с гор к ней, Наргис?

Или и она увидела его в волшебном зеркале мира?

Между явью и сном, между чудом и обыденностью, между волшебством и сотворением грань тоньше шелковой пити и паутины. Может быть, глаза наши видят больше того, что способен уяснить разум, может быть, мечтая о яблоке, мы закладываем и растим сад? Как бы там ни было, ручей отыскал реку, река отыскала море, любовь нашла любовь. И приходил, скользя по коврам солнечных лучей, Бамбур, и опускался к ногам Наргис, и влюбленным взглядом ловил влюбленный взгляд. А когда отводил он глаза, чтобы посмотреть на горы или долину, Наргис тревожно шептала:

— Нет, пет, смотри на меня! Когда ты отводишь взгляд, мне холодно!

А когда он замолкал в полноте чувств, она просила:

— Нет, нет, продолжай говорить! Когда ты молчишь, мне кажется, что перестал журчать ручей и зной иссушает меня.

И слезы радости сверкали на ее ресницах, как рассветные росы.

Они встречались у камня, и долина до края наливалась золотым и синим светом, наполнилась довольством и покоем. Утро переходило в полдень, полдень переходил в закат, закат переходил в звездную ночь, сновидения в явь и явь в сновидения. Все живое на земле обрело согласие, и казалось, что так будет продолжаться всегда.

Но лет яблока, одинаково румяного со всех сторон.

Нет равнины, которая не упиралась бы в горы или не обрывалась бы пропастью.

Нет добра, вокруг которого не ходило бы зло.

В долине поговаривали о свадьбе, и все, прослышавшие о том, готовили свои лучшие наряды.

Но враги всего здравствующего и благоденствующего, наблюдая за благополучной и веселой жизнью долины, все больше мрачнели от злобы, все сильнее ненавидели Наргис и Бамбура. Везде были у них свои глаза и уши, незримые другим. Наблюдая приготовления к свадьбе, они решили помешать ей. И для начала занавесили поднебесье тяжелыми черными тучами. Ни один солнечный луч днем, ни один отблеск звезды ночью не могли найти дорогу в долину.

Но, поспешая к Наргис, Бамбур не сбивался с пути. Ее сердце излучало тепло, от нее исходило сияние, и он без-

ошибочно находил дорогу к пей. Злые силы разъярились еще больше, подняли на болотах гнилые испарения, растелили серые, похожие на мокрую вату, туманы.

Но Бамбур находил дорогу.

Тогда черные силы воззвали:

— Где ты, Вихрь? Спешి сюда! Ты чуднице из чудиц, ты страшилище из страшилищ. У тебя тысячи щупальцев, ты извечный враг всему живому. Принимайся за дело, обрати в прах близкие и дальние земли вокруг долины!

И Вихрь сделал свое дело.

Дорога, по которой приходил на свидание Бамбур, была искрошена, ее пересекли трещины и провалы, над ней закрутилось марево серой пыли, в которой ничего нельзя было увидеть на длину руки. Только ящерицы еще шныряли по ней, и, прячась за камешками, поджидали добычу скорпионы.

— Ты молодец, — сказали Вихрю те, кто повелевал им. — И умеешь делать свое дело. Ты разрушил все дороги, а любовь без встреч — это цветок без воды. Он может орошаться собственными слезами, но слезы не увлажняют, а сушат!

У злыбы один глаз, и тот с бельмом, она видит то, что под ногами, но не видит того, что вокруг или далеко. Сердце Наргис посылало призыв, и Бамбур находил дорогу в клубах пыли.

Тогда был призван Буран:

— Теперь приступай ты. И не как-нибудь, а во всю силу. Сговорись с другими, найди помощников, покажи, что ты не зря носишь свое грозное имя! Вихрь разрушил дороги свидания, но это не помогло. Покажи — на что способен ты!

И свистнул Буран, и завыл, и показалось, что рухнула крыша мира, обвалились, скатываясь в долину, вершины гор, разверзлись пропасти, поглотив ручьи и реки. Вокруг долины цветов воцарилась хаос и мрак, она стала одиноким островом в безграничном океане опустошения. И впервые Бамбур, сколько ни искал, не нашел пути, и впервые Наргис, сколько ни звала, не могла дозваться его.

Вместо него перед ней, вывалившись из черного облака, встал Буран, свирепое страшилище с косматой головой. Крошки земли и пыли сыпались с него, пахло гарью.

— Видишь, как я люблю тебя, Наргис! — сказал он, впиваясь в нее глазами, в которых сверкали зловещие

огни.— Сколько я тут наворочал, и все ради тебя. А его нет. Его больше не будет. Если бы и захотел, он не смог бы вернуться,— продолжал он, не желая даже называть имя Бамбура.— Все вокруг уничтожено. Осталась только ты и твой сад. Будь моей женой, Наргис!

Наргис, сложив лепестки и печально покачав головой, сказала:

— Буран, нам с тобой никогда не понять друг друга и не сговориться. Возможно, сойдутся земля и небо, но доброта и жестокость, война и мир — никогда. Не старайся напрасно. Если ты даже повернешь реки вспять и опрокинешь горы, то и тогда не достигнешь цели. Ты сорвешь, втопчешь в землю цветок, но рано или поздно на его месте будет цвести другой. Будет цвести, будет цвести! Ты окутаешь пламенем дороги Бамбура, но он будет приходить! Ты воздвигнешь скалы на его пути, разольешь реки морями, но, одолев скалы и волны, он будет приходить, будет приходить! Могуществен ты, многое в твоих силах, но разлучить влюбленных ты не можешь. Нет у тебя таких сил!

Буран, слушая Наргис, наливался и наливался новой яростью — он не привык, чтобы ему противоречили. Цветы же, окружавшие Наргис, ее подруги, соловьи и горлилки, все, что любили и славили жизнь, одобрительно шумели, ворковали, пели. И показалось Бурану, что все они, кто покачивая яркой головкой, кто распушив зеленые листья, кто перепархивая, — все, сколько было, — двинулись на него. И смутился Буран перед упорством и бесстрашiem жизни и, не зная, что предпринять, стал пятиться. Замерли в изумлении и его помощники, наблюдавшие со стороны, не могли понять, почему сила, которой нет равных, отступает перед слабыми.

А Наргис, продолжая говорить о красоте и доброте, бесстрашно смотрела в смятенное лицо Бурана, и этот взгляд жег его темную душу неведомым доселе огнем.

И отступил Буран.

По другую сторону камня поднялась, распушив листья, пышнотелая Лола¹.

Она была подругой Наргис.

Укутанная в алый шелк, с пурпурными отсветами в теньях, блистающая свежестью, она сама была похожа на улыбку красавицы, на то непостижимое сочетание линий

¹ Лола — тюльпан.

и красок с печатью мягкости и доброты, в честь которых слагаются поэмы и поются песни. Глаза ее, влажные и глубокие, сияли, брови сошлись и напоминали ласточку в полете. Воистину, это была Лола, дитя рассвета! И платье ее, и жакетка, и шляпка на голове были рождены от встающего над горизонтом солнца и снежных горных вершин, лишь рукава платья и серьги в ушах были в цвет листвы.

Все цветы, сколько их ни было вокруг, встретили ее поклоном. Красота рождает зависть и неприязнь, если она заносчива и зла, красота рождает восхищение и преклонение, если она добра.

— Я вижу, ты плачешь. О чем? — спросила Лола у Наргис.

— Муки любви терзают мое сердце, а того, кто мог бы их облегчить, нет, — ответила Наргис.

— Нет любви без огорчений, — вздохнула Лола. — Миг разлуки становится равным вечности, невозможность встречи уподобляется смерти. Но вечность снова становится мигом, а смерть отступает перед лицом надежды. Не надо убиваться. Если ты надеешься и веришь — Бамбур придет. Наверное, он и сам, пронзая тьму, облетая горы и пустыни, ищет дорогу к тебе.

Утешительная речь подруги в горе — то же самое, что лекарство при болезни. Лола говорила, Наргис слушала и успокаивалась.

Над зеленой волпой, которую создавал ветер, качая листья, поднялась Атиргул¹. Как все вокруг, с наступлением весны она расцвела, раскрыла навстречу солнцу свои бутоны, выглядела нарядно и томно. И беседа приобрела еще более доверительный характер.

Цветы лепетали о любви, птицы щебетали о верности. Красные маки утешали Наргис, соловьи своими трелями призывали Бамбура на свидание. И по мере того, как разгорался день, голоса наливались силой, песни звучали все громче.

Шуршат цветы, шумят
Под солнцем и дождем
И украшают сад
И все, что есть кругом.

¹ Атиргул — роза.

Здесь Лола, всем родня,
Сияет в блеске дня,
И с ней подруга Атиргул —
Сто языков огня.

Несчетно у реки
Толпятся васильки.
И дружит с красным синий цвет,
Как в песне две строки.

Там, где цветут цветы,
Сбываются мечты,
И сказка переходит в явь
Там, где цветут цветы.

Но по округе всей
Сильнее нет страстей,
Чем вера и любовь Наргис.
Как быть, что делать ей?

И птица, и цветок,
И горный ручеек,
Мы песней в честь ее любви
Приблизим счастья срок.

Пускай в урочный час
Бамбур услышит нас,
Чтоб отразиться у Наргис
В глубинах черных глаз.

II

Так пели в долине, которая, будучи садом и цветником одновременно, как бы воплотила в себе высшую красоту, доброту и согласие. Девушки и соловьи, чабаны со свирелями и ветерки, все такие разные перед лицом жизни, соединились в многоголосом хоре.

И начинало казаться, что, смыкаясь друг с другом краями и переливаясь друг в друга, это поют земля и небо, восславляя верность Наргис и преданность Бамбура. Ибо известно всему существу, что от начала и до конца вре-

мен любовь — это источник возрождения и обновления мира.

Не познавший любви — цветок, не дающий плода.

Не познавший любви — зерно, не дающее ростка.

Но снова долина накрылась тенью, набежали, становясь все темнее, тучи, и дохнула стужа. Ледяной вихрь пронесся из конца в конец, ввергая в озноб цветы и листья, присыпая ядовитой пылью бутоны и лепестки. Шла смерть, способная принимать множество обличей, но в любом из них верная смерть.

Это, накопив силы и ярость, вернулся Буран.

Добро отходчиво и забывчиво — у зла долгая память.

Буран вырубал огонь на скалах, выл, ревел, катил грохот.

Что могут деревья со своей нежной листвой, раскрытой, как детские ладони, навстречу свету! Что могут цветы на тонких стеблях? Они, дети солнца и прозрачной воды, благородных людских помыслов и ласковых рук, пригибались к земле, чтобы найти в ней укрытие и хоть немного тепла, прятались в ложбинах, в расселинах и за камнями.

Так поступила Лола.

Так поступила Атиргул.

Так поступила Наргис.

Так поступили птицы, песни которых, еще недавно полногласные, превратились в жалобное щебетание и стоп. Все двойственно, все имеет свою противоположность, и в борении заменяется одно другим — верх и низ, свет и тьма, зной и мороз. Был час радости, наступила пора слез.

А Буран неистовствовал. Бесформенный, косматый, с тысячами рук и голов, на которых то возжигались красным и зеленым светом, то гасли разъяренные глаза безумца, он топтал и сокрушал все на своем пути. Сын мрака и пустыни, он творил мрак и пустыню, не зная ничего другого и не умея делать ничего другого.

Каждому свое в этом мире — горлинка поет, а ястреб убивает, тепло рождает из камня злак и плод, холод превращает злак и плод в камень, одетый инеем. Было ли когда-нибудь иначе, будет ли когда-нибудь иначе? Взгляд обращается в дали прошлого, и оно отвечает — не было, разум вопрошает будущее, и оно отвечает — не будет.

И все же, чтобы узнать, где кончается дорога, надо ее пройти.

И все же, чтобы узнать, о чем говорится в песне, надо донеть или прослушать ее до конца.

Не раз пройдя долину вдоль и поперек, расплескав ручьи, наваяв песчаные холмы, Буран, сколько ни смотрел он множеством своих безумных глаз, не мог найти Наргис. И, свирепея еще больше от того, хвастался и грозил:

— Э-эй, где вы, кто считал, что со мной можно шутить? Куда подевались вы, франты и франтихи в пестрых лоскутках, вообразившие, что можете разговаривать со звездами и держать льва за гриву? Нет предела моему могуществу — об этом кричат обломки скал, низвергнутые в ущелье, об этом шумят потоки, повернутые мной вспять, об этом воют вихри, поднятые выше облаков! Или есть еще кто-нибудь, готовый сразиться со мной? Так пусть выходит. Ага, молчите, гром голоса моего сковал вас немотой! А где ты, Наргис, дарительница жизни? Где твой Бамбур, которому под силу сражаться только с бабочками и мухами? Выходите и покоритесь. Или — погибнете!

Попусту бесновался, хвастался и грозился Буран.

Цветы молчали.

Птицы молчали.

Мудрость не отвечает на хвастовство разъяренной глупости, которая слышит только сама себя. Жизнь не торгуется со смертью — она борется или погибает.

Буран выд, вопил, метался в одиночестве и начинал ощущать беспокойство, не понимал, что происходит. Уж кажется, он постарался, не пожалел сил, предела которых не знал и сам, но где же Наргис? Укрывается в расселине, уходит в землю, чтобы потом возродиться снова, и он ничего не может с этим поделать? Да, у живого есть этот способ спасения, поднять и смешать с небом всю землю не под силу никому. Но у Бурана есть еще сообщники. Перекрутив узлами косматые руки, вцепившись ими в снеговые вершины, он завыл:

— Хоруд! Эй, Хоруд!

— Что ты орешь? — прошипел Хоруд, позевывая в дремотности. — Я недавно оставил без урожая сорок сел и заслужил право на отдых.

— Разве не действуем мы вместе в трудную минуту? Ты умеешь убивать незримо, проникать туда, куда не могу прорваться я. Ты иссушаешь или убиваешь холодом корни, вливаешь яд в листья и стебли, напускаешь гниль и саран-

чу. Иди помоги мне, добей то, что не убил я, преврати в прах, чтобы я мог развеять его.

— А Наргис, ради которой ты безумствуешь?

— Она отвергла меня.

И Хоруд пришел. А может быть, приполз, незримый и неуловимый. А может быть, приплыл по низинам, неощутимый, как ядовитое дыхание. Все имеет свой зримый облик, отличимый от других. Хоруд имеет их миллионы, но редко проявляется в одном. Он прибыл, и все, что еще надеялось уцелеть, пережевывалось, перемалывалось в незримых челюстях, обескровливалось и высыхало, гнило и крошилось.

— А-а! — грохотал Буран. — А-а! Теперь вы покоритесь или нет?

И то ли прилетел откуда-то издалека, то ли пробился из-под земли тихий, страдающий голос Наргис:

— Нет!

Долго прислушивался Буран, гадая — в самом деле откликнулась Наргис или ему почудилось?

— Поработаем еще, Хоруд, — решил наконец он. — То, что погнулось, должно сломаться, то, что дало трещину, должно раскрошиться.

И снова день превратился в ночь, небо в черную пучину и долина в кипящий котел. И снова взревел Буран:

— Теперь вы покоритесь?

И то ли тихие, как дальнее жужжанье пчел, голоса возникли неведомо из чего, то ли отзвуки прошлого, чуть различимое эхо былого, но Буран расслышал:

— Нет!

— Нет!

— Нет!

III

И в долине, которую до этого щадили ради Наргис, не стало ни сада, ни цветника, ни травы, ни птиц. Исчезли родники и ручьи, пали козы и овцы, ушли земледельцы и пастухи.

Куда ни глянь, лежала пустыня, о которой говорится: «Человек, который пришел сюда, обожжет ноги, птица, залетевшая сюда, опалит крылья».

— Уфх! — фыркнул Хоруд, древний враг крестьянства, кормящего род людской, погубитель деревьев, пожиратель цветов и плодов.— Кажется, крепко мы проучили их!

На мгновение он даже стал видимым — так комар, тощий до прозрачности, становится, насосавшись вдоволь крови, чуть ли не с пчелу величиной. Смешно и страшно, уродливо и ни на что не похоже выглядел Хоруд — его одежда состояла из высохших, размочаленных корней, из полусгнивших стеблей и листьев, при каждом движении с нее сыпались или обваливались клочки и крошки, а в коричневых космах на голове кишела тля. Глаза его были тусклы и унылы — словно из них глядели голод, болезни и страдания тех, кого он погубил.

— Да, устроили мы то, что надо, не зря старались,— говорил он Бурану, глядя на опустошенную долину.— Я, конечно, мог бы и один справиться, дело нехитрое. Но когда мы вдвоем, все идет быстрее. А не податься ли нам в другие края, не уничтожить ли все повсюду? Чтобы нигде не развернулся ни один листок, не зацвел ни один цветок, чтобы на всем свете не было ни полей, ни лесов, ни садов, ни конских табунов, ни овечьих отар, ни селений, ни людей. Зачем они нам? Не люблю я их. Оставим только голые скалы, гиблые трясины и выжженные пустыни.

— Люблю разумные речи,— согласился Буран.— На пустой земле мне будет просторнее, куда хочу — туда качу. И никто не бросит мне вызова — вся власть в моих руках.

— А я? — спросил Хоруд, обеспокоенный тем, что Буран думает только о себе.— У меня-то ведь и дела никакого не будет.

— Отдохнешь, отоспишься. Ты немало веков поработал.

— Это верно,— обрадовался похвале Хоруд,— я славно потрудился, можно и подремать всласть. Так, может, сейчас сразу и пойдем кончать?

— Да вот дух переведу — и пойдем.

Но когда Буран и Хоруд решили сделать прощальный круг над долиной, еще раз полюбоваться на то, чего они добились, откуда-то из земных глубин, куда им не было доступа, послышался приглушенный голос Наргис.

Она пела:

На дне пустых долин,
В тепле земных глубин
Не властелин Буран,
Хоруд не властелин.

Для жаждущих возник
Из слез моих родник.
О, если бы к нему
Любимый мой приник!

Мороз, Буран, Хоруд
Долину стерегут.
Приди, освободи —
Мои желанья ждут.

У скал и спящих рек,
Хотя бы день померк,
Меня, твою звезду,
Не погасить вовек.

Семя, в свое время павшее в почву, рождает росток, росток тянется к солнцу и образует бутон, бутон раскрывается и становится цветком, цветок роняет лепестки и осыпает на землю семена. Жизнь — это караван, который, преодолевая ущелья и перевалы, льды и пустыни, идет от оазиса к оазису. Пустыня имеет конец, жизнь — нет. Голос зла рождает эхо, которое слабеет с каждым шагом и падает замертво, добро рождает легенду и песню — они, как караваны от оазиса к оазису, как семя к семени через бутон и цветок, идут в бесконечность через душу и память поколений.

Наргис нашла спасение в земных глубинах.

Наргис возрождалась.

Наргис пела.

И, услышав ее, откликнулись ей другие цветы, и самые смелые уже поднимали головки от земли, и по долине, пусть еще робко, снова вспыхивали краски.

— Что же это? — ежась от холода, спросил Хоруд. — И откуда?

Буран, вложивший в разрушение все силы, выдохся и молчал.

А цветы переговаривались песнями.

Н а р г и с

Мои подружки! В бурях прошлых дней
Объединившись, стали мы сильнее!

Л о л а

Нет, ни Буран, ни злой урод Хоруд
У жизни свет и цвет не отберут!

А т и р г у л

Отступит враг, я пыль сотру со щек
И заново оденусь в алый шелк!

Н а в р у з г у л¹

Уходит зло. Светлеют небеса,
И наши листья вымоет роса!

Н а р г и с

Я слышу — снова листья шелестят.
Живи, долина, пой, весенний сад!

IV

— Ты слышишь? — повторил Хоруд. — Что же это такое?

— Они оживают, вот что это такое, — просипел Буран.

— Но почему?

— Приходит весна.

— Я ее не знаю и знать не хочу. Мое дело — губить.

— А весна приносит тепло, исцеляет недуги, творит живое из пезживого.

— Выходит, мы напрасно старались? — злился Хоруд. — Выходит, эти пестрые лоскуты опять займут всю долину, будут насмехаться над нами?

Буран, нахохлившийся, усталый, при последних словах Хоруда пришел в ярость:

— Что ты расхныкался, Хоруд? Что ты раскис? Правда, у меня теперь меньше помощников — ушли к горным вершинам морозы, снега, льды. Но еще остались дожди, град, вихри, громы, молнии, ознобные туманы. Цветы и травы еще не набрали силы, еще слабы. И твои полчища, Хоруд, прибывают — горячий ветер, выпивающий соки, жучки, червячки, тля. Всех не перечесть! Мы еще пока-

¹ Н а в р у з г у л — цветок, которым девушки украшают себя в праздники.

жем себя! Они ждут солнца? Пусть подождут — я опять закрою долину темными тучами. Они ждут тепла? Как бы не так — я напущу холодные ливни, ударю градом, ослеплю молнией, оглушу громом, втопчу в землю. Они ждут мотыльков, которые порхали бы над ними, как живая радуга? Они ждут шмелей и пчел, которые перелетали бы с цветка на цветок, напевая им песни? Напусти на них тех, что жалят, грызут, жуют, подтачивают корни, выпивают соки. Давай-ка попробуем еще раз, Хоруд, давай попробуем!

Разгорался рассвет, но в долине его не увидели — небо было закрыто облаками.

Взошло солнце, но в долине его не увидели — оно освещало только заоблачные вершины.

Начинался день, а в долине стояли сумерки.

Обрушился ливень, из конца в конец долины зашумели потоки, пригибая цветы и травы к земле.

Ударил град, выбивая барабанную дробь, приплясывая, вытягиваясь косыми нитями и закручиваясь в белые жгуты, топча стебли, листья, лепестки.

Грянул гром, словно предупреждая: «Эй, все с дороги, сокрушу, сотру в порошок!»

Выскользнули из тучи, извиваясь, словно гигантские змеи с огненной чешуей, молнии.

Поползли жучки, короеды, листовертки, тля, гниль и плесень.

В селах говорили: «Опять непогода. Чем провинились мы перед небом?»

А цветы поникли, полуживые, погасили свои краски, замолкли. И, обессилев, расстелилась по земле Наргис.

Иногда кажется, что счастье стоит на твоём пороге, но когда присмотришься — через его плечо выглядывает беда.

Иногда кажется, что дорога, открытая до горизонта, ровна и легка, но когда пойдешь по ней, обнаружатся ямы и рвы, в которых можно сломать не только ногу, но и голову. Только мудрость старости всегда помнит, что в один и тот же день вылетают из гнезд и соловьи и коршуны, что на одном и том же поле могут рядом расти пшеница и колючка, от которой отворачивается даже ишак. Юные цветы верят, что они рождены только для радости. Ах, если бы семена могли рассказать росткам и цветам все, что они знают! Но цветок умирает, когда рождается семя, и от семени остается лишь полуистлевшая шелуха, когда

рождается цветок. Они переходят друг в друга, но никогда не встречаются — таков закон.

Прижатые к земле, помятые градом, испачканные илом, цветы, едва возродясь, угасали.

Распростертая возле камня Наргис теряла остатки сил. А виновники непогоды и беды радовались.

Буран

Да, ты силен, Хоруд! Да, ты, старик, хитер —
Незрим, неслышен шел, а все живое стер!
За подвиги твои любую из наград,
Какую изберешь, я выдать буду рад.
За то, что ты свершил, что смело вел войну,
Что хочешь ты иметь? Парчу? Шелка? Жену?

Хоруд

Что пужно мне?
Меня вполне
Устроит лишь одна награда —
Пустыня мертвая по всей стране!

Буран

Хоруд, цветник убит. Но корни-то живут,
И роются в земле, и часа мести ждут.
Я не могу, но ты из сопма слуг твоих
Тех подошли, что там добьют, прикончат их!

— А ты что же? — спросил Хоруд. — Я опять, не щадя сил, буду действовать, а ты отдыхать? Я обед варить, а ты ложку готовить?

— Ну, что ты, — сказал Буран. — Идущий в конце каравана больше всех глотает пыли и последним пьет у источника. А мне нужна Наргис. Живая или мертвая. Я с тобой, но у меня нет власти над тем, что укрылось.

И еще два дня бушевала долина ветрами, громыхала грозами, поджигалась молниями, заливалась дождями. И еще два дня и две ночи шарили на поверхности, проникали в почву слепые и выпуклоглазые, безногие и сороконогие, длинные, как иглы, и круглые, как шарики, жующие и жалащие помощники Хоруда. И когда все это кончилось, Буран остановился над поверженной Наргис.

Глаза ее были закрыты, брови недвижны, но она дыша-

ла, и сердце ее билось. Редко, неуверенно, устало, но билось.

Говорят — смерть сильнее всего и всех. О люди, говорящие так, посмотрите вокруг и скажите — почему же, если она всех сильнее, на земле колосятся хлеба, шумят травы, синеют леса, бродят табуны коней и отары овец, мпожятся села и воздвигаются города? Жизнь — огонь, а смерть — пепел, но разгребите ипую кучу пепла, который кажется давно остывшим, серым, как небытие, и вспыхнет искра, и засверкает уголек, из которого рождается новое пламя.

— Добей ее, — сказал Хоруд. — Или это сделаю я. Что тебе толку в ней такой?

Буран хотел сказать, что так и сделает, но красота Наргис опять поразила его. И он застыл в недоумении — что это с ним происходит? Если бы он спросил у жизни, она объяснила бы ему, но где и когда убийца советовался с жертвой?

И пока Буран стоял в оцепенении, до него донесся шепот:

— Бамбур, царь пчел! Я жду тебя! Жду тебя, жду тебя...

Буран и Хоруд забеспокоились — ничего хорошего от Бамбура они ожидать не могли. С ним одним они справились бы, но они хорошо знали, что у него неисчислимы рати помощников. Каждая пчела сама по себе мала, у нее слабые крылья, но когда их миллионы, они способны родить вихрь, ломающий деревья и шатающий скалы. Укус пчелы жжет, как огонь, но у каждой из них одно жало, а когда они налетят тучей, под их ударами, как под ударами копий и мечей, рухнет в предсмертных муках даже великан, проклиная день и час, когда он бросил вызов Бамбуру.

Малое, маленькое, малость — что это такое? Мала песчинка, но из песчинок состоят горы, на вершинах которых отдыхают облака и звезды; мала капля, но из капель состоит море, которое дробит скалы и топит корабли.

— Бедная Наргис, — сказал, оглядываясь на всякий случай по сторонам, Буран. — Ты напрасно зовешь Бамбура, говорят — он уже погиб. Да и что может сделать он один против тех, кто способен превратить день в ночь, остановить реки, перекрасить землю из зеленого в черный

и желтый цвет? Миром правит сила, и эта сила — я. Но сила нуждается в нежности для отдохновения и радости, а нежность — это ты. Почему нам не соединить силу с нежностью?

— Где ты видел, Буран, чтобы дружили и соединялись лед с огнем? Да, ты сила, но — сила смерти, холода и мрака. А я — сила любви. Сила тепла, света, радости.

— Какая же ты сила, если повержена и взываешь о помощи?

— А какая же ты сила, если не справился с нами один и взял в подручные Хоруда?

— Ты слишком смело разговариваешь, Наргис. Речь поверженного должна быть хвалой победителю.

— Поверженный не пленник и не раб до тех пор, пока дух его свободен.

— Тогда он — мертвец.

— Ты снова грозишь?

— Я дал тебе право выбора.

— Что ж, убивай.

— Жизнь, Наргис, — высшее наслаждение, которое существует в мире. Смерть — пустота, холод, безмолвие.

— Не обольщай и не пугай.

— Я говорю правду.

— Нет, ты на ложь паляливаешь одежды правды. Правда в том, что без любви нет жизни, правда в том, что тот, кто предает любовь — предает жизнь. Ты волеи унижить меня, ты можешь уничтожить меня, но помни — я возрожусь, я воскресну в моей любви!

Сложные чувства, от удивления до ярости, владели Бураном. Откуда столько упорства, непреклонности, самопожертвования в этом существе, на вид таком слабом и беспомощном? Или и в самом деле есть на свете нечто такое, чего он, пробушевавший над землей века веков, не знает и не понимает? Да нет, пустяки, болтовня, глупое упрямство! В мире правила и вечно будет править сила, только сила. Кто силен — тот властелин, кто силен — тот диктует свою волю всем остальным.

— Что ж, — сказал Буран, — не обижайся. Ты сама выбрала себе судьбу. Но я не убью тебя сразу — куда мне спешить? Нет, я стану наблюдать, как мгновение за мгновением, в муках и терзаниях будешь ты приближаться к черте, за которой бездна и мрак! Говорят, ожидание смерти страшнее смерти — ты узнаешь его...

Бамбур искал и не мог найти дорогу к Наргис. По ней, засыпая ее песком и пылью, прошелся Вихрь, ее исклевал градом и размыл потоками Буран, по ней прополз, прокатился Хоруд, углаживая все под унылый цвет пустыни. Когда-то чистые, как глаза журавлей, подсказывающе журчали ему родники, но теперь они были засыпаны, завалены глыбами земли и камня. Над путеводными горными вершинами клубились облака. Прежде на середине дороги ему ободряюще цела и указывала направление река, теперь она текла вспять в других, изменившихся берегах, а местами разливалась по затопленным полям и лугам.

Он окликал орла: «Откликнись!», призывал звезду: «Покажись!», просил ветер: «Развей тучи!» Но орлы забились в расщелины скал, но звезда не могла прорваться сквозь тучи, но ветер, неподвластный себе, бросался попусту из стороны в сторону, сам не зная зачем.

Похудевший, истрадавший, но не теряющий надежды Бамбур шел напрямик, преодолевая хаос и мрак. И однажды обратился с мольбой к солнцу:

— Солнце, солнце, где ты? Покажись!
Ты во мраке породило жизнь —
Почему ж о нас ты позабыло?
Выглянь и дороги освети.
Помоги Наргис мою найти —
Девушку, что верно полюбила!

Мук моих не передать в словах.
Труден поиск и коварен враг,
Даль в грозе темнеет, как могила.
Солнце, солнце, луч свой оброни,
Укажи дорогу мне, верни
Девушку, что верно полюбила!

В ней пачало и конец моих
Всех надежд и радостей земных.
Нет ее — и убегает сила.
Освети мне, солнце, долгий путь,
Помоги Наргис мою вернуть —
Девушку, что верно полюбила!

У солнца много дел, к нему обращено много просьб, порой неразумных и противоречивых.

В одном месте, где землю заливают дождями и пропивают холодами, его просят — посвети, погрей, помоги расти хлебам и травам!

В другом месте, где дождей давно не было, его умоляют — уйди с неба, не томи, не жги, потому что на сожженную землю придут голод и мор.

В одном месте ему подставляют лицо — обласкай кожу, разгладь морщины, в другом месте от него закрывают лицо и прячутся в тень. Даже при желании оно не может угодить всем.

Но у любви особый голос. Он долетает до неба, проникает во глубь земные, перелетает через океаны и моря. И кипящие волны и смерти не могут поглотить его.

Услышало Бамбура солнце и, тронутое страданием его, решило помочь. Оно выбросило огненные языки, лавной жара и света ударило по тучам и заставило их расступиться. Правда, ненадолго. Но этого было достаточно, чтобы Бамбур увидел дорогу и со скоростью стрелы, пущенной из богатырского лука, помчался в долину.

И сквозь завывание ветра и шум потоков услышал он страдальческий голос Наргис.

Наконец Бамбур опустился в долине. Но, оглянувшись вокруг, он не узнал ее. «Ужели снова я ошибся?» — подумал он. Ибо то, что он видел, не было долиной цветов, долиной жизни. То, что он видел, было долиной разрушения, запустения, смерти. Где цветы и травы, которые, разбегаясь от края до края и колыхаясь под летним ветерком, похожи были на желтых, спящих, красных, оранжевых, фиолетовых бабочек, кружившихся в причудливом хороводе?

Вместо них были черные и коричневые пятна, промоины, бугры песка, сплетения, клубки размочаленных корней и стеблей.

Где тонкие и пряные, кружившие голову ароматы, для обозначения которых не найти слов ни в одном языке?

Их не было. Пахло пылью, гнилью, гниением.

Где бесчисленные песни бесчисленных птиц, их пересвистыванье, перещелкиванье, трели и рулады, заслушавшись которыми останавливалась в предутреннем небе луна и в полдневном мареве спящие белизной облака? Где шорохи лепестков, листьев, стеблей, былинки, веток, которые обменивались приветствиями друг с другом и рассказывали друг другу обо всем, что случилось в долине, за

краем долины и в том дальнем далеке, куда не достигает глаз.

Их не было. Только сипел мертвящий ветер и далеко в ущельях глухо, как собака, подвывал Буран.

Если бы Бамбур мог, он заплакал бы слезами горя и отчаяния. Но ему не дано было слез, облегчавших душу.

Если бы он мог, он проклял бы законы неба и земли, которые допускают унижение слабого сильным, несправедливость и гибель, глумление зла над добром.

Но он не умел проклинать. Он умел только сочувствовать, сострадать, помогать.

И, опечаленный, сел он на камень и запел — потому что только в песне во всей полноте может излиться душа и дума, соединяя прошлое и настоящее, деяние и мечту.

Открыть мне путь моля,
Я дальние края
Прошел, чтоб отыскать тебя,
Наргис, любимая!

Где ты? Где ты? Где ты?
Темны вокруг, пусты
Ложбины, холмики, холмы —
Где ж птицы и цветы?

Закрылись их глаза,
Замолкли голоса,
И, как могила, падо мной
Угрюмы небеса.

Кто он, каков собой
Тот, кто вершил разбой,
Кто в озверении привык
Играть чужой судьбой?

Быть может, в том, Хоруд,
Твой замысел и труд?
Быть может, ты, слепой Буран,
Творил неправый суд?

Так что ж молчите вы,
С овечьим сердцем львы?
Зову на бой! Никто из вас
Не сносит головы!

Зову на бой! Зову на бой!
И ты, весна, помощник мой,
Спешь! И не грусти, Наргис, —
Мы встретимся с тобой!

Что такое песня? Одни думают, что это способ сделать приятным безделье. У таких мысли бескрылы и сердце обросло корой. Другие думают, что песня — это способ излить свое, чтобы о нем стало известно всем. Они видят одним глазом и слышат на одно ухо. Третьи считают, что песня — это мудрость ума и души, от нее быстрее бежит сок в деревьях и кровь в жилах, она делает сильными слабых в неравной борьбе и храбрыми боязливых. Обречен не тот, чье положение кажется безнадежным — обречен тот, кто не может петь свою песню. Хотя бы лишь для себя, в сердце своем, без слов!

Бамбур пел. Напрасной была бы попытка передать все, что выражалось в этом пении. Разве знает кто-нибудь, сколько обыкновенных слов заменяет одно слово песни? Разве измерил кто-нибудь, сколько верст и лет, сколько надежд и свершений вмещает одна строка песни? Разве подсчитал кто-нибудь, сколько животворных сил рождает мысль, ставшая образом и музыкой одновременно?

Многие тщились познать это, но уходили с крохами истины, которыми не накормить и птенца.

Бамбур пел — и в долине становилось тише, тише, тише. Бамбур пел — и в долине становилось светлее и теплее.

Сколько длилось это? Никто не знает. Быть может, время, заслушавшись, потеряло само себя, быть может, завороченное и окрыленное, понеслось со скоростью потока, падающего с горного обрыва на дно ущелья. Но пока он пел, в долине сначала едва заметно, а потом все быстрее происходили перемены.

Просыхала, источая легкий пар, начинала шевелиться земля — то тут, то там из нее, как птенец из гнезда, поднимался двукрылый росток. Поднявшись, поблескивал капельками росы, и тянулся вверх, и с непостижимым искусством, которому может позавидовать лучший вятедь мира, лепил бутон.

О чудо роста! Прошли тысячелетия, пройдут тысячелетия, но, сколько бы не позналось тайн бытия, будем поражаться мы тому, как из обыкновенной, невзрачной

серой земли, а порой и среди голых камней появляется нежность зеленого листка, а затем распускаются цветы, по богатству и разнообразию красок превосходящие полыхание радуг и рассветов. Дети земли, солнца и звезд!

Наступило мгновение — бутоны стали цветами.

И алоцветоносная Лола кивнула головкой:

— Здравствуй, Бамбур! Мы ждали тебя.

И тонким, пьянящим ароматом дохнула Атиргул:

— Здравствуй, Бамбур! Мы рады тебе.

И цветы продолжали песню Бамбура:

Минул беды изнуряющий час,
Жизни долина полна.
Слава тебе, разбудившему нас,
Слава тебе, весна!

Знаем, что темные силы не спят,
Только проходит их срок.
Пусть возрождаются поле и сад
И за цветком цветок.

Пусть с высоты ниспровергнутся пиц,
Сгинут Буран и Хоруд.
Пусть соловьи в полыхаье зарниц
Славу весне поют!

Нет, пока не все в долине приняло прежний вид. Она только возродалась. И еще неслись по небу облака, правда, уже истончившиеся и разорванные, и еще темнели тучи и поблескивали молнии у горизонта, правда, уже далекие и не такие страшные. Но все жило, преисполненное надежд. А что такое надежда? Это образ того, чего еще не существует, но что будет существовать, если приложить усилия. Ибо тот, кто плывет, не определив цели и не примерившись к пути, тот попадет туда, куда не собирался, и найдет то, чего не искал.

Если переходишь бурный поток, обопрись на посох надежды.

Если спускаешься в темное ущелье, засвети факел надежды.

Если сердце иссушают невзгоды, испей из источника надежды.

Наргис, вложившая остаток сил в призывы к Бамбуру, лежала позади камня в полузабытьи. Она слышала, как поет Бамбур, но слышала как бы издали и думала: «Наверное, я сплю и вижу сон. Или Бамбур, ничего не зная о нашей беде, поет вдалеке, а со мной шутит шутки эхо». Сквозь сомкнутые веки она ощущала, что в долине становится светлее, но она думала: «Во сне желания наши обретают зримый облик и ходят по земле. Наверное, Буран ударил в скалы молнией, а мне кажется, что наступает день». Она расслышала приветствия, которыми встретили Лола и Атиргул Бамбура, но подумала: «Тот, кого мы любим, всегда с нами и в нас. Наверное, это моя память говорит их голосами».

И она вздохнула.

И Бамбур, услышав этот вздох, обернулся и увидел ее. Когда после долгой и мучительной разлуки встречаются влюбленные — отвернись.

Все, кто давно пережил свою любовь, знают, что в этот миг даже глаза друзей — лишние.

Все, кто в счастливом возрасте юности, понимают, что в минуту долгожданного свидания даже глаза брата и сестры — лишние.

Все, у кого счастье любви впереди, в свой срок узнают, что в миг первой встречи даже глаза отца и матери — лишние.

Никто не знает, куда исчезают небо, звезды, солнце, земля, деревья, птицы и цветы, но во всем мире, когда встречаются двое, — остаются только двое. Он и она.

— Ты столько перенесла, ожидая меня! — сказал Бамбур.

— Ты столько претерпел, отыскивая меня! — сказала Наргис.

— Я готов пройти десять раз по столько же, лишь бы видеть тебя! — воскликнул Бамбур.

— Я готова пережить десять раз вдесятеро большие муки, только бы видеть тебя! — вздохнула Наргис.

Она подняла на него свои прекрасные удлиненные глаза, и они сказали ему больше, чем вмещают все книги, все сказки и легенды, созданные от начала бытия. Он опустил ей на плечи бережно руки, и они трепетностью своей



сказали ей больше, чем скажут все книги, сказки, легенды до конца бытия.

И когда они наговорились, не разговаривая, когда рассказали друг другу все, не произнося ни слова, когда поклялись быть всегда вместе, не клянясь, вернулось на свое место голубое небо с весенним солнцем, зазеленела и запестрела красками земля, зажурчала в потоках вода.

Шуми, весна, и, сердце, пой!
Омыты светом и росой,
Во имя дружбы и любви
Мы в новый день вступаем свой!

Бессонно свищет соловей
В прохладной зелени ветвей,
Сын ледников и облаков,
Журчит по камешкам ручей.

Нас, радующихся, не счесть,
Но где-то злые силы есть.
Они затихли, но до срока,
Незримы, но готовят месть.

Единство дружных — наш ответ.
Где вместе все — там слабых нет.
Малы как будто звезды в небе,
Но вечеп их слившийся свет!

Из темного ущелья, куда не заглядывает солнце, где стены покрыты бледным мхом, наблюдали за пробуждением долины Буран и Хоруд.

— Слышишь? — сипел Хоруд. — Эти пестрые лоскутья, эти тонконожки, в жилах которых течет обыкновенная вода, опять начинают воображать, что долина принадлежит им. Что ты думаешь об этом, Буран?

Буран

Не проживет до исхода дня
Тот, кто восстанет против меня!
Пики вершин, волны морей
Были покорны силе моей.

— Так-то так, — согласился Хоруд. — Я видел, как ты дробил волны, бросая их на берег, как срывал белые шапки с горных великанов и лавинами швырял в ущелья. Язык не может спорить с такими свидетелями, как глаза. Но ведь сейчас глаза мои видят, как травы, цветы и деревья из долины все ближе подбираются к нам. Я и сам умею убивать, правда, не одним натиском, как ты, а потихоньку, помаленьку, если надо, поодиночке. Но что-то опять их слишком много, и они набирают силу.

Я умею бить и валить,
Обрывая живую нить.
Я воюю уже века —
Почему ж эта нить крепка?

— То-то и оно, Хоруд,— проворчал раздраженно Буран.— Верно, многих ты без лишнего шума отправил на тот свет. Но что из того? Посмотри в долину — их, кажется, даже больше стало!

— Да и море не выплеснулось на сушу, как ты ни грозился,— язвительно намекнул Хоруд.— Да и горные вершины опять надели белые шапки...

— Мы, кажется, сейчас поссоримся,— сказал Буран.— А что в том толку? Ссора сильных становится силой слабых. Давай лучше послушаем, о чем болтают там, в долине. Может быть, есть во всем этом какой-то секрет, которого мы не знаем?

А там переговаривались:

На в р у з г у л

Мир добрыми и злыми населен.
Кто слаб из них, кто подлинно силен?
Не надо слов, в словах разгадки нет,
Вглядишься в долину — и найдешь ответ.

Л о л а

Опять цветут, опять наряд мой ал,
Опять над нами полдень запылал.
Что трушу я, пустил Буран молву,
Но выдохся он сам, а я живу!

А т и р г у л

Был мрак, и вихрь, и молния, и град,
Но снова лью я чистый аромат.
Он дружных делает сильней стократ,
Но для врагов моих — огонь и яд!

Б а м б у р

Ну, что ж, пришла прекрасная пора
Для радости, для счастья, для добра.
А явятся Буран или Хоруд,
Дадим отпор — костей не соберут!

— Ну, и что ты думаешь об этом? — спросил Хоруд, когда напевы стали затихать.— Они еще и нам угрожают!

— Я признаю силу,— подумав, сказал Буран.— Но, может быть, много маленьких сил, когда они действуют

все за одного и одна за всех, — тоже большая сила? К тому же с ними Бамбур, а он может созвать столько пчел, ос и шмелей, что они закروют небо.

В это время на горных склонах, вдоль дорог и в садах возле селений появился и все ширился белый цвет, кое-где принимавший розоватый оттенок. Могло показаться, что выпал снег и местами окрашивается рассветом. А у края долины, протягивая к ней ветки, встало дерево, похожее на клубящееся белоснежное облако.

— Это еще что за новости? — удивился Буран.

— Плохие новости, — проворчал Хоруд, который чаще всего ползком обшаривал землю и знал ее лучше. — Это Явуц, абрикосовое дерево. О его выносливости рассказывают чудеса. Я тоже не раз обломал об него зубы — не стоит связываться. А за ним гранаты, миндаль, все, что цветет и всходит к небу. Им и скалы не помеха — поднимаются с уступа на уступ, цепляются за все, за что можно уцепиться, были бы солнце и вода.

— И до нас могут добраться?

— Кто их знает. Когда-то они жили только около селений, а теперь сам видишь, куда забрались. Смотри, смотри, их становится все больше, они идут, они катятся волнами все выше и выше!

Буран оглядел долину и подножия гор, опоясывающие ее. Всюду, куда достигал глаз, или рябило пестротравьем, или наплывали, клубились, поднимались по склонам цветущие деревья. Иногда порывы ветра сдували с них лепестки, и они, как маленькие мотыльки, как белые и розовые искорки, плыли, вспыхивали в лучах, кружились, опускались, уступая дороги и тропинки, или поднимались к облакам. И тогда почувствовал Буран, как убывает, вытекает из него сила, словно вода из горного озера, прорвавшего перемычку. Он уплотнялся, съеживался и, когда стал похож на черного удава, соскользнул со скалы, извиваясь на камнях, пополз вверх по ущелью, в мрачную теснину.

— Я еще вернусь! — шипел он. — Я вернусь, когда они устанут, когда у них начнется разлад!

— А я? — кричал ему вслед Хоруд. — Что же ты оставляешь меня одного?

Но Буран не ответил. Добравшись до узкой теснины, он заполз в нее, свернулся клубком и впал в забытие.

Хоруд остался один. Он тоже чувствовал себя разбитым, больным, по проклятию, висевшее над ним, гнало и гнало его, и, боясь спускаться в долину, он накинудся на сочившиеся водой серые осклизлые мхи, ключьями свисавшие со степ ущелья.

А в долине наступило ликование.

Цветы и травы образовали огромный, многокруговой, с перевитьями и переплетениями хоровод, который переливался всеми красками и перекликался всеми голосами в долине, затекал краями в сады и на горные склоны.

— Здравствуй, медоносный! — приветствовал Явуна Бамбур.— Мы знаем, ты пришел, чтобы указывать дорогу лучам и теплым дождям!

— Здравствуй, Явун! — приветствовала его Лола.— Если у тебя есть девушка, я подарю ей свой лепесток, который будет пылать красным огоньком на ее белом платье!

— Здравствуй, Явун! — прошептала Атиргул.— Если у тебя есть невеста, я подарю ей самые лучшие в мире духи!

И отвечал Явун, похожий на белоснежное облако:

Исчезла колдовская сила,
Весна дороге осветила
И кудри темные Наргис
На грудь Бамбура опустила.

Сияет солнце с небосвода,
Река тепла и полноводна.
Да будут с нами в этот день
Любовь, согласие и свобода!

VI

Говорят, что весна — пробуждение жизни. Наверное, это придумал поэт, который представил снега зимы пуховым одеялом. На утренней заре обрисовывает его красавица, чтобы, умывшись прохладной водой, подарить ослепительную улыбку.

Говорят, что весна — это продолжение жизни. Наверное, это придумал пахарь, который, собрав семена одного урожая, выращивает с их помощью следующий.

Говорят еще, что весна — это пробуждение жизни для

ое продолжения и обновления. Наверное, так решил седобородый мудрец, который соединил мечтательность поэта и опыт пахаря с таинственным и великим свойством самой жизни — пробуждаться после застоев и потрясений, продлеваться семенами и корнями, вечно обновляться в поиске и дерзании. Нелегко этот путь, полон опасностей и напастей, но там, где рос один колос, встанут два, и там, где был куст, встанет дерево, опуская корни в прохладные глубины и устремляясь вершиной в жаркие небеса.

В долину, где встретились Наргис и Бамбур, пришло пробуждение, продолжение и обновление. И похожа она была на прекрасное сюзане, которое для глупца всего лишь полотно, а для умного — повесть бытия и поэма любви, написанная руками природы на языке природы!

Умеешь читать — прочти!..

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Это было в Кашмире.

Мы плыли на пароходе по реке Джилам. И там, сначала на палубе, от спутников, потом на берегу, у гостеприимных хозяев, слышали эту песню о Наргис и Бамбуре. Исполнение ее сопровождалось наигрышами на старинных национальных инструментах.

От многих людей, друзей нашей страны, слышали мы приветствие: «Ваш приезд — радость для нас». Разные, как рассказывали нам, люди поют эту песню — хлеборобы, чабаны, городские рабочие, ремесленники. И с различными оттенками истолковывают ее.

Для молодых, неискушенных в жизни, мало испытавших — это всего лишь песня весны и любви.

Для людей философического склада — это отражение пантеистического взгляда на природу, уходящее в седую древность, а одновременно образно-музыкальное истолкование того, что происходит вокруг — смена времен, возрождение из семени, борьба добрых и темных сил.

Третьи говорили в раздумчивости: «Знаете, Буран вполне подходит для олицетворения гнета и порабощения, которые так долго испытывал на себе наш народ, а Хоруд — в качестве воплощения мелких колониальных чиновников, которые кишели всюду, по крохам высасывая наши богатства».

Я не могу присоединиться к одному какому-либо толкованию или искать какое-то обобщение — это всегда останется на усмотрение тех, чьи прадеды сложили эту песню, чьи деды и отцы донесли до наших дней, кто исполняет ее сегодня. Я думаю, что чем глубже, чем шире, чем величе-

ственнее река, чем длиннее ее путь, тем больше она в себе отражает и тем она прекраснее.

Именно потому я решил пересказать эту песню, хотя ни на минуту не сомневаюсь, что неизбежны какие-то утраты, что в совершенной полноте и гармонии она всегда пребудет лишь на том языке, на котором создана и на котором исполняется.

И еще — тем самым я еще раз хочу выразить признательность кашмирским и индийским друзьям, встречи с которыми навсегда останутся в моей памяти.

*Сингапур — Дели — Ташкент
декабрь 1955 г.— август 1976 г.,
1977*

ШАРАФ
РАШИДОВ

КНИГА ДВУХ СЕРДЕЦ

КИНОСЦЕНАРИЙ



Старинная книга. Каждая страница ее — драгоценная жемчужина каллиграфического искусства, орнамент заставки расписан золотом, серебром и разноцветными красками.

Поверх арабского шрифта наплывают строки:

*«Рассказывают в сказках, будто встарь
Жил Карашах на свете — Черный царь.
И во дворце его, как снег бела,
Прекрасная танцовщица жила...»*¹

Строки эти исполняет и хриловатый голос сказителя. Плавно покидая страницу книги, взгляд наш останавливается на соседней странице: там — старинная миниатюра,

¹ Стихи, включенные в киносценарий, печатаются в переводах Л. Пеньковского, А. Кочеткова, В. Державина и А. Адалис.

на ней изображен танец Комде. Голос сказителя продолжает:

*Затоплен мир был красотой Комде,
Для всех была такой мечтой Комде,
Что ухо как бы превращалось в глаз,
Чуть начинался о Комде рассказ...*

Раздалась звуки танцевальной музыки. Но миниатюра не оживает, она становится лишь крупнее и крупнее: Комде «замерла» в вихре танца, на ней яркие одежды и украшения.

Все громче звучит музыка. И вдруг появилась рука живописца. Тонкой кисточкой наносит она на миниатюру последние штрихи.

Это в маленькой дворцовой комнате живописец Атуп Чатр — не нарисованный, а живой — пишет миниатюру «Танец Комде».

Играют на вине, болури и других инструментах музыканты. И перед Карашахом — Черным царем тоже не нарисованная, а живая Комде исполняет танец такой красоты, что все слова для него бедны.

Атуп Чатр в последний раз прикоснулся рукой к миниатюре. И опустил кисть. Музыканты умолкли, Комде перестала танцевать.

Глядя на миниатюру, Карашах говорит живописцу:

— Твое искусство достойно ста тысяч восхищений и одобрений!

Атуп Чатр склоняется до земли.

— ...И мы щедро тебя наградим!

Карашах хлопнул в ладоши, вошел кривой эмир.

— Повелеваем, — говорит Карашах, — выпутать его глаза, дабы он не мог нарисовать ее второй раз. А чтобы он не был в убытке, вместо глаз вставить ему два рубина из нашей казны! — К Атуп Чатру: — Мы поселим тебя навсегда в нашем дворце, и ты будешь есть и пить сколько захочешь!

Гася пламень глаз, Атуп Чатр склоняется ниц:

— О могущественный шах! Благодарю за милость!

Внезапно раздается голос Комде:

— У меня — желтый браслет, а он нарисовал красный!

Карашах взглянул на миниатюру:

— Поистине, у нее желтый браслет. Почему же ты нарисовал красный?

Живописец почтительно склонил голову:

— У меня кончилась желтая краска. И потом, у нее платье цвета шафрана, а шафрану более приличествует красный цвет.

— Если бы я хотела надеть красный браслет, я надела бы красный браслет! — говорит Комде. — Но я надела желтый! Пусть он нарисует желтый браслет!

Карашах повернулся к кривому эмиру:

— Прикажи принести желтую краску!

Эмир ушел.

Карашах говорит:

— Сейчас принесут краску, и он нарисует тебе желтый браслет!

— Вот что! — сказала капризно Комде. — Уж если он все равно нарисовал красный браслет, а не желтый, так пусть он нарисует синий браслет! Я хочу синий!

Атуп Чатр улыбнулся шаху:

— О прибежище мира! Наши мудрецы говорят: когда Тваштри взялся за сотворение жепщины, он увидел, что все плотные материалы израсходовал уже на сотворение мужчины. И, поразмыслив, он поступил так: взял гибкость тростника и прелесть цветка, плач облаков и переменчивость ветра, робость зайца и тщеславие павлина, сладость меда и свирепость тигра, жар огня и холод снега, вероломство журавля и верность дикой утки, болтовню сойки и воркование голубя и, смешав все это, сотворил жепщину.

— Поистине так! — проворчал Карашах и встает. Обращается к Комде: — Нам надоело слушать тебя. Пусть он нарисует синий браслет!

Идет к двери. Остановился, говорит живописцу:

— Но не вздумай от нас убежать. Мы все равно тебя найдем, даже если ты спрячешься на дне моря, в желудке рыбы!

— Пойдем! Я покажу тебе мой синий браслет! — сказала Комде Атуп Чатру.

Музыканты провожают глазами Комде и живописца.

Она ведет его по узкому коридору, говорит с насмешкой:

— Радоваться, что шах выколет глаза, может только глупец!

Атуп Чатр улыбнулся:

— Я ел гранат, а у тебя на зубах оскомина. Разве тебе не известно:

Если шах скажет днем: «Наступила ночь»,
«Вижу месяц и звезды!» — кричи во всю мочь!

Комде остановилась:

— Ладно! Пусть остается красный браслет! — Отдает ему миниатюру. — Выйдешь в сад, дашь привратнику это кольцо, и тебя выпустят. Иди! — открывает потайную дверь.

— Я должен вернуться? — тихо спрашивает Атул Чатр.

— Если тебе не терпится получить драгоценные камни в обмен на глаза, тогда ты, конечно, вернешься, — невозмутимо сказала Комде.

Атул Чатр говорит:

— Спасибо тебе за доброту!

Комде закрыла за ним потайную дверь. Возвратилась к музыкантам, приказывает:

— Играйте!

Они ударили в струны, задули во флейты. Комде начала танцевать.

* * *

Переворачивается страница старинной книги, и поверх арабского шрифта наплывают строки:

*«А в те года в одной из дальних стран
Жил некий музыкант — певец Модан...»*

* * *

Чайхапа. На расшитом паласе сидит Модан. Он молод, красив, из-под его тюбетейки свешивается яркий тюльпан. В пиалу, которая ходит по кругу, виночерпий наливает из кожаного мешка мусаллас.

Рядом с помостом чайханы в тандыре — особой среднеазиатской печи — пекутся хлебные лепешки. Пекарь вынул из тандыра лепешки, несет их — еще дымящиеся — на помост.

Подмигнув ему, Модан взял в руки большую лепешку, ударил в нее, как в бубен, и запел касыду Сайядо Насафи:

— Что ж... Смотри!

Атуп Чатр вынул из складок одежды небольшой сверток, развернул. Показывает Модану миниатюру «Танец Комде». Все в чайхане вскочили — посмотреть миниатюру.

А Модан прикрыл рукой глаза, будто в лицо ему блеснул ослепительный свет, опять открыл. Смотрит не отрываясь:

— Где она? Как ее звать?

Атуп Чатр загадочно вздохнул:

— Она далеко, ее не найдешь. А если и найдешь, ее не догнать.

— Разве бывает луна не далекая и есть разве газель не убегающая?! — восклицает Модан, любуясь миниатюрой. — Она прекрасна! А блеск ее лица как начищенный меч!

Легкая усмешка тронула губы Атуп Чатра:

— Блеск меча радует взоры, но когда взмахивают им, в нем острая гибель! Я чуть не лишился глаз из-за этой красавицы. Оставь надежду, юноша!

Забирает миниатюру. Модан вскочил:

— Нет! Ты скажешь, кто она!

Атуп Чатр молчит. Модан восклицает, держась рукой за сердце:

— Ты принес дрова для того костра, который зажег? А теперь отказываешься говорить?!

— Почему же, могу и сказать... Знай же, что ее зовут Комде. И туда, где она живет, есть близкий путь — для орлов и дальний путь — для людей. Чтобы достигнуть ее города, тебе придется на многие месяцы стать пастухом звезд. Она живет во дворце самого Карашаха.

— Укажи мне путь для орлов! — восклицает Модан.

— Они перелетают туда через стену Ледяных гор!

— Клянусь, — говорит Модан, — я перелезу через эту стену, хотя бы в небесах облака на меня проливали огонь!

* * *

Переворачивается страница старинной книги, мы читаем:

*«Как резкий звук оборванной струны,
Он вдаль рванулся из родной страны...»*

Модан едет в далекий путь. Он в дорожной одежде, через седло его коня переброшены переметные сумы. Певца сопровождают до края родной земли трое всадников — двое джигитов и старик дехканец, который бережно держит в руках что-то завернутое в маргеланскую ткань.

Все селение провожает Модана — мужчины и женщины, ребятишки и старики. Чайханщик говорит грустно:

— Уходит от нас песня в дальний путь!..

...Модан едет через многолюдный город — то ли Самарканд это, то ли благородная Бухара: сверкают на солнце бирюзовые купола медресе и мечетей. Тысячные толпы народа провожают певца:

— Скорей возвращайся, Модан! Без твоих песен осиротеют наши дома!

...Модан и его спутники едут по полям, изрезанным коричневыми арыками. Какой-то дехканец с кетменем говорит:

— Кто теперь нас развеселит? Кто споет нам «Вы круглые сироты» так, чтобы сердце задрожало и брызнули слезы из глаз?!

...И пастухи на горных пастбищах провожают Модана. Глядя ему вслед, один говорит:

— Да будет земля мягка под копытами его скакуна!

...И вот уже на снежном перевале Модан прощается со своими тремя спутниками. Величавый старик бережно разворачивает маргеланскую ткань, протягивает Модану старинный танбур:

— Сынок! Много лет назад наши воины увезли этот танбур из земли, где правит сейчас Карашах. Возврати его людям той земли, пусть он опять приносит им радость!

Модан взял танбур. Старик заключил:

— Этот танбур обладает волшебными свойствами. Но не трогай его струн, пока не перевалишь через Ледяные горы.

— Хорошо, отец!

Не слезая с седла, Модан и старик обнимаются.

Модан тронул коня. Перед ним — грандиозная панорама Ледяных гор.

Держа в руках танбур, Модан на коне скрывается среди льдов и снегов. Величавый старик говорит:

— Пусть ни тигр, ни леопард, ни злой человек не встретятся ему на пути!



* * *

Горные вершины белеют вверху. Из ущелья вырывается взъерошенная на камнях река. На склоне, возле дикого куста роз,— старый Бахунатджи и его внук.

— Счастливым день сегодня для нас, о сын моего младшего сына! — говорит старик мальчику. — Боги Ледяных гор подарили нам этот розовый куст!

Шумит река, поют птицы, цикады тянут свою немолчную песню. Старый Бахунатджи положил на камень дорожный мешок и длинным пожом стал выкапывать корни розового куста.

— Дедушка,— говорит мальчик. — А какие это боги Ледяных гор?

— Все боги пришли к нам с Ледяных гор! — торжественно говорит Бахунатджи, показывая на белую корону

снежных вершин. И с Ледяных гор они послали к нам священные реки. Все цветы земли они тоже принесли с Ледяных гор! Даже все звуки!

— Как это принесли звуки? — удивился мальчик.

— А так. — И старик начал рассказывать: — Было время, когда на земле звуков не было: птицы не умели петь, и не рычали звери, и люди не говорили, и флейты не играли, и не свистел ветер, и не шумела река, и даже кузнечики не трещали в траве...

Старик присел на камень:

— ...Потом родился мастер. Это был простой человек. Он, как и все люди, мечтал о справедливости, о покое, о счастье. Но как передать богам просьбу об этом? Ведь люди не умели еще говорить. И тогда мастер сделал танбур. И такая у мастера была чистота сердца, что с помощью танбура он смог выразить больше, чем даже если бы умел говорить...

Старый Бахунатджи помолчал, оглядел снежные зубцы гор и закончил:

— ...Услышав танбур, боги Ледяных гор обрадовались. И решили отблагодарить мастера. Как только в руках мастера танбур умолк, тотчас же люди вдруг заговорили, и запели птицы, и засвистели ветры, и зашумела река! Все звуки мира от волшебного танбура!

— А где теперь этот танбур, дедушка?

— Многие годы он хранился у потомков мастера, — ответил Бахунатджи. — Говорят, когда кто-нибудь начинал играть на этом танбуре, все звуки вокруг умолкали, стыдась своего несовершенства. Потом волшебный танбур пропал, может, разбили его, может, куда-нибудь увезли...

И старик опять принялся ножом освобождать от земли корни розового куста. Вокруг все так же тянут свою немолчную песню цикады, поют птицы, в стороне шумит река.

Мальчик прислушался.

— Как много звуков! Послушай, дедушка!.. Слышишь?.. Что это?

— Это закричала обезьяна в лесу... — сказал Бахунатджи. — А это — крик дикого гуся.

— А это пролетел шмель воп за тем кустом! — подхватил мальчик.

— Да. А это...

Договорить ему не пришлось. Бахунатджи открывает и закрывает рот, но слов не слышно. И шум реки тоже оборвался, умолк. И не слышно ни птиц, ни цикад. Издали доносится странная музыка.

По губам мальчика мы догадываемся — он кричит: «Дедушка! Что это?» — но тоже не слышим ни слова. Раскрыв рот, старый Бахунатджи смотрит в сторону ущелья. Все явственней, все ближе музыка. И из-за скалы выезжает всадник.

Это Модан. Он едет верхом на коне и играет на танбуре. Он все ближе, ближе. Восторженно смотрит на него мальчик, изумленно — старый Бахунатджи. Модан подъехал, оторвал пальцы от струн танбура. И сразу зашумела река. И запели птицы. Воздух вновь наполнился звуками.

А Модан соскакивает с коня:

— Мир вам!

— Кто ты? И откуда у тебя этот танбур? — спрашивает, поздоровавшись, старый Бахунатджи.

— Зовут меня Модан! — сказал юноша. — А танбур я должен вернуть людям вашей земли. Это — волшебный танбур.

Бахунатджи с внуком переглянулись.

— А ну, покажи...

Дрожащими руками взял старик танбур, оглядывает, возвращает Модану.

— А куда ты держишь путь, юноша?

— Во дворец самого Карашаха, — сказал Модан, передавая танбур потянувшемуся мальчику. — Я ищу мою возлюбленную!

Бахунатджи заговорил:

— Любовь — да возвеличит тебя она! — поначалу шутка, но в конце — дело важное. Сколько скупых от любви расщедрилось, и угрюмых развеселилось, и трусов расхрабрилось, сколько грубых по природе разволновалось, и глупых научилось, и неряшливых прибралось, и бедняков украсилось! Но любишь ли ты ее по-настоящему?

— Клянусь! — восклицает Модан. — Моя любовь к ней чище воды, мягче воздуха и крепче гор!

— А как имя твоей возлюбленной?

Модан открыл рот, но старик не услышал, потому что мальчик провел пальцами по струнам танбура, и голос у Модана пропал. Звук танбура затих.

Старик спросил:

— Как? Как? — и прикрикнул на мальчика, увидев, что тот вновь потянулся пальцами к струнам: — Не мешай!

Но струна опять зазвенела, запела. И опять одними губами произнес Модан имя любимой. Старик выхватил танбур из рук внука, передал юноше. И только тогда наконец Модан смог выговорить:

— Комде...

— Комде?! — воскликнул Бахунатджи. — Трудно будет тебе ее увидеть! Еще труднее достичь желаемого! — Помолчал. — Но я научу тебя, юноша, и трудное станет легким.

Показывает на розовый куст.

— Да не останется скрытым перед тобой: я — садовник самого Карашаха и приехал сюда искать редкие цветы для дворца. Я тебе помогу.

* * *

Столица Карашаха. Базар. Выкрики продавцов, стоны верблюдов, крики обезьян и ослов, грохот в мастерских посудников, в кузницах...

И вдруг! Кузнец бьет молотом по наковальне, но не слышно ни звука. Он удивлен. Посудники бьют молотками, но грохота нет. Оборвались выкрики торговцев, пение деревней — все звуки базара!

Мастер музыкальных инструментов дергает молчащие струны, в недоумении прочищает уши, трясет головой, наконец, поворачивается, прислушивается. Вдали звучит чарующая музыка танбура. Мастер, а за ним одни ремесленник, второй, третий покидают свои мастерские, идут в ту сторону, где слышится музыка. Со всех сторон базара спешат туда толпы людей...

Модан сидит в саду у ворот, играет на танбуре. Позади него — павлин на гранатовом деревце. Возле Модана садовник вынул из мешка розовый куст, сажает в землю с помощью внука. Сбегаются ремесленники, горожане. Слово замороженные, слушают они танбур Модана.

Среди них — придворный поэт шаха Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби. На нем богатая одежда, пышный тюрбан.

* * *

А во дворце, в маленькой комнатке, перед Карашахом танцует Комде.

Слуга открыл дверь на террасу — послышалась далекая мелодия танбура. И сразу звуки дворцового оркестрика оборвались. Замолчала вина под пальцами музыканта; молчит болури, сколько ни дует в нее второй музыкант; не слышно звуков ударных — мридаптама, гхатама и канджир, хоть музыканты в них и колотят вовсю. Тощий музыкант с удивлением посмотрел на своих сотоварищей. Карашах гневно вскочил, грозя кулаком.

А Комде выбежала на террасу. Она видит внизу — берег реки, и сад, и толпу...

* * *

Там Бахунатджи уже посадил розовый куст. И Модан повернулся лицом ко дворцу, к его мраморной стене, увенчанной башенками. Обращаясь к далекой Комде, он запекает песню на слова Атап:

— Красотой от мук целиться — тем живу!
Петь, когда любимой спится, — тем живу!
То коралл, то жемчуг тайный лью из глаз,
С розой роз губам слиться — тем живу...

Слушают восхищенные ремесленники и горожане. Важно слушает поэт Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби. Далеко на террасе слушает Комде, очарованная удивительной песней.

— По ночам спадают слезы — чаще звезд.
Глаз двузвездьем озариться — тем живу!
Отлетев, как мяч, от сети кос твоих,
К ним опять в тоске стремиться — тем живу!

Перед Моданом, под дыханьем его, на кусте распускается желтая роза. Раскрыв рот, смотрит на это старый Бахунатджи.

А во дворце Карашах сделал гневный жест стражникам. Они выбегают на террасу к Комде, хватают ее. Она рвется из их рук к далекой песне.

— Твой Модан сто раз в печали умирал.
Раз бы в радости родиться — тем живу!
Твой Модан болел разлукой сотни раз.
Раз бы встречей излечиться — тем живу!

Стражники уволакивают Комде в помещение. Закрыли дверь. Карашах говорит гневно:

— Танцуй!

В смятении Комде стоит перед шахом. Заиграли музыканты, и смятение Комде переходит в «Танец раненой птицы».

* * *

Модан в саду беседует с ремесленниками и горожанами, кончает рассказывать:

— ...И, как только я увидел ее изображение, я покинул свой дом. С тех пор как будто из бегущих облаков сделан я, и не перестает ветер толкать меня к краям неба!

— Комде увидеть нельзя,— сказал один из ремесленников.

— Ее забрали у нас, и теперь она танцует для шаха! — подхватил второй.

— Заперли во дворце наше счастье,— сказал мастер музыкальных инструментов.

Модан пылко восклицает:

— Я должен попасть во дворец, и увидеть Комде, и сделать так, чтобы она хотя бы наполовину стала такой, каким я стал от любви к ней!

— Поистине, твое ремесло опасно, юноша,— говорит Мухаммад Мухасин Фопи Нахшеби, выходя из толпы и сядясь рядом с Моданом.— Если шаху не понравится кувшин, его можно разбить. Ковер можно изорвать. Но с песней ничего сделать нельзя. Она летит из уст в уста, и певцу в конце концов отрубают голову!

— Но почтенный Бахунатджи обещал мне помочь!

— Бахунатджи — искусный садовник,— ответил придворный поэт.— Однако помочь тебе попасть во дворец, да еще при этом увидеть жасминогрудую... Знай: те, которые желают иметь все, теряют в конце концов все!

Тут вмешался садовник:

— Не следует останавливать влюбленного! Ибо кто не влюблен — тот не человек!..

Срывает с куста желтую розу, протягивает Модану:

— Возьми, она расцвела от твоей песни!..

Повернулся к поэту:

— О великодушный Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби! Вам известны все изгибы души нашего шаха, и вы умеете слагать стихи, как никто. Помогите желтой розе соединить свои лепестки с белоснежной. И когда вы умрете — бог прохладит вашу могилу! И все влюбленные будут вас прославлять!..

* * *

И вот уже Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби, придворный поэт, стоит в тронном зале перед шахом и, с необыкновенным пафосом, воздевая руки и завывая, читает стихи:

— ...Нет, люди так не цели до сих пор!
Казалось — пел не он, а целый хор,
Казалось — весь он музыкой звучал,
И каждой порою звуки излучал,
И в каждом звуке был особый мир,
И каждый душу возносил в эфир!
Когда рукою струн касался он —
Волшебным чангом сам казался он!..

Карашах спрашивает:

— Это — твои стихи или это — на самом деле?

— На самом деле, — говорит Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби. — Но и стихи! Этот чужестранец поет так, что все другие певцы перед ним — зола!

И он опять перешел на стихи:

— Он соловей, взлелеянный в раю,
И если в нашем он запел краю,
В том добрый знак судьбы, конечно, есть.
Услада людям, государству честь!..

— О упование и сновидение всех владык мира! Великий шах покроет весь мир куполом своей славы, если устроит пир и покажет гостям искусство двоих: Комде и Модана!

— О, если на торжественном пиру
Соединить их пляску и игру!
Такого пения, такой игры
Не видывали царские пиры!..

— Хватит, хватит,— прервал его Карашах.— Мы видим, что ты предап нам и печешься о нашем велпчии. Наполнишь его рот жемчугами!

По знаку Карашаха, Мухаммаду Мухасину Фони Нахшеби подносят кувшин, полный жемчуга. Поэт жадно зачерпывает жемчуг горстями, набивает себе рот. Стоит с набитым ртом.

А Карашах говорит приближенным:

— Готовьтесь к пиру! Пусть все цветы и вина земли изольют на нем свои краски и запахи! И пусть на пир придут гости из семи частей света!

* * *

Переворачивается страница старинной книги, мы читаем:

*«Все превратилось в зрение и слух,
Все онемели, видя этих двух...»*

* * *

Широкий дворцовый двор с аркадами и садами. Деревья и кусты сверкают от золотых блесков и нитей. На троне восседает Карашах. С его шеи до живота свисает драгоценное ожерелье-гирлянда.

У подножия трона, под шелковым балдахном — эмиры. На коврах — гости из семи частей света. Над «тропным залом» натянут на золотых веревках разрисованный тент, шелковые кисти висят на его концах. В просветах видно голубое небо. Под самым тентом — балкончик с резным барьером.

Пир в разгаре. Играют музыканты, гости пьют, веселятся. Виночерпичи обносят гостей. С ковра встает раджа. Он вынул из клетки попугая, сажает его внутрь причудливого кольца. Вместе с ним встал какой-то старичок с книгой в руках.

Модан с танбуром сидит среди гостей, смотрит на раджу и старичка.

— О великий шах! — говорит раджа.— Мой каллиграф переписал для повелителя «Сказки попугая»!..

Кланяясь, старичок протягивает книгу придворному слуге.

Раджа продолжает:

— А вот и тот знаменитый, единственный в мире говорящий попугай, который рассказал эти сказки Худжасте!

Кривой эмир принимает из рук раджи кольцо с попугаем. Карашах спрашивает:

— Почему же попугай молчит и не приветствует нас?

— О великий шах! — ответил раджа. — С тех пор как сказки этого попугая перевели на все языки мира, он заважничал, и вот уже сто лет не вымолвил ни слова!

Карашах самодовольно усмехнулся:

— У нас он заговорит! Поместить его тут! — указывает слева от трона.

Комде смотрит с балкончика на попугая. У него зеленые крылья, на шее розовая полоска, он вцепился когтястыми лапками в кольцо. Кривой эмир подвешивает его возле трона.

Пир продолжается. По знаку Карашаха, Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби жестом поднимает Модана с ковра.

Комде смотрит сверху. Модан не видит ее, обводит взглядом гостей, поднял глаза. Комде отшатнулась в глубь балкончика, но Модан успел заметить ее, улыбнулся счастливой улыбкой, прошелся пальцами по струнам табура и запел:

— Ты, чье сердце — гранит, чьих ушей серебро —
колдовское литье,
Унесла ты мой ум, унесла мой покой и терпенье мое!
Шаловливая пери, плясунья в атласной кабо,
Ты, чей облик — луна, чье дыханье — порыв, чей язык —
лезвиё.

По залу прошел одобрительный гул. Прикрывая лицо платком, Комде выглядывает из глубины балкончика. Модан поет:

— От любовного жара, от страсти любовной к тебе
Вечно я клокочу, как клокочет в котле огневое питье.
Должен я, что кабо, всю тебя обхватить и обнять,
Должен я хоть на миг стать рубашкой твоей, чтоб
вкусить забытье!..

Он не в состоянии не глядеть на Комде, он поет для нее газель Хафиза. Но никто не видит красавицу. А Комде, прикрывая лицо концом платка, не может оторвать глаз от певца.

— Пусть сгниют мои кости, укрыты холодной землей,
Вечным жаром любви одолею я смерть, удержу бытие.
Жизнь и веру мою, жизнь и веру мою унесли
Грудь и плечи ее, грудь и плечи ее, грудь и плечи ее!
Только в сладких устах, только в сладких устах, о Модан,
Исцеленье твое, исцеленье твое, исцеленье твое!

Раздались восторженные крики. Тощий музыкант воскликнул:

— Счастлив шах, имеющий такого певца!

Ниаенький музыкант подхватил:

— Никогда не умрет слава шаха, при дворе которого так искусно поют!

В порыве восторга Карашах сорвал со своей шеи драгоценное ожерелье-гирлянду. Подошел к Модану, вешает ему ожерелье на шею. Все кричат:

— О непревзойденная щедрость!.. О неслышанная милость!.. Никогда еще не видел мир такого ценителя искусств, как наш шах!..

Среди ветвей дерева, сверкающего от золотых блесков, виднеется лицо мальчика — внука Бахунатджи. Забравшись на дерево, с восхищением глядит он на юношу в ожерелье.

Модан склонил голову:

— Я буду гордиться подарком шаха перед всеми людьми!

Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби шепчет:

— Падай... На колени падай...

Модан не слышит: его взор устремлен к балкончику. Смотрит на певца Карашах. Смотрит на него попугай, вертя головой с желтым глазом, окаймленным красным кольцом. Придворный поэт извиняется перед шахом:

— Не знает обычаев... Извините его... Чужеземец...

Карашах усмехнулся, садится на трон. А вокруг не умолкают славословия повелителю.

Заиграли на гхатамах музыканты. Прижимая к животам эти ударные инструменты, похожие на кувшины, музыканты в бешеном ритме выбивают пальцами мелодию. Выбежало несколько танцовщиц. Начался танец.

С восхищением смотрит мальчик сквозь ветви дерева. Попугай склонил голову набок и замер, созерцая. В разгаре танца в него вступает Комде. Но ее танец лучше всего описать словами поэмы.

«Стрелой вперед она метнулась вдруг, как молния, вся изогнулась вдруг, как молния, блеснула красотой, всех ослепила полунаготой, изогнутая, как турецкий меч, всем головы снесла мгновенно с плеч. Кровь превращал то в кипяток, то в лед ее бровей попеременный взлет; проплась — и показалось всем тогда, что райского ручья течет вода; кружиться стала — даже маловвер узрел вращение небесных сфер,— и до того в кружении дошла, что будто неподвижно, как юла, она стояла, вся стройней свечи, вся изнутри светясь, светлей свечи, и рой лучей вокруг нее порхал и крылышками трепетно махал. И на почетном месте, и в углу был ею каждый превращен в золу, и в той золе дворцовой лишь она, как факел красоты, была видна...»

Комде завершает танец. В порыве исступленного восторга Модан срывает со своей шеи ожерелье-гирлянду, подарок шаха, швыряет под ноги танцовщице:

— Прими в знак восхищенья от меня!
То, чем пред миром я гордиться б мог,
Ты сделаешь браслетами для ног!

Придворный поэт, пытавшийся остановить его, отштывается от Модана. В ярости Карашах встает:

— Плясунье?! Под ноги?! Мой подарок?!

Умолк, оцепенел весь зал. Замер мальчик среди ветвей дерева. Карашах кричит:

— Этот бродяга осмелился пренебречь милостью царя царей! Клянемся, его дерзость заслуживает того, чтобы его шею погладил меч палача!..

Но Модан уже прикоснулся рукой к струнам танбура. И голос Карашаха пропал. Он что-то яростно кричит, машет руками, раскрывает рот — ничего не слышно. А Модан, перебирая струны танбура, искусно используя для каждой фразы паузу, с силой говорит Карашаху:

— Бьет барабан — и ты доволен, шах,
Тщеславьем ты смертельно болен, шах!..

Модан ударил палкой по барабану, который стоял рядом, прорвал барабан. Опять играя на танбуре, в паузах говорит:

— Сколь твой ни шумен барабан,— смотри:
Что, кроме воздуха, найдешь внутри?

Так ты, безмозглый барабан пустой,
Шумишь, зацугивая род простой!..

Карашах знаками повелевает схватить Модана, вырвать танбур из его рук.

И когда стражники наконец отняли танбур и схватили певца, опять стал слышен голос охрипшего Карашаха, почти визг:

— Этот гордец жестоко поплатится за дерзость! Сдрать с него кожу! И натянуть на барабан!

Раздается крик раненой птицы — Комде бросилась к ногам Карашаха:

— О великий шах...

Кто виноват — свеча или мотылек,

Которого огонь свечи привлек?

Любовь порочна или красота?

Грех — в красоте, сама любовь чиста!

Мой грех не должен тяготеть на нем:

Моим воспламенился он огнем

И потерял себя...

Придворные что-то шепчут Карашаху, указывая глазами на гостей из семи частей света, растроганных словами Комде, утирающих слезы. Она заключает:

— ...За что же он

Один несправедливо осужден?

Моя вина — и я приму ответ:

Срубите голову мою чуть свет!..

Плачет Комде. Плачут гости. Карашах благосклонно говорит танцовщице:

— Мы не знали, что ты искусна также в стихах.— Поворачивается к гостям.— Так и быть, на этот раз мы окажем милость этому бродяге...

Приказывает кривому эмиру:

— Наказать его плетью! И изгнать навсегда из нашего государства.

По знаку эмира стражники увлакивают Модана. Комде бросилась за ним, но ее перехватили стражники, утаскивают внутрь дворца.

Едва затихли ее вопли, Карашах грозно сказал:

— А всякий, кто дерзнет ему помочь или его защитить, лишится головы! — И увидел придворного поэта.

Тот отшатнулся.

— Это ты его привел,— мрачно говорит Карашах.

Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби стоит ни жив ни мертв. Карашах говорит:

— Если хочешь сохранить свою голову, переложь наши слова на стихи, а мы послушаем... Писцы!

Вопли писцы. Сели, развернули книги, подняли свои калямы. Смотрит на поэта попугай изучающим взглядом. Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби начал диктовать, его голос дрожит:

— Наш великий и блистательный шах соизволил сложить следующие слова:

«Как сей бродяга неучтивый мог
Переступить царя царей порог?!
Заслуживает дерзость, чтобы меч
Певца погладил нежно между плеч...»

Слушает Карашах. Скрипят писцы тростниковыми перьями. Поэт диктует, завывая все сильнее:

— Нет, виселицу заслужил певец:
Пусть выше держит голову, гордец!
Но милостив я буду в этот раз:
Прочь негодяя поскорее с глаз!..

Карашах одобрительно кивнул. Мальчик соскользнул с дерева и исчез. Голос придворного поэта крепнет:

— Плетьми жестоко наказать его,
Изгнать его из дарства моего!
Да так, чтоб оглянуться он не мог,
Чтоб голова пошла быстрее ног!

Поэт умолк. И тотчас же со всех сторон полились славословия Карашаху:

— О искуснейший из шахов, когда-либо слагавших стихи!..

— Никогда еще подлунный мир не знал такого шаха, в нем соединились все совершенства!..

— Как будто мы в чудном саду и воздух благоухает от слов шаха!..

— Даже павлин не имеет столько красивых перьев, сколько красивых слов в стихах повелителя!..

— Даже месяц в небе, услышав его стихи, прикусил от удивления палец!..

* * *

Переворачивается страница старинной книги, мы читаем:

*«Смолк славы триумфальный барабан,
Грежел стыда печальный барабан!..»*

* * *

Под печальные удары барабана стражники ведут Модана из города, изгоняют. Его руки связаны за спиной. Ночь.

С факелами выбегают на улицу горожане, молча провожают глазами скорбное шествие, среди них — музыканты шаха и мастер музыкальных инструментов.

Стражники ведут Модана, гремит барабан. И вновь возникает характерный, словно рисованный, речитатив сказителя:

*Владыки мнят, что все подкупно им,—
Блаженство сердца недоступно им!
Высокомерьем их возведена
Меж ними и народами стена.
Для шаха гордость высшая — дворец,
Для угнетенных — чистота сердец!..*

Стражники уводят Модана в ночь. Молча смотрят горожане.

* * *

Далеко, глухо гремят печальные удары барабана. Комде во дворце крадется мимо спящих стражников. Замерла у потайной двери, осматривается, прислушивается. Все кругом спит. Неслышно открывает потайную дверь, исчезает за ней. Дверь закрывается...

* * *

Далеко, глухо гремят печальные удары барабана. В саду под шатром звездного неба, у ворот дотлевают костер. Сидят Бахунатджи с внуком. Старик не спеша кончает рассказывать:

— ...Это был очень злой шах. Однажды он даже свою собственную тень заподозрил в измене. И он отрубил го-



лову своей тени. С тех пор его тень ходила без головы...

Слушает мальчик. Позади в дымке ночи белеют, освещенные звездным светом, цветы. Странная белая фигура движется меж цветов. Но мальчик ее не видит.

— Потом шах достиг порога смерти, — продолжает Бахупатджи. — И над ним соединились могильные плиты. Но тень его не могла без головы уйти с ним в могилу. Говорят, тень злого шаха до сих пор бродит по земле, ищет свою голову...

Старый Бахупатджи умолк, прислушался к далекому барабану, вздохнул:

— О, исчезнувшие времена, и истлевшие сказания, и дни, что ушли, и следы, которые стерлись!

Широко раскрытыми глазами смотрит мальчик на угли. Поднял голову, испуганно вскрикнул.

Из темноты сада, среди цветов, к ним приближается белая фигура.

— Комде?

Старик удивленно встал. Да, это она. Рази-

нув рот, смотрит на нее мальчик.

— Выпустите меня,— говорит Комде, испуганно озираясь.

Старик внимательно смотрит на танцовщицу.

— Твои глаза — раскрытые ворота души. Что случилось?

— Его увели... — сказала Комде и заплакала. — Модана увел в одну сторону, а с другой на меня паднула ночь. Выпустите меня! Я только догоню его и скажу, что стало из-за него в моем сердце! Я вернусь до зари, клянусь правдой и чистотой! Выпустите меня!

Бахунатджи сказал величаво:

— Твое горе — в моем сердце! Иди! — и распахнул ворота.

Комде выбежала в ворота, в ночь. Старик повернулся к мальчику:

— Будь ей в пути опорой и защитой!

И мальчик выскальзывает за ней.

* * *

Очень далеко гремят печальные удары барабана. Карашах — в маленькой комнате во



дворце. Перед ним — два стражника. У одного в руках — танбур Модана.

— Этот преступный танбур, — говорит Карашах, — осмелился прервать речь царя царей. И мы повелеваем его казнить.

Стражники переглянулись:

— Казнить танбур?

— Да. Разломать его и заживо закопать!

Стражники поклонились шаху, направились к выходу. Но Карашах жестом их остановил:

— Повелеваем закопать танбур ночью, тайно. И кто выроет яму — того повелеваем лишить жизни, дабы никто больше и никогда не мог этот преступный танбур найти!

— Слушаем и повинемся! — сказали стражники и ушли.

Карашах проводил их взглядом. В кольце встрепенулся, взъерошил перья и перевернулся в другую сторону попугай. Карашах вздрогнул, подозрительно посмотрел на него:

— Ты подслушивал нас?

Но попугай не удостоил шаха ответом, высокомерно поглядел одним глазом и вновь прикрыл его морщинистым веком.

— Молчишь? — Карашах угрожающе усмехнулся. — Ну молчи, молчи! Глупый попугай!

Далеко, очень далеко гремят печальные удары барабана...

* * *

Модана уже вывели за город. Дорога змечется вдоль реки. Из ночной темноты, заслоняя звезды, выступают справа и слева очертания пышных кустов. Впереди идет стражник, бьет в барабан. Модан то и дело оглядывается.

Комде и мальчик догоняют печальное шествие. Косы танцовщицы распущены. Она крикнула:

— Модан!..

Юноша услышал, вскрикнул:

— Комде! — и рванулся к ней.

Но его перехватили стражники, оттаскивают. И ее оттащили стражники. Ломая руки и плача, Комде начинает умолять кривого эмира — начальника стражи:

— Да будет к вам благосклонной судьба! Да не поки-

пет никогда вас удача! А мне — свидетель бог! — остался в жизни только один предсмертный вздох! Продлите мою жизнь на эту ночь, умоляю! Оставьте Модана мне до утра...

Кривой эмир посмотрел на нее единственным глазом:

— Твои слова подобны золоту, но от них в руках у меня остается только воздух.

— Я прошу лишь отсрочить изгнание! — в отчаянии восклицает Комде. — Прошу подарить нам остаток ночи! Оставьте меня с Моданом наедине! Смиловитесь!..

Кривой эмир попробовал сказать яснее:

— Дай мне что-нибудь, кроме воздуха! — и многозначительно уставился на Комде.

— Что? — растерялась Комде.

— Да ты совсем глупа, — сказал кривой эмир и показал пальцами на ее браслеты и серьги.

Комде вспыхнула, срывает с себя драгоценности, сует их эмиру. По его знаку стражники развязали руки Модану, отходят в сторону.

Но Комде и Модан стоят. Они стоят как вкопанные, — стоят на расстоянии, растерянные, замороженные, — не в силах двинуться навстречу друг другу. Наконец Комде сделала шаг. И Модан шагнул к ней. И они пошли друг к другу. Подошли. Взялись за руки. И замерли, не в силах вымолвить слова. Молча стоят.

Стражники в стороне зажигают костры. Мальчик тоже отошел, лег на пыльную траву у края дороги.

А Комде и Модан все еще стоят, не могут наглядеться друг на друга. Наконец Комде обрела дар речи, жалобно завывел ее голос:

— Из-за меня покинув край родной,
Зачем искал знакомства ты со мной?!

И Модан, как эхо, откликнулся:

— Я так смущен, что путаю теперь,
Где разума, а где безумья дверь.
Любовь настигла молнией меня,
Смятением наполнила меня...

Стражники у костра азартно играют в кости. Слышны грубые возгласы: «Семь!.. Одиннадцать!.. Давай!..» Под их алчными взглядами из рук в руки переходят монеты.

А Комде говорит Модану — они сидят уже на траве
возле ночной реки:

— Я воздухом твоей любви дышу,
Но сломанными крыльями машу,
Готова я, как тень, всегда идти
Вслед за тобой по твоему пути,
И смерти не страшусь я...

Опускает голову, размышляет:

— Но страшусь,
Что новых бед причиной окажусь,
Что шах раздует пламя мести вновь,
Что рок швырнет в тебя свой камень вновь.
И если я на этот путь вступлю,
То и тебя, любимый, погублю...

Стражники играют в кости. Один воскликнул:

— Двенадцать!

Второй вскочил:

— Ты неправильно бросил! Обманщик!

Тот тоже вскочил, его глаза налились кровью:

— Кто обманщик?

— Ты!

Они, верно, сцепились бы, если бы кривой эмир не
огрел их плетью, прикрикнув:

— Тише вы! А то брошу обоих шакалам!

А Модан положил голову на колени Комде. Не отрывая
взгляда от его лица, она говорит:

— Пришел меня завороживший гость —
И всю развеял, словно праха горсть...
О, как с тобой соединиться мне?
Развеянной, как сохраниться мне?

Держа голову у нее на коленях, заглядывая снизу в ее
глаза, Модан говорит:

— Мы оба — жертвы безрассудств судьбы,
Мы — рока сумасшедшего рабы!
От рук отбилось счастье...

Встает, говорит с силой:

— Но клянусь,
Что где-нибудь я с ним еще столкнусь!..

Вновь усаживается рядом с Комде, начинает рассказывать:

— От мудрецов пришлось мне как-то раз
Услышать удивительный рассказ.
На севере пустыня есть, и в ней
От незапамятных блаженных дней
Есть пальма благодатная одна...

Комде смежила глаза. И перед ее воображением возникла одинокая пальма в пустыне. Слышит голос Модана:

— ...Ей сила непонятная дана:
Кого та пальма тенью осенит —
К тому удача в руки прилетит...

И перед воображением Комде рядом с пальмой возник легкий, призрачный образ Модана. Он протянул руки, и откуда-то из глубины пустыни появилась Комде. Счастливые влюбленные обнялись, и оба медленно растаяли. А Модан заключает:

— Мне б к пальме той дойти, ее найти:
Сойдутся наши вновь тогда пути!..

Подошел кривой эмпир:

— Скоро заря. Пора расставаться!

Стражники затаптывают костры. Комде и Модан встали, держат друг друга за руки. Комде жалобно говорит:

— Я верю, что в любом краю земли
Меня не позабудешь и вдали!
Но если б ты на крыльях ветерка
Весть о себе прислал издалека!
Свою Комде — прости, Модан, прости —
Ты мог бы нежной весточкой спасти!

Модан достал спрятанную у него на груди розу:

— Вот — зеркало дыхания моего,
Двойник существованья моего...

Протягивает ей розу:

— ...Покуда не поблекнет розы цвет,
Знай, что я жив и мне угрозы нет.
А если роза почернеет вдруг —
Знай, что погиб тебя любивший друг.

— Хватит! Прощайтесь! — сказал кривой эмир.

Стражник ударил в барабан. И под шатром ночного неба опять понеслись глухие удары барабана. И зазвучал речитатив сказителя:

*Он на Комде взглянул в последний раз,
Как будто весь он состоял из глаз.
И так ее он обнял, словно вдруг
Он приобрел сто жарких, страстных рук...*

Модан обнимает Комде, оторвался от нее, круто повернулся, пошел.

*...И вышел в путь на север, чтоб найти
Надежды пальму на своем пути.*

Стоит Комде с розой в руках, смотрит вслед. Смотрит вслед Модану мальчик. Смотрят стражники, один из них бьет в барабан.

Вдоль реки, в которой струятся отражения звезд, Модан по дороге уходит в изгнание, в ночь.

* * *

Переворачивается страница старинной книги, мы читаем:

*«О, мания величия царей!
О, низкие обычаи царей!..»*

* * *

Ночь. Дворцовый сад. Старый Бахунатджи роет мотыгой яму возле куста роз. Над ним с пиками в руках стоят два стражника, подгоняют:

— Скорей! Скорей!

Бахунатджи выпрямился:

— Но что вам надо закопать? Какую рыть яму?

Стражник грубо обрывает его:

— Копай! Не твое дело!

Второй, что помоложе, показал на сверток:

— Шах велел закопать вот это: тут преступник, осмелившийся нарушить покой повелителя.

Поглядев на сверток, чем-то напоминающий по форме крупную мертвую птицу, завернутую в ткань, Бахунатджи усмехнулся:

— Наверное, какой-нибудь гусь или журавль, залетевший во дворец?

— Ладно! Копай! — оборвал его первый и ткнул концом пика в бок.

Садовник копает. У решетки сада возле ворот появился его внук, вернувшийся вместе с Комде. Они замерли, увидев стражников. Осторожно мальчик приоткрыл ворота. Комде проскальзывает в щель. Старый Бахунатджи искоса взглянул, заметил ее. Но ничем не выдал себя, продолжает копать.

Скрываясь за цветущими кустами, Комде направилась к мраморной стене дворца, четко рисующейся на фоне предрассветного неба. Исчезла в какой-то нише. Тогда и мальчик проскользнул в ворота, крадется между цветов, прополз среди двух жасминовых кустов, смотрит, лежа в траве.

Старый Бахунатджи кончил копать, сказал добродушно:

— Ну, давайте вашего преступника...

Но стражник отстранил его руку, зорко осматривается. Мальчик приник к земле. Не заметив ничего подозрительного, стражник разворачивает табу́р.

Не успел Бахунатджи вскрикнуть, не успел остановить руку стражника, как тот с огромной силой ударил табу́ром по земле. Со странным звоном полопались струны — каждая застояла протяжно, своим особенным голосом. И, звуча, развалился деревянный остов табу́ра. И все слилось в один рыдающий вопль. Бахунатджи прошептал в отчаянии:

— Волшебный табу́р...

* * *

А во дворце — возле Комде, которая только что прикрыла за собой потайную дверь, — вдруг задрожали, зазвенели струны музыкальных инструментов, заиграли флейты. Жалобный, необыкновенный по красоте аккорд понесся по дворцовым покоем. Комде замерла, испуганно оглянулась.

Вбегает встрепанный Карашах:

— Что тут такое?

С удивлением слушая затихающий аккорд, Комде говорит:

— Наверное, сюда забрался какой-нибудь дух и...

Карашах раздраженно прервал ее:

— Духи не играют на флейтах, не танцуют и не поют. У них есть дела поважней!

Подозрительно заглянул за барабан, за занавес. Комде скрывается в глубине помещения.

* * *

Стражник в саду уже схватился руками за розовый куст, вырвал его с корнями, сажает в яму поверх обломков, приказывает:

— Закапывай!

Бахунатджи говорит величаво:

— Музыка похоронить нельзя!

— Шах лучше знает, что можно, а что нельзя! Закапывай, ну!

Стражники ткнули старика пиками. Бахунатджи мотыгой стал сгребать землю. И «плач» танбура умолк под комьями земли.

Затаив дыхание, смотрит мальчик, скрываясь в высокой траве. Яма уже засыпана, стражники утаптывают землю. Направили пики на Бахунатджи.

— Иди!

— Куда?

— Получать награду от шаха.

— Меня не за что награждать, — с достоинством сказал Бахунатджи.

— Шах лучше знает, кого награждать! — сказал стражник, кольнув старика концом пика. И Бахунатджи пошел.

Стражники вывели его за ворота. Мальчик выскользнул за ними, остановился, смотрит, потом кинулся следом. Догнал, крикнул:

— Дедушка!

Но стражники отшвырнули мальчика — он упал в канаву, — толкнули Бахунатджи пиками, и старый садовник пошел...

* * *

Яркий солнечный луч прорезает маленькую комнатку во дворце. Вошли стражники, закапывавшие танбур.

— О повелитель! Преступный тапбур казен и тайно предал земле!

— А что постигло рывшего яму? — спросил Карашах.

— Мы помогли ему перейти в царство вечности.

Тот, что помоложе, подхватил:

— Да будет повелителю известно, он закопал тапбур, в...

Карашах прерывает:

— Оставь твое знание себе! Идите, получайте награду!

Стражники поклонились и вышли. Кивнув вслед им, Карашах сказал кривому эмиру:

— Шах должен быть ревнив даже к своей тени. Повелеваем: лишить их жизни, дабы никто и никогда не мог этот преступный тапбур найти!

Эмир поклонился, вышел за стражниками. Сидит, нахохлясь, попугай в кольце. Карашах пристально посмотрел на него:

— Ты все молчишь? Подслушиваешь наши тайны?.. Запереть его в клетку!

Оглянулся — никого нет. Тогда он сам хватает попугая, заталкивает в клетку, подвешивает ее на крюк. Торжествующе засмеялся:

— Теперь даже если бы ты захотел причинить нам зло, тебе не удастся!

* * *

Мастерская музыкальных инструментов. Сквозь толпу музыкантов пробирается низенький музыкант шаха с випой в руках. Он взобрался на помост мастерской, бросился к мастеру:

— Смотри! У меня умолкли струны!..

Ударяет пальцами по струнам, цепляет их — ни звука.

— Не у тебя одного, у всех умолкли струны, — печально говорит мастер.

И музыканты стали показывать низенькому: под их пальцами не звенят струны, под устами не звучат флейты.

Низенький музыкант разинул от удивления рот. Мастер продолжает:

— Что-то случилось с волшебным тапбуром, и вся музыка в мире умолкла! Остались одни барабаны!

Он ударил по барабану — раздался мощный звук.

И тотчас же, словно ответив ему, вблизи забил еще барабан. Музыканты обернулись. На базар в сопровождении барабанщика вступает шахский глашатай:

— Слушайте! Слушайте!.. Слушайте, какова справедливость шаха, нашего повелителя!..

В повозке палача, привязанные к столбам, стоят два стражника. Повозка окружена вооруженной охраной. Глашатай кричит:

— Наш великий шах, Солнце Вселенной, оказал своим подданным справедливость! Он карает этих двух стражников за то, что они казнили невинного человека.

Слушает мальчик в базарной толпе. Молчит народ. Звучит голос глашатая:

— Эти две ядовитые змеи казнили садовника шаха и тем самым лишили повелителя тысячи земных благоуханий!..

В толпе раздался отчаянный крик мальчика:

— Дедушка!..

Глашатай посмотрел, откуда послышался крик, однако, не увидев ничего, кроме сотен голов, продолжает:

— Но злодеев настигла карающая рука повелителя!..

Осужденных стражников в повозке увозят вслед за глашатаем.

В мастерской теснятся музыканты, слышен далекий голос глашатая:

— Слушайте, какова справедливость нашего шаха!..

Тощий музыкант говорит мрачно:

— Черный цвет не закрасишь никаким другим цветом. Я знаю, какова справедливость шаха! Надо бежать от нее!

— Куда? — вздохнул низенький.

— Все равно куда — в горы, в пески, — только подальше! И поскорей! Когда Карашах узнает, что умолкла музыка, у нас у всех головы полетят!

Он пошел, за ним дружно поднялись музыканты. Только мастер не тронулся с места. Тощий музыкант обратился к нему:

— Ты остаешься?

— Я не могу покинуть город, — сурово говорит мастер. — Я должен остаться, чтобы узнать, что случилось с волшебным тацбуром.

Музыканты молча уходят из мастерской.

* * *

И вот уже мастер, которого приволокли стражники, стоит перед шахом.

— ...И ты утверждаешь,— говорит Карашах,— что можешь починить волшебный танбур? И тогда музыка опять к нам возвратится?

— Да,— кивает мастер.

Карашах повернулся к кривому эмиру:

— Принеси сюда танбур!

— Царю царей известно...— сказал эмир дрожащим голосом.— Никто не знает, где зарыты обломки волшебного танбура. Никто не остался в живых...

— Ага! Ты убил их нарочно, с коварной целью,— говорит Карашах.— Ты захотел, как видно, чтобы без музыки мы, твой повелитель, умерли от скуки? Ты захотел таким способом от нас избавиться?!

В страхе отступая от Карашаха, эмир бормочет:

— Я не хотел избавляться от повелителя... Я чту Солнце Вселенной превыше всего... я...

— Ну, вот что! — прервал его Карашах.— Всем известно, что ты умеешь разыскивать драгоценности там, где другой ничего не найдет! Если ты не разыщешь танбур с тем же умением, клянemся — тебе не удержать своей головы!

— Слушаю и повинуюсь,— сказал эмир, отвешивая низкий поклон.

* * *

Переворачивается страница старинной книги, мы читаем:

*«Чем дальше уходил, тем чаще взгляд
Бросал он, опечаленный, назад...»*

Разутый, в лохмотьях, с колючками на ногах, растерзанный печалью, идет Модан по пустыне. Он идет и поет:

Тяжелому вздоху подобно,
Я стал караванщиком слез.
Глубокой пылающей раны
Клеймо в мое сердце вожглось...

Легконогая газель выскочила на гребень бархана и замерла, провожая взглядом певца.

И милой я, кроме той раны,
В безумье моем не найду,
В безвыходном мире обмана
Один я, как солнце, бреду...

Далеко впереди, среди волн песка, возникает в струящемся воздухе, будто в мареве, одинокая пальма.

* * *

А Комде в комнатке, устланной коврами, поверх которых лежат парчовые подушки, смотрит на заветную розу. Ее лепестки побледнели, но краска в них еще есть.

На пороге сидит мальчик, глядит на Комде. Губы ее плотно сжаты. И все же мы слышим чистый, жалобный голос, чем-то похожий на голос Комде:

«Миновало для меня время сбора фиников, и теперь мне достался лишь терновник. Терпи и печалься, сердце».

— Почему ты молчишь? — спросил мальчик.

— Не хочется говорить, — сказала Комде.

Опять она сжала губы, и опять звучат ее мысли:

«Рано с пира уйти пришлось опечаленной флейте... Днем я гляжу на солнце вместо Модана, а ночью любуюсь темнотой вместо черноты его волос. И слезами своими смываю черноту ночи».

— О чем ты думаешь? — спросил мальчик.

— Ни о чем, — сказала Комде.

И опять звучат ее мысли:

«Ах, хорошо мне было, пока не увидала его! А теперь... Сахар уже не имеет больше сладости, ибо скрылся с глаз милый друг».

— Комде, — говорит мальчик. — Станцуй для меня!

— Хорошо, — говорит она.

Покорно кружится с розой в руках. Мальчик, пальцами ударяя в пустой кувшин, подыгрывает ей. А мысли Комде не умолкают, звучат:

«Я запятнана, как цветок мака, но цветущей кажусь. Напоила меня ядом разлука...»

— Почему ты плачешь? — спросил мальчик.

— Для этого танца нужны слезы, — сказала Комде.

Она кружится в танце. Звучат ее мысли:

«Увы, нет на свете ничего злее любви, и нет никого несчастнее влюбленного...»

Смотрит на нее задумчиво мальчик.

Модан лежит, распростертый, под пальмой, безумными глазами смотрит вокруг.

— Где ты, Комде?.. Комде... Моя Комде...

Птицы щебечут на ветвях пальмы. Стройные газели не спускают с Модана глаз, стоят, как изваяния, среди песчаных барханов. Модан бормочет в исступлении:

— Как от Комде уйти решился я?
Разлуки как не устранился я?..

В порыве привстал. Газели отскочили и замерли в отдалении. Модан протянул к ним руки:

— Вот я пришел, я вновь с тобой, Комде!
Спляши мне снова, песню спой, Комде!..

Вдруг на ветвях пальмы какая-то индийская синичка явственно просвистела:

— Комди...

Модан вздрогнул, поднял голову. Но птицы, не обращая внимания на него, щебечут, свистят.

Медленно подходят к пальме газели. Модан лег, забормотал опять:

— Ты далека, Комде, по мы вдвоем.
Как мне с тобой тепло в плаще твоём!
Что ж ты со мной неласкова, Комде?
Что смотришь ты с опаскою, Комде?..

Синичка перепрыгнула с ветки на ветку и опять свистнула:

— Комди...

И все птицы на пальме подхватили хором:

— Комди... комди... комди...

Но Модан на них уже не смотрит. Он протянул руки к невидимой Комде:

— Комде! Комде! Кумир моей души!
Что ж ты опять уходишь? Не спеши...

И вдруг газель протяжно проблеяла:

— Комде-е-е...

И хор птиц радостно подхватил:

— Комди... комди... комди...

Модап приподнялся. Газели кинулись врассыпную. Модап крикнул газели:

— Эй, погоди!

Сейчас Комде запляшет — погляди!..

Но газели убежали, скрылись в песках. Модап покачивается. Он опять лег, начал бормотать, как безумный:

— Где ты, Комде?.. Комде... Моя Комде...

* * *

Переворачивается страница старинной книги, мы читаем:

*«И снегу — срок, и таянью — пора,
Отчаянью и чайнью пора...»*

* * *

В предгорьях, в тени скалы работают художники-миниатюристы, мастера ярких и чистых красок. Среди них — Атуп Чатр. Перед ним — натурщик, низенький музыкант, убежавший от шаха, в руках у него — многострунная вина. Прислонясь к скале, стоит тощий музыкант, печально*глядит вдаль. Бхабани — глава школы художников-миниатюристов, — старый, седой, сидит на белом войлочном коврике, не спеша говорит:

— Все люди стали сиротам без музыки. Не поется без музыки песня, нечем людям облегчить сердце после труда...

Атуп Чатр сказал:

— Говорят, даже Карашах заболел от скуки. Его ярость теперь не смягчается музыкой, и на него нападают припадки удушья! Врачи опасаются за его жизнь...— И опять поднял кисть, копчет миниатюру.

Внезапно из ветвей чинара раздались птичьи голоса:

— Комди... комди... комди...

Все подняли головы, но увидели только птиц, прыгающих по ветвям.

Отступив на шаг, Атуп Чатр смотрит на свою работу и на натурщика.

На миниатюре: все в тучах черное небо, расколотое белыми молниями. Вдали в предгорьях пасутся слоны. Вне-

реди — дерево, усыпанное плодами, и рядом — на белом полу — в красном халате низенький музыкант с виной в руках.

Тощий музыкант заглянул в миниатюру, грустно вздохнул.

— Посмотрит кто-нибудь и скажет: «Было время, когда на земле еще была музыка!»

Старый Бхабани говорит величаво:

— Нельзя предаваться отчаянию. Люди еще отыщут волшебный танбур. И музыка оживет!

— Нас тогда уже не будет,— сказал низенький музыкант.

— В счастье надо верить! — с силой сказал Бхабани.— Если человек не верит в счастье, ему не за что и бороться, и тогда уже счастье не посетит его никогда! — Он делает движение, чтобы встать, но из листвы чинара опять раздается:

— Комди... комди...

Бхабани удивленно поднял голову:

— Что это?

Все смотрят на птиц.

К ним подбегает газель. Увидев ее, люди замерли от удивления. Газель пробежала протяжно «комде-е-е!» и умчалась, исчезнув среди камней.

— Комде?! — Атуп Чатр поражен в самое сердце.— Наверно, с нею беда!

— А кто это? — спросил Бхабани.

Атуп Чатр вынимает из своей одежды сверток, разворачивает миниатюру «Танец Комде». Вскочили музыканты и художники — посмотреть. Миниатюра пошла по рукам. Бхабани взял ее, разглядывает.

Комде изображена в вихре танца. На ней яркие одежды и те браслеты и серьги, которые уже давно покоятся в шкатулке кривого эмира.

Бхабани говорит:

— Как видно, родилась она в добрый день, если ради нее газель прибежала к нам из пустыни.

— Смотрите!..

Атуп Чатр показал пальцем. Далеко на камне стоит газель.

— ...Газель нас ждет! Поедем по ее следам, выручим Комде из беды!

Под свист и щебетанье птиц Бхабани, Атуп Чатр, оба музыканта и несколько художников подбежали к оседланным лошадям, вскочили на них и поскакали с гор к желтеющей на горизонте пустыне.

* * *

Под пальмой лежит бездыханный Модан. Десяток газелей не спускают с него глаз. Слышен речитатив сказителя:

*Лежал, под пальмой распростерт, Модан.
И хоть на вид совсем был мертв Модан,
Но в нем жила любовь, и потому
Бессмертье было суждено ему...*

Газели испуганно метнулись, исчезли в песках. Подъехали всадники, соскочили с коней. Подошли к Модану. Птицы свистят на ветвях:

— Комди... комди...

Бхабани посмотрел на лежащего.

— Это не Комде, кто-то другой... И похоже, что мертв...

Подошел тощий музыкант, узнал:

— Кажется... Модан...

— Модан?! — Атуп Чатр вглядывается, потрясен. — Да, он... И как будто еле дышит... Дайте воды!

Оба музыканта кинулись к лошадям. Отвязали бурдюк, принесли. Атуп Чатр дает Модану глотнуть из бурдюка.

Модан открыл глаза, сказал:

— Комде...

Опять закрывает глаза.

— Комде?! — удивился Бхабани.

— Да, его разлучили с Комде! — сказал низенький музыкант.

Атуп Чатр еще раз приложил к губам Модана бурдюк. Певец глотнул, приподнял веки, сказал:

— Комде...

Закрывает глаза. И птицы отозвались радостным хором:

— Комди... комди... комди...

Бхабани говорит:

— Если все птицы, услышав из уст Модана имя любимой, подхватили его — сколько раз должен был он, бедный, повторять имя Комде!

По знаку Бхабани художники подняли певца на плечи. Музыканты пошли следом, держа в поводу лошадей.

Модан открыл глаза, спрашивает слабым голосом:

— Кто вы?

— Мы — слуги твоей любви! — сказал Бхабани.

Модан улыбнулся и, покачиваясь на плечах людей, глядя в синее небо, еле слышно, одними губами, сказал:

— Комде...

* * *

Маленькая комната во дворце. Тыча прутиком в клетку, Карашах дразнит попугая:

— Глупый, глупый попугай! Ты — простой пучок перьев, а не мудрая птица! Ты годишься только на обед кошке! Глупый попугай! И ты — глупый, и сказки твои — глупые!

Вдруг попугай сказал ему:

— Сам ты глупый!

— Ага, заговорил! — торжествующе засмеялся Карашах.

— Меня ругай сколько хочешь, — сказал попугай таким голосом, как будто он горлом одновременно и говорил и колот орехи. — Но сказки мои ругать не позволю! Моему красноречию и изяществу языка удивляются знатоки словесности! А ты...

— Что я? — прищурился Карашах.

— Все над тобой смеются, — сказал попугай.

— Смеются?! — подпрыгнул Карашах. — Кто?!

— И знаешь, как они тебя называют?

— Как?!

— Пустой барабан.

— Это — слова Модана! — в ярости восклицает Карашах. — Жаль, что я отпустил его! Мне надо было содрать с него кожу, а я...

Вошел кривой эмир:

— Гонец от Бхабани!

В комнату, толпясь, входят приближенные Карашаха. Среди них — придворный поэт Мухаммад Мухасип Фони Нахшеби.

Стражники вводят Атул Чатра. Он поклонился, передает письмо.

— Это ты?! — Карашах удивлен: — Как ты осмелился привезти нам письмо?



— Я знал, что ты меня убьешь, — невозмутимо сказал Атул Чатр. — Но моя кровь схватит тебя за горло, шах!

— Молчи! — В ярости Карашах повернулся к придворному поэту. — Читай! Весь наш гнев падет на него. — Карашах кивнул на Атул Чатра.

— Не осмеливаюсь послушаться...

И Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби начал читать, вздыхая при каждом слове и качая головой:

— «О ты, превративший сострадание в страх! Нельзя гасить свечу, чтобы в окно не залетел мотылек! Нельзя из-за своей обиды разлучать возлюбленных! Верни скорее Комде Модану! По твоей вине погибла в мире музыка, и ты же сам чуть не умер от скуки! Если из-за тебя погибнет в мире любовь, прах Модана и Комде падет на твою голову!...» Тут дальше стихи...

— Читай...— сказал Карашах, мрачно поглядывая на Атул Чатра.

Смотрит из клетки на придворного поэта попугай.

Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби читает, постепенно переходя на привычный при чтении стихов пафосный тон:

— Пусть прах падет на голову того,
Кто мнит, что вечно гнет торжество!
Где воля напряглась, как тетива,
Там муравей одолевает льва.
Как ни кичись тиран...

Карашах прервал его:

— Ты слишком поешь для человека, который читает.
Поэт поперхнулся, смешался. Под подозрительными взглядами Карашаха опять начинает:

— Как ни кичись тиран...

— Это мы уже слышали! — сказал Карашах.— Читай дальше!

Дрожащими губами Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби продолжает, показывая всем своим видом, что сам в отчаянии от слов, какие приходится читать:

— ...ничтожен он.
В конце концов он будет поражен!
О ты, кто одурманен спесью, знай:
Псу и погибель будет песья — знай!

Карашах мрачно спрашивает:

— Кто написал эти стихи?

Атул Чатр сказал:

— Модан! Наш соловей, у которого ты украл любовь!

— Опять Модан?! — К поэту: — Это ты его тогда привел.

Придворный поэт стоит ни жив ни мертв. Карашах говорит:

— Трижды за твое умение мы наполняли тебе рот жемчугом. А один раз мы даже взвесили тебя, положив на другую чашу весов золото, и это золото подарили тебе. Теперь, если ты не сложишь достойный ответ, клянемся — мы наградим тебя совсем иначе.

Мухаммад Мухаси Фони Нахшеби поклонился шаху. Писцы подняли калямы. Придворный поэт начал с пафосом:

— Ты, словно солнце, светел и высок.
Мы — жертва за один твой волосок!
Да! Все мы — слуги шаха...

— Это мы знаем наизусть, — раздраженно прервал его Карашах. — Ты Модану ответь!

— Сейчас, сейчас... — Придворный поэт начинает сначала:

— Ты гордость шахов попираешь в прах,
Но ты забыл, Модан: могуч наш шах!..

Карашах поморщился, с трудом удержался, чтобы опять не прервать Мухаммада Мухасина Фони Нахшеби.

— ...Войска его вздымают до небес
Не просто пыль, а пыль весны чудес!
Гремит его дворцовый барабан...

При слове «барабан» Карашах подпрыгнул от негодования.

— Всегда в поход готовый барабан...

Карашах подпрыгнул на троне второй раз и закричал:

— Ты еще осмеливаешься намекать?!

— Я?.. Нет... Где?.. — растерялся поэт.

Карашах уже в полной ярости:

— Да ты, как видно, считаешь нас совсем дураками! В своих вонючих стихах ты произнес слово «барабан», и даже дважды! Все слышали!..

Торжествующе поглядев на попугая, опять садится на трон.

— Мы давно подозревали, что у тебя на языке одно, а в мыслях другое... — Повернулся к кривому эмиру. — Налить ему в рот расплавленное серебро!

Стражники хватают поэта. Кривой эмир уводит его. Придворные в восторге кричат:

— О пронцательный, о мудрый, о всевидящий шах!

Еще раз взглянув на попугая, Карашах говорит Атул Чатру:

— Ты думаешь, что мы злопамятны и жестокосердны? На самом деле мы милостивы. И ты в этом сейчас убедишься. Мы смоем чистой водой прощения пыль твоих оскорблений. А за это ты отвезешь наш ответ... Писцы!

Писцы подняли свои калямы. Карашах начал диктовать:

«До слуха высокого достоинства дошло твое письмо, Бхабани! Будучи на подушке славы и величия, мы тебе говорим...»

Пишут писцы. Придворные радостно кивают на каждое слово шаха. Карашах продолжает:

— «Как ты осмелился подумать, что мы отдадим Модану госпожу страны красоты и розовый куст сада прелестей!..»

Восторг придворных прорывается возгласами:

— О наш шах! Все поэты мира — ничто перед ним!.. Поистине, его уста рассыпают жемчужины!.. Незъяснима красота его слов!..

Сняя, Карашах продолжает:

— «...При виде стана этой плясуньи кипарис упал на землю от стыда, и даже куропатка не смогла бы подражать ее поступи...»

* * *

Темница, к стенам которой приделаны кольца и крючья. Кривой эмир наедине с придворным поэтом. Вид у Мухаммада Мухасина Фони Нахшеби самый плачевный. Он восклицает:

— Но я же отдаю тебе все мои жемчуга! Разве этого мало? И у тебя еще останется серебряный слиток!

Кривой эмир пожал плечами:

— Слиток расплавленного серебра я и так выну из твоего рта, когда он там остынет; но в этом случае ты уже покинешь землю и будешь стоять у ворот рая. Вот если ты покажешь мне, где спрятал не только жемчуга, но и золото, — тогда рай осиротеет без тебя, и я позволю тебе уехать куда захочешь...

— Хорошо, хорошо! Я отдам тебе и золото и жемчуга... — говорит Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби, жалко улыбаясь.

Переворачивается страница старинной книги, мы читаем:

*«Кто волю шаха смеет обойти?
Иль выполни, иль головой плати!..»*

Маленькая комната во дворце. К шаху привели Комде. Барабанщики забили в барабаны, выбивают плясовую дробь. Но Комде опустила голову и не танцует. Карашах остановил барабанщиков:

— Почему она не танцует?

— О великий шах,— сказал кривой эмир.— Она осмелилась впустить в свое сердце любовь к Модану.

Карашах повернулся к Комде:

— Это правда?

Комде едва заметно кивнула и еще ниже опустила голову.

— Ты создана, чтобы услаждать наш взор танцами, а не для того, чтобы кого-нибудь любить! — сказал Карашах.— Танцуй!

И опять дал знак барабанщикам. Те ударили в барабаны, но Комде неподвижна.

— Ты надеешься, что Модан тебя освободит? — визгливо сказал Карашах и презрительно засмеялся.— Или ты, может быть, не хочешь танцевать под барабан! Может быть, ты...— осекся, пристально оглядел придворных, тихо спрашивает: — Кто сказал «барабан»?

Все молчат. Карашах испытующе смотрит на испуганных придворных. Повернулся к кривому эмиру:

— Может быть, это ты сказал «барабан»?

Эмир испуганно пятится, бормочет:

— Я не сказал...

Карашах опять поворачивается к Комде:

— Танцуй!

По его знаку барабанщики вновь ударили в барабаны. Комде все так же стоит, не глядя на шаха. Карашах встал с трона, говорит угрожающе:

— Если ты не будешь сейчас танцевать, мы заставим тебя плясать на костре!

Комде неподвижна. Вдруг из клетки раздался голос попугая:

— Шах! А ты пробовал когда-нибудь танцевать, когда не хочешь?

— Глупый попугай, разве шахи танцуют,— снисходительно сказал Карашах. Приказывает кривому эмиру: — Сложить костер! Завтра утром она попляшет у нас на огне!

* * *

Вечер, дворцовый сад, куст весь в желтых розах. Мальчик — внук старого Бахунатджи — привел сюда мастера музыкальных инструментов.

— Танбур тут, под этим кустом!

Мастер мотыгой откапывает куст. Мальчик горестно говорит:

— Комде нельзя спасти. Утром ее сожгут! И Модан далеко... Пусть она перед смертью услышит хоть танбур Модана! Почините его! Подарите Комде эту последнюю радость...

Мастер обнял куст, поднимает его с корнями, облепленными землей.

Из ямы мальчик вынимает разбитый танбур, весь в комьях земли. Да это и не танбур — обломки! С кусков его деревянного остова сошла краска, струны оборвались, заржавели.

— Нет больше на свете волшебного танбура,— в отчаянии сказал мальчик.— А дедушка говорил — музыку нельзя похоронить.

— Да! Музыку похоронить нельзя,— сказал мастер, разглядывая обломки.— Я почию этот танбур!

Заворачивает обломки в тряпку, поспешно уходит вместе с мальчиком.

* * *

Большой лепной светильник. По тронному залу колеблются, прыгают тени. Кривой эмир проходит стороной. Его окликнул попугай:

— Эй, эмир!

— Чего тебе?

— Подойди!

Эмир нехотя подошел. Поп, гай спрашивает:

— Тебе нравятся мои сказки?

— Я не такой дурак, чтобы читать сказки, — проворчал эмир и пошел к выходу.

— Жаль, — сказал попугай. — А то ты бы знал, где спрятан рубин.

— Рубин? — Эмир остановился. — Какой рубин?

— Он спрятан тут, совсем рядом.

— Рубин султана Гаруна? Тот самый? — У эмира перехватило дыхание. — Который у него украли тут, во дворце?

— Да, — сказал попугай. — Выпусти меня из клетки, и я тебе покажу.

Кривой эмир подозрительно осмотрелся, дрожащими руками открывает клетку:

— Давай, показывай!

Попугай вылетает из клетки, уселся на балдахине трона. Говорит:

— Видишь, как плохо, что ты не читал мои сказки. На странице сто пятой ясно сказано, что рубин находится в моем желудке. Ты мог меня зарезать и достать рубин. А ты меня выпустил! — Попугай засмеялся деревянным смехом и улетел.

* * *

Мастерская музыкальных инструментов. Тускло горит чирак — плошка с маслом, хотя уже начинает запылеть заря. Мастер склонился над танбуром: он починен, блестят струны. Мастер кончает покрывать его лаком.

Мальчик тронул пальцем струну. Раздался чистый, протяжный звук удивительной красоты. И на этот звук протяжным звоном отозвались «молчавшие» инструменты, висевшие на стене мастерской. Музыка ожила.

Мастер вскочил, дрожащими руками начал пробовать еще и еще раз струны на инструментах. Дунул во флейту, она тоже ответила ему чистым голосом...

И мальчик заплакал. Послышался щелкающий голос:

— Мальчик, чего ты плачешь?

Мастер изумленно разинул рот, уставясь на попугая, который уселся на длинные кузнечные клещи, прислоненные к законченной стене. Однако мальчик не про-

явил никакого удивления. Сквозь слезы он ответил попугаю:

— Сегодня казнят Комде...— и заревел еще громче.

— Не плачь,— сказал попугай.— Ты меня так расстроил, что я чуть не позабыл спросить главное: тебе правятся мои сказки?

— Правятся...— все так же сквозь слезы сказал мальчик.

— Тогда я тебе помогу.

— Как ты можешь помочь...— продолжал всхлипывать мальчик.— Во дворце уже сложен костер, и ее...

— Я достану тебе гребень Комде,— сказал попугай.

— Гребень Комде?— Мальчик заинтересованно посмотрел на попугая и отер слезы.— Зачем мне ее гребень?

— Знай,— сказал попугай,— если взять гребень Комде и вставить его в струны твоего волшебного танбура — все запляшут, как только ты заиграешь. И палачи запляшут, и шах начнет танцевать. И пока они будут плясать...

— ...Комде убежит,— восторженно подхватил мальчик.

А попугай взмахнул крыльями и исчез за базарными постройками, над которыми поднималось солнце нового дня.

* * *

Над скалой в земле художников тоже поднимается солнце. Грустно смотрит вдаль Модан. Рядом с ним музыканты шаха — толций и низенький. Атуп Чатр говорит Модану:

— Прогони печаль от своего сердца! Сегодня на закате мы выедем в столицу Карашаха! Не пройдет и десяти дней, как ты увидишь Комде...

— Да...— говорит грустно Модан.— Но я даже не знаю, жива ли она...— Помолчал и негромко запел строки Хафиза:

— Тоской по твоим рубинам-устам стораю до сих пор,
Еще не вино — осадок вина вкушаю до сих пор...

Низенький музыкант вздохнул:

— Ах, если бы не умерла музыка! Я сыграл бы под твою песню!

Он коснулся пальцами струв, и вдруг они ответили ему нежным звоном.

— Что это?.. — дрожащим голосом сказал низенький музыкант.

— Не может быть... — взволнованно пробормотал тощий музыкант и трясущимися руками достал из-за пазухи свою болури. Дунул в нее. И болури ответила ему чистым, долгим звуком.

— Ожила! — закричали оба музыканта. — Музыка ожила!..

В сумасшедшем волнении они заиграли веселую мелодию. А Модан сказал Атуп Чатру:

— Значит, волшебный танбур нашелся!

* * *

Во дворцовой крепости, на площади, приготовлен костер: деревянный помост обложен соломой и грудami сучьев. Карашах сидит на возвышении. Вокруг теснятся придворные и стражники.

Из темницы выводят Комде. Изпурение скрыло красоту ее лица, она так исхудала, что едва не взлетает от вздохов. Комде поднимается на помост с розой Модана в руках. Оглядывает разноцветные одежды, тюрбаны придворных и дворцовые башенки. Стоят возле помоста палачи с дымящимися факелами.

Вдруг на голову Комде, словно цветной комок, падает попугай. Комде испуганно отпрянула. Попугай выхватил из ее волос гребень и взмыл вверх. Черная коса ее, раскручиваясь, падает, рассыпается по плечам. Комде говорит вслед попугаю, чуть не плачет:

— И ты против меня... Все против меня!..

Карашах, бледный от ярости, поворачивается к кривому эмиру.

— Кто выпустил попугая?!

Кривой эмир развел руками: «Не знаю». Карашах хотел сказать еще что-то. Но тут барабанщики ударили в большие барабаны, возвещая начало казни. Карашах обернулся к Комде, громко говорит:

— Комде! Откажись от любви к Модану!

Комде говорит тихо:

— Я люблю его больше своих глаз.

По знаку Карашаха барабанщики начали выбивать плясовую дробь. Палачи факелами поджигают солому. Побе-

жал вдоль помоста огонь, затрещали сучья, клубы дыма взлетели перед Комде. Она высоко поднимает голову и, глядя куда-то вдаль, обращается к Модану:

— Модан!..

Прижимает к груди розу.

— ...Коль встретишь розу на пути,
С которой счастье сможешь ты найти,
То вспомниай хоть изредка и ту,
Что не видала счастья и в цвету...

Высокие языки пламени взлетают над краем помоста. Черные клубы дыма тянутся к небу.

...Эти черные клубы показались уже из-за дворцовой стены. В отчаянии мальчик кинулся к воротам с танбуром в руках.

— Пустите меня!

Но стражники его отбрасывают. Мальчик упал, опять вскакивает, чтобы вновь броситься к воротам. К его ногам падает гребень Комде.

Сидя на выступе стены, поугай говорит:

— Вставь гребень в струны. Скорей!

Мальчик схватил гребень, вставил его в струны танбура. Подходит к воротам. Стражник поднял пилку — отбросить мальчика. Но мальчик заиграл. Раздалась удивительная плясовая мелодия. И ноги стражников сами затанцевали, и руки стали изгибаться в танце. «Куда?!» — свирено кричат стражники, но не в состоянии удержать ни рук, ни ног. Играя на танбуре, мальчик проходит мимо них.

...Окутанная черными клубами дыма, в кольце пламени, которое к ней все ближе, Комде поднимает руки и громко — на всю площадь — прощается с жизнью:

— О Верность! Я — твоя!
Я сбрасываю узы бытия!

Но тут заиграл плясовую танбур Модана. Волшебным, по-особенному звенят его струны от гребня Комде.

И начали танцевать барабанишки — палочки вывалились из их рук. И, нелепо топая ногами, затанцевали палачи. И придворные, сопротивляясь изо всех сил танцу, дрыгают руками и ногами. И шах, сам великий шах, скатился с возвышения и начал приплясывать, криво выворачивая от ярости голову и виляя задом.

Мальчик, играя на тапбуре, подбежал к костру, кричит в отчаянии:

— Комде!!

И среди клубов дыма и языков огня показалась Комде, тоже танцующая. В вихре пляски она сквозь огонь и дым выскальзывает на площадь, к стенам дворца.

Карашах пляшет и орет:

— Хватайте ее! А то убежит!

— О шах! Не могу! — хрипит кривой эмир, выделявая руками и ногами замысловатые фигуры.

Комде с желтой розой в руках пронесется мимо Карашаха, танец ее, как огонь, — стремителен и волшебен.

Над дворцом раздался деревянный хохот попугая:

— Шах! Шах! Потанцуй!

Ноги Карашаха выделяют что-то невообразимое, он кричит:

— Я отрублю вам всем головы!

Придворные в отчаянии, но остановиться не могут.

Кривой эмир слишком толст, он уже в изнеможении. Зацепился за что-то ногой и упал. Но и лежа — танцует, дрыгает ногами и руками. И другие придворные — один, второй, десятый — падают.

А Комде приблизилась в пляске к воротам, проскальзывает мимо лежащих и дергающихся стражников. Исчезает в воротах.

Играя на тапбуре, пятясь, подходит к воротам мальчик. Сидит попугай на башенке, смеется:

— Шах, шах, потанцуй!

Танцующий Карашах подпрыгивает от ярости, лицо его перекошено, он хрипит:

— Поймать и выдернуть перья!

И вдруг вся площадь закрутилась перед глазами Карашаха; слились в белесые круги, запрыгали вкось и вкривь степы дворцовых построек, башенки... Потом все это взлетело куда-то вверх.

И Карашах упал среди палачей и придворных.

* * *

Переворачивается страница старинной книги, мы читаем:

*«Беда бедой рождается всегда —
Вновь молния ударила сюда...»*

По равнине вдоль реки едут всадники: Модан, два музыканта, Атуп Чатр, несколько художников и старый Бхабани.

Навстречу им бежит по дороге какой-то человек. Подбегает, кричит:

— Умер Карашах!..

Модан и его спутники переглядываются, соскакивают с лошадей, останавливают бегущего...

Тот говорит:

— Совсем умер... Задохся от своей злости... Тапцевал и задохся...— И помчался дальше по дороге, крича: — Умер Карашах!

— Радостная весть,— говорит Атуп Чатр.

Модан сказал взволнованно:

— Я поскачу! Я хочу скорее увидеть Комде!

Атуп Чатр останавливает его:

— Приличие требует, чтобы впереди ехал посол твоего сердца... Я поскачу вперед, а ты поедешь со всеми — на полдня позади.

— Почему ты?

Атуп Чатр улыбнулся старому Бхабани:

— Что Модан верен своей любви — в этом мы убедились. Но мы не знаем — верна ли Комде.

Модан вспыхнул, сжимает кулаки:

— Комде слишком прекрасна для твоих низких мыслей!

Бхабани успокаивает его:

— Успокой свое сердце, Модан!

— Разве я тебе враг? — сказал Атуп Чатр.— Ради дружбы к тебе я поеду послом твоей любви и испытаю Комде.

Бхабани говорит ему:

— Поезжай!

Атуп Чатр вскочил на коня, крикнул Модану:

— Скоро ты увидишь свою возлюбленную!

И поскакал.

* * *

Комде в своей дворцовой комнатке ставит в вазу желтую розу — подарок Модана. Робко озирается мальчик — впуск старого Бахунатджи:

— Зачем мы вернулись сюда? Тут страшно. Карашах умер, все разбежались... Уйдем поскорей...

— Нет,— сказала Комде— Я знаю: Модан будет искать меня тут!..

Мальчик продолжает дрожащим голосом:

— Тень шаха ходит сейчас по дворцу, ищет свою голову...

— Какая тень?! — рассмеялась Комде.

Вдали послышались быстрые шаги.

— Слышишь? Это Модан! Он спешит ко мне! — Комде поправляет серьги, проводит порошком «мисси» черточку на губах, трепещет от ожидания.

Распахивается дверь. Быстро входит Атуп Чатр. Комде отшатнулась. Мальчик схватился за нож, готовый ее защищать. Но Комде взгляделась, усмехнулась:

— Ты пришел нарисовать мне синий браслет?!

— Нет,— говорит Атуп Чатр.— Я пришел сказать тебе о Модане.

Комде испуганно вскрикнула:

— Что с ним?

— Лучше бы мне не знать, что знаю! — Атуп Чатр отвел глаза.— Я пришел к тебе послом бедствия.

— Он умер? — вскрикнула Комде.

Атуп Чатр кивнул. Комде не вымолвила больше ни слова, краска сошла с ее лица. Она схватилась руками за сердце. И падает бездыханной.

— Комде! — Мальчик бросается к ней.— Модан жив! Посмотри на розу... Она как будто только что срезана... Комде, Комде!.. — трясет ее за плечо.

И Атуп Чатр пробует привести ее в чувство:

— Модан жив! Я только хотел тебя испытать! Комде! Комде!..

Но Комде не дышит. .

* * *

Вечер. Отпустив коней пастись, художники отдыхают у костра. Это то место у реки, где Модан прощался с Комде. Глядя на воду, Модан лежит возле куста. Смежает гла-



за, и, как далекий отзвук воспоминаний, возникает еле слышный голос Комде:

«Я верю, что в любом краю земли
Меня не позабудешь и вдали...»

Раздались голоса: из темноты на свет костра два художника выводят Мухаммада Мухасина Фони Нахшеби. У поэта жалкий вид, он падает на колени:

— Пощадите, о, пощадите меня!..

— Мы нашли его в зарослях,— рассказывает один из художников.— Он так пустился бежать от нас, будто взял взаймы четыре ноги у борзой собаки.

— О, пощадите!..— вопит придворный поэт.

— Здравствуйте, почтенный Мухаммад Мухасин Фони Нахшеби.

Поэт вздрогнул, усталился на Модана, радостно завопил:

— Модан?.. О благородный Модан!.. Знайте же, Гарашах меня повелел казнить из-за вас...— Хвастливо кричит: — Я повторил шаху ваши слова. Я сказал ему: ты, шах,— пустой барабан! Да! Я ему в лицо так и...— Увидел двух знакомых музыкантов, поперхнулся.— ...Не так... но все же так... хотя и не совсем... но про барабан я сказал!

Гордо на всех поглядев, обращается к Модану:

— Что со мной будете делать?

— Ничего,— пожал плечами Модан.

— О Модан!..— воскликнул поэт и перешел на стихи:

— ...Дождь милосердия из твоих очей
Пролился в пересохший мой ручей!..

Бхабани переглянулся с Моданом, оба чуть не покатались со смеху. Но поэт ничего не видит и не слышит. В самозабвении декламирует:

— ...Твоя известность поднялась в зенит,
Повсюду в мире стал ты знаменит,
А знаменитость вечно и везде
Подобна яркой утренней звезде!..

— Хватит, хватит,— остановил его Модан и говорит с

силой: — Истина в похвалах не нуждается. Только тираны нуждаются в похвалах.

Послышался топот копыт. Подъехал Атуп Чатр, соскочил с коня, говорит, задыхаясь:

— Беда!..

Модан вскочил на ноги.

— С Комде беда... И я во всем виноват!.. Нет мне искупления. Мое испытание умертвило Комде! Убей меня, Модан!

Модан пошатнулся, хватается обеими руками за сердце. И падает...

* * *

Во дворе шахского дворца, на площади, вырыта погребальная яма. Комде и Модан лежат бездыханные на ковре. Вокруг теснятся горожане.

Атуп Чатр говорит:

— Он не допел свою песню. Она не дотанцевала свой танец. Черные цветы просыпались на землю. И во всем виноват я! Я был их другом, а стал палачом. Я убил их мечом испытания. И лягу в могилу вместе с ними!

Выхватывает кинжал, чтобы заколоться. Но Бхабани удерживает его за руку.

Из толпы выскакивает мальчик с желтой розой в руках. Он кричит:

— Не закапывайте! Не закапывайте их! Модан жив...

Мастер музыкальных инструментов говорит Бхабани:

— Бедный мальчик! Он так их любил...

Мальчик кричит:

— В этой розе — сердце Модана! Видите — она не завяла и не осыпалась! А он подарил эту розу Комде на прощанье! Не закапывайте, не закапывайте их! Модан жив! Он еще нам споет песню, а Комде нам станцует!..

Атуп Чатр сказал печально:

— Мальчик сошел с ума. И в этом тоже виноват я!

— Мальчик говорит правду...

Это сказал попугай. Он появился неизвестно откуда и сел у изголовья Комде и Модана. Продолжает говорить своим деревянным голосом:

— Это не смертный сон. Это другой сон... И разбудить их может только волшебный тапбур...

— Вот он! — крикнул мальчик, протягивая танбур Бхабани.

Старый Бхабани взял танбур, оглядел народ, протянул его Атуц Чатру:

— Разбуди их ты!

Атуц Чатр взял танбур. Хотел пальцами коснуться струн, но, посмотрев на мальчика, возвращает танбур ему:

— Разбуди их ты! У тебя чистое сердце!

Шумит площадь тысячами голосов. Мальчик провел пальцами по струнам, и голоса оборвались, умолкли.

Играет на танбуре мальчик. Недвижно лежат на ковре Комде и Модан. Бхабани, Атуц Чатр, мастер музыкальных инструментов, весь народ с нетерпением, надеждой и тревогой смотрят на спящих.

И Модан открывает глаза. Увидел Комде. И она открывает глаза.

Играет на танбуре мальчик. Модан глубоко вздохнул. И вздыхает Комде. Они протягивают друг другу руки. И встают. И не могут оторвать друг от друга счастливых, сияющих глаз. Модан говорит одними губами: «Комде», но голоса его не слышно, потому что звучит танбур. И Комде говорит одними губами: «Модан».

Модан берет из рук мальчика танбур. Сыграл несколько вступительных тактов. Оторвал пальцы от струн и зашел:

— Тоской по твоим рубинам-устам стораю я до сих пор.
Еще не вино — осадок вина вкушаю до сих пор...

А Комде начинает перед своим возлюбленным танец такой красоты, что все слова для него бедны.

Модан поет:

— Ах, с первого дня бесплодно желал я локонов твоих!
И что мне еще любовь ниспошлет, не знаю до сих пор!..

Танцует Комде. И начинают танцевать на площади горожане. И музыканты ударили в струны, задули во флейты — среди них низенький и тощий. С торжествующей силой звучит над миром ожившая музыка.

Модан поет:

— ...О кравчий, молю! Молю о глотке из чаши огневой!

Средь ждущих любви — влюбленный Модан блуждает
до сих пор!..

Танцует Комде. Вокруг нее пляшет счастливый народ.
Этот гордый танец прекрасен, праздничен, искрится все-
ми красками жизни.

Над площадью взлетает попугай, садится на дворцовую
башенку. Сверху смотрит он на пляшущих, вертя головой
с желтым глазом, окаймленным красным кольцом. Вры-
вается оркестр, и попугай замирает. Он неподвижен и от-
ступает все дальше, делается все меньше, пока не оказы-
вается нарисованным на книжной миниатюре.

Переворачивается последняя страница старинной кни-
ги. И над орнаментом концовки, расписанной золотом, се-
ребром и разноцветными красками, поверх арабского
шрифта наплывают последние строки:

*«Поэму преданности двух сердец
Заканчивает так ее творец».*

1958

Киносценарий написан в соавторстве с В. Вятковичем.

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Адат — обычай, правила поведения.

Айван — открытая длинная веранда.

Амаки — почтительное обращение к старшему мужчине, приставка к имени; буквально: дядя.

Апа — почтительное обращение к женщине; буквально: старшая сестра.

Арбакеш — возница на арбе.

Ата — почтительное обращение к пожилому мужчине, приставка к имени; буквально: отец.

Атаджан — ласковое обращение к пожилому мужчине.

Бельбог — поясной платок.

Бойчичак — подснежник.

Дастархан — скатерть или стол с угощением.

Джида — дикая маслина.

Дувал — глиняная ограда.

Ичиги — мягкие сапоги.

Ичкар — часть дома, в которой помещались женщины и дети.

Каракурт — род ядовитых пауков.

Карнай — духовой музыкальный инструмент, на нем играют чаще всего на торжествах.

Каса — миска.

Кеклик — горная куропатка.

Киз — девушка, девочка.

Кизим — дочка.

Кок-чай — зеленый чай.

Кумган — медный кувшин с узким горлом, чайник.

Курбаши — предводитель басмачей.

Лаббай — восклицание, соответствующее русскому: «Скажите, пожалуйста!» или: «Еще что!»

Мазар — кладбище.

Майли — ладно, хорошо.

Мангал — жаровня.

Маства — рисовый суп с мясом, заправленный кислым молоком.
Мусаллас — виноградное вино домашнего приготовления.

Нават — леденец.

Нарын — отварное мясо, нарезанное тонкой соломкой и залитое мясным бульоном с лапшой и луком.

Налван — богатырь.

Парварда — сорт конфет.

Райхон — базилик; ароматное растение, употребляемое как приправа к пище.

Рахмат — спасибо.

Сай — горная речка, ручей.

Саман — солома.

Сандал — пизенький столик, покрытый одеялами и установленный над углублением в земле, куда кладут горячие угли.

Сури — широкая деревянная кровать, деревянный настил для сидения.

Сурнай — духовой музыкальный инструмент, род флейты.

Сюзане — род гобелена из гладкой материи с машинной или ручной вышивкой.

Тутикуш — попугай.

Углым — сынок.

Угри — вор.

Ураза — мусульманский пост.

Уста — мастер.

Усьма — краска для бровей.

Хауз — искусственный водоем.

Хон — приставка к мужским и женским именам, придающая оттенок уважения.

Хорманг, *хормангляр* — традиционное приветствие, обращенное к работающим: «Не уставать вам!»

Хурджун — переметная сума.

Хоруд — собирательное понятие для обозначения бедствий и напастей: болезней, вредителей, суховеев и т. д.

Чанг — музыкальный инструмент наподобие цимбал.

Чилим — род кальяна.

Шурпа — суп из баранины.

Яхтак — легкий халат.

СОДЕРЖАНИЕ

МОГУЧАЯ ВОЛНА. Роман. <i>Перевод Ю. Карасева</i>	7
КАШМИРСКАЯ ПЕСНЯ. Повесть. <i>Перевод Н. Грибачева</i>	331
КНИГА ДВУХ СЕРДЕЦ. Киносценарий	371
<i>Пояснительный словарь</i>	428

Рашидов Шараф
P28 Собрание сочинений. В 5-ти т.—М.: Худож.
лит., 1980. Т. 3. Могучая волна: Роман; Каш-
мирская песня: Повесть; Книга двух сердец:
Киносценарий. Пер. с узб. 1980. 430 с.

Название романа «Могучая волна», вошедшего в третий том Собрания сочинений Ш. Рашидова, подобно названиям других его романов,— символично и многомерно. Писатель изображает стройку военного времени — Фархадгэс (в романе — Галабагэс), трудовой подвиг узбекского народа, заставившего сырдарьинскую волну служить делу Победы, созданию будущего.

Вошли в третий том также значительно переработанная автором повесть-легенда «Кашмирская песня», воскресившая сюжеты индийского фольклора, и киносценарий «Книга двух сердец», в основу которого легла поэма Мирзы Абдулкадыра Бедиаля «Комде и Модан».

P $\frac{70303-104}{028(01)-80}$ подписное 4702570200

С(Узб)2

РАШИДОВ ШАРАФ РАШИДОВИЧ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 5-ти ТОМАХ**

Том 3

Редактор

С. Князева

Художественный редактор

С. Данилов

Технический редактор

Л. Ковнацкая

Корректор

М. Пастер

ИБ № 1683

Сдано в набор 18.06.79. Подписано в печать 29.11.79. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская №1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 22,68 усл. печ. л. 22,975 уч.-изд. л. Тираж 150.000 экз. Зак. № 274. Цена 1 р. 80 к. Издательство «Художественная литература». Москва, 107078, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28